П. И. МЕЛЬНИКОВ
(АНДРЕЙ ПЕЧЕРСКИЙ)

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

П. И. МЕЛЬНИКОВ (АНДРЕЙ ПЕЧЕРСКИЙ)

Собрание сочинений

в восьми томах

ТОМ 5

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

●

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА». МОСКВА. 1976

Составление и общая редакция
М. П. Еремина.

Иллюстрации художника
И. С. Глазунова.

НА ГОРАХ

КНИГА ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

От устья Оки до Саратова и дальше вниз правая сторона Волги «Горами» зовется. Начинаются горы еще над Окой, выше Мурома, тянутся до Нижнего, а потом вниз по Волге. И чем дальше, тем выше они. Редко горы перемежаются — там только, где с правого бока река в Волгу пала. А таких рек немного.

Места на «Горах» ни дать ни взять окаменелые волны бурного моря: горки, пригорки, бугры, холмы, и́зволоки грядами и кряжами тянутся во все стороны меж долов, логов, оврагов и суходолов; реки и речки колесят во все стороны, пробираясь меж угорий и на каждом изгибе встречая возвышенности. По иным местам нашей Руси редко такие реки найдутся, как Пьяна [1], Свияга да Кудьма. Еще первыми русскими насельниками Пьяной река за то прозвана, что шатается, мотается она во все стороны, ровно хмельная баба, и, пройдя верст пятьсот закрутасами да изворотами, подбегает к своему истоку и чуть не возле него в Суру выливается. Свияга — та еще лучше куролесит: подошла к Симбирску, версты полторы до Волги остается,— нет, повернула-таки в сторону и пошла с Волгой рядом: Волга на полдень, она на полночь, и верст триста реки друг дружке навстречу текут, а слиться не могут. Кудьма, та совсем к Оке подошла, только бы влиться в нее, так нет, вильнула в сторону да верст за сотню оттуда в Волгу ушла. Не захотелось сестрицей ей быть, а дочерью Волгиной.

---

[1] Пьяна упоминается в летописях. Русские поселились на ней в половине XIV века, и тогда еще по поводу поражения нижегородской великокняжеской рати ордынским царевичем Арапшой сложилась пословица: «За Пьяной люди пьяны». (Примечания, данные под строкой, принадлежат автору.— *Ред*)

Так говорят... И другие реки и речки на Горах все до единой извилисты.

Издревле та сторона была крыта лесами дремучими, сидели в них мордва, черемиса, булгары, буртасы и другие язы́ки чужеродные; лет за пятьсот и поболе того русские люди стали селиться в той стороне. Константин Васильевич, великий князь Суздальский, в половине XIV века перенес свой стол из Суздаля в Нижний-Новгород, назвал из чужих княжений русских людей и расселил их по Волге, по Оке и по Кудьме. Так летопись говорит, а народные преданья вот что сказывают:

«На горах то было, на горах на Дятловых [1]: мордва своему богу молится, к земле-матушке на восток покло-няется... Едет белый царь по Волге реке, плывет государь по Во̀ложке на камешке. Как возго́ворит белый царь людя́м своим: «Ой вы гой еси, мои слуги верные, слуги верные, неизменные, вы подите-ка, поглядите-ка на те ли на горы на Дятловы, что там за березник мотается, мотается-шатается, к земле-матушке преклоняется?»... Слуги пошли, поглядели, назад воротились, белому царю поклонились, великому государю таку речь держа̀т: «Не березник то мотается-шатается, мордва в белых балахонах богу своему молится, к земле-матушке на восток преклоняется». Вопросил своих слуг белый русский царь: «А зачем мордва кругом стоит и с чем она богу своему молится?» Ответ держат слуги верные: «Стоят у них в кругу бадьи могучие, в руках держит мордва ковши заветные, заветные ковши больши-на́большие, хлеб да соль на земле лежат, каша, яичница на рычагах висят, вода в чана́х кипит, в ней говядину янбед [2] варит». Как возго́ворит белый русский царь: «Слуги вы мои, подите, дары от меня мордве отнесите, так ей на моляне [3] скажите: «Вот вам бочонок серебра, старики, вот вам бочонок злата, молельщики́». На мордовский молян вы прямо ступайте, мордовским старикам сребро, злато отдайте». Верные слуги пошли царский дар старикам принесли, старики сребро, злато приняли, сладким суслом царских слуг напоя́ли; слуги к белому царю приходят, вести про мордву ему доводят: «Угостили нас мордовски старики, напоили суслом сладким, накормили

[1] В «Книге Большого Чертежа»: «А Нижний-Новгород стоит на Дятловых горах».

[2] Один из прислужников «возати» — мордовского жреца.

[3] Общественное моление.

хлебом мягкиим». А мордовски старики, от белого царя казну получивши, после моляна судили-рядили: что бы белому царю дать, что б великому государю в дар от мордвы послать. Меду, хлеба, соли набрали, блюда̀ могучие наклали, с молодыми ребятами послали. Молодые ребята приуставши сели: мед, хлеб-соль поели, «старики-де не узнают». Земли да желта̀ песку в блюда̀ накладали, наклавши пошли и белому царю поднесли. Белый русский царь землю и песок честно̀ принимает, крести̂тся, бога благословляет: «Слава тебе, боже царю, что отда̀л в мои русские руки мордовску землю́». И поплыл тут белый царь по Волге реке, поплыл государь по Воложке на камешке, в левой руке держит ведро русской земли, а правой кидает ту землю по берегу... И где бросит он горсточку, там город ставится, а где бросит щепоточку, тамо селеньеце».

Таковы сказанья на Горах. Идут они от дедов, от прадедов. И у русских людей и у мордвы с черемисой о русском заселенье по Волге преданье одно.

Русские люди, чуждую землю заняв, селились в ней по путям, по дорогам. Вдаль они не забирались, чтоб середи враждебных племен быть наготове на всякий случа̀й, друг ко дружке поближе. Путями, дорогами — реки были тогда. И доселе только по рекам приметны следы старорусского расселенья. По Волге, по Оке, по Суре и по ме́ньшим рекам живет народ совсем другой, чем вдали от них,— ростом выше, станом стройней, из себя красивей, силою крепче, умом богаче соседей — издавна̀ обрусевшей мордвы, что теперь совсем почти позабыла и древнюю веру, и родной язык, и преданья своей старины. Местами мордва сохраняет еще свою народность, но с каждым поколеньем больше и больше русеет. Так меж Сурой и Окой. Ниже Сурского устья верст на двести по обе стороны Волги сплошь чужеродцы живут, они не русеют: черемисы, чуваши, татары. И ниже тех мест по нагорному берегу Волги встретишь их поселенья, но от Самарской луки вплоть до Астрахани сплошь русский народ живет, только около Саратова, на лучших землях пшеничного царства, немцы поселились; и живут они меж русских тою жизнию, какой живали на далекой своей родине, на прибрежьях Рейна и Эльбы... Велика, обширна ты, матушка наша, земля святорусская!.. Вволю простора, вволю раздолья!.. Всех, матушка, кормишь,

одеваешь, обуваешь, всем, мать-кормилица, хлеба даешь — и своим, и чужим, и ро̀дным сынам, и пришлым и́з чужа пасынкам. Любишь гостей угощать!.. Кто ни пришел, всякому: «Милости просим — честь да место к русскому хлебу да соли!..» Ну ничего, нас не объедят.

В стары годы на Горах росли леса кондовые, местами досель они уцелели, больше по тем местам, где чуваши́, черемиса да мордва живут. Любят те племена леса дремучие да рощи темные, ни один из них без нужды деревца̀ не тронет; рони́ть лес без пути, по-ихнему, грех великий, по старинному их закону: лес — жилище богов. Лес истреблять — божество оскорблять, его дом разорять, кару на себя накликать. Так думает мордвин, так думают и черемис и чувашанин.

И потому еще, может быть, любят чужеродцы родные леса, что в старину, не имея ни городов, ни крепостей, долго в недоступных дебрях отстаивали они свою волюшку, сперва от татар, потом от русских людей... Русский не то, он прирожденный враг леса: свалить вековое дерево, чтобы вырубить из сука ось либо оглоблю, сломить ни на́ что не нужное деревцо, ободрать липку, иссушить березку, выпуская из нее сок либо снимая бересту на подтопку,— ему нипочем. Столетние дубы даже ронит, обобрать бы только с них желуди сви́ньям на корм. В старые годы, когда шаг за шагом Русь отбивала у старых насельников землю, нещадно губила леса как вражеские твердыни. Привычка осталась; и теперь на Горах, где живут коренные русские люди, не помесь с чужеродцами, а чистой славянской породы, лесов больше нет, остались кой-где рощицы, кустарник да ёрники... По иным местам таково безлесно стало, что ни прута, ни лесинки, ни барабанной палки; такая голь, что кнутовища негде вырезать, парнишку нечем посечь. Сохранились леса в больших помещичьих именьях, да и там в последни годы сильно поредели... Лесные порубки в чужих дачах мужиками в грех не ставятся, на совести не лежат. «Лес никто не садил,— толкуют они,— это не сад. Сам бог на пользу человекам вырастил лес, значит, руби его, сколько тебе надо».

Хлебопашество — главное занятье нагорного крестьянина, но повсюду оно об руку с каким ни на есть промыслом идет, особливо по речным берегам, где живет чистокровный славянский народ. В одних селеньях слесар-

ничают, в других скорняжничают, шорничают, столярничают, веревки вьют, сети вяжут, проволоку тянут, гвоздь куют, суда строят, сундуки делают, из меди кольца, наперстки, кресты-тельники да бубенчики льют,— всего не перечесть... Кроме того, народ тысячами каждый год в отхожи промысла́ расходится: кто в лоцмана́, кто в Астрахань на вонючие рыбны ватаги, кто в Сибирь на золотые прииски, кто в Самарские степи пшеницу жать. Всего больше уходило прежде народу в бурлаки; теперь пароходство вконец убило этот тяжелый и вредный промысел. И слава богу!..

Охоч до отхожих работ нагорный крестьянин, он не степняк-домосед, что век свой на месте сидит, словно мед киснет, и, опричь соседнего базара да разве еще своего уездного города, нигде не бывает. Любит нагорный крестьянин постранствовать, любит людей посмотреть, себя показать. «Дома сидеть, ни гро̀ша не высидишь,— он говорит,— под лежачий камень и вода не течет, на одном месте и камень мохом обрастет». Нет годного на стороне промысла — в извоз едет зимой... Не то избойну, мочену грушу да парену репу по деревням поедет менять на кость, на тряпье, на железный полом.

До того велика у нагорных крестьян охота по чужой стороне побродить, что исстари завелся у них такой промысел, какого, опричь еще литовских Сморгонь, на всем свете нигде не бывало. В Сергачском уезде деревень до тридцати медвежатным промыслом кормилось,— жилось не богато, а в добрых достатках. Закупали медвежат у соседних чуваш да черемис Казанской губернии, обучали их всякой медвежьей премудрости: «как баба в нетоплёной горнице угорела, как малы ребята горох воровали, как у Мишеньки с похмелья голова болит». Хаживали сергачи со своими питомцами куда глаза глядят, ходили вдоль и поперек по русской земле, заходили и в Немечину на Липецкую[1] ярмарку. Исстари велся тот промысел: еще на Стоглавом соборе, жалуясь Грозному на поганские обычаи, архиереи про сергачей говорили, что они «кормяще и храняще медведя на глумление и на прельщение простейших человек... Велию беду на христианство наводят»[2]. Силён, могуч, властен и грозен был царь Иван Васильевич, а медвежатников извести не

[1] Лейпциг.
[2] Стоглав, гл. 93.

мог — изводил их саксонский король, а вконец погубило заведенное недавно общество покровительства всяким животным, опричь человека. Тому назад лет с пятьдесят потешали сергачи на Липецкой ярмарке тамошний люд медвежьею пляской. Какой-то немец с лесным бояриным обошелся невежливо, и снял с него Михайло Иваныч костяную шапку. В ужас впали немцы—шутка ль? Целого подданного лишился саксонский король, а их у него и без того не ахти много. Пожалобились. Воспретили сергачам по чужим царствам медведей водить. Нипочем бы это было медвежатникам — русская земля длинна, широка, не клином сошлась, есть где лесному боярину разгуляться, потешиться. Сердобольные покровители животных вступились за Мишеньку: как, дескать, можно по белу́ свету его на цепи таскать, как, дескать, можно Михайла Иваныча палкой бить, в ноздри кольцо ему пронимать?.. Воспретили. В тридцати деревнях не одну сотню ученых медведей мужики перелобанили, а сами по миру пошли; все-таки — отхожий промысел.

А что в прежни времена с сергачами бывало, того не перескажешь. Но к слову пришлось рассказать, как ученых медведей пленным французам на смотр выставляли. Когда французы из московского полымя попали на русский мороз, забирали их тогда в плен сплошь да рядышком, и тех полонянников по разным городам на житье рассылали. И в Сергач сколько-то офицеров попало, полковник даже один. На зиму в город помещики съехались, ознакомились с французами и по русскому добродушию приютили их, приголубили. Полонянникам не житье, а масленица, а тут подоспела и настоящая веселà, честнà Масленица, Семикова племянница. Сегодня блины, завтра блины — конца пированьям нет. И разговорились пленники с радушными хозяевами про то, что летом надо ждать. «Не забудет, говорят, Наполеон своего сраму, новое войско сберет, опять на Россию нагрянет, а у вас все истощено, весь молодой народ забран в полки — не сдобровать вам, не справиться». Капитан-исправник случился тут, говорит он французам: «Правда ваша, много народу у нас на войну ушло, да это беда еще невеликая, медведе́й полки на французов пошлем». Пленники смеются, а исправник уверяет их: самому-де велено к весне полк медведѐй обучить и что его ново-

бранцы маленько к службе уж привыкли — военный артикул дружно выкидывают. «Послезавтра милости просим ко мне на блины, медвежий баталион на смотр вам представлю». А медвежатники по белу́ свету шатались только летней порой, зимой-то все дома. Повестили им от исправника, вели бы медведѐй в город к такому-то дню. Навели зверей с тысячу, поставили рядами, стали их заставлять палки на плечо вскидывать, показывать, как малы ребята горох воровали. А исправник французам: «Это, говорит, ружейным приемам да по-егерски ползать они обучаются». Диву французы дались, домой отписали: сами-де своими глазами медвежий баталион видели. С той, видно, поры французы медведями нас и стали звать.

Чуть не по всем нагорным селеньям каждый крестьянин хоть самую пустую торговлю ведет: кто хлебом, кто мясом по базарам переторговывает, кто за рыбой в Саратов ездит да зимой по деревням ее продает, кто сбирает тряпье, овчины, шерсть, иной строевой лес с Унжи да с Немды[1] гоняет; есть и «напольные мясники», что кошек да собак бьют да шкурки их скорнякам продают. Мало-мальски денег залежных накопилось, тотчас их в оборот. И ежели по скорости мужик не свихнется, выйдет в люди, тысячами зачнет ворочать. Бывали на Горах крепостные с миллионами, у одного лысковского[2] барского мужика в Сибири свои золотые промыслы были. Теперь на Горах немало крестьян, что сотнями десятин владеют. Зато тут же рядом и беднота непокрытая. У иного двор крыт светом, обнесен ветром, платья что на себе, а хлеба что в себе, голь да перетыка — и голо́ и босо́ и без пояса. Такой бедности незаметно однако ж поблизости рек, только в местах, от них удаленных, можно встретить ее. Общинное владенье землей и частые переделы — вот где коренится причина той бедности. Чуть не каждый год мир-община переделяет поля, оттого землю никто не удобряет, что-де за прибыль на чужих работа́ть. На дворах навозу — пролезть негде, а на̀ поле ни воза́, землю выпахали; пошли недороды. Нет корысти в переделах, толкует каждый мужик, а община-мир то и дело за передел... И богатые и бедные в один голос жалобятся на те переделы. да по-

---

[1] Реки в Костромской губернии текут по лесам.
[2] Лысково — село на Волге.

делать ничего не могут... Община!.. Зато кому удастся выбиться из этой — прах ее возьми — общины да завестись хоть не великим куском земли собственной, тому житье не плохое: земля на Горах родит хорошо.

В лесах за Волгой бедняков, какие живут на Горах, навряд найти, зато и заволжским тысячникам далеко до нагорных богачей. Только эти богачи для бедного люда не в пример тяжелей, чем заволжские тысячники. Лесной народ добродушней, проще, а нагорному пальца в рот не клади. Нагорный богач норовит из осмины четвертину вытянуть, из блохи голенище скроить.

ГЛАВА ВТОРАЯ

С краю исстари славных лесов Муромских, в лесу Салавирском, что раскинулся по раздолью меж Сережей и Тешей [1], в деревушке Родяковой, что стоит под самым почти Муромом, тому назад лет семьдесят, а может, и больше, жил-поживал бедный смолокур и потом «темный богач» Данило Клементьев. Гнал он смолу: до десятка казанóв [2] в лесу было у него ставлено. Много годов работàл, богатства смолою не нажил, и вдруг сразу так разбогател, что не только с муромскими, с любым московским купцом в вёрсту мог стать. Ломали лесники головы над скороспелым богатством Данилы, не могли додуматься, отколе взялось оно. Кто говорил, что клад Кузьмы Рощина [3] достался ему, кто заверял, что знается Данило с разбойниками, а в Муромских лесах в те поры они еще «пошаливали», оттого и пошла молва по народу, будто богатство Даниле на дуване [4] досталось. Много разного вздору говорено было, а истинной правды никто допытаться не мог.

От Андрея Поташова нажился Данило. О том Поташове вот какой сказ:

Во дни Петра Великого, посадские люди из Мурома, братья Железняковы да третий Кирилл Мездряков

---

[1] Теша близ Мурома впадает в Оку, Сережа — в Тешу.

[2] Большой котел для добыванья смолы.

[3] Знаменитый разбойник Муромских лесов, грабивший особенно проезжавших на Макарьевскую ярмарку московских купцов, во второй половине XVIII столетия. Говорят, он много кладов зарыл по лесам.

[4] Дележ добычи разбойниками.

руду железную на Оке сыскали. Слыхали те посадские про тульского кузнеца Демидова, как наградил его царь-государь и какие богатства взял тот кузнец с непочатых еще Уральских рудников. Заявили и они про находку, и за́ год до смерти первый император зе́мли на Оке им пожаловал, ставили бы там заводы железные. Не пошло муромцам во прок царско жалованье — по лесам возле Оки разбойники хозяйничали: с заряжёнными ружьями приходилось дудки [1] копать, завод рвами окапывать, по валам пищали да пушки расставлять... Работали кой-как, кончилось дело тем, что пропившийся рабочий изменил хозяевам и завод передал разбойникам. Разграбили они его, выжгли, валы срыли, пушки, пищали с собой увезли... И за то благодарили бога заводчики, что головы у них целы на пле́чах снесли.

Через много годов на место неудачливых муромцев на Оку новые заводчики приехали: два туляка, братья Андрей да Иван Родивоновы — дети оружейника Поташова. Они в четырех губерниях четырнадцать заводов по скорости поставили. Андрей дело вел. «Образ правления его считался безотчетным и необыкновенным» [2]. Чего не наделал он при том образе правления! Пруды заводские выкопал на̀ диво: верст по девяти в долину, с трехверстными плотинами; по тем прудам суда под парусами у него хаживали. В каждом заводе по господскому дому поставил, и каждый дом дворцом глядел. Что было в тех домах картин, мраморных статуй, дорогих мебелей, какие теплицы были при них, какие цветы редкостные, плоды, деревья... И все прахом пошло, все сгибло в омуте пятидесятилетних тяжеб и в бездонных карманах ненасытной ватаги опекунов.

Поташов в короткое время скопил несметные богатства, скопил умом, трудом, неистомной силой воли, упорной стойкостью в делах, а также и темными путями. Безнаказанные захваты соседних имений, прием беглых людей, стекавшихся со всех сторон под кров сильного барина, тайный перелив тяжеловесной екатерининской медной монеты умножали богатство тульского оружейника. Кто Поташову становился поперек дороги: дерев-

---

[1] Колодезь для добычи руд, шахта.

[2] Впоследствии, когда возникли нескончаемые тяжбы о наследстве, это выражение встречалось не только в частных записках, но даже в официальных бумагах.

ни, до́ма, лошади, собаки, жены, дочери добром не хотел уступить, того и в домну[1] сажали. Сло́ва супротивного молвить никто не смел, все преклонялось перед властным оружейником. Перевел Поташов разбои в лесах Муромских, но не перевел разбойников. Подобравшись под сильное крыло неприкосновенного барина, лесная вольница по-прежнему продолжала дела свои, но только по его приказам — так говорит предание. И не было на Андрея Родивоныча ни суда, ни расправы; не только в Питере, в соседней Москве не знали про дела его... Все было шито да крыто.

А все оттого, что умел с нужными людьми ладить. Ладил он сначала с князем Григорьем Орловым, во-время от него отвернулся и во-время прилепился к другому князю Григорью — к Потемкину. Одного закала были, хоть по разным дорогам шли. С Потемкиным Поташов сроду не видался, а был в дружеской переписке и в безграмотных письмах своих «братцем» его называл. Ценными подарками Таврического удивить было нельзя, зато нарочные то и дело скакали с поташовских заводов то в Петербург, то под Очаков с редкими плодами заводских теплиц, с солеными рыжиками, с кислой капустой, либо с подновскими огурцами в тыквах. Старики рассказывают, что однажды Потемкин зимой в Москве проживал; подошел Григорий Богослов[2] — его именины; как раз к концу обеда прискакал от Поташова нарочный с такими плодами, каких ни в Москве, ни в Петербурге никто и не видывал. При них записка Андреевой руки: «Сии ананасы тамо родятся, где дров в изобилии; а у меня лесу не занимать, потому и сей дряни довольно».

— Уважил! — на весь стол крикнул Потемкин.— Спасибо!.. Захотел бы Поташов ремень из спины у меня выкроить, я бы сейчас.

Через Потемкина выпросил Андрей Родивоныч дозволенья гусаров при себе держать. Семнадцать человек их было, ростом каждый чуть не в сажень, за старшо́го был у них польский полонянник, конфедерат Язвинский. И те гусары за̀ пояс заткнули уда̀лую вольницу, что исстари разбои держала в лесах Муромских. Бары-

---

[1] Плавильная печь.
[2] 25 января.

ню ль какую, барышню, поповну, купецкую дочку выкрасть да к Андрею Родивонычу предоставить — их взять. И тех гусаров все боялись пуще огня, пуще полымя.

А когда помирал Андрей Родивоныч, были при нем две живых жены; обе вкруг ракитова кустика венчаны; у каждой дети, и все какими-то судьбами законные.

— Кому покидаешь именье?—спросили умиравшего.

— Кто одолеет,— с усмешкой Андрей отвечал, и те злобные слова последними его словами были.

Затрещали, застонали заводы поташовские, дрогнуло правдой и неправдой нажитóе богатство.

Тяжбы начались, опеки... Кто ж одолел? Опекуны да те еще, что вершали дела...

Таков богатырь был Андрей Родивоныч. Богатырю на подмогу богатыри бывали нужны. На иные дела гусаров нельзя посылать — их берег Поташов, а надо же бывало иной раз кому язык мертвой петлей укоротить, у кого воза с товарами властной рукой отбить, кого в стену замуровать, кого в пруд послать карасей караулить. Медные деньги переливать тоже не стать была гусарам, ходившим в мундирах службы ее императорского величества. Для того водились у Поташова нужные мóлодцы; на заводах они не живали, в потаенных местах по лесам больше привитали, в зимницах да в землянках.

Смолокур Данило Клементьев из таких был... Но держалось им это втайне от чужих и своих. По месяцам Данило дома своего не видывал, а когда являлся в деревню, рассказывал, что бродил по лесам, нового смолья [1] разыскивал. А разжился Данило вот как... Был у него на руках мешок с золотом, не успел его передать Поташову, когда смерть застигла властного барина... Помер Андрей Родивоныч, и смолокур с тем мешком подальше от Муромских лесов убрàлся — в уездном своем городе в купцы записался. Покинул смолокурный промысел, зачал канаты да веревки вить, с Астраханью по рыбной части дела завел.

Трех годов на новом месте не прожил, как умер в одночасье. Жена его померла еще в Родякове; осталось двое сыновей неженатых: Мокей да Марко. Отцовское

---

[1] Сосновые корья, из которых смолу сидят.

прозвище за ними осталось — стали писаться они Смолокуровыми.

За̀раз двух невест братья приглядели — а были те девицы меж собой свойственницы, сироты круглые, той и другой по восьмнадцатому годочку только что ми́нуло. Дарья Сергевна шла за Мокея, Олена Петровна за Марку Данилыча. Сосватались в филипповки; мясоед в том году был короткий, Сретенье в прощено воскресенье приходилось, а старшему брату надо было в Астрахань до во́дополи съездить. Решили венчаться на Красну горку, обе свадьбы справить за̀раз в один день.

Прошел великий пост, пора бы домой Мокею Данилычу, а его нет как нет. Письма Марко Данилыч в Астрахань пишет и к брату и к знакомым; ни от кого нет ответа. Пора б весе́лым пирком да за свадебку, да нет одного жениха, а другой без брата не венчается. Мину́л цветной мясоед, настало крапивное заговенье[1]. Петровки подоспели, про Мокея Данилыча ни слуху, ни духу. Пали, наконец, слухи, что ни Мокея, ни смолокуровских приказчиков в Астрахани нет, откупные смолокуровские воды пустуют, остались ловцам не сданные.

Перед Ильиным днем прибрел к Марку Данилычу астраханский приказчик его, Корней Евстигнеев, по прозвищу Прожженный. Вести принес он недобрые. Вот что рассказывал.

По съеме на откуп казенных вод Мокею Данилычу, до той поры как с ловцами рядиться, гулевых дней оставалось недели с три. Дело было великим постом, вздумалось ему на померзлом море потешиться — на «беленького»[2] съездить. Подобрал товарищей, всех своих приказчиков взял, «разъездных», и поехали они артелью человек в тридцать на санях в Каспийское море. Напрасно опытные люди их отговаривали, напрасно пугали, что время выбрали они ненадежное, потому что ветра стоят сильные. Не послушалась молодежь — поехала. Дня три везли до вольной воды на санях съестные припасы, дря́галки, кротилки, чекмари́ и ружья[3]. Видят,

---

[1] *Цветной мясоед* — от Пасхи до петровок; *крапивное заговенье* — воскресенье через неделю после Троицы.

[2] Мелкий тюлень, еще не покинувший матери, иначе «белок».

[3] Орудия для тюленьего боя. *Дрягалка* — небольшая ручная дубинка, *кротилка* — то же, но побольше, *чекмарь* или *чекуша* — большая деревянная колотушка или долбня.

на закрайне шиха̀ну[1] видимо-невидимо; лов, значит, будет удачный. В тех огражденных от ветра шиханах тюлени детенышей выводят и оставляют там до весны, по нескольку раз на дню вылезая из воды через «лазки»[2] покормить детенышей. Набили неудалые охотники беленьких множество, стоном стоял тогда крик тюленят, сходный с плачем ребенка... Рук не покладывали охотники, работа̀ли на славу и, до верхов нагрузив сани богатой добычей, стали сбираться домой. Вдруг зафыркали лошади, стали копытами о́ лед бить... Бывалые охотники всполошились — «На̀ конь!..— кричат,— назад поскорей!..» Шест в тюлений лазо́к опустили — маячит,— льдину, значит, оторвало. Поскакали назад по своему следу, глядь — синеет вода, а вдали сверкает и белеет закрайна матерого льду... Туда, сюда — море кругом... Остались охотники на ледяном острову: ветер гонит их в море на огромной льдине... Носиться им на тающем плоту по Каспийскому морю, и если не переймут бедови́ков на раннюю косову́ю[3], погибнуть им всем в хвалынских волнах!..

«Пятнадцать ден нас по́ морю носило,— рассказывал Корней Евстигнеев,— ни берега не видать, ни лодок, ничего живого... Запасы приели, голодать стали. Долго крепились, да нечего делать — пришлось согрешить: лошадей стали резать, конину есть, тюленье мясо даже ели... А тут красные дни наступили, ветру нет у́йму, дует-подувает от Астрахани, а нас все дальше да дальше в море уносит, а льдина все тает да тает, и час о́т часу она рыхлей да рыхлей... Опасно стало всем в одной кучке быть, провалиться боялись... По сторонам разбрелись, сани расставили друг от дружки подальше... Ночью однажды слышим — треснуло что-то, потом зашумело; бросились на̀ шум — вода... Забрезжилось в небе... Глядим — льдину на̀двое разломило, меж половинок широкий пролив. На нашей половинке пять человек, на той двадцать четыре, там и хозяин. Солнышко встало, а их уж чуть видно. Ихня половинка меньше нашей была, гнало ветром ее поскорей. К полу́дням совсем и́з виду скрылись они... Дён пять еще нас носило, ветер сменил-

[1] Взгромоздившиеся ребром и боком льдины.
[2] Отверстия во льду, которые тюлени продувают снизу.
[3] Большая ловецкая лодка, рано выходящая на морской промысел.

ся, нас на восток потянуло. Уральски казаки с морских кусовы́х нас увидали, переня́ли, и были мы с ними на Эмбинских промысла̀х вплоть до петровок, оттуда нас привезли в Гурьев, а из Гурьева по своим сторонам разошлись мы. И я, Христовым именем питаясь, вот до домов доволокся».

Марко Данилыч то́тчас в Астрахань сплыл, в Красной Яр ездил, в Гурьев городок, в Уральск, везде о брате справлялся, но нигде ничего проведать не мог... Одно лишь узнал в Астрахани, что по тем удальцам, кои ездили с ним, давно панихиды отпели.

Домой воротясь, Марко Данилыч справил по брате доброе поминовенье: по тысяче нищих каждую субботу в его доме кормилось, целый год канонницы из Комарова «негасиму» стояли, поминали покойника по керженским скитам, по черниговским слободам, на Иргизе, на Рогожском кладбище. Честно устроил братнюю душу Марко Данилыч. Потужив, после рождества свадьбу он справил, женился на Олене Петровне.

Пышная свадьба была. Изо многих городов гостей наехало, люди все богатые, первостатейные, пирам конца не было. Шумны́ и ве́селы были пиры, но горем и печалью с них веяло. Грустил по брате Марко Данилыч; грустила и его молодая жена Олена Петровна, тяжело ей было глядеть на подругу, что, не видав брачного венца, овдовела. Много о Дарье Сергевне она тихих слез пролила; люди тех слез не видали, знали про них только бог да муж... А муж жену не тревожил, печалью во дни радости ее не попрекал, сам горевал вместе с Оленушкой о безмолвной, на все слова безответной Дарье Сергевне...

Убедила Оленушка бездомную «сиротку-сестрицу» жить у нее, всяким довольством ее окружила, жениха обещалась сыскать. Безродная Дарья Сергевна перешла жить к «сестрице», но с уговором — не поминали б ей никогда про брачное дело. «Остаток дней положу на молитвы»,— сказала она, надела черный сарафан, покрылась черным платом и в тесной, уютной горенке повела жизнь «христовой невесты».

Только четыре годика прожил Марко Данилыч с женой. И те четыре года ровно четыре дня перед ним пролетели. Жили Смолокуровы душа в душу, жесткого слова друг от дружки не слыхивали, косого взгляда не ви-

дывали. На третий год замужества родила Олена Петровна дочку Дунюшку, через полтора года сыночка принесла, на пятый день помер сыночек; неделю спустя за ним пошла и Олена Петровна.

Когда она умирала, позвала Дарью Сергевну. Богом ее заклинала — скинула б черное платье, женой была бы Марку Данилычу, матерью Дуне сиротке.

Не восхотела того Дарья Сергевна. Наотрез отказала кончавшей дни сестрице-подруге.

— Матерью Дуне буду я,— сказала она.— Бога создателя ставлю тебе во свидетели, что, сколько смогу, заменю ей тебя... Но замуж никогда не посягну — земной жених до дня воскресенья в пучине морской почивает, небесный царит над вселенной... Третьего нет и не будет.

Замолкла Олена Петровна и, собравшись с силами, тихо, сквозь слезы промолвила, взглянув на подошедшего Марка Данилыча:

— Его не оставь ты советом своим... попеченьем... заботой... Глядеть бы мне на вас да радоваться... Дунюшку, Дунюшку ты не покинь!

А Дунюшка тут. Посадили ее на кровать возле матери. Белокуренька девочка смеется аленьким ротиком и синенькими глазками, треплет розовую ленточку, что была в вороту́ материной сорочки... Так и заливается — ясным, радостным смехом.

— Господи!.. Царю небесный, милостивый!..— глядя на дочку, с трудом шептала умиравшая.— Даруй ей, господи, быть всегда радостной... даруй ей, господи... не знавать большой кручины...

Замолкла. А в тишине еще слышен веселый младенческий смех Дуни, по-прежнему она играет ленточкой на груди матери. И при звуках ангельского веселья малютки-дочки к ангелам полетела душа непорочной матери.

— Оленушка! — вырвалось из наболевшей груди Марка Данилыча... Потеряв сознанье, снопом покатился он у одра почившей.

— Отошла? — горько воскликнул он, придя в память.

— К богу духов и всякия плоти,— печально, но торжественно молвила Дарья Сергевна и, подав ему на̀ руки все еще смеявшуюся Дуню,— подите с ней,— сказала,— надо опрятать покойницу.

С Дуней на руках в другую горницу перешел Марко Данилыч. Окна раскрыты, яркое майское солнце горит в поднебе́сье, отрадное тепло по земле разливая; заливаются в лазурной высоте жаворонки, а в тенистом саду поет соловей — все глядит весело, празднично... Девочка радостно хохочет, подпрыгивая на отцовских руках и взмахивая пухленькими ручками.

Новый вдовец клонится на̀земь, клонится, клонится и, бережно опустив на̀ пол дочку, так зарыдал, что сбежались домашние и его, недвижного, почти бездыханного, перенесли на постель.

И когда пришел в себя Марко Данилыч, ему вспомнилось участье отца его в кровавых делах Поташова. И так говорил он:

— Родитель помер в одночасье!.. Брат в море потонул!.. Она, в таких молодых годах, померла!.. Господи! Ты, по писанию, мстишь до седьмого колена!.. Но ты ведь, господи, и милостив... Излей на меня всю ярость свою, но Дуню мою сохрани, Дуню помилуй!..

* * *

И после того потекли дни за днями.

Марко Данилыч торговым делам предался. Трудом, заботами, работой неустанной утолял он, сколько было возможно, заевшее жизнь его горе. Каждый год не по одному разу сплывал он в Астрахань на рыбные промысла́, а в уездном городке, где поселился отец его, построил большой каменный дом, такой, что и в губернском городе был бы не из последних... Рядом с тем домом поставил Марко Данилыч обширные прядильни, и скоро смолокуровские канаты да рыболовные снасти в большую славу вошли и в Астрахани и на Азовском поморье. На Унже лесные дачи скупал, для каспийских промыслов строил кусовы́е и ловецкие, реюшки и бударки, сгонял строевой лес в безлесные места низового Поволжья и немало барышей от того получал. В неустанной деятельности старался он утопить свое горе, но забыть Оленушку не мог... Мрачно стал смотреть на мир и на всех людей, опричь подраставшей Дуни,— в нее же душу свою положил. И трудился и работал для ней только. «Мне,— говаривал он,— ничего не надо, ей бы толь-

ко, голубушке, побольше припасти, чтоб не ведала нужды, не знавала недостатков».

Мрачен, грозен, властен стал с другими, скуп, суров, неподступен для всех подначальных. С утра до́ ночи черною, хмурою тучей ходил, но как только взглянет на отца веселыми синенькими глазками Дуня — он тотчас просияет, и тут проси у него, что хочешь.

И любили за то Дуню, и много молитв за нее возносилось от старых, от бедных, от подначальных...

Богатства росли с каждым годом — десяти лет после братниной смерти не минуло, а Марка Данилыча стали уж считать в миллионе, и загремело по Волге имя его. А годов ему еще немного было — человек в самой поре, и хоть вдовец, а любой невесте жених завидный. И московские и поволжские семейные купцы с дум своих его не скидали, замышляли с ним породниться. По старорусским свычаям-обычаям не повелось с невестиной стороны сватовство зачинать, однако же многие купцы к Смолокурову свах подсылали. Выхваляли свахи своих невест пуще божьего милосердия, хвастали про них без совести и всеми мерами уговаривали Марка Данилыча, делом не волоча, перстнями меняться, златой чарой переливаться. Но от него один свахам ответ бывал: «Бог вас спасет, что из людей меня не выкинули, а беспокоились вы, матушки, попусту. Невесты не хаю, а думаю так: нашел бы я в ней жену добрую и разумную, да не сыскал бы родной матери Дунюшке. До гробовой доски не возьму я дочке мачехи!..» И сколь ни старались свахоньки в надежде на богатые милости невестиных родителей, сколь ни тарантили перед золотым женишком, сколько ни краснобаяли, не удалось им подцепить на удочку сумрачного Марка Данилыча. На все уговоры, на все увещанья их даже от писания оставался он непреклонным и данного себе слова не рушил... После каждого отказа досужим свахам больше и больше полнилось его сердце любовью и жалостью к ненаглядной безматерней сироточке. Со всеми мрачный, со всеми суровый, зачастую даже жестокий, таял он душой перед дочкой. Стоило ей словечко промолвить за кого из провинившихся домочадцев, тотчас гнев на милость сменялся. И не было из них ни единого, кто бы за Дуню в огонь и в воду не пошел бы.

Марко Данилыч богател. Дуня красой и добром полнилась. Росла под умным, нежным при́смотром Дарьи

Сергевны... Безмужняя вдовица как сказала, так и сделала — заменила она Дуне родную мать, всю любовь непорочного сердца перенесла на дочку незабвенной подруги, вся жизнь ее в Дуне была... Ради милой девочки покинула она жизнь христовой невесты, горячей любовью, материнскими ласками, денноношными заботами о сиротке наполнились ее дни, но не нарушила Дарья Сергевна строгого поста, не умáляла теплых молитв перед господом об упокоении души погибшего в море раба божия Мокея. К тем молитвам прибавила столь же горячие, столь же задушевные молитвы о здравии, душевном спасении и честнóм возрастании рабы божией младенца Евдокии. Из любви к назвáнной дочке приняла Дарья Сергевна на себя и хозяйство пó дому Марка Данилыча, принимала его гостей, сама с Дуней изредка к ним ездила, но черного платья и черного платка не сняла. Незримо для людей ведя суровую жизнь строгой постницы, о доме и всем мире теплая молитвенница. Дарья Сергевна похудела, побледнела, но всегда прекрасно было крытое скорбью и любовью лицо ее, святым чувством добра и любви сияли живые, выразительные очи ее. Удивлялись вдовице все знавшие ее, но были и прокаженные совестью, не веря чистым побужденьям. на подвúжную жизнь ее метали грязными сплетнями. Никто, кроме самого Марка Данилыча, не знал, что покойница Олена Петровна на смертном одре молила подругу выйти за него замуж и быть матерью Дуне. Да и узнали бы, веры тому не дали бы... Как можно было поверить, чтоб молодая бедная девушка не захотела стать полноправной хозяйкой в доме такого богача?.. Как поверить, чтоб она из одной бескорыстной любви к безматерней сиротке решилась беззаветно посвятить ей дни свои.

— «Нé спроста тут»,— говорили смотники. Ретивые до клевет и напраслин, кумушки поддакивали на такие речи. Бродячие приживалки, каких много по городам, перелетные птицы, что век свой кочуют, перебегая из дому в дом: за больными походить, с детьми поводиться, помочь постряпать, пошить, помыть, сахарку поколоть,— уверяли с клятвами, что про беспутную Дарёнку они вернехонько всю подноготную знают — ходит-де в черном, а жизнь ведет пеструю; живет без совести и без стыдения у богатого вдовца в полюбовницах. И никто тем сплетням не был так рад, как свахоньки, что неудачно пред-

лагали невест Марку Данилычу. Много доставалось ему от досужих их языков — зачем, дескать, на честны́х, хороших невестах не женится, а, творя своей жизнью соблазн, других во грех, в искушение вводит... И много при том бывало непрошенных забот об участи Дуни. «Попало милое, неразумное дитятко в мерзость греховную,— говорили смотницы...— Чего насмотрится, чему научится?.. Вырастет большая, сама по тем же стопам пойдет». Так говорили приживалки, так говорили и обманувшиеся в расчетах свахоньки.

Недобрых слухов до Марка Данилыча никто довести не смел. Человек был крутой, властный — неровен час, добром от него не отделаешься. Но дошли, добежали те слухи до Дарьи Сергевны.

* * *

Раз поутру́ забежала к ней одна из бродячих приживалок Ольга Панфиловна. Была она вдова губернского секретаря, служившего когда-то в полиции и скончавшего пьяные дни свои под забором невдалеке от питейного. Много гордилась Ольга Панфиловна званьем «чиновницы» и тем, что муж ее второй чин имел. Звала себя «благородною» и потому шляпки носила да чепчики, шлялась по дворянским домам и чиновничьим, но, не видя там большого припену, нисходила своими посещеньями до «неблагородных», даже до самых последних мещан. Не было у ней постоянного жилища — где день, где ночь привитала. И пожитки ее по всему городу были раскиданы: у исправницы сундук, у стряпчихи ларец, у казначейши постелишка — все у «благородных». И мыкалась век свой бездомная Ольга Панфиловна промеж дворов, перенося сплетни и́з дома в дом. Редкий творческий дар имела она — иной раз такое выдумает, что после сама надивиться не может. Много бранили ее, бывало дело — и колачивали, но, возверзая печаль на господа, мирилась она с оскорбителями, а работать языком все-таки не переставала. Ничем не оскорблялась Ольга Панфиловна, кроме только одного: ежели кто усомнится в ее «благородстве», ежели скажет кто, что чин губернского секретаря не важен. Глаза тому выцарапает, если сказавший чином еще не повыше.

Когда Ольга Панфиловна бойко влетела в горенку Дарьи Сергевны, та сидела за самоваром. Большим крестом [1] помолившись на иконы и чопорно поклонясь «хозяюшке», перелетная гостейка весело молвила:

— Чай да сахар!

— К чаю милости просим,— не особенно приветно отозвáлась ей Дарья Сергевна.

— Как живете-можете?.. Все ли здоровы у вас, матушка?.. Дунюшка-светик здорова ли? — зачастила Ольга Панфиловна, снимая капор и оправляя старомодный и крепко поношенный чепчик.

— Слава богу, все живы, здоровы,— молвила Дарья Сергевна.— Садитесь, чайку покушайте.

— Ну, и слава богу, что здоровы, здоровье ведь пуще всего...— затарантила Ольга Панфиловна.— Не клади-ка ты, сударыня, в накладку-то мне, сахар-от нонче ведь дорог. Мы ведь люди недостаточные, вприкусочку все больше. Да не один сахар, матушка, все стало дорогим-дорогохонько, ни к чему нет приступу... Вышла я сегодня на базар, пришла раным-ранешенько, возá еще не развязывали, хотелось подешевле купить кой-чего на масленицу... Ничего, сударыня, не купила, как есть ничего — соленый судак четыре да пять копеек, топлёно масло четырнадцать, грешнева мука полтинник [2]. Икорки бы надо к блинкам — купила б исправской, хорошенькой, да купил-то [3], Сергевнушка, нет, так я уж пробоечек [4] думала взять — и те восьмнадцать да двадцать копеек, самы последние... Как жить, чем бедным людям питаться? Сама посуди... Опять же дрова как вздорожали! Хоть мерзни с холоду, хоть помирай с голоду... Вот тебе хорошо, Сергевнушка, живешь безо всякой заботы, на всем на готовом, все у тебя есть, чего только душеньке угодно, а вспомни-ка прежне-то время, как с маткой у нас в слободе проживала. Покойница твоя тоже ведь, что и наша сестра, и горе и нужду видала, век свой колотилась, сердечная... Ну, а тебе за красоту за твою вишь какое счастье досталось... Про Марка Данилыча нет ли вестей?.. Приедет, чай, к масленице-то?

---

[1] Двуперстным.

[2] Цены в небольших городках на Горах лет двадцать пять тому назад.

[3] *Купилы* — деньги.

[4] Остатки в грохоте, после приготовления зернистой икры.

Хоть Дарья Сергевна не поняла злого намека благородной приживалки, но как-то неловко стало ей, краска показалась на бледном лице.

— Надо бы приехать,— ответила.— В Астрахани дела к сретенью кончил, со дня на́ день его ожидаем.

— Надо ему приехать, надо, Сергевнушка,— тоже ведь заговенье,— с усмешкой сказала Ольга Панфиловна, лукаво прищурив быстро бегавшие глазки.— До кого ни доведись, всяк к заговенью к своей хозяюшке торопится. А ты хоть и не заправская, а тоже хозяйка.

Пуще прежнего вспыхнула Дарья Сергевна, вполне поняв, наконец, ядовитый намек благородной приживалки. Дрогнули губы, потупились очи, сверкнула слезинка. Не ускользнуло ее смущенье от пытливых взоров Ольги Панфиловны; заметив его, уверилась она в правоте сплетни, ею же пущенной по городу.

— Я ведь, Сергевнушка, спро̀ста молвила,— облокотясь на́ угол стола и подгорюнясь, заговорила она унылым голосом.— От меня, мать моя, слава богу, сплеток никаких не выходит... Смерть не люблю пустяков говорить... Так только молвила, тебя жалеючи, сироту беззаступную, знать бы тебе людские речи да иной раз, сударыня моя, маленько и остеречься.

— Да чтой-то вы, Ольга Панфиловна?.. Про что говорите? — с горькими слезами в голосе спросила растерявшаяся Дарья Сергевна.

— Ах, Сергевнушка, Сергевнушка! Куда каково мне жалко тебя, горемычную!..— участливо покачивая головой, даже со слезами на красных маслянистых глазах, молвила Ольга Панфиловна.— Весь город ведь что в трубы трубит, а ты и не знаешь ничего, моя горегорькая!.. Вот уж истинная-то правда, что в сиротстве жить — только слезы лить, все-то обидеть сироту хотят, поклепы несут на нее да напраслины, а напраслина-то ведь, что уголь: не обожжет, так запачкает... В трубы трубят, сударыня, в трубы трубят!.. А все Аниська Красноглазиха — первая всяким злыдням заводчица... Сейчас на базаре попалась — так и судачит, так и судачит. И что уж за язык у этой подлюхи — так ведь и режет, так и режет... А уж она ли, кажется, не оставлена милостями Марка Данилыча да твоими, Сергевнушка... И рыбкой-то ее не оставляете, и мучкой-то, и дровишками; и шубейку по осени справили злоязычнице... Вот те и

благодарность!.. Да и ждать другого от Аниськи нечего... Кровь-то в ней какая? Самая подлая: подкидыш ведь она, девицына дочка... Если б в ней хоть единая капелька благородной крови была, стала бы разве она такие речи нести про свою благодетельницу?.. Говорит этакая подлая, будто ты, Сергевнушка, летось ребеночка принесла!.. Вот ведь аспид-от какой, вот ехидна-то!.. Не стерпела я, Сергевнушка, выругала ее, так выругала, что надолго ей памятно будет. Тебе бы, я говорю, денно и нощно бога за Дарью Сергевну молить, а ты, бесстыжая, гляди-ка, каки новости распускаешь... Сама ты, говорю ей, паскуда, и мать-то твоя паскудная была, да и тетка тоже, Матрешка-то калачница, весь, говорю, род твой самый подлеющий, а ты смеешь этак честную девицу порочить... Да тебе, говорю, плетей мало за такие сплетки... Что Сергевнушка, говорю, сирота, так ты и думаешь, что на нее всякую канитель можно плести... Нет, говорю, сударыня, я тебе этого не спущу; хоть, говорю, и не видывала я таких милостей, как ты, ни от Марка Данилыча, ни от Сергевнушки, а в глаза при всех тебе наплюю и, что знаю, все про тебя, все расскажу, все как на ладонке выложу... Вот она какая, Сергевнушка, а ты еще оделяешь ее всем. И сегодня на базаре похваляется, что это, говорит, за рыба — соленый судак?.. мне, говорит, от Смолокуровых осетрины к масленице-то пришлют, да малосольной белужины по большому звену, да зернистой икры бурак; приходи, говорит, ко мне, хорошими блинками угощу... А я ей: совести, говорю, в тебе нет, искариотка ты подлая... Кто тебя кормит да жалует, на тех ты сплетки плетешь... Плюнула я на нее, матушка, да и прочь пошла... А она хоть бы бровью моргнула, хоть б что — такая бесстыжая... Ахти, матушки!.. Закалякалась я с тобой, Сергевнушка, а у меня квашня поставлена, творить надо — хлебы-то не перекисли бы... На минуточку ведь забежала, только проведать, живы ли вы все, здоровы ли, да вот грехом и заболталась...

Не отвечала Дарья Сергевна. Как убитая, сидела она, поникнув головою.

Размашисто надела и завязала свой капор Ольга Панфиловна, помолилась на иконы и стала на прощанье целовать Дарью Сергевну.

— Да ты, Сергевнушка, не огорчайся,— утешала она ее.— Мало ль чего не наврет Аниська Красноглази-

ха — всего от нее, паскуды, не переслушаешь. Плюнь на нее — собака лает, ветер носит. К чистому срамота не пристанет... А это вот скажу: после таких сплеток я бы такую смотницу не то что в дом, к дому-то близко бы не подпустила, собак на нее на смотницу с цепи велела спустить, поганой бы метлой со двора сбила ее, чтоб почувствовала она, подлая, что значит на честных девиц сплетки плести... Прощай, моя сердечная, прощай миленькая... Дунюшку поцелуй... А если милость будет, пришли мне на бедность к масленице-то рыбешки какой ни на есть, да икорочки,— ведь у вас, поди, погреба от запасов-то ломятся... Не оставь, Сергевнушка, яви милость, а Аниську Красноглазиху и на глаза не пущай к себе, не то, пожалуй, и еще бог знает чего наплетет.

По уходе Ольги Панфиловны Дарья Сергевна долго за чайным столом просидела. Мысли у ней путались, в уме помутилось. Не вдруг она сообразила всю ядовитость речей Ольги Панфиловны, не сразу представилось ей, как люди толкуют про ее положение. В голове шумит, в глазах расстилается туман, с места бедная двинуться не может. Все ей слышится: «В трубы трубят, в трубы трубят!..»

Вдруг тихо-тихонько растворилась дверь, и в горницу смиренно, степенно вошла маленькая, тщедушная, не очень еще старая женщина в черном сарафане, с черным платком в роспуск. По одёже знать, что христова невеста. Положив уставной поклон перед иконами, низко-пренизко поклонилась она Дарье Сергевне и так промолвила:

— Мир дому сему и живущим в нем!.. С преддверием честной масленицы проздравляю, сударыня Дарья Сергевна.

Это была Анисья Красноглазова, того же поля ягода, что и Ольга Панфиловна. Разница между ними в том только была, что благородная приживалка водилась с одними благородными, с купцами да с достаточными людьми из мещанства, а Анисья Терентьевна с чиновными людьми вовсе не зналась, держалась только купечества да мещанства... Ольга Панфиловна хоть и крестилась большим крестом в старообрядских домах, желая тем угодить хозяевам, но, как чиновница, не считала возможным раскольничать, потому-де, что это неблагородно. Оттого водилась она и с матушкой протопопицей, и с попадьями, и с просвирнями. Анисья Терентьевна ста-

ринки держалась—была по спасову согласию. Раскольники этого толка хоть крестят и венчают в церкви, но скорей голову на отсеченье дадут, чем на минутку войдут в православный храм, хотя б и не во время богослужения. Терентьевна не то что в церковь, к церковнику в дом войти считала таким тяжким грехом, что его ни постами, ни молитвами не загладишь. Потому Красноглазихе в старообрядских домах и было больше доверия, чем прощелыге Ольге Панфиловне, что, хотя по раскольникам из-за подарков, прикидывалась верующею в «спасительность старенькой веры» и уверяла, что только по своему благородству не может открыто войти в «ограду спасения» и потому и живет «никодимски». Как Никодим[1] тайно приходил ко Христу, так и она тайно приходит на поучения и беседы о старой вере. На свадьбах, на именинах, на обедах и вечерних столах у никониан Ольга Панфиловна бывала непременной участницей, ее не сажали за красным столом, не пускали даже в гостиные комнаты, приспешничала она в задних горницах за самоваром, распоряжалась подачей ужина, присматривала, чтобы пришлая прислуга не стащила чего. Анисья Терентьевна не то что у церковных, и у раскольников на пирах сроду не бывала, порицая их и обзывая «бесовскими игрищами». Зато каждый раз получала от согрешивших «даяние благо», потому что очень уж была горазда отмаливать грехи учреждавших в угоду дьяволу и на прельщение человекам демонские празднества.

У Анисьи Терентьевны были еще два промысла; Ольге Панфиловне, как церковнице, они были не с руки. У кого из раскольников покойник случится — Анисья Терентьевна псалтырь над ним читает, праздник господень либо хозяйские именины придут — она службу в моленной справляет. Был и еще у ней промысел: «мастерицей» она была, грамоте детей обучала. Получала за труды плату съестными припасами, кой-чем из одежи, деньгами редко. Брала за выучку с кого погодно, с кого так; за азбуку плата, за часовник другая, за псалтырь третья. По домам обучать Красноглазиха не ходила, разве только к самым богатым; мальчики, иногда и девочки сходились к ней в лачужку, что поставил ей какой-то дальний сродник на огороде еще тогда, как она только

[1] *Никодимами* у раскольников зовутся православные, тайно придерживающиеся старообрядчества.

что надела черное и пожелала навек остаться христовой невестой. Дети всякие домашние послуги отправляли ей — воду носили, дрова кололи, весной гряды копали, летом пололи их. Хоть эти работы при отдаче в науку ребят в уговор не входили, однако ж родители на Терентьевну за то не скорбели, а еще ей же в похвалу говаривали: «Пущай-де к трудам пострелов приучает». Розог на ребят Красноглазиха не жалела, оплеухи, подзатыльники в счет не ставились. Ленивых и шалунов пугала «букой» либо «турлы-мурлы, железным носом», что впотьмах сидит, непослушных детей клюет и железными когтями вырывает у них из бока куски мяса. Когда дети, подрастая, переставали резвиться, когда зачинали, по выражению Анисьи Терентьевны, часослов дёрма драть, тогда турлы-мурлы в сторону, и праздное место его заступал дьявол с хвостом, с рогами и с черной эфиопской образиной... «Рыскает он,—поучала учеников Анисья Терентьевна,— рыскает окаянный враг божий по земле, и кто, богу не помолясь, спать ляжет, кто в никонианскую церковь войдет, кто в постный день молока хлебнет аль мастерицу в чем не послушает, того железными крюками тотчас на мученье во ад преисподний стащит». Поученья о дьяволе и аде мастерица расширяла, когда ученики станут «псалтырь говорить»,— тут по целым часам рассказывает, бывало, им про козни бесовские и так подробно расписывает мучения грешников, будто сама только что из ада выскочила. Еще подробней рассказывала она про антихриста. Он уж пришел, по ее словам, и царствует в никонианах: церковные попы — его жрецы идольские, власти — слуги творящие волю сына погибельного, всяко «скоблено рыло» [1], всякий щепотник, всякий табашник запечатлен его печатью. Сидит он в церкви, в судах, кроется в щепоти [2], в четвероконечном кресте, в пяти просфорах, в еретических никонианских книгах. Все в мире растлено его прелестью: земля осквернена вглубь на тридцать сажен, реки, озера, источники нечисты от его тлетворного дыханья; потому и нельзя ни пить, ни есть ничего, не освятив наперед брашна иль питья особой молитвой. Запугав антихристом и дьяволом учеников, поучает, бывало, их мастерица, как должно жить и чего не творить,

[1] Бреющие бороду.
[2] Трехперстное крестное знамение.

дабы не впасть во власть врага божия, не сойти вместе с ним в тартарары преисподние. О господних заповедях, о любви к богу и ближнему ни слова; пьянство, обманы, злоречье, клевета, воровство, даже распутство, все извинялось — то не грехи, но токмо падение, покаянием можно очистить их... Уставные поклоны, пост в положенные дни, а пуще всего «необщение со еретики», вражда и ненависть к церкви и церковникам — вот и все нравственные обязанности, что внушают раскольничьим детям мастерицы. Творить брань со антихристом и со всеми его слугами—подвиг доблестный, доставляющий в здешнем мире гонения, а в будущем неувядаемые, светозарные венцы. Так учила Анисья Терентьевна, и далеко разносилась о ней слава, как о самой премудрой учительнице.

Хоть Марко Данилыч был по поповщине, однако ж Анисья Терентьевна сильно надеялась, что, как только подрастет у него Дуня, он позовет ее обучать дочку грамоте. Мастериц из поповщинского согласа во всем городе ни одной не было, а Красноглазиха была в славе, потому и рассчитывала на Дуню. Тут не куль муки за часослов, не овчинная шуба за выучку «всему до крошечки» — обученье единственной дочери первого во всем уезде богача не тем пахло... И Анисья Терентьевна, еще ничего не видя, утешала уж себя мыслию, что Марко Данилыч хорошенький домик ей выстроит, наполнит его всем нужным, да, опричь того, и деньжонок на разживу пожалует. Потому и забегала она частенько к Дарье Сергевне, лебезила перед Марком Данилычем, а Дунюшку так ласкала, что всем было на̀ диво. За то и не оставлял ее Смолокуров подарками... И это самое распаляло злобой благородную Ольгу Панфиловну, спать не давало ей.

Семь лет Дуне минуло — срок «вдавати отрочат в поучение чести книг божественного писания». Справив канон, помолясь пророку Науму да бессеребренникам Кузьме и Демьяну, Марко Данилыч подал дочке азбуку в золотом переплете и точеную костяную указку с фольговыми завитушками, а затем сам стал показывать ей буквы, заставляя говорить за собой: «аз, буки, веди, глаголь...»

Дуня, как все дети, с большой охотой, даже с самодовольством принялась за ученье, но скоро соскучилась,

охота у ней отпала, и никак не могла она отличить буки от веди. Сидевшая рядом Анисья Терентьевна сильно хмурилась. Так и подмывало ее прикрикнуть на ребенка по-своему, рассказать ей про турлы́-мурлы́, да не посмела. А Марко Данилыч, видя, что мысли у дочки вразброд пошли, отодвинул азбуку и, ласково погладив Дуню по головке, сказал:

— На первый раз будет с тебя, моя грамотница. Сам-от учить я не горазд, да мне же и некогда... Самому хотелось только почин положить, учить тебя станет тетя Дарья Сергевна. Слушайся ее да учись хорошенько — гостинца привезу.

Улыбнулась Дуня, припала личиком к груди тут же сидевшей Дарьи Сергевны. Ровно мукà, побелела Анисья Терентьевна, задрожали у ней губы, засверкали глаза и запрыгали... Прости-прощай, новенький домик с полным хозяйством!.. Прости-прощай, капитал на разживу! Дымом разлетаются заветные думы, но опытная в житейских делах мастерица виду не подала, что у ней нà сердце. Скрепя досаду, зачала было выхвалять перед Марком Данилычем Дунюшку: и разуму-то она острого, и такая девочка понятливая, да такая умная. Смолокуров самодовольно улыбался, гладил умницу по головке и велел выдать Анисье Терентьевне фунт чаю да голову сахару.

С того часу невзлюбила Красноглазиха и Марка Данилыча, и Дарью Сергевну, и даже ни в чем перед ней неповинную Дуню... Но про злобу ту знали только грудь ее да подоплёка... Пуще прежнего стала она лебезить перед Смолокуровым, больше прежнего ласкать Дунюшку и при каждом свиданье удавалось ей вылестить у «Марка богатого» то мучки, то крупки, то рыбки, то дровешек на бедность. Дарью Сергевну главной злодейкой своей она почитала за то, что перебила у ней прибыльную ученицу, какой досель не бывало и вперед не будет. Льстя в глаза в надежде на подарки, заглазно старалась она всеми мерами насолить своему недругу. А чем крепче насолишь, как не злым языком?..

Не об одной любви сердце сердцу весть подает, тайный ворог тем же сердцем чуется. Не слыхивала Дарья Сергевна от Красноглазихи слова неласкового, не видывала от нее взгляда неприветного, а стало ей сдаваться, что мастерица зло на нее мыслит. Невзлюбила она

Анисью Терентьевну и, была б ее воля, не пустила б ее на глаза к себе; но Марко Данилыч Красноглазиху жаловал, да и нельзя было идти наперекор обычаям, а по ним в маленьких городках Анисьи Терентьевны необходимы в дому, как сметана ко щам, как масло в каше,— радушно принимаются такие всюду и, ежели хозяева люди достаточные да тороватые, гостят у них подолгу.

— Все ли в добром здоровье, сударыня? — с умильной улыбочкой спрашивала Анисья Терентьевна, садясь на краешек стула возле двери.

— Слава богу,— сухо отвечала ей Дарья Сергевна, силясь оправиться от смущенья, наведенного на нее только что ушедшей Ольгой Панфиловной.

— Дунюшка здоровенька ли?

— Слава богу.

— Учится каково?

— Учится — ничего.

— Далеко ль ушла?

— Часослов покончили, за перву кафизму села,— ответила Дарья Сергевна.

— Так, сударыня... Так впрямь и за псалтырь села... Слава богу, слава богу,— говорила Анисья Терентьевна и, маленько помолчав, повела умильные речи.

— А я на базар ходила, моя сударыня, да и думаю, давно не видала я болезную мою Дарью Сергевну, сем-ка забреду к ней, сем-ка погляжу на нее да узнаю, как вы все живете-можете... Вдругорядь когда-то еще выпадет досужее времечко — дела ведь тоже, сударыня, с утра до ночи хлопоты, да и ходить-то, признаться, далеконько к вам, а базар-от от вас рукой подать, раз шагнула, два шагнула — и у вас в гостях... А до базару заходила я к Шигиным, забегала на единую минуточку — мальчонка-то ихний азбуку прошел, за часослов сажать пора, да вот друга неделя ни каши не несет, ни платà, ни полтины [1]. Сами посудите, Дарья Сергевна, как же я за часословец-от его без даров посажу?.. Не водится... И посмотрела же я на ихне житье-бытье: беднота-то какая,

---

[1] Кроме условной платы за учение, мастерица при каждой перемене учеником книги, то есть при начале часослова и при начале псалтыря, получает горшок сваренной на молоке каши, платок, в котором ученик несет этот горшок, и полтину деньгами. Кашу съедают ученики, платок и деньги поступают в карман мастерицы. Старинный обычай, упоминаемый еще в XV веке, сохраняется доселе у раскольников.

нищета-то, печь не топлена, мерзнут в избе-то, а шабры говорят — по троим-де суткам не пьют, не едят. Где полтину им взять, где платок купить, да еще кашу варить? Сама вижу — не из чего... А стары обычаи не преставишь... Нельзя, не годится: в мале порушишь — все предание порушишь... Нечего делать, велю Федюшке, мальчонке-то ихнему, сызнова учить азбуку, пущай его зады твердит, покамест батька с маткой не справятся... Да где горемычным им справиться, где справиться!.. Совсем подрезались, все, что было, и одежонку и постеленку, все продали, одно божие милосердие[1] покуда осталось... А большачок-от[2] все курит, сударыня, все курит, каждый божий день... Иной раз в кабаке, что супротив Михайлы архангела, с утра до ночи просидит, а домой приволочется, первым делом жену за косы таскать. Она во всю мочь «караул», а он-то ее перекрикивает: «Жена да боится своего мужа!..» Дело ночное, шабры сбегутся — сраму-то что, содом-от какой!.. Да этак, сударыня моя, кажинный-то день, кажинный день!.. Не раз усовестить его хотела: «Что, говорю, срамник ты этакой, делаешь?.. Что ты и себя и жену-то срамишь? Побойся, говорю, бога, ведь ты не церковник какой, что тебе по кабакам дневать-ночевать!.. Ведь ты, говорю, на все обчество, на всю святую нашу веру поношение наводишь. Послушай-ка, мол, что никониане-то говорят про тебя!..» Неймется, сударыня, хоть говори, хоть нет! И бога не боится и людей не стыдится!.. Ох-ох-ох-охо! Дела наши, дела, как подумаешь!..

Молча слушала Дарья Сергевна трещавшую, как заведенное колесо, мастерицу. Жалко ей стало голодавших Шигиных, а больше всего бойкого, способного на ученье Федюшку. Вынула из сундука бумажный плат и денег полтину. Подавая их мастерице, молвила:

— Вот тебе, Терентьевна, платок, вот тебе и полтина, велю работнице крупы на кашу отсыпать, доучивай только Федюшку как следует, сажай его скорей за часослов. Знаю я мальчика — славный такой.

— Что ты, сударыня?.. — с ужасом почти вскликнула Анисья Терентьевна.— Как сметь старый завет преставлять!.. Спокон веку водится, чтобы кашу да полтину мастерицам родители посылали... От сторонних книж-

---

[1] Иконы.
[2] Большак, большачок — муж.

ных дач не положено брать. Опять же надо ведь мальчонке-то по улице кашу в плате нести — все бы видели да знали, что за новую книгу садится. Вот, мать моя, принялась ты за наше мастерство, учишь Дунюшку, а старых-то порядков по ученью и не ведаешь!.. Ладно ли так?.. А?..

— Да не все ль равно? — молвила было Дарья Сергевна.

— Что ты, что ты, сударыня!.. Окстись!.. опомнись! — вскликнула громко Анисья Терентьевна.— Как возможно только помыслить преставлять старину?.. После того скажешь, пожалуй: «Не все ль едино, что в два, что в три перста креститься!..»

— Эк к чему применила!..— начала было Дарья Сергевна, но мастерица и договорить ей не дала.

— Всяка премена во святоотеческом предании, всяко новшество, мало ль оно, велико ли — богу противно,— строго, громко и внушительно зачла Анисья Терентьевна.— Ежели ты, сударыня, обучая Дунюшку, так поступаешь, велик ответ перед господом дашь. Про тех, что соблазняют малых-то детей, какое слово в писании сказано? «Да обесится жернов осельский на выи его, да потонет в пучине морстей». Во что, сударыня!..

— Чем же я соблазняю? — спросила Дарья Сергевна.

— А пременою древнего чина,— подхватила Анисья Терентьевна.— Сказано: «Мал квас все смешение квасит...» Сама мала отмена святоотеческого предания все тщетным и греховным творит... Упрямится у тебя Дунюшка-то иной раз?

— Бывает...— ответила Дарья Сергевна.— Нельзя же — ребенок.

— А ты что с ней делаешь, как она заупрямится, учиться не захочет аль зашалит? — спросила мастерица.

— Когда пожурю, а больше все лаской... Она ведь у нас кроткая, послушливая,— сказала Дарья Сергевна.

— Пожурю! Лаской! — с насмешкой передразнила ее Анисья Терентьевна.— Не так, сударыня, моя, не так... Что про это писано?.. А?.. Не знаешь?.. Слушайка, что: «Не ослабляй, бия младенца, аще бо лозою биеши его — не у́мрет, но здравее будет, ты бо, бия его по телу, душу его избавляешь от смерти; дщерь ли има-

ши — положи на ню грозу свою и соблюдешию от телесных, да не свою волю приемши, в неразумии прокудит девство свое»[1]. Так-то, сударыня моя, так-то, Дарья Сергевна.

— Ну уж этого никогда не будет,— вспыхнула Дарья Сергевна.— Да и Марко Данилыч пальцем тронуть ее не позволит.

— И тем погубит свое рождение. Беспременно погубит,— возвысив голос, горячо заговорила мастерица.— Сказано: «Наказуй дети в юности, да покоят тя на старости, аще же дети согрешат отцовским небрежением, ему о тех гресех ответ дати». Скажи ты это от меня Марку Данилычу... Опосле, как вырастет Дуня да согрешит, будет ему от бога грех, а от людей укор и посмех. Так-то, сударыня... Намедни, как была я у вас, поглядела на Дунюшку, и поболела сердцем, ох, каково горько поболела... Девочка махонькая, а по всем горницам бегает, по стульям скачет, да еще, прости господи, мирски песни поет... Тут бы сейчас дубцом ее, а тятенька смеется, хохочет, да и ты тоже, сударыня... Хорошо ль это?.. Что про это сказано? «Воспитай детище с прещением и не смейся к нему, игры творя: в мале бо ся ослабиши, в велице поболиши, скорбя»[2]. А Василий-то Великий, что юношам и отроковицам заповедал?.. А?.. Не знаешь разве, сударыня?.. «Бесстрастие телесное имети, ступание кротко, глас умерен, слово благочинно, пищу и питие немятежно»; а она у вас намедни за обедом кричит, шумит, даже, прости господи, мирску песню запела... А отец-от ровно и не слышит, а тебе ровно и дела нет... Что дальше Василий-от Великий гласит?.. «При старейших молчание, премудрейшим послушание...» А я намедни стала было ее уговаривать маленько с пристрастием, про турлы́-мурлы́ молвила ей, а она мне язык высунула... благочинно ли это, по писанию ли?.. Отроковице, по Василию Великому, «не дерзкой быти на смех», а она у вас только и дела, что гогочет, «стыдением украшатися» надобно, а она язык мне высунула, «долу зрение имети» подобает, а она, ровно коза, лупит глаза во все стороны... Хорошее ли это дело, совместимо ли с законом святоотеческим?.. Сама, сударыня, посуди! Девица ты

---

[1] «Домострой», XVII. *Прокудить* — шалить, проказничать. Прокудить девство — лишиться целомудрия.

[2] «Домострой», XVII.

не глупая, скажи по чистой совести: хорошо ли такую волю отроковице давать?

— По-моему, вреда тут нет,— молвила Дарья Сергевна.— Ребенок еще, пущай ее порезвится...

— Нет, мать моя! — возразила Анисья Терентьевна.— Послушала бы ты, что в людях-то говорят про твое обучение да про то, как учишь ты свою ученицу... Уши вянут, сударыня. Вот что.

— Мало ли что люди говорят,— молвила Дарья Сергевна,— всех людских речей не переслушаешь.

— Что тут люди! Не люди, а я тебе говорю,—вспыхнула Анисья Терентьевна.— Я, матушка, слава тебе господи, не одну сотню ребят переобучила. Знаю это дело вдосталь... Насчет чего другого — так, а уже насчет учьбы со мной, сударыня, не спорь. Может, верст ста на полтора кругом супротив меня другой мастерицы нет. Не в похвальбу скажу, сколько ребятенок грамоте ни обучила, мужеска пола и женска, все до единого в древлем благочестии крепко пребывают, свято хранят отеческие предания... А вы, сударыня, со своим Марком Данилычем неповинную от бога отводите, с бесом же на пагубу приводите. Да!.. Нечего, сударыня, лицо-то косить — не бойсь, не испугаюсь, всю правду-матку выложу тебе, как на ладонке... Губите вы, сударыня, со своим Марком Данилычем отроковицу непорочну, губите!.. Да-с!..

— Да чтой-то ты, Анисья Терентьевна?.. Помилуй, ради Христа, с чего ты взяла такие слова мне говорить? — взволнованным голосом, но решительно сказала ей на то Дарья Сергевна.— Что тебе за дело? Кто просит твоих советов да поучений?

Спохватилась мастерица, что этак, пожалуй, и гостинца не будет, тотчас понизила голос, заговорила мягко, льстиво, угодливо. Затаенной язвительности больше не было слышно в ее речах, зазвучали они будто сердечным участьем.

— Ах, сударыня ты моя Дарья Сергевна! Ведь жалеючи вас, моя болезная, так говорю. Может, что негодное молвила — не обессудьте. не осудите, покройте нашу глупость своей лаской-милостью... Из любви к вам, матушка, из единой любви сказала, помнючи милости Марка Данилыча и ваши, сударыня... Люди ведь зазирают, люди, матушка. Теперь у всех только и речи, что про

вас да про Дунюшкино ученье... Известно, сударыня, Марко Данилыч такой богатей, дочка у него одна-единственная. До кого ни доведись, всякому занятно посудить, порядить...

— Да что кому за дело? — с досадой молвила Дарья Сергевна.

— Народ — молва, сударыня. Никто ему говорить не закажет. Ртов у народа много — всех не завяжешь...— Так говорила Анисья Терентьевна, отираясь бумажным платком и свертывая потом его в клубочек.— Ох, знали бы вы да ведали, матушка, что в людях-то про вас говорят.

— Что такое? — чуть слышно спросила Дарья Сергевна. Вспомнились ей слова Ольги Панфиловны.

— Да вот хоть бы сейчас на базаре,— ответила Анисья Терентьевна.— Стоит Панфилиха у возов с рыбой, а сама так и рассыпается, так и рассыпается... И все-то про вас, все-то про вас да про Марка Данилыча... Им, говорит, греховодникам и без венца весело живется. Без стыда, говорит, живут, ровно муж с женой... Да и пошла и пошла... А еще барыня, благородная!.. Ну да как же не благородная?.. Стоит взглянуть на харю анафемскую, тотчас по рылу знать, что не простых свиней... Отец-от отопком щи хлебал, матенка на рогожке спала, в одном студеном шушунишке [1] по пяти годов щеголяла, зато какая-то, пес их знает, была елистраторша, а дочку за секлетаря, что ли, там за какого-то выдала... Родословная, видишь!.. А какое у них родословье? От ёрника балда, от балды шишка, от шишки ком!.. [2] А вы еще, сударыня, такую паскуду до себя допускаете! Перво́-на̀перво — неверная, у попов у церковных, да у дьяконов хлеб ест, всяко скоблено рыло, всякого табашника и щепотника за добрых людей почитает, второ дело смотница, такая смотница, что не приведи господи. Только на самое себя сплеток не плетет, а то на всех, на всех, что ни есть на свете людей... А вы еще на глаза ее к себе допускаете. Не дело, Дарья Сергевна, не дело!.. Видите, какая

---

[1] *Шушун* — верхнее платье, вроде кофты, из крашенины. Студеный шушун — сшитый не на вате.

[2] *Ерник* — кривой, низкорослый кустарник по болоту, а также беспутный, плут, мошенник; *балда* — лесная кривулина, дубина, а также дурак, полоумный; *шишка* — нарост на дереве, а также бес, черт (шишко, шишига); *ком* — сук в виде клуба на древесном наросте, а также драчун, забияка (комша).

от нее благодарность-то — у кого ест да пьет, на того и зло мыслит.

Не ответила Дарья Сергевна.

— Ахти, засиделась я у вас, сударыня,—вдруг встрепенулась Анисья Терентьевна.— Ребятенки-то, поди, собралися на учьбу́, еще, пожалуй, набедокурят чего без меня, проклятики — поди, теперь на головах чать по горнице-то ходят. Прощайте, сударыня Дарья Сергевна. Дай вам бог в добром здоровье и в радости честну́ю масленицу проводить. Прощайте, сударыня.

И тихой походкой, склоня голову, пошла вон из горенки.

Убитая нежданными вестями, Дарья Сергевна вся погрузилась в не испытанное еще ею доселе горе от клеветы. Вся она была поглощена тем горем. Краем уха слушала россказни мастерицы про учьбу́ ребятишек, неохотно отвечала ей на укоры, что держит Дуняшу не по старинным обычаям, но, когда сказала она, что Ольга Панфиловна срамит ее на базаре, как бы застыла на месте, слова не могла ответить... «В трубы трубят, в трубы трубят!» — думалось ей, и, когда мастерица оставила ее одну, из-за густых ресниц ее вдруг полилися горькие слезы. Пересела Дарья Сергевна к пяльцам, хотела дошивать канвовую работу, но не видит ни узора, ни вышиванья, в глазах туманится, в висках так и стучит, сердце тоскует, обливается горячею кровью. Опираясь на столы и стулья, вышла она в другую горенку, думала стать на молитву, но ринулась на кровать и залилась слезами.

Клевета что стрела, человека разит. На себя не похожа стала Дарья Сергевна: в очах печаль, в лице кручина. Горе, коль есть его с кем размыкать,— еще не горе, а только полгоря. А ей кому поделиться печалью? Не Марку ж Данилычу сказать, не с Дунюшкой же про напраслину разговаривать! . С нянькой, с работницами тоже говорить не доводится. Поймут разве они ее кручину?.. Пожалуй, еще больше насплетничают! Уйти и́з дому Смолокурова?.. А обет, данный Олене Петровне на смертном одре ее? Бога ведь ставила ей она во свидетели, что заменит сиротке родную мать... Все обиды надо стерпеть, все оскорбленья перенесть, а данной клятвы не изгубить!.. Опять же Дунюшку жаль... Как ее с нянькой да с работницами одну оставить!.. Марко Данилыч?

Его дело мужское — где ему до всего доходить, опять же почасту надолго и́з дому отлучается... Нельзя одну Дуню оставить, нельзя...

Долго думала Дарья Сергевна, как бы делу помочь, как бы, не расставаясь с Дуней, год, два, несколько лет не жить в одном доме с молодым вдовцом и тем бы заглушить базарные пересуды и пущенную досужими языками городскую молву. Придумала, наконец.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Прошла масленица, наступил великий пост. Дарья Сергевна таила в сердце скорбь, нанесенную ей благородной приживалкой и халдой мастерицей! Три недели еще прошло — «пролетье» наступило, Евдокия-плющиха пришла весну снаряжать [1]. В тот день Дуня именинница была, восемь годков ей мину́ло. Марко Данилыч надарил имениннице разных подарков и, называя ее уже «отроковицей», веселился, глядя на дочку и любуясь расцветавшею ее красотою. Рада была Дуня подаркам, с самодовольством называла она себя «отроковицей» — значит, стала теперь большая — и нежно ластилась то к отцу, то к Дарье Сергевне. Евдокиин день в том году приходился в середу на четвертой неделе поста; по старинному обычаю, за обедом подали «кресты» из тертого на ореховом масле теста. В одном из крестов запечен был на счастье двугривенный, он достался имениннице, Девочка так и засияла восторгом.

— Да, Марко Данилыч, вот уж и восемь годков минуло Дунюшке,— сказала Дарья Сергевна, только что встали они из-за стола,— пора бы теперь ее хорошенько учить. Грамоту знает, часослов прошла, втору кафизму читает, с завтрашнего дня думаю ее за письмо посадить... Да этого мало... Надо вам подумать, кому бы отдать ее в настоящее ученье.

— Кому же, как не вам ее учить, Дарья Сергевна?..— молвил Марко Данилыч.— Не Терентьиху же приставить...

— Всей бы душой рада я, Марко Данилыч, да сама не на столь обучена, чтоб хорошенько Дунюшку всему

---

[1] 1 марта празднуют преподобной мученицы Евдокии. В народе тот день зовут «пролетьем», «Евдокией-плющихой» (потому что снег тогда настом плющат). Говорят еще в народе, что Евдокия весну снаряжает.

обучить... Подумали бы вы об этом,— сказала Дарья Сергевна.

— Не в Москву же в пенсион везти,— слегка нахмурясь, сказал Смолокуров.— Пошло нынче это заведенье по купечеству у старообрядцев даже, только я на то не согласен... Потому — одно развращенье! Выучится там на разных язы́ках лепетать, на музыке играть, танцам, а как персты на молитву слагать, которой рукой лоб перекрестить — забудет... Видал я много таких, не хочу, чтоб Дуня моя хоть капельку на них походила. Надо обучить ее всему, что следует по древлему благочестию, ну и рукодельям тоже... Так это, я полагаю, и вы все можете.

— Ну нет, Марко Данилыч, за это я взяться не могу, сама мало обучена,— возразила Дарья Сергевна.— Конечно, что знаю, все передам Дунюшке, только этого будет ей мало... Она же девочка острая, разумная, не по годам понятливая — через год либо через полтора сама будет знать все, что знаю я,— тогда-то что ж у нас будет?

Марко Данилыч задумался.

— Учителей, что ли, каких бы приискали...— начала было Дарья Сергевна, но Смолокуров поспешно ее перебил:

— Это из училища-то, что ли? Ни за что на свете!.. Чему научат?.. Какому бесу, прости господи!

— Так другого кого поищите,— молвила Дарья Сергевна.— Подумайте об том, Марко Данилыч.

— Ладно, подумаем,— отрывисто ответил он и круто повернулся к окну. Помолчала немножко Дарья Сергевна, другой разговор повела:

— Сегодня поста перелом, Христов праздник не за горами. Кого располагаете звать страстную службу да светлу заутреню в моленной отправить?..

— Кого позвать? Опричь Красноглазихи, некого,— ответил Марко Данилыч.

— Путает много она по минеи-то,— сказала Дарья Сергевна.— По псалтырю[1] еще бредет, а по минеи ей

[1] Домашняя служба у старообрядцев отправляется по псалтырю, то есть читается псалтырь и после каждой кафизмы тропари празднику. Службою по минеи, или уставною, называется та, что отправляется по уставу. Великим постом справляют уставную службу по книге «Минея постная», от поста до Троицы по книге «Минея цветная», в прочие дни — по «Минеи общей».

не сладить. Чтоб опять такого ж соблазну не натворила, как в прошлом году.

— Это за часами-то в великую пятницу? Из пятницы в субботу переехала,— засмеялся Марко Данилыч, отворачиваясь от окна.

— А в позапрошлом году, помните, как на Троицу по «Общей минеи» стала было службу справлять да из пятидесятницы простое воскресенье сделала?.. Грехи только с ней! — улыбаясь, сказала Дарья Сергевна.— К тому ж и то надо взять, Марко Данилыч, не нашего ведь она согласу...

— Это еще не беда,— заметил Смолокуров.— Разница меж нами не великая — та же стара вера, что у них, что у нас. Попов только нет у них, так ведь и у нас были да сплыли.

— Все-таки не единого стада,— молвила Дарья Сергевна.

— А вы уж не больно строго,— сказал на то Марко Данилыч.— Что станешь делать при таком оскудении священства? Не то что попа, читалок-то нашего согласу по здешней стороне ни единой нет. Поневоле за Терентьиху примешься... На Кѐрженц разве не спосылать ли?.. В скиты?..

— Очень бы это хорошо было, Марко Данилыч,— обрадовалась Дарья Сергевна.— Тогда бы настоящая у вас служба была. Все бы нашего согласу благодарны вам остались. Можно бы старицу позвать да хоть одну белицу для пения... Старица-то бы в соборную мантию облеклась, белица-то демеством бы Пасху пропела... Как бы это хорошо было! Настоящий бы праздник тогда!.. Вот и Дунюшка подросла, а заправской божией службы еще и не слыхивала, а тут поглядела бы, хорошохонько помолилась бы. Послушала бы певицу...

— Зачем певицу? Брать так уж пяток либо полдюжину. Надо, чтоб и пение и служба вся были как следует, по чину, по уставу,— сказал Смолокуров.— Дунюшки ради хоть целый скит приволоку́, денег не пожалею... Хорошо бы старца какого ни на есть, да где его сыщешь? Шатаются, шут их возьми, волочатся из деревни в деревню — шатуны, так шатуны и есть... Нечего делать, и со старочкой, бог даст, попразднуем... Только вот беда, знакомства-то у меня большого нет на Керженце. Послать-то не знаю к кому.

— Да вы бы к Лещовым отписали, у них по всем скитам есть знакомство,— ответила Дарья Сергевна.— Они мигом бы весточкой дохнули на Ке́рженц. Теперь четверта неделя, к вербному воскресенью и старочка и белицы были бы здесь. Нынче же Пасха ранняя, благовещенье на страстной придется, реки пропустят. Разойдутся не раньше мироносицкой.

— Не раньше,— согласился Смолокуров.— И в самом деле к Лещовым на Ветлугу разве писать. Никите Петровичу точно все Кѐрженски обители знакомы, для меня он сладит дело, сегодня же погоню к нему на́рочного.

Нефед Тихоныч Лещов свойственник был Смолокурову, на двоюродной сестре Олены Петровны женат. Человек с достатком был, но далеко не с таким, как у Марка Данилыча, оттого и старался он при всяком случае угодить богатому сватушке. Только что получил он письмо, тѐтчас же снарядился в путь-дорогу — сам поехал на Кѐрженец, сам все дело обделал; и накануне Лазарева воскресения на двор Смолокурова въехали три скитские кибитки, нагруженные старицей Макриной да пятью белицами. Старица и певчие девицы были с Каменного Вражка, из обители игуменьи Манефы Чапуриной.

Макрина уставщи́цей была. Несмотря на великий праздник, Манефа отправила ее к Марку Данилычу, приказав ее помощнице матушке Аркадии заправлять службой в обительской часовне. Когда Лещов рассказал дальновидной игуменье про Смолокурова, про его богатства, про то, что у него всего одна-единственная дочь, наследница всему достоянью, и что отцу желательно воспитать ее в древлем благочестии, во всей строгости святоотеческих преданий, мать Манефа тѐтчас смекнула, что из этого со временем может выйти... Потому, исполняя желание Марка Данилыча, хоть и в ущерб благолепию службы в своей часовне, послала она опять наилучших певиц правого крылоса, а с ними уставщицу Макрину, умную, вкрадчивую, ловкую на обхожденье с богатыми благодетелями и мастерски умевшую обделывать всякие дела на пользу обители.

Отправив страстную и пасхальную службу, Макрина не тѐтчас поехала от Смолокурова. Марку Данилычу старица божия понравилась: целые вечера проводил он с ней в беседах не только от божественного писания, но и о мирских делах; ловкая уставщица была и в них све-

душа... Много ездила она по делам обительским, по всему старообрядству вела обширное знакомство, и ее рассказы очень были занятны Марку Данилычу. Стал он упрашивать ее прогостить святую и на радунице хорошенько помянуть родителей. Потом отъезд келейниц замешкался оттого, что дороги попортились, от распутицы реки стало опасно переезжать. Вскрылись реки, Марко Данилыч стал Макрину упрашивать остаться до его именин [1], потом до именин погибшего в море брата, чтоб отпеть за него поминальный канон [2]. А тут дня через четыре Троица — не ехать же от такого праздника; через неделю после Троицы память по Олене Петровне [3]. Таким образом, откладывая отъезд день за́ день, неделя за неделю, комаровские гостьи прожили у Смолокурова вплоть до Иванова дня.

Смолокуров до того времени в скитах никогда не бывал, и совсем не знал жизни обительской. Макрина в продолжение гостин много ему рассказывала про житье-бытье матушек, про их занятия, хозяйственность, богомолье. Марку Данилычу ее рассказы пришлись по́ сердцу; щедро наградив Манефу за службы, в его домашней моленной Макриной отправленные, обещал на будущее время быть благодетелем честно́й обители, если же мать Манефа с сестрами будут согласны, то, пожалуй, и ктитором сделаться. Оставаясь с глазу на глаз с Макриной, Дарья Сергевна иные разговоры вела: советовалась с ней насчет обученья Дунюшки. Жаль было расставаться ей с воспитанницей, в которую положила всю душу свою, но нестерпимо было и оставаться в доме Смолокурова, после того как узнала она, что про нее «в трубы трубят». Чтоб, не разлучаясь с Дуней, прожить несколько лет вне смолокуровского дома и тем заглушить недобрые слухи, вздумала она склонить Марка Данилыча на отдачу дочери для обученья в Манефину обитель. Только что намекнула об этом она матери Макрине, та с обычной для нее ловкостью на лад затеянное дело поставила. И были и небылицы по целым вечерам стала она рассказывать Марку Данилычу про девиц, обучавшихся в московских пансионах, и про тех, что дома у мастериц обучались. Называла по именам дома богатых раскольни-

---

[1] День св. Марка 25 апреля.
[2] Св. Мокия 11 мая.
[3] Св. Елены 21 мая.

ков, где от того либо другого рода воспитания вышли дочери такие, что не приведи господи: одни бога забыли, стали пристрастны к нововводным обычаям, грубы и непочтительны к родителям, покинули стыд и совесть, ударились в такие дела, что нелеть и глаголати... другие, что у мастериц обучались, все, сколько ни знала их Макрина, одна другой глупее вышли, все как есть дуры дурами — ни встать, ни сесть не умеют, а чтоб с хорошими людьми беседу вести, про то и думать нечего. Смолокуров соглашался с красноглаголивой уставщицей, говорил, что самому ему доводилось и тех и других видать и что он не знает, которые из них хуже. «И то еще я замечал,— говорил он,— что пансионная, выйдя замуж, рано ли поздно, хахаля заведет себе, а не то и двух, а котора у мастерицы была в обученье, дура-то дурой окажется, да к тому ж и злобы много накопит в себе...» А Макрина тотча́с ему на те речи: «С мужьями у таких жен, сколько я их ни видывала, ладов не бывает: взбалмошны, непокорливы, что ни день, то в дому содом да драна грамота, и таким женам много от супружеских кулаков достается...» Наговорившись с Марком Данилычем о таких женах и девицах, Макрина ровно обрывала свои россказни, заводила речь о стороннем, а дня через два опять, бывало, поведет прежние речи... Дарья Сергевна в одно слово с ней говорила. Сумрачно глядел Марко Данилыч, молчал и, глубоко вздыхая, гладил по головке ненаглядную дочку. Потом Макрина зачнет, бывало, рассказывать про житье обительское и будто мимоходом помянет про девиц из хороших домов, что живут у Манефы и по другим обителям в обученье, называет поименно родителей их: имена все крупные, известные по всему купечеству. Называет обучавшихся и прежде в скитах, а теперь вышедших замуж и ставших добрыми, домовитыми, умными, попечительными хозяйками... Знавал Марко Данилыч иных из названных Макриной и соглашался со старицей, что в самом деле жены они добрые, матери хорошие, потому, главное, прибавлял он, что живут во страхе господнем. «Страх божий при обученье девиц у нас в обителях первое дело,— спешит тогда отвечать Макрина,— потому что и в писании сказано: «Страх божий начало премудрости...» И, сказавши, опять замолчит либо сведет речь на другое. Потом через день, через два опять зачнет рассказывать, как строго

в обителях смотрят за девицами, как приучают их к скромному и доброму житию по господним заповедям, каким рукодельям обучают, какие книги дают читать и как поучают их всякому добру старые матери.

— Все это хорошо и добро,— молвил как-то раз Марко Данилыч,— одно только не ладно, к иночеству, слышь, у вас молоденьких-то дев склоняют, особливо тех, что побогаче... Расчетец — останется девка в обители, все родительское наследие туда внесет... Таковы, матушка Макрина, про скиты обносятся повсюдные слухи.

— Не верьте, Марко Данилыч, пустым наносным речам. Эти сплетни идут от недоброхотов,— с горячностью вступилась Макрина.— Мало ль чего не говорят про нас, убогих, беззащитных!.. Не верьте... Бывает, что старые матери иным девицам внушают покрыть себя черною рясой... Таить не стану, точно бывает. Только такие советы не отецким дочерям, не богатым девицам внушаются, а сироткам, что с малолетства призрены в обители Христа ради. Ни отца у сироты, ни матери, ни ближних, ни сродников, где ж ей, сердечной, в миру главу приклонить? А в обители ей завсегда готово... Таких точно что уговариваем, а богатых ни-ни... никогда... Родных своих тоже уговариваем, у которой старицы племянненка есть бедная, либо другая сродница, таких берем на воспитанье и, точно, иной раз склоняем принять ангельский чин... А отецких дочерей как можно?.. Помилуйте!

Разговаривая так с Макриной, Марко Данилыч стал подумывать, не отдать ли ему Дуню в скиты обучаться. Тяжело только расстаться с ней на несколько лет... «А впрочем,— подумал он,— и без того ведь я мало ее, голубушку, видаю... Лето в отъезде, по зимам тоже на долгие сроки из дому отлучаюсь... Станет в обители жить, скиты не за тридевять земель, в свободное время завсегда могу съездить туда, поживу там недельку-другую, полюбуюсь на мою голубушку да опять в отлучки — опять к ней».

И вот однажды под вечерок, сидя за чаем, сказал Смолокуров Макрине при Дарье Сергевне, что думает он Дуню к ним в обученье отдать.

Другая на месте Макрины тотчас бы возрадовалась, но ловкая уставщица бровью даже не повела. Напротив, приняла озабоченный вид и медленно, покачивая головой, промолвила:

— Не знаю, что сказать вам на это, Марко Данилыч, не знаю, как вам посоветовать. Дело такое, что надо об нем подумать, да и подумать.

А Дарья Сергевна, хоть и радехонька речам Марка Данилыча, но хмурится, будто ей неприятную весть сказал он. Не молвила ни единого слова.

— Чего тут раздумывать? — нетерпеливо вскликнул Марко Данилыч.— Сама же ты, матушка, не раз говорила, что у вас деви́чья учьба́ идет по-хорошему... А у меня только и заботы, чтобы Дуня, как вырастет, была б не хуже людей... Нет, уж ты, матушка, речами у меня не отлынивай, а лучше посоветуй со мной.

— Ничего не могу я тут вам советовать, Марко Данилыч, никакого без матушки Манефы ответа дать не могу,— смиренно, покорным голосом отвечала Макрина.— Такого родителя дочку принять не безделица!.. Конечно, если б это дело сбылось, матушка Манефа Дунюшку поближе бы к келье своей поместила, в своей бы «стае». Да теперь вряд ли там возможно поместить ее... Чапурина Патапа Максимыча не изволите ль знать?.. Братец матушке-то нашей по плоти: двух дочерей отдал к ней да третью дочку не родную, а богоданную; сиротку он одну воспитывает. Четвертая с ними живет матушкина воспитанница, тоже сирота безродная... Вот четыре, пятая с ними живет головщица. А горниц-то всего три и то не великие... Из этакого дома Дунюшке-то и тесненько покажется у нас — скучать бы не стала. Опять же не одну ее в обитель привезете, кто-нибудь тоже будет при ней...

— Ну вот этого я уж и не знаю, как сделать... И придумать не могу, кого отпустить с ней. Черных работниц хоть две, хоть три предоставлю, а чтоб в горницах при Дунюшке жить — нет у меня таковой на примете.

— Работниц нам не надо, Марко Данилыч, в обители своих трудниц довольно. Дунюшке все они сготовят: и помыть, и пошить, и поштопать, и новое платьице могут сшить, даже башмачки, пожалуй, справят,— сказала Макрина.

— Ну это ладно, хорошо,— молвил Марко Данилыч.— А где ж такую взять, чтоб завсегда при ней была, безотлучно смотрела бы за ней?

— А я-то на что? — вступилась Дарья Сергевна, вскинув глазами на Смолокурова.— Я с Дуняшей поеду.

— Как? — удивился и с досадой промолвил Марко Данилыч.— А дом-от как же?.. Хозяйство-то?.. Дом-от тогда на кого я покину?

— Марко Данилыч,— пристально глядя на него, сказала Дарья Сергевна.— Разве вам не известно, что живу я у вас не ради хозяйства, а для Дунюшки?.. Клятву дала я Оленушке Петровне, на смертном одре ее, обещалась ей заместо матери Дунюшке быть — и то обещанье, перед творцом создателем данное, сколько господь мочи дает, исполняю... А насчет вашего хозяйства покойница мне ничего не говорила, и я слова ей в том не давала... При Дунюшке до ее возраста останусь, где б она ни жила,— конечно, ежели это вашей родительской воле будет угодно,— а отвезете ее, в дому у вас я на один день не останусь.

Повисла слеза на реснице у Марка Данилыча, когда вспомнилась ему женина кончина. Грустно покачал он головою и с легким укором промолвил:

— А не просила разве она вас, умираючи, чтоб и меня не оставили вы своим советом да заботами?.. Попомните-ка?.. Не говорила разве того вам покойница?

— Говорила,— потупляя глаза и слегка вспыхнув, ответила Дарья Сергевна.— Но ведь вы и того, думаю я, не забыли, после каких уговоров, после какого от меня отказа про то она говорила?

Смолк Марко Данилыч, нахмурил брови и почесал в затылке.

— Все-таки, однако ж...— начал было он, но не знал, что дальше сказать.

Подумав недолгое время, он молвил:

— Вы у меня в дому все едино, что братня жена, невестка то есть. Так и смотрю я на вас, Дарья Сергевна... Вы со мной да с Дуней — одна семья.

— А люди как на́ это посмотрят, Марко Данилыч? — строго взглянув на него, взволнованным голосом тихо возразила Дарья Сергевна.— Ежели я, отпустивши в чужие люди Дунюшку, в вашем доме хозяйкой останусь, на что это будет похоже?.. Что скажут?.. Подумайте-ка об этом...

— Чего сказать? Никто ничего не посмеет сказать,— резко и мрачно ответил Марко Данилыч.

— Не говорите...— с горячностью сказала Дарья Сергевна.— Может, и теперь уж не знай чего на меня

ни плетут!.. А тогда что будет? Пожалейте хоть маленько и меня, Марко Данилыч.

— Кто смеет сказать про вас что-нибудь нехорошее?..— вскликнул Марко Данилыч и, быстро вскочив с дивана, зашагал по горнице крупными шагами.— Головы на плечах не унесет, кто посмеет сказать нехорошее слово!..

— Перестанем говорить о том,— спокойно промолвила Дарья Сергевна.— От басен да от сплетен никому не уйти, заказу на них положить невозможно. Последнее мое вам слово: будет Дунюшка жить в обители, и я с ней буду, исполню завет Оленушки, не захотите, чтоб я была при ней, дня в дому у вас не останусь... Христовым именем стану кормиться, а не останусь... А если примет меня матушка Манефа, к ней в обитель уйду, иночество надену, ангельский образ приму и тем буду утешаться, что хоть издали иной раз погляжу на мою голубоньку, на сокровище мое бесценное.

И, закрыв руками лицо, зарыдала. Марко Данилыч продолжал, насупясь и молча, ходить по горнице.

— Эх, Дарья Сергевна, Дарья Сергевна!— горько он вымолвил.— Бог с вами!.. Не того я ждал, не то думал... Ну да уж если так — ваша воля... Дуню в таком разе уж вы не оставьте.

— Мое дело сторона,— вмешалась при этом Макрина.— А по моему рассуждению, было бы очень хорошо, если б и при Дунюшке в обители Дарья Сергевна жила. Расскажу вам, что у нас в Комарове однажды случилось, не у нас в обители,— у нас на этот счет оборони господи,— а в соседней в одной.

И пошла рассказывать ни так, ни сяк не подходящее к делу. Ей только надо было отвести в стороны мысли Смолокурова; только для того и речь повела... И отвела... мастерица была на такие отвороты.

* * *

Дён пять прошло после тех разговоров. Про отправленье Дунюшки на выучку и помина нет. Мать Макрина каждый раз заминает разговор о том, если зачнет его Марко Данилыч, то же делала и Дарья Сергевна. Иначе нельзя было укрепить его в намеренье, а то, по-

жалуй, как раз найдет на него какое-нибудь подозренье. Тогда уж ничем не возьмешь.

Раз при Макрине и при Дарье Сергевне посадил Марко Данилыч Дуню к себе на колени и, лаская ее, молвил:

— Хочешь, Дунюшка, учиться уму-разуму?

— Хочу, тятя,— весело улыбаясь синенькими глазками, отвечала девочка.

— Отдам я тебя матушке Макрине, увезет она тебя к себе домой и там всему хорошему тебя научит,— сказал Марко Данилыч.— Поедешь с матушкой Макриной?

На минутку Дуня задумалась. И, быстро вскинув головкой, блеснула на отца взорами и спросила:

— А тетя Даша поедет?

— Нет, не поедет,— молвил Смолокуров.

— Так и я не поеду,— ответила девочка.

— И учиться не станешь?

— И учиться без тети не стану,— решительней прежнего молвила Дуня.

— А если мать Макрина без тети тебя увезет?

— Убегу.

— А поймают?

— Тогда умру. Как мама померла, так и я помру,— сказала Дунюшка — и так спокойно, так уверенно, как будто говорила, что вот посидит, посидит с отцом, да и побежит глядеть, как в огороде работницы гряды копают.

Заискрились взоры у Марка Данилыча, и молча вышел он из горницы. Торопливо надев картуз, пошел на городской бульвар, вытянутый вдоль кручи, поднимавшейся над Окою. Медленным шагом, понурив голову, долго ходил между тощих, нераспустившихся липок.

Река была в полном разливе, верст на семь затопило луга, поло́и [1] и кустарники левого берега. Попутным ветром вниз по реке бежал моршанский хлебный караван; стройно неслись гусянки и барки, широко раскинув полотняные белые паруса и топсели, слышались с судов громкие песни бурла̀ков, не те, что поются надорванными их голосами про дубину, когда рабочий люд, напирая изо всей мочи грудью на лямки, тяжело ступает густо облепленными глиной ногами по скользкому бечевнику и едва-едва тянет подачу. Шамра [2] бежит в одну сто-

[1] Низменное место, затопляемое весною.

[2] Рябь на воде во время ровного, не очень сильного ветра.

рону с судами, «святой воздух» [1] дополна выдувает «апостольскую скатерть» [2], и довольные попутным ветром бурлаки, разметавшись по палубе на солнышке, весело распевают про старые казацкие времена, про поволжскую вольную вольницу. Громко разносится в свежем воздухе удалая песня:

Разыгралася, разгулялася Сура-река —
Она устьицем пала в Волгу-матушку,
На том устьице на Сурском, част ракитов куст,
А у кустика ракитова бел-горюч камень лежит.
Кругом камешка того добрые молодцы сидят,
А сидят они, думу думают на дуване,
Кому-то из мо̀лодцев что достанется на долю...

На другой гусянке раздался дружный, громкий хохот — какой-то бурлак, взяв за обору истоптанный лапоть и размахивая им, представляет попа с кадилом, шуткой отпевая мертвецки пьяного товарища, ровно покойника, а бурлаки заливаются веселым смехом... А на третьей гусянке неистовый вопль слышится: «Батюшки, буду глядеть!.. отцы родные, буду доваривать! батюшки бурлаченьки, помилуйте!.. родимые, помилуйте!» То бурлацкая артель самосудом расправляется с излюбленным кашеваром за то, что подал на ужин не проваренную как следует пшенную кашу...

По лону реки мелькают лодочки рыбных ловцов, вдали из-за колена реки выбегает черными клубами дымящийся пароход, а клонящееся к закату солнце горит в высоком небосклоне, осыпая золотыми искрами речную шамру; ширятся в воздухе и сверкают под лучами небесного светила белоснежные паруса и то́псели, вдали по красноватым отвесным горам правого берега выделяются обнаженные, ровно серебряные, слои алебастра, синеют на венце гор дубовые рощи, зеленеет орешник, густо поросший по отлогим откосам. Ничего не видит, ничего не слышит Марко Данилыч, ходит взад и вперед по бульвару, одно на мыслях: «Приходится с Дуней расстаться!»

До глубоких сумерек проходил он вдоль кручи. Воротясь домой, весь ужин промолчал, а перед отходом ко сну молвил Дарье Сергевне да матери Макрине:

— Решил я. Стану просить мать Манефу, приняла бы к себе Дуню... А вы уж ее не оставьте, Дарья Сергев-

---

[1] Так бурлаки зовут попутный ветер.
[2] Так бурлаки зовут надутый ветром парус.

на, поживете с ней, покамест будет она в обученье. Она ж и привыкла к вам... Обидно даже немножко — любит она вас чуть ли не крепче, чем родного отца.

Радостно блеснули взоры Дарьи Сергевны, но она постаралась подавить радость, скрыть ее от Марка Данилыча, не показалась бы она ему обидною. «Тому, дескать, рада, что хозяйство покидает и дом бросает бог знает на чьи руки».

Макрина еще больше, чем Дарья Сергевна, рада была решенью Марка Данилыча. «Большое спасибо скажет мне мать игуменья, что сумела я уговорить такого богатея отдать в обитель свою единственную дочку»,— так думала довольная успехом своим уставщица. Перечисляет в мыслях, сколько денег, сколько подарков получит обитель от нового «благодетеля», а уж насчет запасов, особенно рыбных, нечего и думать—завалит Смолокуров обительские погреба, хоть торг заводи: всю рыбу никак тогда не приесть. Но этого мало показалось ревностной до обительских выгод уставщице, вздумалось ей еще поживиться на счет Марка Данилыча.

— О вашем решенье надо скорей отписать матушке,— обратилась она к нему.— Вы как располагаете дочку-то к нам привезти?

— Да уж лето-то пущай ее погуляет, пущай поживет со мной... Ради ее и на Низ не поеду — побуду останное время с Дунюшкой, нагляжусь на нее, голубушку,— сказал Смолокуров.

— Значит, по осени? — молвила Макрина.

— Да, после Макарья — в сентябре, что ли,— ответил Марко Данилыч.

— Так я и отпишу к матушке,— молвила Макрина.— Приготовилась бы принять дорогую гостейку. Только вот что меня сокрушает, Марко Данилыч. Житьто у нас где будет ваша Дунюшка? Келий-то таких нет. Сказывала я вам намедни, что в игуменьиной стае тесновато будет ей, а в других кельях еще теснее, да и не понравится вам — не больно приборно... А она, голубушка, вон к каким хоромам приобыкла... Больно уж ей у нас после такого приволья не покажется.

— Как же тому пособить?— сказал Марко Данилыч и задумался.

— Уж не знаю, как сделать это, Марко Данилыч, ума не приложу, благодетель, не придумаю,— отвечала

на то хитрая Макрина.— Отписать разве матушке, чтобы к осени новую стаю келий поставила... Будет ли ее на то согласие, сказать не могу, не знаю.

— А место, где построиться, есть в обители? — спросил Марко Данилыч.

— Места за глаза на двадцать, а пожалуй, и на тридцать стай достанет,— сказала Макрина.

— Так за чем дело стало? — молвил Марко Данилыч.— Отпишите матушке, отвела бы местечко поближе к себе, а я на том месте домик выстрою Дунюшке... До осени поспеем и построить и всем приукрасить его.

— Разве что так,— молвила Макрина.— Не знаю только, какое будет на то решение матушки. Завтра же напишу ей.

— Да, уж пожалуйста, поскорее напишите, матушка,— торопил ее Марко Данилыч.— Завтра же, кстати, день-от почтовый, можно будет письмо отослать.

— Сегодня ж изготовлю,— молвила Макрина и, простясь с Марком Данилычем, предовольная пошла в свою горницу. «Ладно дельцо обделалось,— думала она.— После выучки дом-от нам достанется. А он, золотая киса, домик хороший поставит, приберет на богатую руку, всем разукрасит, души ведь не чает он в дочке... Скажет матушка спасибо, поблагодарит меня за пользу святой обители».

Недели через полторы получила Макрина ответ от игуменьи. С великой охотой брала Манефа Дуню в обученье и обещалась для ее домика отвести место возле своих келий. Насчет лесу писала, что по соседству от Комарова, верстах в пяти, в одной деревне у мужика его запасено довольно, можно по сходной цене купить, а лес хороший, сосновый, крупный, вылежался хорошо — сухой. Одно только не знает она, как строить домик. Галки, что пришли на Керженец плотничать, теперь все при местах, подряжённой работы будет им вплоть до осени; а иных плотников приискать теперь и за дорогую плату никак невозможно.

— Не матушкина беда, справимся без нее,— молвил Марко Данилыч, когда Макрина прочитала ему Манефино письмо.— Плотников я пошлю в Комаров. Отписать только надо, чтобы тот лес, коли хорош, тотчас бы купили и на место перевезли. Что будет стоить — сочтемся, завтра же пошлю рублев с тысячу впредь до рас-

чета. Зачинала бы только матушка дело скорей. Надо дом ставить пятистенный,— немного помолчав, примолвил Марко Данилыч.— В передней три либо четыре горницы для Дунюшки да для Дарьи Сергеевны, в задней работнице горенку да стряпущую.

— Стряпущую-то, пожалуй, и не надо,— молвила Макрина,— кушанье будет им от обители, из матушкиной кельи станут приносить, а не то, если в угоду, с чапуринскими девицами станет обедать и ужинать. Поваднее так-то будет, они ж ей погодки [1], ровесницы — подругами будут.

— Этого, матушка, нельзя,— возразил Смолокуров.— Ведь у вас ни говядинки, ни курочки не полагается, а на рыбе на одной Дунюшку держать я не стану. Она ведь мирская, иночества ей на себя не вздевать — зачем же отвыкать ей от мясного? В положённые дни пущай ее мясное кушает на здоровье... Как это у вас? Дозволяется?

— Конечно, дозволяется, Марко Данилыч,— поспешила ответить Макрина.— И чапуринские девицы без курочки аль без гуська за обед в скоромные дни не садятся. Особо готовят им в матушкиной стряпущей. Вот насчет говядины али свинины, насчет, значит, всякого — этого до сей поры у нас не водилось... Потому, знаете, живем на виду, от недобрых людей клеветы могут пойти пó миру — говядину, дескать, едят у Манефиных, скоромничают. Ради соблазна не допущается... Да ваша дочка ина статья — матушка Манефа разрешит ей на всеядение... Можно будет когда и говядинки...

— Ладно, хорошо,— молвил Марко Данилыч.— А вот еще, чай-от, я знаю, у вас пьют, а как насчет кофею? Дунюшка у меня кофей полюбила.

— Так что же? — спросила Макрина.

— Да ведь кто пьет кофей, тот ков на Христа строит,— усмехнулся Марко Данилыч.— Так, что ли, у вас говорится?

— Полноте, Марко Данилыч.— Никогда от нас этого вы не услышите,— возразила Макрина.— Всяк злак на службу человеком, сказано...

— А табак?.. Ведь тоже злак?..— прищурив глаза и усмехнувшись, спросил уставщицу Марко Данилыч.

---

[1] Одного возраста.

— А что же табак? —сказала она.— И табак на пользу человеком. Ломота случится в ногах — ничем, как табаком, лучше не пользует. Обложи табачным листом больну ногу, облегченье получишь немалое... Опять же мух изводить чего лучше, как табаком? Червяк вредный на овощ нападет, настой табаку да спрысни — как рукой снимет... Вот курить да нюхать — грех, потому что проти́ву естества... Естеством и божьим законом носу питания не положено, такожде и дымом питания не положено, а на полезную потребу отчего ж табак не употреблять— божье создание, все́ едино как и другие травы и злаки.

— А насчет картофелю как? — спросил Смолокуров.— У меня Дунюшка большая до него охотница.

— Это гулёна-то, гульба-то [1],— молвила Макрина.— Да у нас по всем обителям на общу тра̀пезу ее поставляют. Вкушать ее ни за малый грех не поставляем, все едино что морковь али свекла, плод дает в земле, во своем корню. У нас у самих на огородах садя́т гулёну-то. По другим обителям больше с торгу ее покупают, а у нас са̀дят.

— Ладно, хорошо,—довольным голосом сказал Марко Данилыч.— А как насчет служеб?.. Которы девицы у вас обучаются, в часовню-то ходят ли?

— Как же не ходить? Ходят, без того нельзя,— ответила Макрина.

Марко Данилыч поморщился.

— Неужто за все службы? — спросил он.— Ведь у вас они долгие, опять же к утрени подымаются у вас раным-ранехонько.

— Зачем же живущим девицам за всякую службу ходить? Не инокини они, не певчи белицы,— сказала Макрина.

— По воскресеньям бы часы только стояла, а к утрене ходила бы разве только большие праздники — а то ее отнюдь не неволить: ребенок еще,— молвил Марко Данилыч.

— Так у нас и делается, Марко Данилыч, так у нас и водится,— сказала Макрина.— Вот чапуринские — вздумают, пойдут в часовню, не вздумают — в келье сидят,— никто не неволит их.

— А насчет одёжи? — спросил Смолокуров.— Неужели Дунюшке черное вздеть на себя?

---

[1] Так зовут за Волгой картофель.

— Зачем же это, Марко Данилыч?.. Что она за инокиня? У нас и белицы, как сами видите, цветны передники да цветны платочки носят на головах. А вашей дочке и сарафанчики цветные можно пошить. Одного только для живущих девиц у нас не полагается — платьица бы немецким покроем не шили да головку бы завсегда покровенну имели, хоть бы маленьким платочком повязывались, потому что так по писанию. Апостол-от Павел женскому полу повелел главу покровенну имети... А косы с лентами — можно. Еще перстеньков да колечек на перстиках не носить. На́ этот счет у нас строго.

— Если все та̀к, так, по мне, ничего,— молвил Марко Данилыч.— А как насчет обученья? Это и для Дуни и для меня самое первое дело.

— Насчет обученья вот как у нас дело пойдет,— сказала Макрина.— Конечно, никто бы так не обучил Дунюшку, как если бы сама матушка взялась за нее, потому, что учительнее нашей матушки по всему Ке́рженцу нет да и по другим местам нашего благочестия едва ли где такая сыщется. Однако ж самой матушке тем делом обязать себя никак невозможно. И немощна́ бывает и забот да хлопот много — обителью-то править ведь не легкое дело, Марко Данилыч. Опять же переписка у нее большая и все... Невозможно, никак невозможно. Чапурински девицы родные племянницы ей по плоти, кажись бы своя кровь, и от них отступилась, сердечная, мне препоручила их обучать... Конечно, под ее надзором и руководительством обучаю... Рукодельям старшие девицы обучат Дуню, а самое-то нужное, самое-то главное обученье от самой матушки пойдет. Каждый божий день девицы вечером чай кушать к ней собираются, и тут она поучает их, как надо жить по добру да по правде, по евангельским, значит, заповедям, да по уставам преподобных отец... Таково учительно говорит она с ними, Марко Данилыч, что не токма́ молодым девицам, и нам, старым инокиням, очень пользительно для души послушать ее наставлений... И все так кротко да любовно, поучительно... Для выучки, коли я в угоду вам буду, так я, а не то и, опричь меня другие старицы найдутся... Божественным книгам обучим, и гражданской грамоте, и писать — и всему, что следует хорошей девице. В этом, сударь, будьте спокойны.

— Да вы, пожалуй, на чернецкую стать обучите ее? — молвил Марко Данилыч.— Запугаете... Вон у нас мастерица есть Терентьиха: у той все турлы́-мурлы́, да антихрист, да вся супротивная сила.

— Как это возможно, Марко Данилыч?..— возразила Макрина.— Не в инокини Дунюшку готовить станем, зачем же ее на чернецкую стать обучать? Носила бы только в сердце страх божий, да опасно хранила бы себя от мирских со́блазнов... К родителю была бы почтительна, любовь бы имела к вам нелицемерную, повиновалась бы вам по бозе во всем, старость бы вашу, когда ее достигнете, чтила, немощь бы вашу и всякую скорбь от всея души понесла б на себе. Душевную бы чистоту хранила и бесстрастие телесное, от злых бы и плотских отлучилась, стыдение бы себя украшала, в нечистых беседах не беседовала, а пошлет господь судьбу — делала бы супругу все по благожитию, чад воспитала бы во благочестии, о доме пеклась бы всячески, простирала бы руце своя на вся полезная, милость бы простирала к бедному и убогому и тем возвеселила бы дни своего сожителя и лета бы его миром исполнила... Вот чему у нас мирских девиц обучают.

— Это все добро, все хорошо, все по-божьему,— молвил Марко Данилыч.—Насчет родителя-то больше твердите, чтоб во всем почитала его. Она у меня девочка смышленая, притом же мягкосердая — вся в мать покойницу... Обучи́те ее, воспитайте мою голубоньку — сторицею воздам, ничего не пожалею. Доброту-то ее, доброту сохраните, в мать бы была... Ох, не знала ты, мать Макрина, моей Оленушки!.. Ангел божий была во плоти!.. Дунюшка-то вся в нее, сохраните же ее, соблюдите!.. По гроб жизни благодарен останусь...

* * *

По́ лету Дунюшке домик в Манефиной обители поставили и как надо, по богатому, отделали его. От Макарья Марко Данилыч на убранство его всего навез: и обоев, и зеркал, и столов, и стульев, а все красного да орехового дерева, посуды медной, хрустальной, фарфоровой и всякой всячины для домашнего обихода накуплено было множество. Все было хорошее, ценное. Поварчивала мать Манефа на Смолокурова, зачем, дескать, столь дорогие вещи закупаешь, но Марко Данилыч отвечал:

«Нельзя же Дуню кой-как устроить, всем ведомы мои достатки, все знают, что она у меня одна-единственная дочь, недобрые, позорные слухи могут разнестись про меня по купечеству, ежель на дочь поскуплюсь я. Аред, скажут, этакой, родной дочери денег пожалел, устроил в скиту ее, ровно сироту бесприданную. Такие слухи, матушка, могут мне и кредит подорвать... Нет уж, я лучше все широкой рукой справлю,— чего и не надо, пусть будет надобно... Не перечьте вы мне, Христа ради, отучится Дуня, вам же все останется,— не везти же мне тогда добро из обители...» И на то поворчала Манефа, хоть и держала на уме: «Подай-ка, господи, побольше таких благодетелей...» И сдержал свое обещанье Марко Данилыч: когда взял обученную дочку из обители — все покинул матери Манефе с сестрами. Тогда Манефа посуду и всякое убранство к себе забрала́, Фленушкины горницы скрасила, а иное что и к себе в келью взяла, домик отдала на житье матери Макрине за ее усердие. И когда года через полтора Макрина померла, Манефа передала тот домик матери Таифе, казначее обительской.

Перед Вздвиженьем поселилась в своем новеньком домике маленькая хозяйка с «тетей» Дарьей Сергевной. На новоселье сам Марко Данилыч привез их и больше двух недель прогостил в обители — все-то жалко было ему расставаться с Дунюшкой... Глядел сумрачно, невесело, мало с кем говорил, тяжкая кручина одолевала сердце его. Пришла, наконец, пора расставанья, насилу оторвался Марко Данилыч от дочки, а уехавши, миновал свой город и с последним пароходом сплыл в Астрахань, не глядеть бы только на опустелый без Дунюшки дом. И всю осень, всю зиму до самой весны провел он на чужой стороне.

Все обительские полюбили Дуню Смолокурову, все— от матушки Манефы до последней трудницы. А полюбили ее не только в чаянии богатых подарков от Марка Данилыча, а за то больше, что Дуня была такая добрая, такая умница, такая до всех ласковая. Мать Макрина по книгам учила ее, иногда Таифа место ее заступала, на досуге и сама Манефа поучала девочку, как жить по-доброму да по-хорошему... Рукодельным работам Фленушка с Марьюшкой обучали Дуню наряду с чапуринскими девицами: то у нее в горницах собирались, то в горницах Фленушки. Дарья Сергевна на шаг не отпускала от

себя Дуни — в часовне ли, на гулянках ли, на ученье ли, не отойдет, бывало, от нее. Никто из девиц; сама даже Фленушка, не смели при ней лишних слов говорить, оттого, выросши в обители, Дуня многого не знала, о чем узнали дочери Патапа Максимыча. Ни соловьев в перелесок слушать вместе с приезжими купчиками не хаживала, ни разговоров нескромных не слыхивала, ни проказ девичьих не видывала. Ходила гулять и в лесок и на Каменный Вражек, но вместе с Дарьей Сергевной, каждый почти раз сама Манефа ходила с Дуней погулять. Здоровьем тогда еще богата была мать игуменья. Изо всех девиц Дуня больше свыклась с Груней, богоданной дочкой Чапурина. И хоть та лет на пять была постарше ее, но дружба завязалась между ними неразрывная. Дарья Сергевна тому не препятствовала, видя, как скромна, как добра, чиста и в мыслях своих непорочна тихая, нежная, всегда немножко грустная, всегда к чужому горю чуткая богоданная дочка Патапа Максимыча. Груня имела большое влияние на подраставшую девочку, ее да Дарью Сергевну надо было Дуне благодарить за то, что, проживши семь лет в Манефиной обители, она всецело сохранила чистоту душевных помыслов и внедрила в сердце своем стремление к добру и правде, неодолимое отвращение ко всему лживому, злому, порочному.

Раз по пяти, иной год и чаще наезжал в Комаров Марко Данилыч на дочку поглядеть и каждый раз гащивал у нее недели по две и по три. Строя домик, нарочно сбоку прирубил он две небольшие для своего приезда горенки. Каждый приезд Смолокурова праздником бывал не для одной Манефиной обители, но для всего скита Комаровского. Навезет, бывало, он Дуне всяких гостинцев, а как побольше выросла, целыми кусками ситцев, холстинок, платков, синих кумачей на сарафаны, и все это Дуня, бывало, от всех потихоньку, раздаст по обителям и «сиротам», да, кроме того, самым бедным из них выпросит денег у отца на раздачу... Марко Данилыч сам никому ничего не давал, опричь рыбных и разных других запасов, что присылал матушке Манефе, Дуня всем раздавала, от Дуни все подарки шли; за то и блажили ее ровно ангела небесного. За̀ год до того, как Дуне домой под отеческий кров надо было возвратиться, еще новый домик в Манефиной обители построился, а убран

был и разукрашен, пожалуй, лучше Дунина домика — Марья Гавриловна жить в Комаров из Москвы переехала. Марко Данилыч с богатой вдовой познакомился, просил ее не оставить Дунюшки. Ото всей души Марья Гавриловна полюбила девочку, чуть не каждый день проводила с нею по нескольку часов; от Марьи Гавриловны научилась Дуня тому обращенью, какое по хорошим купеческим домам водится.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Семь лет выжила в скиту Дуня и, когда воротилась в родительский дом, не узнала его. Поджидая дочку и зная, что года через два, через три женихи станут свататься, Марко Данилыч весь дом переделал и убрал его с невиданной в том городке роскошью — хоть в самой Москве любому миллионщику такой дом завести. Но, кроме отделанных под мрамор стен залы, кроме саженных зеркал, штофных занавес, бронзы и мелкоштучного паркета, еще одна новость появилась в доме Смолокурова. Живя в мрачном одиночестве, Марко Данилыч стал книги читать и помаленьку пристрастился к ним. Стал собирать сначала только печатные при первых пяти патриархах да старописьменные, а потом и новые, гражданские. Когда воротилась Дуня и увидала шкапы со множеством книг, весело кивнула отцу миловидной головкой, когда он, указав ей на них, сказал: «Читай, Дунюшка, на досуге, тут есть чего почитать. Хоть ты теперь у меня и обученная, а все-таки храни старую нашу пословицу: «Век живи, век учись».

Возвратясь на старое пепелище, довольна была и Дарья Сергевна. В семь лет злоречие кумушек стихло и позабылось давно, теперь же, когда христовой невесте стало уж по́д сорок и прежняя красота сошла с лица, новые сплетки заводить даже благородной вдовице Ольге Панфиловне было не с руки, пожалуй, еще никто не поверит, пожалуй, еще насмеется кто-нибудь в глаза вестовщице. А это было бы ей пуще всего. По-прежнему приняла на свои руки Дарья Сергевна хозяйство в доме Марка Данилыча и по его просьбе стала понемногу и Дуню приучать к домоводству.

Жизнь у Смолокуровых шла тихо, однообразно. В Манефиной обители если не живей, то гораздо шумней

и веселее было, чем в полном роскоши и богатства доме Смолокурова. Там у Дуни были девицы-ровесницы, там умная, добрая, приветливая Марья Гавриловна, ласковая Манефа, инокини, белицы, все надышаться не могли на Дунюшку, все на руках ее носили. Дома совсем не то: в немногих купеческих семействах уездного городка ни одной девушки не было, чтоб подходила она к Дуне по возрасту, из женщин редкие даже грамоте знали; дворянские дома были для Дуни недоступны — в то время не только дворяне еще, приказный даже люд, уездные чиновники, смотрели свысока, на купцов и никак не хотели равнять себя даже с теми, у кого оборотов бывало на сотни тысяч. С мещанскими девицами нельзя было водиться Дуне: очень вольны́, сойдись с ними — нехорошая слава пойдет... Все одна да одна, только и свету в окошке, что Дарья Сергевна. И вышло так, что, воротясь из монастыря, обе точно в затвор попали. Принялась Дуня за отцовские книги. Старые черные кожаные переплеты старинных книг и в обители пригляделись ей, принялась она за новые, за мирские. Путешествия, описания разных городов и стран, сказанья о временах минувших читала она и перечитывала. Другого рода книг не было в шкапах Марка Данилыча, другие считал он либо «богоотводными», либо «потешными». Чтение книг раскрыло Дуне новый, неведомый дотоле ей мир, целые вечера, бывало, просиживала она над книгами, так что отец начинал уж немножко хмуриться на дочку, глаз бы не попортила либо сама, борони господи, не захворала.

Шестнадцати лет еще не было Дуне, когда воротилась она из обители, а досужие свахи то́тчас одна за другой стали подъезжать к Марку Данилычу — дом богатый, невеста одна дочь у отца,— кому не охота Дунюшку в жены себе взять. Сунулись было свахи с купеческими сыновьями из того городка, где жили Смолокуровы, но всем отказ, как шест, был готов. Сына городского головы сватали — и тому тот же ответ.

Сын дворянского предводителя, часто гуляя по бульвару, под которым в полугоре стоял дом Смолокурова, частенько поглядывал в подзорную трубку на Дуню, когда гуляла она по садику либо сидела на балконе с книжкой в руках. Влюбился в нее через трубку... Не мудрое дело,— у его отца именье на волоске висело, а Дуня — наследница первого богача по окрестности, миллионщи-

ка. Свах не засылали, сам предводитель к Марку Данилычу приехал сынка посватать. Думал он, что Смолокуров вспрыгнет до потолка от радости, вышло не то: Марко Данилыч наотрез отказал ему, говоря, что дочь у него еще молода, про женихов ей рано и думать, да если бы была постарше, так он бы ее за дворянина не выдал, а только за своего брата купца, с хорошим капиталом. После того никто из помещиков не захотел венчаться с «мужичкой», хоть каждому хотелось породниться со Смолокуровым ради поправки обстоятельств. Стали свататься купцы-женихи из больших городов, из само́й даже Москвы, но Марко Данилыч всем говорил, что Дуня еще не перестарок, а родительский дом еще не надоел ей. Когда же минуло Дуне восемнадцать лет, отец подарил ей обручальное колечко, примолвив, чтоб она, когда придет время, выбирала жениха по мыслям, по своей воле, а он замужеством ее нудить никогда не станет. Говорено это было великим постом, и после того Смолокуров ни разу вида не подавал,намеку никакого не сделал насчет этого, сам же с собой таку думу раздумывал: «Где ж в нашем городе Дуне судьбу найти? Людей здесь не видать, да и видеть-то, признаться, некого, мало-мальски подходящих нет». Придумал свозить ее к Макарью на ярманку, а оттуда в Ярославль на пароходе прокатиться. Москву после того показать. А до тех пор вздумалось ему свозить Дуню на Ветлугу, в село Воскресенское, к сроднику ее Лещову. Сам-от каждый год он к нему к Нефедову дню на именины езжал. У Лещовых гостей было много, но Дуня никого даже не заметила, но, бывши с отцом в Петров день на старом своем пепелище, в обители матушки Манефы, казанского купчика Петра Степаныча Самоквасова маленько заприметила.

К первому спасу Марко Данилыч Дуню к Макарью повез, поехала с ними и Дарья Сергевна. Оптовый торг рыбой прямо с судов ведут; потому и не было у Смолокурова в ярманке лавки ни своей, ни наемной, каждый год живал он на которой-нибудь из барже́й, каюты хорошие были в баржах-то устроены. Но нельзя же Дуню на баржу везти, всякий непривычный человек за полверсты от рыбного каравана нос затыкает, уж не хорошо больно попахивает. Поместились в гостинице, на городской стороне, а не на ярманке, там уж очень шумно и беспокойно было.

Устроившись на квартире, Марко Данилыч поехал с Дуней на ярманку. Как ни уговаривал он Дарью Сергевну ехать вместе «под Главный дом», она не согласилась.

Обширное здание Главного дома стоит в самой середине ярманки, под арками его устроены небольшие лавочки с блестящими, бьющими в глаза товарами. Тут до самых, невысоких впрочем, сводов развешаны персидские ковры, закавказские шелковые ткани, роскошные бухарские халаты, кашмировые шали, разложены екатеринбургские работы, из малахита, из топазов, аквамаринов, аметистов, бронза, хрусталь, мраморные изваяния. При ярком вечернем освещенье все это горит, блестит, сверкает и переливается радужными лучами. В средине на дощатом возвышенье и музыка играет, кругом кишит разнообразная толпа. Теснятся тут и разряженные в пух и прах губернские щеголихи, и дородные купцы с золотыми медалями на шее, и глубокомысленные земские деятели с толстыми супругами под руку, и вертлявые, тоненькие молодые чиновники судебного ведомства, и гордо посматривающие вкруг себя пехотные офицеры. Вот казанские татары в шелковых халатах, с золотыми тюбетейками на бритых головах, важно похаживают с чернозубыми женами, прикрывшими белыми флеровыми чадрами густо набеленные лица; вот длинноносые армяне в высоких бараньих шапках, с патронташами на чекменях [1] и кинжалами на кожаных с серебряными насечками поясах; вот евреи в засаленных донельзя длиннополых сюртуках, с резко очертанными, своеобразными обличиями; молча, как будто лениво похаживают они, осторожно помахивая тоненькими тросточками; вот расхаживают задумчивые, сдержанные англичане, и возле них трещат и громко хохочут французы с наполеоновскими бородками, вот торжественно тихо двигаются гладко выбритые широколицые саратовские немцы; и неподвижно стоят, разинув рты на невиданные диковинки, деревенские молодицы в московских ситцевых сарафанах с разноцветными шерстяными платками на головах... Разноязычный говор чуть не заглушает музыку, когда не гремит она трескучими трубами, оглушающими литаврами и бьющими дробь барабанами... Ошеломили

---

[1] *Чекмень* — короткий полукафтан с перехватом.

Дуню и шум, и блеск, и пестрая тесная толпа. Много людей, ни одного знакомого лица, и там и тут говорят непонятно, не по-русски, везде суетливость, тревожность. Мутится у Дуни в очах, сердце так и стучит, голова кружится, стало ей страшно, тихонько просит она отца удалиться от этого шума и гама. Но не слышит Марко Данилыч дочерних речей, встретив знакомца, пустился с ним в разговоры про цены на икру да на сушь[1].

Вдруг перед Дуней Петр Степаныч Самоквасов. Поздоровался он с Смолокуровым. Марко Данилыч рад нечаянной встрече. Кончив с знакомцем разговор о судаке, заботливо стал он расспрашивать Самоквасова, давно ль он на ярманке, откуда приехал и долго ль останется у Макарья. Петр Степаныч почтительно и с едва заметной радостью во взоре поклонился Дуне. Просияла она, улыбнулась ясной, открытой улыбкой, потом вспыхнула и опустила синенькие глазки. Заметил Петр Степаныч и улыбку и разлившийся по лицу румянец, и вдруг стало ему с чего-то весело. Но осторожно и сдержанно выражал он радость, вдруг охватившую душу его. Нежно поглядывая на Дунюшку, рассказывал он Марку Данилычу, что приехал уже с неделю и пробудет на ярманке до флагов[2], что он, после того как виделись на празднике у Манефы, дома в Казани еще не бывал, что поехал тогда по делам в Ярославль да в Москву, там вздумалось ему прокатиться по новой еще тогда железной дороге, сел, поехал, попал в Петербург, да там и застрял на целый месяц.

— А вы давно ли здесь, Марко Данилыч? — спросил Петр Степаныч, кончив рассказ про свою петербургскую поездку.

— Сегодняшним пароходом,— ответил Марко Данилыч.— Ярманку дочке хочу показать,— прибавил он, улыбаясь и с любовью поглядывая на Дуню.

— А вы еще никогда не бывали на ярманке? В первый раз? — спросил Самоквасов, быстро повернув голову и взглянув Дуне в лицо.

— В первый раз,— проговорила она и потупилась.

— Что ж, понравилось вам? — опять спросил Петр Степаныч, обливая взором разгоревшееся личико девушки.

---

[1] Сушенная на солнце рыба.

[2] Спуск ярмарочных флагов 25 августа.

— Шумно очень,— ответила она.

— А вы не любите шума? — продолжал он спрашивать.

— Не люблю,— потупив глаза, сказала Дуня.

— Дело непривычное,— улыбаясь на дочь, молвил Марко Данилыч.— Людей-то мало еще видала. Город наш махонький да тихой, на улицах ни души, травой поросли они. Где же Дунюшке было людей видеть?.. Да ничего, обглядится, попривыкнет маленько. Согрешить хочу, в цирк повезу, по театрам поедем.

— Нешто грех? — усмехнувшись, спросил Самоквасов.

— А нешто спасенье? — засмеялся Смолокуров.

Расстались. На прощанье узнали друг от друга, что остановились в одной гостинице.

— Значит соседи, видеться будем. Милости просим нас посетить, чайку когда покушать,— с теплым радушием молвил Самоквасову Марко Данилыч.

— С великим моим удовольствием,— отозвался Петр Степаныч. Скромно, вежливо поклонился он сначала отцу, потом дочери и скрылся в толпе.

— Поедем, тятенька, домой,— сказала Дуня отцу тотчас по уходе Самоквасова.

— Рано еще, всего восьмой час,— молвил Марко Данилыч.— Погуляем... Может, еще кого из знакомых повстречаем.

— Что-то голову ломит... С дороги, должно быть...— сказала Дуня.

— Какое с дороги? — сказал Смолокуров.— Ехали недолго, шести часов не ехали, не трясло, не било, ни дождем не мочило... Ты же все лежала на диванчике — с чего бы, кажись, головке разболеться?.. Не продуло ль разве тебя, когда наверх ты выходила?

— Тепло была одета я,— ответила Дуня.

— Это с непривычки. Вишь, народу-то что!.. А музыка-то?.. Не слыхивала такой? Почище нашего органа? А? Ничего, привыкай, привыкай, Дунюшка, не все же в четырех стенах сидеть, придется и выпрыгнуть из родительского гнездышка.

Не ответила Дуня, но крепко прижалась к отцу. В то время толпа напирала, и прямо перед Дуней стал высокий, чуть не в косую сажень армянин... Устремил он на нее тупоумный сладострастный взор и от восторга при-

цмокивал даже губами. Дрогнула Дуня — слыхала она, что армяне у Макарья молоденьких девушек крадут. Потому и прижалась к отцу.

Протеснился Марко Данилыч в сторону, стал у прилавка, где были разложены екатеринбургские вещи.

— Выбирай, что по мысли придется, — сказал он, становясь рядом с дочерью.

Продавец тотчас стал снимать с полок замшевые коробочки, сафьянные укладочки, маленькие ларчики и раскладывать их перед Дуней. Но блестящие, играющие разноцветными лучами самоцветные камни не занимали ее. Душно ей было, на простор хотелось, а восточный человек не отходит, как вкопанный сбоку прилавка стоит и не сводит жадных глаз с Дуни, а тут еще какой-то офицер с наглым видом уставился глядеть на нее. Робеет Дуня, не глядит на разложенные перед ней вещи и почти сквозь слезы просит отца: «Поедем домой, пожалуйста, поедем!» Согласился Смолокуров, поехали.

Когда воротились, Дарья Сергевна встревожилась, взглянув на названную племянницу... На себя была она не похожа — лицо разгорелось, нижняя губка дрожала. Старалась Дуня успокоить «тетю», делала над собой усилие, чтоб не выказать волненья, принужденно улыбалась, но волненье выступало на лице, дрожащий блеск вспыхивал в синеньких глазках, и невольная слезинка сверкала в темных, длинных ресницах. Перепугался и Марко Данилыч, никогда не видывал он Дуню такою, сама Дуня удивилась, взглянув на себя в зеркало. Засуетились и отец и Дарья Сергевна... Несмотря на уверенья Дуни, что никакой боли она не чувствует, что только в духоте у нее голова закружилась, Марко Данилыч хотел было за лекарем посылать, но Дарья Сергевна уговорила оставить больную в покое до утра, а там посмотреть, что надо будет делать. Не очень жаловала она лекарей, не хотелось ей, чтоб лечили они Дунюшку.

— Прохватило, должно быть, на пароходе,— вполголоса говорил встревоженный Марко Данилыч Дарье Сергевне, когда Дуня пошла раздеваться.— Сиверко было, как она наверх-от выходила.

— Бог милостив, пройдет,— успокоивала его сама неспокойная Дарья Сергевна.— Горяченьким на ночь ее напою, горчишник приложу. Нельзя же иной раз не прихворнуть.

— Ох, боюсь я, Дарья Сергевна! Ну как, сохрани господи!.. Что тогда?..— с отчаяньем говорил Смолокуров, поникнув головой и ходя взад и вперед по комнате.

— Полноте, Марко Данилыч, ничего не́ видя, убивать себя. Как это не стыдно! А еще мужчина! — уговаривала его Дарья Сергевна.— На таком многолюдстве она еще не бывала, что мудреного, что головка заболела? Бог милостив! Вот разве что? — быстро сказала Дарья Сергевна.

— Что? — вдруг остановясь и зорко глядя на нее, спросил Смолокуров.

— Не сглазил ли ее кто? Мудреного тут нет. Народу много, а на нее, голубоньку, есть на что посмотреть,— молвила Дарья Сергевна.— Спрысну ее через уголек — бог даст, полегчает... Ложитесь со Христом, Марко Данилыч; утро вечера мудренее... А я, что надо, сделаю над ней.

Смолокуров вошел в комнату дочери проститься на сон грядущий. Как ни уверяла его Дуня, что ей лучше, что голова у ней больше не болит, что совсем она успокоилась, не верил он, и, когда прощаясь, поцеловал ее в лоб, крупная слеза капнула на лицо Дуни.

— Тятенька! — вскликнула она.— Что ты?

— Ничего, ничего, моя дорогая,— подавляя волненье, сказал Смолокуров, потом, перекрестя дочь, быстро вышел из комнаты.

Оставшись с Дуней, Дарья Сергевна раздела ее и уложила в постель, в соседней горнице с молитвой налила она в полоскательную чашку чистой воды на̀ уголь, на соль, на печинку [1], нарочно на всякий случай ее с собой захватила,— взяла в рот той воды и, войдя к Дуне, невзначай спрыснула ее, а потом оставленною водой принялась умывать ей лицо, шепотом приговаривая:

— От стрешного, поперечного, от лихого человека помилуй, господи, рабу твою Евдокею! От притки, от приткиной матери, от черного человека, от рыжего, от черемного, завидливого, урочливого, прикошливого, от серого глаза, от карего глаза, от синего глаза, от черного глаза!.. Как заря-Амнитария исходила и потухала, так бы из рабы божией Евдокеи всякие недуги напущенные исходили и потухали. Как из булату, из синего укладу каменем огонь выбивает, так бы из рабы божией Евдо-

---

[1] Кусочек глины, выковыренный из связи печных кирпичей.

кеи все недуги и порчи вышибало и выбивало... Притка ты, притка, приткина мать, бо́лести, уроки, призор очес; подите от рабы божией Евдокеи во темны́е леса, на сухи́ дерева, где народ не ходит, где скот не бродит, где птица не летает, где зверье не рыщет... Соломонида бабушка[1] Христоправушка, Христа мыла, правила, нам окатышки оставила!.. Запираю приговор тридевяти тремя замками, тридевяти тремя ключами... Слово мое крепко!.. Аминь.

И, взяв чистую сорочку, подала ее Дуне утереться изнанкой.

Затем, надев чистую сорочку и напоив девушку липовым цветом с малиной, укутала ее с ног до головы и велела тотча́с глаза закрыть. Сама, не раздеваясь, возле Дуниной кровати прилегла на диване.

Стихло в гостинице, лишь изредка слышится где-то в дальних коридорах глухой топот по чугунному полу запоздавшего постояльца да либо зазвенит замок отпираемой двери... Прошумело на улице и то́тчас стихло,— то перед разводкой моста через Оку возвращались с ярманки последние горожане... Тишина ничем не нарушается, разве где в соседних квартирах чуть слышно раздается храп, либо кто-нибудь впросонках промычит, пробормочет что-то и затем то́тчас же стихнет.

На соборной колокольне полно́чь пробило, пробило час, два... Дуня не спит... Сжавшись под одеялом, лежит она недвижи́мо, боясь потрево́жить чуткий сон заботливой Дарьи Сергевны... Вспоминает, что видела в тот день. В первый раз еще на пароходе она ехала, в первый раз и ярманку увидала. Виденное и слышанное одно за другим оживает в ее памяти.

Вот раннее свежее утро, со̀ светом вместе поднялись Смолокуровы в ожиданье бегущего сверху парохода. Небо чисто и ясно, утренняя заря румянцем разливается по̀ небу и, отражаясь в тихих зеркальных водах Оки, обливает их розовым сияньем. Вдали за песчаной косой засвистел пароход, стали спешно укладывать на долгушу

[1] Апокрифическая баба Соломея, или Соломонида, будто бы принимавшая Христа при рождестве его, упоминается в апокрифических евангелиях и в некоторых церковных книгах (например, «Синаксарь»). У старообрядцев поминается она, когда дают молитву роженицам. Празднуют бабе Соломее на другой день Рождества (26 декабря), в этот день варят кашу и угощают бабушек-повитух. Обычай этот называется «бабьи каши».

чемоданы, сами в коляске съехали к пристани. Все занимает Дуню: и необычное раннее вставанье, и свежесть июльского утра, и кроткое сиянье зари... Вот паром и несколько лодок стоят у пристани, наполняются те лодки молодицами и девушками с подойниками, крытыми чистыми тряпицами. Идут меж ними шутливые перебранки и веселые разговоры, порой вырываются громкие, визгливые крики. Паром отвалил, за ним и причаленные к нему лодочки поплыли на луговой берег. Ни при городе, ни при слободе, что возле него длинным поселком вытянулась пó берегу, ни пяди нет выгонной земли — луга за рекой. Только сольет река с поймы, скот перевозят обонпол[1], там и пасется он до поздней осени... Оттого каждый день на утренней заре и перед солнечным закатом бабы да девки ездят за Оку коровушек доить. С детства о том Дуня слыхивала, но доселе еще не видала переезда через реку доильщиц... Жалко ей стало их, и вот теперь в ночной тиши про их труды она думает... Хорошо было ей: ясно, тихо, тепло... А каково бедняжкам в дождь, непогоду, каково им тогда, как по реке ветры разыграются и не только мелкие лодки, даже паром волнáми, как мячик, кверху подкидывает... Как помочь, как пособить?.. Не придумает Дуня...

С оглушительным свистом подбежал пароход. Причалил, забирает охотников ехать. Робко вступает Дуня на палубу, дрожащей поступью идет за отцом в уютную каюту, садится у окна, глядит на маленький свой городок, что причудливо раскинулся по берегу полугорьям и на верху высокой кручи... Опять пронзительно свистнуло, Дуня вздрогнула невольно... Раз, два, зашумели колеса, побежал пароход по желто-синему лону Оки... Яркое, приветно сияющее солнце поднимается над горами правого берега. Длинной-предлинной полосой растянутые на восточной стороне неба облака серебром засверкали от всплывшего под ними светила, хлынули с небесной высоты золотые лучи и подернули чуть заметную рябь речного лона сверкающими переливами яркого света. Вверху небосклона появились ясные, сероватые облака снежно-серебристыми краями и над сверкающей золотистыми огнями и багровым отблеском рекой стали недвижно в бездонной лазури...

---

[1] На ту сторону реки.

Шумит, бежит пароход, то и дело меняются виды: высятся крутые горы, то покрытые темно-зеленым орешником, то обнаженные и прорезанные глубокими и далеко уходящими вра́гами. Река извивается, и с каждым изгибом ее го́ры то подходят к воде и стоят над ней красно-бурыми стенами, то удаляются от реки, и от их подошвы широко и привольно раскидываются ярко-зеленые сочные покосы поемных лугов. Там и сям на венце гор чернеют ряды высоких бревенчатых изб, белеют сельские церкви, виднеются помещичьи усадьбы.

Шумит, бежит пароход... Вот на желтых, сыпучих песках обширные слободы сливаются в одно непрерывное селенье... Дома всё большие двухэтажные, за ними дымятся заводы, а дальше в густом желто-сером тумане виднеются огромные кирпичные здания, над ними высятся церкви, часовни, минареты, китайские башенки... Реки больше не видать впереди — сплошь заставлена она несчетными рядами разновидных судов... Направо по горам и по скатам раскинулись сады и здания большого старинного города.

Одно за другим вспоминается не могущей заснуть Дуне. Вспоминается теснота, шум и блеск, что испугали ее на ярманке. Все вспоминается — и пароход, и берега Оки, и бабы, переезжавшие за реку к коровушкам,— но почему-то все сливается с памятью о Петре Степаныче. Его образ то и дело перед душевными очами Дуни. То вдруг вышел он из береговых кустов, то перерезывает реку в легкой лодочке, то входит в ее каюту, то с яростью отталкивает армянина, когда тот нагнулся было к ней и, крепко обняв, хочет целовать ее... Вот он выводит ее из тесной толпы, ведет в какой-то сад, она оглядывается, а это их сад, вот ее грядки, вот ее цветочки, вот и раскрашенная узорчатая беседка, где каждый день сидит она с работой либо с книжкой в руках... Он зовет ее в беседку... Робко и медленно идет она на́ зов, но — не стало ни его, ни беседки, стоит прилавок с яшмами, аметистами, а тут и армянин с офицером... они хватают ее, куда-то тащат... Какая-то неведомая Дуне барыня, вся в черном, тощая, бледная спешит к ней издали... Все кружится в глазах Дуни, все туманится, все кроется мраком, за ней гонятся какие-то чудовища с огненными глазами, чарующие огненные взоры черной барыни ровно насквозь пронизывают страдающую девушку, но вдали

в слабо мерцающем свете — он. Хочет Дуня бежать к нему, но не может отделить ног от земли, точно приросли они, а черная барыня и страшные чудища ближе и ближе... и опять все кружится, опять все темнеет...

Сняв сапоги, в одних чулках Марко Данилыч всю ночь проходил взад и вперед по соседней горнице, чутко прислушиваясь к тяжелому, прерывистому дыханью дочери и при каждом малейшем шорохе заглядывал в щель недотворенной двери.

* * *

На другой день Дуня поздно поднялась с постели совсем здоровая. Сиял Марко Данилыч, обрадовалась и Дарья Сергевна.

— Говорила я, что сглазу,— разливая чай, сказала она.— Моя правда и вышла: вечор спрыснула ее да водицей с уголька умыла, и все как рукой сняло... Вот Дунюшка теперь у нас и веселенькая и головка не болит у ней.

Но Дуня вовсе не была веселенькою. Улыбалась, ласкалась она и к отцу и к названной тете, но нет-нет, да вдруг и задумается, и не то тоской, не то заботой подернется миловидное ее личико. Замолчит, призадумается, но только на минуту. Потом вдруг будто очнется из забытья, вскинет лазурными очами на Марка Данилыча и улыбнется ему кроткой, ясной улыбкой.

— Что ж, Дунюшка, поедем, что ли, сегодня на ярманку? — спросил он, допивая пятый или шестой стакан чаю.

— Нет, тятя, зачем же? Лучше я с тетей посижу,— отвечала Дуня.

— С тетей-то и дома насиделась бы,— молвил Марко Данилыч.— Коль на месте сидеть, так незачем было и на ярманку ехать... Не на то привезена, чтоб взаперти сидеть. Людей надо смотреть, себя показывать.

— Что мне показывать себя? Узоры, что ли, на мне? — улыбнулась Дуня.

— Как зачем?— тоже улыбнулся Смолокуров.— Знали бы люди да ведали, какова у меня дочка выросла: не урод, не ряба, не хрома, не кривобокая.

— Чтой-то ты, тятенька?—зардевшись, молвила Дуня.— Нешто ты меня, ровно товар какой, привез на ярманку продавать?..

— А почем знать, что у нас впереди? — улыбнулся Марко Данилыч.— Думаешь, у Макарья девичьего товара не бывает? Много его в привозе... Каждый год со всех концов купецких девиц возят к Макарью невеститься.

Поникла Дуня головкой и, глубоко вздохнув, замолчала.

— Отовсюду купцы дочерей да племянниц сюда привозят,— шутливо продолжал Смолокуров.— И господа тоже; вот и я тебя привез... Товар у меня без обману, первый сорт!.. Глянь-ка в зеркало — правду ль я говорю?..

Кто-то кашлянул в соседней горнице. Выглянул туда Марко Данилыч.

— Добро пожаловать,— весело сказал он.— А мы еще за чаем. С дороги, должно быть, долгонько, признаться, про́спали... Милости просим, пожалуйте сюда!

И ввел Петра Степаныча в ту комнату, где Дуня с Дарьей Сергевной за чаем сидели.

Обе встали, поклонились. Дуня вспыхнула, но глаза просияли. Дарья Сергевна зорко на нее посмотрела.

— Садитесь-ка к столику, Дарья Сергевна, да чайку плесните дорогому гостю. Подвинь-ка, Дунюшка, крендельки-то сюда и баранки сюда же. Аль, может быть, московского калача желаете? — ласково говорил Смолокуров, усаживая Петра Степаныча.

— Напрасно беспокоитесь,— отвечал Самоквасов,— я уж давно отпил.

— От чаю, сударь, не отказываются,— молвил Марко Данилыч,— особенно здесь, у Макарья. Здесь весь самый главный чайный торг. Ну как дела? Расторговались ли?

— Да ведь я без дела здесь, Марко Данилыч, так попу́сту проживаю. Покамест не отделен, делов своих у меня нет, и за чужими напоследях что-то неохота и время-то терять.

— Не чужие, кажись бы, дела-то? — молвил Марко Данилыч.

— В Ярославле последнюю дядину пору́ченность выполнил,— такой у нас уговор был,— ответил Самоквасов.

— Раздел-от скоро ли? — немножко помолчав, спросил Марко Данилыч.

— Да вот после Макарья,— ответил Петр Степаныч.— Сведет дядя годовые счета, тогда и разделимся.

— Тимофей-от Гордеич приедет на ярманку?

— Ко второму спасу,— нехотя ответил Петр Степаныч.— Нельзя ему не приехать, расчеты тоже надо свести, долги кой-какие собрать.

— Платежи-то, говорят, ноне будут тугоньки,— заметил Смолокуров.

— Толкуют, что не больно подходящие,— рассеянно отозвался Самоквасов.

— А покончивши с дяденькой, как располагаете?.. Рыбкой не займетесь ли? — с улыбкой спросил гостя Марко Данилыч.

— Не знаю еще как вам сказать... Больно уж вы меня тогда напугали, в Комарове-то,— ответил Петр Степаныч.— Не совладать, кажись, с таким делом... Непривычно...

— Напрасно так говорите,— покачивая головой, сказал Смолокуров.— По нонешнему времени эта коммерция самая прибыльная — цены, что ни год, все выше да выше, особливо на икру. За границу, слышь, много ее пошло, потому и дорожает.

— Рыбы-то, сказывают, меньше стало,— заметил Петр Степаныч.— Переводится. Пароходы, что ли, ее, слышь, распугали.

— Как на̀ это сказать? — раздумчиво отозвался Марко Данилыч.— Красной рыбы точно что меньше стало. От пароходов ли это, от другого ли чего — бог ее знает. А частиковой не выловишь. От Царицына по во́ложкам да по ильменя́м[1] страсть ее что, а ниже Астрахани и того больше. У меня хоть на ватагах взять — ловы́ имею большие, а разве с осетра аль с белужины главную пользу получаю? Не было бы частику́, все бы рыбное дело хоть брось. Первое дело судак, да еще вот бешенка пошла теперь в ход[2]. Вечор справлялся, крас-

---

[1] *Воложка* — рукав Волги. *Ильмень* — озеро, образующееся от разлива вешней воды, с берегами, поросшими камышом, тростником и мокрою порослью. Озером на низовье Волги зовут только соленое, пресноводному имя — ильмень.

[2] Рыба Cyprinus cultratus, иначе «волжская сельдь». Ее множество. Прежде считали рыбу эту вредною, стали ловить не больше сорока лет тому назад.

ной рыбы: осетра, белуги, севрюги, да икры с балыками все-то сот на шесть тысяч на Гребновской наберется, а частику больше трех миллионов.

— Все это так... Однако ж для меня все-таки рыбная часть не к руке, Марко Данилыч,— сказал Самоквасов.— Нет, как, бог даст, отделюсь, так прежним торгом займусь. С чего прадедушка зачинал, того и я придержусь— сальцом да кожицей промышлять стану.

— Заводы-то как поделите? Ведь их в разны руки нельзя,— спросил Смолокуров.

— Как-нибудь да поделим,— молвил Петр Степаныч.— Я и на то, пожалуй, буду согласен, чтоб деньгами за свою часть в заводах получить... Новы бы тогда построил...

— В Казани же?

— Нет, по нонешним обстоятельствам, с салом сходней будет в Самаре устроиться... Кожей, пожалуй, можно на старом пепелище,— ответил Самоквасов.

— Давай бог, давай бог!— радушно промолвил Марко Данилыч.— А по-мо́ему, чего бы лучше рыбная часть... Коммерция эта завсегда с барышом! Право.

— Нет уж увольте, Марко Данилыч,— с улыбкой ответил Петр Степаныч.— По моим обстоятельствам, это дело совсем не подходящее. Ни привычки нет, ни сноровки. Как всего, что по Волге плывет, не переймешь, так и торгов всех в одни руки не заберешь. Чего доброго, зачавши нового искать, старое, пожалуй, потеряешь. Что тогда будет хорошего?

— Ну, как знаете,— с небольшой досадой молвил Смолокуров и, встав со стула, к окну подошел.

— Батюшки светы! Никак Зиновий Алексеич?..— вскрикнул он, чуть не до половины высунувшись из окошка.— Он и есть! Вот не чаял-то!

И, подойдя к двери, кликнул коридорного:

— Слушай-ка, друг любезный, добеги, пожалуйста, до крыльца — тут сейчас купец подъехал, высокий такой, широкоплечий, синий сюртук, седа борода. Узнай, голубчик, не Доронин ли это Зиновий Алексеич. Пожалуйста, сбегай поскорее... Ежели Доронин, молви ему: Марко, мол, Данилыч Смолокуров зовет его к себе.

— Да они у нас в гостинице стоят,— сказал коридорный.— Другу неделю здесь проживают. В двадцать пер-

вом и в двадцать втором номере, от вас через три номера. С семейством приехали.

— Как? И с семейством? — вскликнул Марко Данилыч — И с женой и с дочками?

— Так точно-с, и с супругой с ихней и с двумя барышнями

— Спасибо, любезный. На̀-ка тебе.

И, вынув из кармана какую-то мелочь, сунул ее коридорному; тот молча поклонился и тотчас спросил:

— Еще чего не потребуется ли вашему степенству?

— Нет, покамест, кажись, ничего... А вот что: зайди-ка ты к Зиновью-то Алексеичу, молви ему, что и я у вас же пристал.

— Слушаю-с,— сказал коридорный и полетел вон из горницы, ухарски размахивая руками.

— Вот тебе, Дунюшка, и подруги,— молвил Марко Данилыч, весело обращаясь к дочери.— Зиновий Алексеич великий мне приятель. Хозяюшка его, Татьяна Андревна, женщина стоющая, дочки распрекрасные, скромные, разумные, меньшая-то ровесница тебе никак будет, а большенькая годом либо двумя постарше... Вот уж ознакомитесь... Сегодня же надо будет повидаться с ними

— Какой это Доронин? — спросил Петр Степаныч.— Не из Вольска ли?

— Вольской,— подтвердил Смолокуров.— Пшеном торгует. А нешто вы его знаете?

— Большого знакомства не имел, а кой у кого встречались,— ответил Петр Степаныч.— Мельница еще у него на Иргизе, как раз возле немецких колоний.

— Самый он и есть,— молвил Марко Данилыч.— Зиновий Алексеич допреж и сам-от на той мельнице жил, да вот годов уж с пяток в городу́ дом себе поставил. Важный дом, настоящий дворец. А уж в доме — так чего-чего нет...

— С большим, значит, капиталом? — спросил Самоквасов.

— С порядочным,— кивнув вбок головой, слегка наморщив верхнюю губу, сказал Смолокуров.— По тамошним местам он будет из первых. До Сапожниковых далёко, а деньги тоже водятся. Этто как-то они, человек с десяток, складчину было сделали да на складочны деньги стеариновый завод завели. Не пошло. Одни только пу-

стые затеи. Другие-то, что с Зиновьем Алексеичем в долях были, хошь кошель через плечо вешай, а он ничего, ровно блоха его укусила.

— Много в Волжске-то таких богачей? — спросил Самоквасов.

— Есть,— ответил Марко Данилыч.— Супротив таких, каков был Злобин аль теперь Сапожников, нет, а вот хоть бы Зиновья Алексеича взять — человек состоятельный, по всей Волге известен.

Такие разговоры вели меж собой Марко Данилыч с Самоквасовым часа два, если не больше. Убрали чай, Дарья Сергевна куда-то вышла, Дуня села в сторонке и принялась вязать шелковый кошелек, изредка вскидывая глазами на Петра Степаныча. В мужские разговоры девице вступать не след, оттого она и молчала. Петр Степаныч и рад бы словечком перекинуться с ней, да тоже нельзя — не водится.

Зато его карие очи были речисты. Каждый украдкою брошенный на Дунюшку взор приводил ее в смущенье. От каждого взгляда сердце у ней ровно вздрагивало, а потом сладостно так трепетало.

Когда Петр Степаныч собрался домой, простившись со Смолокуровым, поклонился он Дуне. Та молча привстала, слегка наклонила головку и взглянула на него такими сияющими, такими ясными очами, что глубоко вздохнулось добру молодцу и голубем встрепенулось ретивое его сердце.

— Так вы заходите же к нам, когда удосужитесь... Посидим, покалякаем. Очненно будем рады,— провожая гостя, говорил Марко Данилыч.— По ярманке бы вместе когда погуляли, Зиновья Алексеича в компанию прихватили бы... Милости просим, мы люди простые, и жалуйте к нам попросту без чинов.

Вышел Петр Степаныч, а Марко Данилыч, пройдясь по комнате, молвил вполголоса:

— Важный парень! И с достатком!

Быстро вскинула глазами на отца Дуня и тотчас их опустила. Кошелек, что ли, не вязался, петли путались, что ли.

— Ты что? — чуть улыбнувшись, спросил ее отец.

— Ничего,— едва слышно промолвила Дуня и пристально стала вглядываться в работу.

Марко Данилыч вышел из комнаты.

ГЛАВА ПЯТАЯ

На низовых и каспийских [1] промыслах рыбу так солят: в «крутой» рассол бузуна [2] кладут рыбу, а после ее посола свежего рассола не заводят. Прибавят в старый рассол немного соли да нальют туда водицы, в том и солят новую рыбу. Такой рассол, называемый «тузлу́ком», держат во все время посола, и каждый раз, когда надобно класть свежую рыбу, прибавляют воды и соли. Оттого коренная рыба скоро «доспевает», оттого и делается она таким товаром, который никак нельзя причислить к разряду благовонных. Хоть в соседних озерах бузуну ввек не исчерпать, но соль обложена большой пошлиной, а воровать ее не всегда легко. Оттого рыбным промышленникам и нет расчета для каждого посола свежий рассол заводить. Опять же рыбу, как ни посоли, всю съедят, товар на руках не останется; серому человеку та только рыба и лакома, что хорошо доспела, маленько, значит, пованивает.

Когда рыбный караван приходит к Макарью, ставят его вверх по реке, на Гребновской пристани [3], подальше ото всего, чтоб не веяло на ярманку и на другие караваны душком «коренной». Баржи расставляются в три либо в четыре ряда, глядя по тому, сколь велик привоз. На караван ездят только те, кому дело до рыбы есть. Поглядеть на вонючие рыбные склады в несколько миллионов пудов из одного любопытства никто не поедет — это не чай, что горами навален вдоль Сибирской пристани.

Целый ряд баржѐй стоял на Гребновской с рыбой Марка Данилыча; запоздал маленько в пути караван его, оттого и стоял он позадь других, чуть не у самого стержня Оки. Хозяева обыкновенно каждый день наезжают на Гребновскую пристань... У прорезей [4], что стоят возле ярманочного моста, гребцы на косной со смолокуровского каравана ждали Марка Данилыча. В первый еще раз плыл он на свой караван.

Величаво и медленно спустился по ступенькам с моста на плашкот Марко Данилыч, молча уселся на ковер,

---

[1] Низовыми называются в Волге, каспийскими — в море.
[2] Озерная самосадочная соль.
[3] Гребновская пристань на левом берегу Оки, выше Железной.
[4] Садки с живой рыбой.

разостланный на середней лавочке лодки, слегка приподнял картуз в ответ на приветствие гребцов, разодетых на его счет в красные кумачовые рубахи и с шляпами на головах, украшенными алыми лентами. В пути молчал Смолокуров, когда удалые гребцы, бойко, редко, но зàраз, будто по команде, взмахивали веслами и легкая косная быстро неслась по стержню Оки, направляя путь к Гребновской пристани. Молчит хозяин, молчат и гребцы, знают они, что без нужного дела заводить разговоры с Марком Данилычем — только прогневлять его. Суров, неречист бывал он с подначальными... Поглядеть на него в косной аль потом в караване, поверить нельзя, чтоб этот сумрачный, грозный купчина был тот самый Марко Данилыч, что, дó свету вплоть, в одних чулках проходил по горнице, отирая слезы при одной мысли об опасности нежно любимой Дуни.

Подъезжает к каравану Марко Данилыч. Издали узнал косную и своего хозяина главный его приказчик, длинный, сухой, сильно оспой побитый Василий Фадеев. Был он в длиннополом, спереди насквозь просаленном нанковом сюртуке, с бумажным плàтом на шее — значит, не по древлему благочестию; истый старовер плàта на шею ни зá что не вздленет, то фряжский обычай, святыми отцами не благословенный. Увидав подъезжавшего хозяина, Фадеев стремглав бросился в размалеванную разными красками казенку[1], стоявшую в виде беседки на кормовой части крайней баржи. Там, наскоро порывшись в разложенных по столу бумагах, взял одну и подошел к трапу, ожидая подъезда Марка Данилыча.

— Хозяин плывет!— мимоходом молвил лоцману Василий Фадеев. Тот бегом в казенку на второй барже и там наскоро вздел красну рубаху, чтоб достойным образом встретить впервые приехавшего на караван такого хозяина, что любит хороший порядок, любит его во всем от мала до велика. Пробегая к казенке, лоцман повестил проходившего мимо водолива о приезде хозяина, и тотчас на всех восьми баржах смолокуровского каравана раздались голоса:

— Хозяин плывет! Смолокуров! Крепи трап-от ладнее!.. Эй, ну вы, ребята, вылезай на волю! Хозяин!

---

[1] Рубка или каютка на речном судне, в ней живет хозяин или приказчик, хранятся деньги, паспорты и разные бумаги.

И полезли рабочие на палубы из одной мурьи[1], из другой, из третьей, на всех восьми баржах полезли наверх и становились вдоль бортов посмотреть-поглядеть на хозяина. Никто из рабочих еще не видывал его, а уж все до единого были злы на него. Четвертый день, как они поставили баржи в пристани как следует, но, несмотря на мольбы, просьбы, крики, брань и ругань, не могут получить заслуженных денег от Василья Фадеева. На том уперся приказчик, что, покамест сам хозяин баржей не осмотрит, ни одному рабочему он копейки не даст.

Подъехал Смолокуров, лоцман с водоливом подали трап на косную и приняли под руки поднимавшегося хозяина. Почтительно сняв картуз, Василий Фадеев молча подал ему «лепортицию». Молча и Марко Данилыч просмотрел ее и медленными шагами пошел вдоль по палубе. На всем караване примолкли: и лоцмана, и водоливы, и рабочий люд — все стояли без шапок... Наперед повестил Василий Фадеев всех, кто не знавал еще Марка Данилыча, что у него на глазах горло зря распускать не годится и, пока не велит он головы крыть, стой без шапок, потому что любит почет и блюдет порядок во всем.

— Был кто за рыбой? — отрывисто спросил Василья Фадеева Смолокуров, не поднимая глаз с бумаги и взглядом даже не отвечая на отдаваемые со всех сторон ему поклоны.

— Вечорашний день от Маркеловых приезжали,— подобострастно ответил приказчик.

— Ну?

— Дешевенько-с,— вертя указательными пальцами и вскидывая плутовскими взглядами на хозяина, молвил Василий Фадеев.

— Почем?

— Девять гривен судак, два с четвертью коренная, других сортов не спрашивали.

— Жирно будет,—сквозь зубы процедил Марко Данилыч, не глядя на приказчика, и сунул в карман его «лепортицию».

---

[1] *Мурья* — трюм, пространство между грузом и палубой, где укрываются бурлаки во время непогоды и где у них лежит лишняя одежда и другой скарб.

— Ладно ль пароход-от поставили? — насупясь, спросил у приказчика Марко Данилыч.

— Как следует-с,— отвечал Василий Фадеев, судорожно вертя в руках синий бумажный платок.

— Много ль народу на нем?

— Капитан, лоцман, водолив, да пять человек рабочих.

— Рассчитаны?

— По день прихода рассчитаны-с.

— Которо место пароход поставили?

— К низу, с самого краю [1].

— Для че так далеко?

— Ближе-то водяной не пускает, там, дескать, место для пассажирских, а вам, говорит, где ни стоять — все едино...

— Все едино! Известно, им все едино, ихни же солдаты крайни пароходы обкрадывают... Трех рабочих еще туда поставь, караул бы был бессменный: день и ночь караулили бы.

— Слушаю-с,— молвил Василий Фадеев.

По доскам, положенным с борта на́ борт, перешли на вторую баржу.

— На ба́ржах много ль народу? — спросил Марко Данилыч, быстро оглядывая все, что ни лежало на палубе.

— Сто двадцать восемь человек,— ответил Фадеев и сдержанно кашлянул в сторону, прикрывая рот ладонью.

— Денег в пути давал?

— Помаленьку иные получали,— отвечал приказчик.

— Для́ чего?

— Надобности кой-какие бывали... у них...— запинаясь, отвечал приказчик.— У кого обувь порвалась, кому рубаху надо было справить... Не помногу давано-с.

— Баловство! — недовольно промолвил Марко Данилыч.

— Пристают,— робко проговорил приказчик.

— Мало ль что пристают! А тебе б их не слушать. Дай им, чертям, поблажку, после не справишься с ними... Заборы-то записаны?

---

[1] Когда баржи с грузом поставят на место в Гребновской или в другой какой-либо макарьевской пристани, пароходы отводят на другую пристань ниже по течению Волги — под кремль и под Егорьевский съезд. Это делается для безопасности от огня.

— Как же-с! Все в книге значатся, и с ихними расписками.

— Лепортицу об этом сготовь.

— Слушаю-с.

И перешли на третью баржу.

Грязный, кудластый щенок выскочил из казенки. С ласковым визгом и радостным бреханьем, быстро вертя хвостиком и припадая всем телом к полу, бросился он к ногам вступивших на палубу.

— Кто смел в караване собак разводить? — грозно вскрикнул Марко Данилыч, изо всей силы пихнув сапогом кутяшку. С жалобным визгом взлетела собачонка кверху, ударилась о́ пол и, поджав хвост, прихрамывая, поплелась в казенку.

— Чей пес? — продолжал кричать Смолокуров.

— Водолива, должно быть,— тихо, вполголоса промолвил Василий Фадеев.

— Должно быть! — передразнил приказчика Марко Данилыч.— Все должен знать, что у тебя в караване. И как мог ты допустить на баржах псов разводить? А?.. Рыбу крали да кормили?.. Где водолив?

Водолив немножко выдвинулся вперед.

— Виноват, батюшка Марко Данилыч,— боязливо промолвил он, чуть не в землю кланяясь Смолокурову.— Всего-то вчерашний день завел, тонул, сердечный, жалко стало песика — вынул его из воды... Простите великодушно!.. Виноват, Марко Данилыч.

— То-то виноват!.. Из твоей вины мне не шубу шить! — вскрикнул Смолокуров.— Чтоб духу ее не было... За́ борт, назад в воду ее, проклятую. Ишь что выдумали! Ах вы, разбойники!..

И, обругав водолива, молча перешел с Фадеевым на четвертую баржу.

— Это судак? — спросил Марко Данилыч приказчика.

— Первы три баржи все с судаком-с,— молвил Василий Фадеев.

— С соленым?

— Так точно-с.

— Бешенка где?

— На пятой-с.

— На четвертой что?

— Сушь.

— Вся?

— Вся-с.

— Коренная где?

— На шестой белужина с севрюгой, на седьмой осетёр. Икра тоже на седьмой-с, пробойки, жиры, молоки.

— На восьмой значит во́рвань? [1].

— Так точно-с.

Замолчали и молча прошли на другую баржу... Набрался́ тут смелости Василий Фадеев, молвил хозяи́ну:

— Расчету рабочие требуют, Марко Данилыч.

Промолчал, ровно не ему говорят, Марко Данилыч.

— Галдят, четвертый, дескать, день простой идет, харчимся, дескать, понапрасну работу у других хозяев упускаем.

Опять промолчал Марко Данилыч.

— Говорю им, обождите немножко, вот, мол, хозяин подъедет, без хозяина, говорю, я не могу вам расчетов дать, да и денег при мне столько не имеется, чтобы всех ублаготворить... И слушать не хотят-с... вечор даже бунта чуть не подняли, насилу улестил их, чтобы хоть до сегодняшнего-то дня обождали.

— Это все судак? — спросил, не слушая Фадеева, Марко Данилыч.

— Так точно-с.

— Зачем ворвань далёко поставили? С того бы краю сподручнее было.

— Не велят-с,— встряхнув волосами, молвил приказчик.—Духу, дескать, оченно много... Железняки, слышь, жалобились [2].

— Гм,— промычал Марко Данилыч.— Не отвалились бы у них носы-то. Тебе бы водяному [3] поклониться.

— Кланялся... Не берут-с,— быстро вскинув глазами на хозяина, молвил приказчик.

— Гм!..— опять промычал Марко Данилыч.— Покажь-ка сушь-то.

— Мироныч! — крикнул Василий Фадеев ходившему вслед за ними лоцма́ну.— Су́ши достань из мурьи каждого сорта по рыбине; и судака, и леща, и сазана, и воблы — всего... Да живей у меня!..

---

[1] Тюлений жир.

[2] Железный караван становят на Оке рядом с рыбным, невдалеке.

[3] Начальник пристани.

Ни слова не молвил, бегом побежал толстый Мироныч, нырнул в мурью и минуты через четыре поднес Марку Данилычу четыре рыбины.

Смолокуров молча осмотрел каждую, поковырял ногтями и, отведав по кусочку, поколотил каждой рыбиной о причал [1] баржи, прислушиваясь к звукам.

— Жидка! Плохо сушена,— строго молвил он Василью Фадееву.

— Солнцо́в [2] мало было, Марко Данилыч, все время дожди шли неуемные! — поникнув головой, отвечал приказчик.

— Солнцо́в мало! — передразнил его Смолокуров.— Знаю я, какие дожди-то шли!.. Лень! Вот что! Гуляли, пьянствовали! Вам бы все кой-как да как-нибудь! Раченья до хозяйского добра нет. Вот что!

— Помилуйте, Марко Данилыч, мы бы со всяким нашим усердием, да не наша вина-с... Су́против божьей воли ничего не поделаешь!..

— Воли божьей тут не было. Лень ваша была, а не божья воля,— сурово молвил Смолокуров, гневно посмотрев на приказчика.— Про погоду мне из Астрахани каждую неделю отписывали... Так ты не ври.

— Да помилуйте...— начал было совсем оробевший приказчик.

— А тебе бы нишкнуть, коли хозяин разговаривает! — крикнул Марко Данилыч, швырнув в приказчика бывшим у него в руке лещом.— Перечить!.. Я задам вам, мошенникам!.. Что это за сушь?.. Глянь-ка, пощупай!.. Копейки на две против других будет дешевле!.. Недобор доправлю — ты это знай!..

— Власть ваша, Марко Данилыч,— дрожащим голосом проговорил приказчик,— а только вот, как перед самим истинным богом, мы тут нисколько не причинны... Хоша весь караван извольте обойти — у всех сушь жидковата, твердой в нынешнем году нигде не найдете.

— И обойду, и посмотрю, и на весах прикину и свою и чужую,— гневно говорил Смолокуров.— А уж копейки разбойнику не спущу... Знаю я вас, не первый год с вами хоровожусь!.. Только и норовят, бездельники, чтобы как ни на есть хозяину в шапку накласть...

---

[1] Кол на палубе для причала баржи.
[2] Солнечного припеку.

Замолчал приказчик. По опыту знал он, что чем больше говорить с Марком Данилычем, тем хуже. Примолк и Марко Данилыч.

Обойдя восьмую баржу, спросил он.

— У других продавали?

— Перед постом с ореховских баржей саму малость свезли соленого... Лодок с пяток... В лавки на ярманку брали да в Обжорный ряд.

— Почем?

— Таят-с. Уж я было пытал спрашивать— не сказывают.

— Узнать! — повелительно молвил Смолокуров.

— Не скажут-с.

— А ты кого ни на есть из ихних приказчиков в трактир сведи да чайком попой, закуской угости,— приказывал Марко Данилыч. И, вынув из бумажника рублевую, примолвил: — Получай на угощенье!..

С кислой улыбкой принял приказчик рублевую. Цены-то ореховские он уже знал, но не сказал хозяину, чтоб хоть рублишком с него поживиться. «С паршивой собаки хоть шерсти клок»,— думал Василий Фадеев, кладя бумажку в карман.

— Ко мне на квартиру зайди, расценочну ведомость дам,— молвил Смолокуров.— Да чтоб никто ее не видал... Слышишь?

— Слушаю, Марко Данилыч,— отвечал приказчик.

— Эй ты! — крикнул Смолокуров стоявшему вблизи рабочему.— Пробеги на перву баржу, молви гребцам, косную-то сюда бы подвели, да трап притащи.

Видя, что хозяин сбирается уехать, трое рабочих робко подошли к нему и, низко поклонясь, стали.

— Чего вам? — угрюмо спросил их Марко Данилыч.

— До вашей милости,— робко заминаясь, проговорил стоявший впереди рослый, молодой, чуть не дочерна загоревший парень в синей пестрядинной рубахе с расстегнутым воротом.

— Ну?

— Расчетец бы нам,— проговорил загорелый парень.

— Тебя как звать-то? — почти ласково спросил его Марко Данилыч.

— Сидором.

— По батюшке как?

— Аверьянов.

— Здешний аль низовый?

— Сызранский. Села Елшанки.

— Так... Знаю я вашу Елшанку — село хорошее.

— Живет,— молвил загорелый парень.

— А ты откудова? — обратился Марко Данилыч к приземистому, коренастому пожилому рабочему, весело глядевшему на него своими маленькими серенькими глазами.

— Мы-то? Мы здешни, Балохонского уезда, из-под Городца,— Кобылиху деревню слыхал?

— Нет, не слыхал, и зовут-то тебя как?

— Меня-то?.. А Карп Егорыч.

— А тебя как? — спросил третьего рабочего Марко Данилыч.

— Его-то... А племянник мне-ка по хозяйке будет,— добродушно ответил за него Карп Егоров.— Софронкой звать, Бориса Моркелыча знаешь?.. Сынок ему... Он у нас грамотей, письма даже писать маракует. Вот у Василья Фадеича, у твоего приказчика, в книге за всех расписывается, которы в путине заборы забирали.

— Так чего ж вам от меня надобно? — спросил Марко Данилыч.

— Деньжонок бы надо, ваше степенство,— сказал Карп Егоров.—Расчетец бы получить. Шутка ли?.. Четвертый день, как мы твой караван на место поставили.

— Так что же что четвертый день? Хоть бы шестой был али седьмой, так и то невели́ка беда,— сказал Смолокуров.

— Как же не беда? — молвил Карп Егоров.— Что ж нам попусту-то у тебя проживаться, ваше степенство? На други бы места пора поступать.

— Поспеешь...— молвил Смолокуров и повернул от рабочих.

— Хорошо вашей милости так говорить! — сказал Сидор Аверьянов.— А поспрошать бы нас, нам-то каково...

— Подождешь, успеешь! — сказал с досадой Марко Данилыч и отвернулся от рабочих; но те все трое в один голос смелее стали просить расчета.

— Ведь ты, батюшка, за́ эти за лишни-то дни платы нам не положишь,— добродушно молвил Карп Егоров.

— Не положу,— спокойно ответил Марко Данилыч.

— Так почто же нам харчиться-то да работу у других хозяев упущать? — громко заговорили все рабочие.— Власть ваша, а это уж не порядки. Рассчитайте нас, как следует.

— Это вы что вздумали?.. Бунт поднимать?.. А?..— наступая на рабочих, крикнул Смолокуров.— Да я вас...

Рабочие немного попятились, но униматься не унимались.

— Своего, заслужённого просим!.. Вели рассчитать нас, как следует!.. Что ж это за порядки будут!.. За́даром людей держать!.. Аль на тебя и управы нет? — громче прежнего кричали рабочие, гуще и гуще толпясь на палубе. С семи первых баржей, друг дружку перегоняя, бежали на шум остальные бурлаки, и все становились перед Марком Данилычем, кричали и бранились один громче другого.

— Нечего нам у тебя проживаться. Расчет подавай! Просили, просили приказчика, четвертый день прошел, а рассчитывать нас не рассчитывает... Так сам рассчитай — ты хозяин, дело твое...

— Так вы так-то, кособрюхие! — зычным голосом крикнул на них Смолокуров.— Ах вы, анафемы!.. Сейчас к водяному поеду, он вас переберет по-своему!.. По местам, разбойники!

Но разбойники по местам не пошли, толпа росла, и вскоре почти вся палуба покрылась рабочими. Гомон поднялся страшный. По всему каравану рабочие других хозяев выбегали на палубы смотреть да слушать, что деется на смолокуровских баржах. Плывшие мимо избылецкие [1] лодки с малиной и смородиной остановились на речном стержне, а сидевшие в них бабы с любопытством смотрели на шумевших рабочих.

— Расчет давай!.. Сейчас расчет!.. Нечего отлынивать-то!.. Жила ты этакой!.. Бедных людей обирать!.. Не бойсь, не дадут тебе потачки... И на тебя суд найдем!.. Расчет подавай!..

Клики громче и громче. Сильней и сильней напирают рабочие на Марка Данилыча. Приказчик, конторщик, лоцман, водоливы, понурив головы, отошли в сторону.

---

[1] *Избылец* — село на Оке возле города Горбатого. В нем много садов. Яблоки и ягоды отправляют оттуда каждый почти день в лодках на Макарьевску ярманку в огромном количестве. Возят ягоды и яблоки больше бабы.

Смолокуров был окружен шумевшей и галдевшей толпой. Рабочий, что первый завел речь о расчете, картуз надел и фертом подбоченился. Глядя на него, другой надел картуз, третий, четвертый — все... Иные стали рукава засучивать.

— Сейчас же расчет!.. Сию же минуту!..— кричали рабочие, и за криками их нельзя было расслушать, что им на ответ кричал Смолокуров.

Косная меж тем подгребла под восьмую баржу, но рабочий что притащил трап, не мог продраться сквозь толпу, загородившую борт. Узнав, в чем дело, бросил он трап на палубу, а сам, надев шапку, выпучил глаза на хозяина и во всю мочь крикнул:

— Расчет подавай, такой-этакой!

Расходилась толпа, что волна. Нет уйму. Ни брань, ни угрозы, ни уговоры Смолокурова не в силах остановить расходившегося волненья Но не сробел, шагом не попятился назад Марко Данилыч. Скрестив руки на груди. гневен и грозен стоял он недвижно перед толпою.

— Молчать! — крикнул он.— Молчать! Слушай, что хочу говорить.

Передние грубо, с задором ему отвечают:

— Чего еще скажешь?.. Ну, говори... Эй, ребята, полно галдеть — слушай, что он скажет... Перестань же, ребята!.. Нишкни!.. Что глотку-то дерешь, чертовой матери сын,— зарычали передние на кричавшего пуще всех Сидора Аверьянова из сызранской Елшанки.

А Марко Данилыч по-прежнему стоит, скрестив руки на груди. Сам ни слова.

Унялась толпа, последним горлопанам, что не хотели уняться, от своей же братьи досталось вдоволь и взрыльников и подзатыльников. Стихли.

— Сказывай, что хотел говорить,— говорили передние Марку Данилычу.— Слушаем!..

— А вот что я хотел говорить,— ровным, твердым голосом начал протяжно речь свою Марко Данилыч.— Кто сейчас, сию же минуту, на свое место пойдет, тот часа через два деньги получит сполна. И за четыре дня, что лишнего простояли, получит... А кто не пойдет, не уймется от буйства, не от меня тот деньги получит, а от водяного — ему предоставлю с теми рассчитываться, и за четыре простойных дня тот гроша́ не получит... Сидор Аверьянов, Карп Егоров, Софрон Бори-

сов — вы зачинали, вы и унимайте буянов!.. Имена ваши знают — плохо вам будет, коли не уймете товарищей!.. Лозаны у водяного здоровые!.. А кто по местам пойдет, для тех сию минуту за деньгами поеду — при мне нет, а что есть у Василья Фадеева, того на всех не хватит. Первые, кто на свои места пойдут, тем до моего возврата Василий Фадеев деньги выдаст и пачпорты... Слышали?

Пуще прежнего зашумели рабочие, но крики и брань их шли уже не к хозяину, между собой стали они браниться — одни хотят идти по местам, другие не желают с места тронуться. Где один другого за шиворот, где друг друга в зубы — и пошла на барже драка, но добрая доля рабочих пошла по местам, говоря приказчику:

— Василий Фадеич, пиши нас по именам да деньги сейчас подавай — мы тотчас же пошли по приказу хозяйскому.

Пользуясь сумятицей, перемахнул Марко Данилыч за борт, спустился по канату в косную и, немного отплыв, крикнул на ба́ржу:

— Фадеев! Денег никому не давать!.. Погодите вы у меня, разбойники!.. Я с вами расправлюсь, с мошенниками!.. Сейчас же привезу водяного.

— Упустили! — в один голос крикнули бурлаки, оставшиеся на восьмой барже... И полились брань и ругань на удалявшегося Марка Данилыча. Быстро неслась косная вниз по течению.

— Теперь он, собака, прямехонько к водяному!.. Сунет ему, а тот нас совсем завинит,— так говорил толпе плечистый рабочий с сивой окладистой бородой, с черными, как уголь, глазами. Вся артель его уважала, рабочие звали его «дядей Архипом».— Снаряжай, Сидор, спину-то: тебе, парень, в перву голову отвечать придется.

— Посмотрим еще, кто кого! — бодрится Сидор, а у самого душа в пятки ушла. Линьки у водяных солдат были ему знакомы. Макарьевских только покаме́ст не пробовал.

— И порют же здесь, братцы! — весело подхватил молодой парень, присевши на брус переобуться.— Летось об эту самую пору меня анафемы здесь угощали... В Самаре здорово порют, и в Казани хорошо, а су́про-

тив здешнего и самарские розги и казанские звания не стоят.

— А за что мне в перву-то голову отвечать? — тоскливо заговорил Сидор Аверьянов, хорошо знакомый и с Казанью и с Самарой.— Что я первый заговорил с проклятым жидом... Так что же?.. А галдеть да буянить, разве я один буянил?.. Тут надо по-божески. По справедливости, значит... Все галдели, все буянили — так-то.

— Вестимо, все,— подтвердил Карп Егоров, тоже помышляя о линьках макарьевских.

— Всех перепороть нельзя,— спокойно молвил переобувшийся парень.— Линьки перепортишь, да и солдатики притомятся.

— Знамо, всех нельзя, не следует,— согласились с ним все другие бурлаки.

— А ведь не даст он, собака, за простой ни копеечки, не то что нам, а и тем, кто его послушал, по местам с первого слова пошел,— заметил один рабочий.

— Известно, не даст,— все согласились с ним.— Это он только ради отводу молвил, чтобы утечь, значит. А мы, дураки, и упустили...

И много тосковали, и долго промеж себя толковали про то, чему быть и чего не отбыть...

* * *

Много спустя, когда рабочие угомонились и, почесывая спины, укоряли друг друга в бунте, подошел к ним Василий Фадеев.

— Что?.. Небось теперь присмирели? — с усмешкой сказал он.— Обождите-ка до вечера, узнаете тогда, как бунты в караване заводить! Земля-то ведь здесь не бессудная — хозяин управу найдет. Со Смолокуровым вашему брату тягаться не рука, он не то что с водяным, с самим губернатором он водит хлеб-соль. Его на вас, голопятых, начальство не сменяет...

— Да что ж это такое будет, Василий Фадеич?..— заговорили двое-трое из рабочих.— Вечор ты сам учил нас говорить покрепче с хозяином, а теперь вон что зачал толковать... Нешто это по-божески?..

— Так нешто я вас бунтовать учил? — вспыхнул приказчик.— Говорил я вам, чтоб вы его просили по-

крепче, значит пожалостливей, а вы, чертовы куклы, горланить вздумали, ругаться, рукава даже стали засучивать, бестии... Этому, что ли, учил я вас?.. А?

— Вестимо, не тому, Василий Фадеич,— почесывая в затылках, отвечали бурлаки.— Твои слова шли к добру, учил ты нас по-хорошему. А мы-то, гляди-ка, чего сдуру-то наделали... Гляка-сь, како дело вышло!.. Что теперича нам за́ это будет? Ты, Василий Фадеич, человек знающий, все законы произошел, скажи, Христа ради, что нам за́ это будет?

— Перепорют,— равнодушно ответил приказчик.

— Ежели только перепорют, это еще не беда — спина-то ведь не на базаре куплена,— молвил один рабочий.— А вот как в кутузку засадят да продержат в ней с неделю или дён с десять!..

— Дольше продержут,— молвил Василий Фадеев.— В один день сто двадцать человек не перепорешь... Этого нельзя.

— То-то вот и есть,— жалобно и грустно ответил рабочий.— Ведь десять-то дён мало-мальски три целковых надо положить, да здесь вот еще четыре дня простою. Ведь это, милый человек, четыре целковых — вот что посуди.

— Верно,— подтвердил Василий Фадеич.— По нонешним ценам у Макарья, пожалуй, и больше четырех-то целковых пришлось бы. Плотники ноне по рублю да рублю двадцати на серебро брали, крючники по полтине да по шести гривен, солоносы по семи... Вот каки нонешним годом господь цены устроил... Да!..

— Василий Фадеич! Будь отец родной, яви божеску милость, научи дураков уму-разуму, присоветуй, как бы нам ладненько к хозяину-то?.. Смириться бы как?..— стали приставать рабочие, в ноги даже кланялись приказчику.

— Смирится он!.. Как же! Растопырь карман-от! — с усмешкой ответил Василий Фадеев.— Не на таковского, брат, напали... Наш хозяин и в малом потакать не любит, а тут шутка ль, что вы наделали?.. Бунт!.. Рукава засучивать на него начали, обстали со всех сторон. Ведь мало бы еще, так вы бы его в потасовку... Нечего тут и думать пустого — не смирится он с вами... Так доймет, что до гроба жизни будете нонешний день поминать...

— Ахти, господи батюшка, истинный Христос!.. Да что ж это такое будет? — тосковали бурлаки, понурив с отчаянья головы.

Крепко задумавшись, Сидор Аверьянов сидел одаль, на косяке[1]. Вдруг быстро вскочил и шепнул, подойдя к приказчику:

— Подь-ка со мной к сторонке, Василий Фадеич.

Приказчик отошел с ним к самой корме.

— Так как мне теперича доводится без трех гривен шесть целковых...— начал Сидор.

— Ну? — спросил приказчик, когда тот немного замялся.

— Возьми ты их себе, Василий Фадеич, эти самые деньги... Поступаюсь ими, пачпорт только выдай — я бы котомку на плечи да айда домой. Ну вас тут и с караваном-то!..

— Мудрено, брат, придумал,— засмеялся приказчик.— Ну, выдам я тебе пачпорт, отпущу, как же деньги-то твои добуду?.. Хозяин-то ведь, чать, расписку тоже спросит с меня. У него, брат, не как у других — без расписок ни единому человеку медной полушки не велит давать, а за всякий прочет, ежели случится, с меня вычитает... Нет, Сидорка, про то не моги и думать.

— Эх, горе-то какое! — вздохнул Сидорка.— Ну ин вот что: сапоги-то, что я в Казани купил, три целкача дал, вовсе не хожены. Возьми ты их за пачпорт, а деньги, ну их к бесу — пропадай они совсем, подавись ими кровопийца окаянный, чтоб ему ни дна, ни покрышки.

Василий Фадеич раздумывал, пристально разглядывая Сидоровы сапоги.

— Полно-ка пустое-то городить,— молвил он, маленько помолчав.— Ну что у тебя за сапоги? Стоит ли из-за них грех на душу брать?.. Нет уж, брательник, неча делать, готовь спину под линьки да посиди потом недельки с две в кутузке. Что станешь делать?.. такой уж грех приключился... А он тебя беспременно заводчиком выставит... Пожалуй, еще вспороть-то тебя вспорют да на придачу по этапу на родину пошлют. Со всякими тогда, братец, острогами дорогой-то сознакомишься.

— Мерлушчату шапку на придачу. Знатная шапка, настоящая мурашкинская... И совсем как есть новень-

---

[1] Толстый канат, на котором кабестанный, иначе шкивной пароход тянет подачу.

кая... Двух-то целковых стоит. Христа ради, Василий Фадеич, будь аки бог, вызволь меня из беды неминучей...

— Полно-ка ты, перестань! Что вздор-от молоть понапрасну?..— молвил Василий Фадеев и, повернувшись, пошел к казенке.

Сидор за ним. Стал у дверей. В казенку рабочим ходу нет, не посмел и Сидор войти туда за приказчиком.

— Помилосердуй, Василий Фадеич,— слезно молил он, стоя на пороге у притолоки.— Плат бумажный дам на придачу. Больше, ей-богу, нет у меня ничего... И рад бы что дать, да нечего, родной... При случае встретились бы где, угостил бы я тебя, и деньжонок аль чего-нибудь еще дал бы... Мне бы только на волю-то выйти, тотчас раздобудусь деньгами. У меня тут купцы знакомые на ярманке есть, седни же найду работу... Не оставь, Василий Фадеич, Христом богом прошу тебя.

И повалился в ноги и завопил, не поднимая головы от полу.

— Эх ты!..— с досадой молвил ему приказчик.— Да не валяйся — увидят... Подь сюда в казенку.

Сидор встал и подошел к приказчику. Тот сказал ему:

— Хозяину-то что скажу? Об этом-то подумал ли ты? Скажет: Сидор всему бунту зачинщик, а куда он девался? Что я скажу?

— Сбежал, мол.

— А па́чпорт спросит?

— Пачпорт спросит! — задумался Сидор.— А ты скажи, что я был из слепеньких... Ведь есть же у нас на баржа́х слепеньки-то [1].

— Так при водяном-то и сказать? Хорошо вздумал — нечего! — усмехнулся Василий Фадеич.

— Допрежь ему молви, упреди... Аль не знает, что на его баржах слепые-то водятся?

— Знать-то знает... как не знать... Только, право, не придумаю, как бы это сделать...— задумался приказчик.— Ну, была не была! — воскликнул он, еще немножко подумавши.— Тащи шапку, скидавай сапоги. Так уж и быть, избавлю тебя, потому знаю, что человек ты добрый —языком только горазд лишнее болтать. Вот хоть

---

[1] *Слепыми* у бурлаков зовутся не имеющие письменного вида, беспаспортные.

сегодняшнее взять — ну какой черт совал тебя первым к нему лезть?

— Брательники просили, ты-де всех речистей, потому-де самому ты и зачинай. С общего, значит, совета всей артели мы с Карпом да с Софронкой пошли. Что ж, ведь я, кажись, говорил с ним по-хорошему?

— По-хорошему! А как загалдели, так орал пуще всех да еще рукава засучал...— сказал приказчик.

— Рукавов я не засучивал, Василий Фадеич, а что кричать, точно кричал... Так разве я один? — говорил Сидор.

— Полно растабарывать-то. Неси скорей, а я пáчпорт отыщу.

Сиял от радости Сидор, сбежал в мурью и минут через десять вылез оттуда в истоптанных лаптях, с котомкой за плечами и с сапогами в руках. Войдя в казенку, поставил он сапоги нá пол, а шапку и платок на стол положил. Молча подал приказчик Сидору паспорт, внимательно осмотрев перед тем каждую вещь.

Сидор взял паспорт, приосанился и уж не так робко и покорно, как прежде, сказал:

— Ты уж мне, Василий Фадеич, какую-нибудь шапчонку пожертвуй.

— Где мне про тебя шапок-то набраться? — строго взглянув на него, вскликнул приказчик.— Вот еще что вздумал!

— Да как же я по ярманке-то без шапки пойду? Там казаки по улицам так и шны́ряют,— пожалуй, как раз заподозрят в чем да стащут меня...

— Слезь в мурью да украдь у кого-нибудь картуз либо шапку,— молвил Василий Фадеев.— А то вдруг шапку ему пожертвуй. Выдумает же!

— И то, видно, украсть... Счастливо оставаться, Василий Фадеич,— сказал Сидор.

— С богом,— пробурчал приказчик, взял перо и наклонился над бумагами.

Сидор в лаптях, в краденом картузе, с котомкой за плечами, попросил одного из рабочих, закадычного своего приятеля, довезти его в лодке до берега. Проходя мимо рабочих, все еще стоявших кучками и толковавших про то, что будет, крикнул им:

— Прощайте, братцы!

— Куда ты, Сидор, куда? — закричали рабочие, прибегая к нему.

— Сбежать задумал,— молвил Сидор.— Так-то сходнее: и спина целей и за работу седни же...

— А деньги-то?

— Пес с ними! Пущай анафема Маркушка ими подавится,— молвил Сидор.— Денег-то за ним не сполна шесть целковых осталось, а как засадят недели на две, так по четыре только гривенника поденщину считай, значит пять рублей шесть гривен. Один гривенник убытку понесу. Так нешто спина гривенника-то не стоит.

Рабочие захохотали.

— Ну, прощай, Сидор Аверьяныч, прощай, милый человек,— заговорили они, прощаясь с товарищем.

— А пачпорт-от как же? — спросил его Карп Егоров.

— Пес с ним! — молвил Сидор.— И без него проживу ярманку-то. У меня купцы есть знакомые — примут и слепого.

И, сев в косную, поплыл к песчаному берегу.

— А ведь Сидорка-от умно рассудил,— молвил парень, что знаком был с линьками самарскими, казанскими и макарьевскими.— Чего в самом деле?.. Айда, ребята, сбежим гуртòм... Веселее!.. Пущай Маркушка лопнет с досады!

— А расчет-от? А деньги-то? — заговорили рабочие.

— Мне всего три целковых получки... А как засадят, так в самом деле накладно будет... Дороже обойдется... Я сбегу.

— А пачпорт-от как же?.. Васька Фадеев нешто отдаст? — спрашивали у него.

— Я из слепых, да и Сидорка-от тоже никак. Эй, ребята!.. Кто слепой да у кого денег много забрано — айда!..

И полез в мурью снаряжаться.

С ним сбежало еще десятеро слепых. Те слепые, у которых мало денег было в заборе, не пошли за Сидоркой, остались. Он крикнул им из лодки:

— Дурни!.. Хоть бы и вовсе заборов не было, и задатков ежели бы вы не взяли, все же сходнее сбежать. Ярманке еще целый месяц стоять — плохо-плохо четвертную заработаешь, а без пачпорта-то тебя водяной в острог засадит да по этапу оттуда. Разве к зиме до домов-

то доплететесь... Плюнуть бы вам, братцы слепые!.. Эй, помянете мое слово!..

— А ведь он дело сказал,— заговорили рабочие.

— Сбежать точно что будет сходнее,— тосковали они.

— Что ж, ребята?.. Айда, что ли?..— почти уж у берега закричал отплывший слепой.

— Айда!.. Айда, ребята! — закричали зычные голоса, и много бурлаков кинулись в мурьи сбираться в путь-дорогу.

На шум вышел из казенки заснувший было там Василий Фадеев.

— Что такое? — спросил он.

— Слепые сбежали,— ответили ему.

Взглянул приказчик на реку — видит, ото всех баржей плывут к берегу лодки, на каждой человек по семи, по восьми сидит. Слепых в смолокуровском караване было наполовину. На всем Низовье по городам, в Камышах[1] и на рыбных ватагах исстари много народу без глаз[2] проживает. Про Астрахань, что бурлаками Разгуляй-городок прозвана, в путевой бурлацкой песне поется:

Кому плыть в Камыши —
Тот паспорта не пиши,
Кто захочет в Разгуляй —
И билет не выправляй.

Рыбные промышленники, судохозяева и всякого другого рода хозяева с большой охотой нанимают слепых: и берут они дешевле, и обсчитывать их сподручней, и своим судом можно с ними расправиться, хоть бы даже и посечь, коли до того доведется. Кому без глаз-то пойдет он жалобиться? Еще вдосталь накланяется, только, батюшки, отпустите. Марко Данилыч слепыми не брезговал — у него и на ловлях и на баржах завсегда их вдоволь бывало... Потому, выгодно.

— Ах, дуй их горой! — воскликнул Василий Фадеев.— Лодки-то подлецы на берегу покинут!.. Ну, так и есть... Осталась ли хоть одна косная? Слава богу, не все

---

[1] *Камышами* называются берега Волги и острова на ней в Астраханской губернии.

[2] *Глаза* — паспорт на языке бурлаков, а также на языке московских жуликов, петербургских мазуриков.

захватили... Мироныч, в косную!.. Приплавьте, ребята, лодки-то... Покинули их бестии, и весла по̀ берегу разбросали... Ах, чтоб вас ро̀зорвало!.. Ишь что вздумали!.. Поди вот тут — ищи их... Ах, разбойники, разбойники!.. Вот взодрать-то бы всех до единого. Гляка-сь, что наделали!...

Василий Фадеев не горевал: и хозяин не в убытке, и он не в накладе. Притом же хлопот да привязок от водяного за слепых и́збыли. А то пошла бы переборка рабочих да дознались бы, что на баржах больше шестидесяти человек беспаспортных, может из Сибири беглых да из полков,— тогда бы дешево-то, пожалуй, и не разделались. А теперь, слава богу, всем хорошо, всем выгодно: и хозяину, и приказчику, и слепым. Зрячим только не было выгоды: пригорюнились они, особливо Карп Егоров с племянником. Вместе с Сидором зачинщиками Марко Данилыч их обозвал — им первым отвечать.

— Батюшка, Василий Фадеич, пожалей ты нас, дураков, умоли Марка Данилыча, преклони гнев его на милость!..— вопили они, валяясь в ногах у приказчика.

Другие бурлаки тоже не чаяли добра от водяного. Понадеясь на свои паспорты, они громче других кричали, больше наступали на хозяина, они же и по местам не пошли. Теперь закручинились. Придется, сидя в кутузке, рабочие дни терять.

— Ничего я тут не могу сделать,— говорит Василий Фадеев бурлакам.

— Как же не можешь? Вся сила в тебе... Ты всему каравану голова... Кого же ему, как не тебя, слушать! — кланялись и молили его рабочие.

— Сговоришь с ним!.. Как же!..— молвил Василий Фадеев.— Не в примету разве вам было, как он, ничего нѐ видя, никакого дела не разобравши, за сушь-то меня обругал? И мошенник-от я у него, и разбойник-от! Жиденька!.. Веслом, что ли, небо-то расшевырять, коли солнцов нет... Собака так собака и есть!.. Подойди-ка я теперь к нему да заведи речь про ваши дела, так он и не знай что со мной поделает... Ей-богу!

— Нет, уж ты, Василий Фадеич, яви божеску милость, попечалуйся за нас, беззаступных,— приставали рабочие.— Мы бы тебя вот как уважили!.. Без гостинца, милый человек, не остался бы!.. Ты не думай, чтобы мы на шаромыгу!..

— Полноте-ка, ребята, чепуху-то нести,— молвил, отходя от них, приказчик.— Да и некогда мне с вами растабарывать, лепортицу велел сготовить, кто сколько денег из вас перебрал, а я грехом проспал маленько... Пойти сготовить поскорее, не то приедет с водяным — разлютуется.

И ушел в свою казенку.

Стоят на месте бурлаки, понурив думные головы. Дело, куда ни верни, со всех сторон никуда не годится. Ни линьков, ни великих убытков никак не избыть. Кто-то сказал, что приказчик только ломается, а ежели поклониться ему полтиной с души, пожалуй упросит хозяина.

— На полтину с брата согласен не будет,— молвил дядя Архип.— Считай-ка, сколько нас осталось.

Стали считать, насчитали как раз шестьдесят человек.

— Всего, значит, тридцать целковых,— сказал дядя Архип.— И подумать не захочет... Целковых по два собрать, тогда может статься возьмется, и то навряд...

Зашумели рабочие, у кого много забрано денег, те кричат, что по два целковых будет накладно, другие на том стоят, что можно и больше двух целковых приказчику дать, ежели станет требовать. Без перекоров и перебранок сходка не стоит. Согласились, наконец, дать приказчику сто целковых. Так порешив, стали смекать, поскольку на брата придется; по пальцам считали, на бирках резали, чурочками да щепочками метали; наконец, добрались, что с каждого по целковому да по шестидесяти шести копеек надо. Ради верности по рукам чурочки да щепочки разобрали и потом в груду метали их. Рты разинули от удивленья, когда, пересчитав чурочки, увидели, что целых сорока копеек не хватает. Опять зачались толки да споры, куда сорок копеек девались.

Сладились, наконец. Дядя Архип робко подошел к казенке и, став в дверях, молвил сидевшему за лепортицей приказчику:

— Батюшка, Василий Фадеич, прикажи слово молвить.

— Чего еще? — с досадой крикнул приказчик.— Мешаете только! Делом заняться нельзя с вами, буянами.

— Да я все насчет того же, порадей ты об нас, помоги в нашей беде,— говорил дядя Архип.

— Сказано ведь вам! Так нет, лезут!

— По рублику бы с брата бы поклонились вашей милости — шестидесятью целковыми... Прими, сударь, не ломайся!.. только выручи, Христа ради!.. При расчете с каждого человека ты бы по целковому взял себе, и дело бы с концом.

— Ишь что еще вздумали! — гневно вскликнул приказчик.— Стану из-за такой малости я руки марать!.. Пошел прочь!.. Говорят тебе, не мешай.

— Ты, Василий Фадеич, не гневись. Скажи свою цену. Бог даст, сойдемся как-нибудь,— не трогаясь с места, говорил дядя Архип.

Замолк Василий Фадеев, стал писать свою лепортицу, а дядя Архип не отходит от дверей казенки.

— Полтораста! — вполголоса пробурчал приказчик после короткого молчанья, кладя перо и глядя в упор на дядю Архипа.

— Не многонько ли будет, Василий Фадеич?..— посмелей прежнего заговорил дядя Архип.— Пожалей нас хоть маленечко, не под силу будет такой суймой [1] нам поступиться твоей милости.

— Полтораста,— еще тише промолвил приказчик и снова взялся за перо.

Помялся на месте дядя Архип. Протягивая в казенку руку, сказал:

— Так и быть, куда ни шло, получай три четвертухи, семьдесят пять целковых, значит.

Молчит Фадеев.

— Будет с тебя, милый человек, ей-богу будет,— продолжал Архип, переминаясь и вертя в руках оборванную шляпенку.— Мы бы сейчас же разверстали, поскольку на брата придется, и велели бы Софронке в книге расписаться: получили, мол, в Казани по стольку-то, аль там в Симбирске, что ли, это уж тебе виднее, как надо писать.

— Сколько вас? — не поднимая с бумаги глаз, спросил приказчик.

— Шестьдесят человек,— ответил дядя Архип.

— По два целковых с брата,— чуть слышно проговорил Василий Фадеев.

— Нет, уж ты сделай такую милость, возьми три четвертухи, пожалей нас, родимый, ведь кровь свою отдаем — ты это подумай,— умолял дядя Архип.

---

[1] Сумма.

— Как задержат у водяного да по этапу домой погонят, так не по два целковых убытку примете,— шепотом почти сказал Фадеев.

— Да, оно так-то так, что прò это говорить. Вестимо, больше потерпишь, да уж ты помилосердуй, заставь за себя бога молить... Ведь ты наша заступа, на тебя наша надёжа — как бог, так и ты. Сделай милость, пожалей нас, Василий Фадеич,— слезно умолял дядя Архип приказчика.

Сладились, наконец. Сошлись на сотне. Дядя Архип пошел к рабочим, все еще галдевшим на седьмой барже, и объявил им о сделке. Тотчас один за другим стали Софронке руки давать, и паренек, склонив голову, робко пошел за Архипом в приказчикову казенку. В полчаса дело покончили, и Василий Фадеев, кончивший меж тем свою лепортицу, вырядился в праздничную одёжу, сел в косную и, сопровождаемый громкими напутствованиями рабочих, поплыл в город.

Меж тем во всем караване кашевары ужин сготовили. Пользуясь отъездом Василия Фадеева и тем, что водоливы с лоцманом, усевшись на восьмой барже, засаленными, полуразорванными картами стали играть в три листика, рабочие подсластили последнюю свою ужину — вдоволь накрали рыбы и навалили ее вò щи. На шестой да на седьмой баржàх щи были всех вкусней — с севрюгой, с осетриной, с белужиной. Сýпротив других обижены были рабочие на восьмой барже — там нельзя было воровать: у сáмого лаза в мурью лоцман сидел с водоливами за картами; да и кладь-то к еде была неспособная — ворвань... Хорошо поужинали, нá руку было рабочим, что вдвое супротив обычного ели, щи-то заварены и каша засыпана были еще до того, как слепые сбежали. Иным и в рот уж не лезло, да не оставлять же добро — понатужились и все дочиста поели.

Две трети рабочих, наевшись, тотчас же спать завалились, человек с двадцать в кучку собрàлось. Опять пошло галденье.

Как на каменну стену надеялись они на Василья Фадеева и больше не боялись ни водяного, ни кутузки, ни óтправки домой по этапу; веселый час накатил, стали ребята забавляться: боролись, на палках тянулись, дрались на кулачки, а под конец громко песню запели:

Как споем же мы, ребята, про кормилицу,
Про кормилицу про нашу, Волгу-матушку,
Ах, ну! Ох ты мне! Волгу-матушку.
Мы поплавали по матушке и вдоль и поперек,
Истоптали мы, ребята, ее кру́ты бережки.
Ах, ну! Ох ты мне! Ее кру́ты бережки.
Исходили мы на лямке все ее желты́ пески,
Коли плыли мы, ребятушки, от Рыбной к Костроме,
Ах, ну! Ох ты мне! Как от Рыбной к Костроме.
А вот город Кострома — гульливая сторона.
А пониже ее Плёс, чтоб шайтан его пронес.
Ах, ну! Ох ты мне! Чтоб шайтан его пронес.
За ним Кинешма да Решма — тамо̀й девушки не честны,
А вот город Юрьевец — что ни парень, то подлец.
Ах, ну! Ох ты мне! Что ни парень, то подлец.
В Городце-то на дворе по три девки на дворе,
А вот город Балахна — стоят полы распахня,
Ах, ну! Ох ты мне! Стоят полы распахня.
А вот село Козино — много девок свезено,
Еще Сормово село — соро̀мники наголо.
Ах, ну! Ох ты мне! Соро́мники наголо.
А вот Нижний городок — ходи гуляй в погребок,
Вот Куманино село, в три дуги меня свело,
Ах, ну! Ох ты мне! В три дуги меня свело!
А вот Кстово-то Христово, развеселое село,
Хоша чарочка маленька, да винцо хорошо,
Ах, ну! Ох ты мне! Да винцо хорошо.
Вот село Великий Враг — в каждом доме там кабак,
А за ним село Безводно — живут девушки зазорно,
Ах, ну! Ох ты мне! Живут девушки зазорно.
Рядом тут село Работки — покупай, хозяин, водки,
Вот Слопинец да Татинец — всем мошенникам кормилец,
Ах, ну! Ох ты мне! Всем мошенникам кормилец [1].

Громче и громче раздается по каравану уда̀лая песня. Дядя Архип молча и думчиво сидит у́ борта и втихомолку ковыряет лапотки из лык, украденных на барже соседнего каравана. На своем красть неловко — кулаки у рабочих, пожалуй, расходятся.

— Чего заорали, чертовы угодники? Забыли, что здесь не в плесу́? — крикнул он распевшимся ребятам.— Город здесь, ярманка!.. Оглянуться не успеешь, как съедут с берега архангелы да линьками горла̀-то заткнут. Одну беду и́збыли, на другую рветесь!.. Спины-то по плетям, видно, больно соскучились!..

Смолкли певуны, не допели разудалой бурлацкой песни, что поминает все прибрежье Волги-матушки от

[1] Путевая бурлацкая песня. В ней больше, чем тремстам местностей от Рыбинска до Бирючьей Косы (ниже Астрахани на взморье), даются более или менее верные приметы.

Рыбной до Астрахани, поминает соблазны и заманчивые искушенья, большею частью рабочему люду недоступные, потому что у каждого в кармане-то не очень густо живет. Не вскинься на певунов дядя Архип, спели б они про «Суру реку важную — донышко серебряно, крýты бèрежки позолоченные, а на тех бережках вдовы девушки живут сговорчивые», спели бы, сердечные, про свияжан-лещевников, про казанских плаксивых сирот, про то, как в Тетюшах городничий лапоть плел, спели бы про симбирцев гробокрадов, кочанников, про сызранцев ухорезов, про то, как саратовцы собор с молотка продавали, а чилимники [1], тухлая ворвань, астраханцы кобылятину вместо белой рыбицы в Новгород слали. До самой Бирючьей Косы пропели бы, да вот дядя Архип помешал.

И дело говорил он, на пользу речь вел. И в больших городах и на ярманках так у нас повелось, что чуть не на каждом шагу нестерпимо гудят захожие немцы в свои волынки, наигрывают на шарманках итальянцы, бренчат на цимбалах жиды, но раздайся громко русская песня — в кутузку певцов.

Смолкли рабочие, нахмурясь кругом озирались, а больше на желтый сыпучий песок кунавинского берега: не идет ли в самом деле посуленный дядей Архипом архангел. Беда, однако, не грянула.

Иные забавы пошли у рабочих. Скучно.

Здоровенный, приземистый, но ширь в плечах парень, ровно из перекатного железа скроенный, Яшка Моргун, первый возвеселил братию, первый нову забаву придумал. Опрокинул порожнюю из-под сельдей кадку, сел на нее и крепко òбвил ногами. Вызывает охотников треснуть его кулаком во всю ширь аль наòтмашь, как кому сподручнее: свалится с кадки, платит семитку [2], усидит — семитка ему; свалится вместе с кадушкой, ног с нее не спуская — ни в чью. Сыскались охотники, восемь раз Моргун не свалился, два раза кадка свалилась под ним, и повалился он плашмя́, не выпустив кадки из ног. Четвертак без малого у Яшки в кармане,— за косушкой послал.

— Хочешь, ребята, стану орехи лбом колотить? — так после подвигов Яшки голосом зычным на всю артель

---

[1] *Чилим* — водяные орехи, Trapa natans.
[2] Двухкопеечная медная монета.

крикнул рябой, краснощекий, поджаристый, но крепко сколоченный Спирька, Бешеным Горлом его прозывали, на всех караванах первый силач.— Не простые орехи, грецкие стану сшибать. Что расшибу, то мое, а который не разобью, за тот получаю по плюхе — хошь ладонью, хошь всем кулаком.

С шумом, с криком, со смехом артель приняла вызов Спирьки. Софронку к бабенке перекупке на бѐрег послали, два фунта грецких орехов Софронка принес; шесть оплеух, все кулаком, Бешену Горлу достались, остальными орехами Спирька вдоволь налакомился.

Кузьма Ядреный, родом алатырец, сильный, мощный крепыш, слова не молвя, на палубу ринулся навзничь. Звонко затылком хватился о смоленые гладкие доски. Лёжа на спине, он так похвалялся:

— Катай поленом по брю́ху, по грошу за раз.

Весело захохотали рабочие и, нахватав поленьев, принялись за работу. Дядя Архип стал было их останавливать: что-де, вы, лешие, убийства, что ли хотите?

— Дурень ты, дядя,— крикнул Кузьма Ядреный ему на ответ.— Спина, что ли, брюхо-то?.. Кости в нем, что ли?.. Духу наберусь, вспучу живот — что твой пузырь. Катай, ребятушки, не слушай его!..

И катали ребята. На целу косушку выиграл Кузька Ядреный и встал как ни в чем не бывало.

И долго еще, пока не стемнело, так забавлялся, так потешался рабочий народ. Не хи́тры затеи, дики забавы, да что же делать, когда нет иных налицо. Надо же душу чем-нибудь отвести...

Поздно, к самой полно̀чи, воротился на баржи приказчик. Безмолвной, тяжко вздыхающей толпой бурлаки его обступили. Двигаясь важно к казенке, отрывисто молвил Василий Фадеев:

— Милости ждите. Завтра расчет.

И в ночной тиши раздались радостные клики по всему смолокуровскому каравану.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Себя не помня, на легкой косно̀й стрелою летел разъяренный Марко Данилыч. К устью Оки путь его был. Там на песчаной низменной стрелке [1], середь балаганов

[1] *Стрелка* (в старину «стрелица») — острая, долгая коса у слияния двух рек.

и горами наваленных громоздких товаров, стоял деревянный, невзрачный, в дикую краску окрашенный домик с белыми пристенными столбами и с широким крыльцом на набережную. Возле домика стоял высокий шест, на верхушке его веял флаг, белый с зелеными полосами, нашитыми крестом с угла нà угол. В том домике хозяева судов и кладчики предъявляли накладные и паспорты, платили судоходные пошлины и разделывались пò иным статьям. Тут же чинились суд и расправа... Вздерут, бывало, забулдыжного буяна-бурлака, как сидорову козу, да ему же велят грош-другой на розги пожертвовать, потому что место казенное, розги дело покупное, а на них из казны сумм не полагается.

На грязном донельзя крыльце молча сидел одетый в белый холщовый китель молодой солдат из евреев. Штопал израилев сын рваный суконный мундир с зеленой выпушкой. Вкруг крыльца на сыпучем песке, переминаясь с ноги нà ногу, жарясь под лучами полуденного солнца и тихонько ругаясь крепкой русскою бранью, толпился серый народ, поджидая «водяного». Были тут судовщики, были кладчики, были приказчики, лоцмана, водоливы и многое множество простого рабочего люда. Тщетно, однако, все ожидали,— тем утром чайники, отпев благодарный молебен Макарию за исправный приход баржéй с кяхтинским чаем, собрались на радостях у Никиты[1] и завтраком кормили у него «начальство». Смотрителю судоходства, стало быть, не до просителей. Нет его в «канцелярии», а на нет и суда нет...

Краем уха не слушая юркого, торопливого еврейчика, с жаром уверявшего, что «его благородия гасшпадина капитана немá», Марко Данилыч степенно прошел в канцелярию, где до десятка мрачных, с жадными взорами, вольнонаемных писцов перебирали бумаги, стучали на счетах и что-то записывали в просаленные насквозь толстые книги. Никто не хотел сказать ему, где «водяной» и скоро ли он воротится. Ровно все оглохли и с досадой отмахивались рукою — отвяжись, мол, не до тебя. Двугривенный развязал язык одному писцу, узнал от него Марко Данилыч, что лучше побывать вечерком, потому

---

[1] Лучший у Макарья ресторан.

что капитан с праздника раньше шести часов не воротится, да и то будет «устамши». Досадно, да нечего делать: иди с чем пришел. В чаянье другого двугривенного, а глядя по делу и целого рублевика, проглаголавший писарь вскочил поспешно со стула, отвел Марка Данилыча в сторону и, раболепно нагнувшись к плечу его, вполголоса стал уговаривать, чтоб он рассказал свою надобность, уверяя, что и без капитана он всякое дело может обделать. Не таково было дельце Марка Данилыча, чтоб говорить о нем с писарями. Слова не молвив в ответ, важно он повернулся и вышел. Сморщился писарь, злобно взглянул на купчину и, сплюнув в сторону, отер рукавом нанкового сюртука пот, от духоты выступавший на сизо-красном лице его. Потом, поглядев в окно, не воротится ли проситель, сел с досадой на место, крякнул сердито и снова принялся за бумажную работу.

Слова домашним не молвил Марко Данилыч о том, что случилось с ним в караване. Тепел, любезен бывал он во всякое время к дочке любимой, но теперь встретил угрюмо ее... На ласки Дуни, на приветы ее отмалчивался, только что гладил жесткой рукой по нежной головке да только раз холодно поцеловал белоснежное чело ненаглядной своей красавицы... Зло разбирало его. Кипела душа, туманила ум, только и думы — как бы покрепче, как бы покруче расправиться с бунтовщиками... Всем доставалось — клял и ругал в уме своем Марко Данилыч бурла́ков, клял и ругал водяного за то, что уехал на завтрак, чайников клял-проклинал, что вздумали в самый тот день завтраком задобрить начальство, даже Никиту клял и ругал, зачем завтрак сготовил... Всем сестрам по серьгам!

А Дуня вьется вкруг отца, увивается.

— Соскучилась я без тебя, тятя. Глаза проглядела. Все смотрела, не едешь ли ты...

Так чистым голубем ворковала красавица Дуня, ласкаясь к отцу... Но только и могла добиться сухого:

— Спасибо, доченька!.. Спасибо.

Сама еще не вполне сознавая неправду, Дуня сказала, что без отца на нее скука напала. Напала та скука с иной стороны. Много думала Дуня о запоздавшем к обеду отце, часто взглядывала в окошко, но на память ее приходил не родитель, а совсем чужой человек — Петр Степаныч. Безотвязно представал он в ее воспоминани-

ях... Светлый образ красивого купчика в ярком, блестящем, радужном свете она созерцала...

Обед прошел в строгом молчанье, не было веселой застольной беседы. Мерны в ухе сурские стерляди, но Марку Данилычу мстится[1], будто навар в ней не вкусен... Сочна́ и жирна осетрина, но не приглядна ему; вкусны картофельные оладьи с подливой из свежих грибов, но вспало на ум Марку Данилычу, что повар разбойник нарочно злодейскую шутку с ними сшутил, в великие дни госпожинок на скоромном масле оладьи изжарил. Досадливо ни за́ что, ни про̀ что ворчал Смолокуров на угодливого полового, но голоса не возвышал — у дочери на глазах никогда не давал он воли гневным порывам своим.

Лишь тогда, как на смену плотного обеда был принесен полведерный самовар и Марко Данилыч с наслажденьем хлебнул душистого лянсину, мысли его прояснились, думы в порядок пришли. Лицо просияло. Весело зачал он с дочерью шутки шутить; повеселела и Дуня.

Лицо ее новым отцу показалось. Глаза ни с того ни с сего вспыхивали дрожащим блеском, а томная, будто усталая улыбка с румяных пухленьких губ не сходила. Полсамовара покончили, когда вошел Самоквасов. Радостно вспыхнула Дуня, взглянув на него, и тотчас опустила заискрившиеся глазки... Тщетно силилась она скрыть свою радость, напрасно хотела затуманить ясные взоры, подавить улыбку светлого счастья... Нет, не могла. Замялась с минуту и, тихо с места поднявшись, пошла в свою комнату... «Ровно ангел господень с даром небесным прошел»,— так подумалось Петру Степановичу, когда глядел он вслед уходившей красавицы.

Помолчав немножко и оправившись от минутного смущенья, бойко, развязно молвил он Марку Данилычу:

— А я к вам с известьем. Сейчас пили чай вместе с Зиновьем Алексеичем. К вам сбирается с Татьяной Андревной и с дочками.

— Милости просим. Рады гостям дорогим,— радушно ответил Марко Данилыч.— Дарья Сергевна, велите-ка свеженький самоварчик собрать да хорошенького чайку заварите... Лянсин фу-чу-фу! Понимаете? Распервей-

---

[1] *Мститься* — мерещиться, казаться, чудиться... Северо-восточное слово.

ший чтобы был сорт, по восьми рублев фунт! А вы садитесь-ка, Петр Степаныч, погостите у нас.

Дарья Сергевна вышла Дуню принарядить и по хозяйству распорядиться. Самоквасов остался вдвоем с Марком Данилычем.

Чтобы угодить ему, Петр Степаныч завел любимый его разговор про рыбную часть, но тем напомнил ему про бунт в караване... Подавляя злобу в душе, угрюмо нахмурив чело, о том помышлял теперь Марко Данилыч, что вот часа через два надо будет ехать к водяному, суда да расправы искать. И оттого не совсем охотно отвечал он Самоквасову, спросившему: есть ли на рыбу покупатели?

— Какие тут покупатели! — промолвил он.

— Давеча встретился я с одним знакомым, он сказывал, будто бы на орошинском караване дела зачинаются,— молвил Петр Степаныч.

— То Орошин, а то мы! — нехотя промолвил Марко Данилыч.— Всяк по своему расчету ведет дела. Орошину, значит, расчет, а нам его нет.

И вдруг замолк. Крепко стиснув зубы, пальцами стал по столу барабанить,— бурла́ки у него из головы не шли. Минуты две длилось молчанье. Не по себе стало, наконец, Петру Степанычу, не может он придумать, что сталось с Марком Данилычем; всегда с ним был он ласков и разговорчив, а тут ровно что на него накатило. «Не осерчал ли, что частенько ходить к нему повадился?» — думает Самоквасов. И, взглянув на диван, увидал на нем шелковый голубенький платочек... Вздрогнул весь — будь он один в комнате, так бы и расцеловал его... «Не приметил ли разве чего Марко Данилыч? — продолжал он думать про себя.— Эти отцы ух какие зоркие — насквозь тебя видят... Что же?.. Разве дурное на мыслях держу?.. И она ровно бы сердитая, только вошел я — тотчас из горницы вон». И грустно и досадно стало Петру Степанычу, а на что досадно, сам того не знает.

— Вечерком опять на ярманку? — робко спросил он смолкшего Марка Данилыча.

— Еще не знаю,— мрачно отвечал ему Смолокуров.—Гости к нам будут, да еще мне съездить надо коекуда... Нена́долго, а надобно съездить... Хотелось бы повеселить мою баловницу,— прибавил Марко Данилыч после короткого молчанья,— да не знай, удосужусь ли.

— Всем бы вместе ехать,— молвил Самоквасов, робко взглянув на угрюмого Марка Данилыча.— Дорониным и вам бы с семейством. Ежели угодно, я бы и коляски достал... У меня тут извозчики есть знакомые, а без знакомых трудно здесь хорошую коляску достать...

— На всякий случай похлопочите,— небрежно выронил слово Марко Данилыч.

— Трех четырехместных будет достаточно? — быстро спросил Петр Степаныч на радостях от ласкового взгляда Смолокурова.

— За глаза,— отвечал тот.— В самом деле, вместе-то ехать будет охотнее... Да вот не знай сам-от, удосужусь ли.

И снова подумалось Петру Степанычу, что Марко Данилыч осерчал на него... И оттого словно черная хмара разлилась по лицу его... В это самое время вошли Доронины.

— Друг любезный!.. Марко Данилыч!..— весело и громко здоровался Зиновий Алексеич и, приняв друга в широкие объятия, трижды поликовался с ним со щеки на́ щеку.

— Здравствуй, Зиновий Алексеич!.. Вот где господь привел свидеться! — радостным голосом говорил Марко Данилыч.— Татьяна Андревна, здравствуйте, сударыня! Давненько с вами не видались... Барышни, Лизавета Зиновьевна, Наталья Зиновьевна!.. Выросли-то как!.. Господи!.. Да какие стали раскрасавицы!.. Дуня, а Дуня! Подь скорее, примай подружек, привечай барышенто... Дарья Сергевна, пожалуйте-ка сюда, матушка!

Показалась в дверях Дуня и зарделась, как маков цвет. Положив здоровенную ладонь на круглое, пышное плечико дочери, Марко Данилыч подвел ее к Татьяне Андревне, а потом к дочерям ее. И Дарью Сергевну с Татьяной Андревной познакомил.

Перецеловались, как водится. Дарья Сергевна тотчас увела Татьяну Андревну в соседнюю комнату поближе к самоварчику и там разговорилась с ней о том, каково хорошо огурцы уродились и какое-то господь яблокам совершенье пошлет... Затем домовитые хозяюшки повели нескончаемую беседу про то, с чем лучше капусту рубить, с анисом аль с тмином, сколько надо селитры класть, чтобы солонина казалась пригляднее, каким способом лучше наливки настаивать, варенья варить, соленья го-

товить. Дошло дело и до квасу на семи солодах и до того, как надо печь папушники, чтоб были они повсхожее да попышнее, затем перевели речь на поварское дело — тут уж ни конца, ни краю не виделось разговорам хозяюшек.

В приемной комнате девицы, усевшись на широком, хоть и не очень мягком диване, отрывисто перебрасывались тихими, скромными речами, а Марко Данилыч сел с приятелем у открытого окна и завел речь про торговые дела у Макарья. Волей-неволей и Петр Степаныч присоседился к ним. Охотней сел бы он в девичий круг, да не повелось того за обычай у людей старого завета... Зазорно у них молодому да притом еще холостому на людях в разговоры вступать с девицами, ежели с ними из старших кто-нибудь не сидит. Украдкой мечет Самоквасов на Дуню страстные взоры, а сам то и дело оглядывается, не заметил бы отец. И, когда его взоры встречались со взорами Дуни, ярким багрецом рделись свежие ее ланиты и, хмуря слегка белое, ровно кипень, чело, стыдливо глаза она опускала, либо спешила скорее в сторону их отвести.

Не может налюбоваться на Дуню Наташа, меньшая Дорониных дочь, но не может и понять, отчего так она волнуется, отчего беспокойно на месте сидит — нет-нет, да и вспыхнет вся, ровно маков цвет раскраснеется... Чиста, непорочна Наташа была, сердечных тревог еще не изведала — ее пора еще не пришла. Но Лизавета Зиновьевна, что постарше своей сестрицы была и много поопытнее, кое-что сразу приметила,— не скрылось от взоров ее ничего. С теплым, добрым участьем смотрела она то на таявшего в безмолвье Самоквасова, то на рдевшую от его взглядов Авдотью Марковну. Тихая, ясная, хоть и грустная несколько улыбка скользила по пурпу́рным устам старшей Дорониной. «Так вот отчего он целое утро у нас про нее одну говорил». Так думала Лизавета Зиновьевна, глядя на Дуню кроткими своими очами.

— А что, Марко Данилыч? Как у вас, примерно сказать, будет насчет тюленьего жиру? — спрашивал между тем Зиновий Алексеич у приятеля, принимая поднесенный ему стакан редкостного лянсина фу-чу-фу.

— А тебе что? — усмехнулся Марко Данилыч.— Закупать не хочешь ли?.. Не советую — дело по нонешним временам бро́совое.

— Стану я на новы дела метаться!..— степенно вскликнул Доронин.— И заведенными остаемся, слава богу, довольны.

— Так что ж тебе за дело до тюленя? — пристально посмотрев на приятеля, спросил Марко Данилыч.

— Человек у меня есть. Для него спрашиваю,— ответил Доронин, смотря на что-то в окошко.

— Что за человечек такой? — прищуря глаза, спросил Смолокуров.

— Человек хороший,— молвил Зиновий Алексеич.— На Низу у него многонько-таки этого тюленьего жиру. И рыбий есть — топил из бешенки... Да делишки-то у него маленько теперь позамялись — до сей поры не весь еще товар на баржи погружен. Разве, разве к рождеству богородицы прибудет сюда.

Не очень бы, казалось, занятен был девицам разговор про тюлений жир, но две из них смутились: Дуня оттого, что нечаянно взглядами с Самоквасовым встретилась, Лизавета Зиновьевна — кто ее знает с чего. Сидела она, наклонившись над прошивками Дуниной работы, и вдруг во весь стан выпрямилась. Широко раскрытыми голубыми глазами с незаметной для других мольбой посмотрела она на отца.

— Не след бы мне про тюлений-от жир тебе рассказывать,— сказал Марко Данилыч,— у самого этого треклятого товару целая баржа на Гребновской стоит. Да уж так и быть, ради милого дружка и сережка из ушка. Желаешь знать напрямик, по правде, то есть по чистой совести?.. Так вот что скажу: от тюленя, чтоб ему дохнуть! прибытки не прытки. Самое распоследнее дело... Плюнуть на него не стоит — вот оно что.

Лизавета Зиновьевна вдруг схватила из рук сестры зонтик и стала то открывать, то закрывать его.

Чуть-чуть покачал головой Зиновий Алексеич и, крякнув с досады, крикнул жене в соседнюю комнату:

— Татьяна Андревна! А Татьяна Андревна! Подь-ка сюда на словечко.

Медленно встала со стула Татьяна Андревна, тихо к дверям подошла, стала в них и пытливыми глазами посмотрела на мужа.

— Слышь, что Марк-от Данилыч сказал? — молвил Доронин.— Тюлень-от, слышь, плевка ноне не стоит... Вот оно что!..

На миг, на один только миг, сверкнули искры в очах Татьяны Андревны и дрогнули губы. Пригорюнилась она и тихим, чуть слышным голосом покорно промолвила:

— Власть господня!..

И затем тихою поступью пошла к Дарье Сергевне, остановившейся на какой-то кулебяке с рыбой и гречневой кашей. Закусив нижнюю губку, чуть удерживая слезы, Лизавета Зиновьевна за матерью пошла.

— Да,— продолжал Смолокуров,— этот тюлень теперича самое последнее дело. Не рад, что и польстился на такую дрянь — всего только третий год стал им займоваться... Смолоду у меня не лежало сердце к этому промыслу. Знаешь ведь, что от этого от самого тюленя брательнику моему, царство ему небесное, кончина приключилась: в море потоп...

В соседней горнице стук послышался. Чайную чашку выронила из рук Дарья Сергевна, и та разбилась вдребезги.

— Колотите больше,— усмехнулся Марко Данилыч.— Это, говорят, на счастье.

Ни слова не ответила Дарья Сергевна.

— Уж как мне противен был этот тюлень,— продолжал свое Смолокуров.— Говорить даже про него не люблю, а вот поди ж ты тут — пустился на него... Орошин, дуй его горой, соблазнил... Смутил, пес... И вот теперь по его милости совсем я завязался. Не поверишь, Зиновий Алексеич, как не рад я тюленьему промыслу, пропадай оно совсем!.. Убытки одни... Рыба — дело иное: к Успеньеву дню расторгуемся, надо думать, а с тюленём до самой последней поры придется руки сложивши сидеть. И то половины с рук не сойдет.

— Отчего ж это так? — спросил Зиновий Алексеич.

— Новый тариф!..— с досадой ответил Марко Данилыч.

— Какое ж в новом тарифе может быть касательство до тюленьего жира? Не из чужих краев его везут; свое добро, российское.

— Свое-то свое, да ведь не с кашей его есть,— молвил Марко Данилыч.— На ситцевы фабрики жир-от идет, в краску, а с этим тарифом,— чтоб тем, кто писал его, ни дна, ни покрышки,— того и гляди, что наполовину фабрик закроется. К тому ж ноне и хлопку что-то ма-

ло в Петербург привезли, а это тюленьему жиру тоже большая вреда... Потому, куда ж его денешь, как не на ситцевы фабрики? На мыло думаешь?.. Так немца какого-то, пес его знает, бес угораздил какую-то кислоту олеинову выдумать... От стеариновых свечей остается; на выброс бы ее следовало, а немцы, бесовы дети, мыло стали из нее варить. А допрежь тюлений жир на мыло много требовался. От эвтих от самых причин в нонешнем году его и подкузьмило. Того и гляди, весь на руках останется... Понял? В коммерции-то ведь каждая вещь одна за другую цепляется, одна другой держится. Все едино, что часы,— попорть одно колесико, все станут.

— Да, поди-ка вот тут! — думчиво молвил Доронин.

— Во всем так, друг любезный, Зиновий Алексеич, во всем, до чего ни коснись,— продолжал Смолокуров.— Вечор под Главным домом повстречался я с купцом из Сундучного ряда. Здешний торговец, недальний, от Старого Макарья. Что, спрашиваю, как ваши промысла̀? «Какие, говорит, наши промысла, убыток один, дело хоть брось». Как так? — спрашиваю. «Да вот, говорит, в Китае не то война, не то бунт поднялся, шут их знает, а нашему брату хоть голову в петлю клади».

— Какое же касательство может быть Китаю до сундучников? — с удивленьем и почти с недоверьем, спросил Зиновий Алексеич.— Пущай бы их там себе воевали на здоровье, нам-то какое тут дело?

— То-то вот и есть...— молвил Смолокуров.— Вот оно что означает коммерция-то. Сундуки-то к киргизам идут и дальше за ихние степи, к тем народам, что китайцу подвластны. Как пошла у них там завороха, сундуков-то им и не надо. От войны, известно дело, одно разоренье, в сундуки-то чего тогда станешь класть?.. Вот поди и распутывай дела: в Китае дерутся, а у Старого Макарья «караул» кричат. Вот оно что такое коммерция означает!

— Значит, плохо будет тюленю? — маленько помолчав, еще раз спросил Зиновий Алексеич.

— Плохо,— отозвался Марко Данилыч.— Хоть бы господь привел бы на двадцать на четыре месяца, и то бы слава богу...

Сморщился Доронин и смолк. Кинул он мимолетный взгляд на вышедшую от Дарьи Сергевны дочь, и заботливое беспокойство отразилось в глазах его. Не подходя

к дивану, где сидели Дуня с Наташей, Лизавета Зиновьевна подошла к раскрытому окну и, глаз не сводя, стала смотреть на волжские струи и темно-синюю даль заволжских лесов...

— А много ль жиру-то у твоего знакомца? — немного помолчав, спросил у Доронина Марко Данилыч.

— Баржи нà три... Почти весь капитал усадил,— ответил Доронин.

— Плохо,— молвил Марко Данилыч.— Здорово не выдерется... Да кто таков? Я промышленников всех знаю, и рыбных и тюленьих.

— Маркелов Никита Федорыч, саратовский,— ответил Доронин.

— Молоденький-от? Что в кургузом-то сюртучишке стал щеголять? Ровно собаки у него полы-те обгрызли? — отозвался Марко Данилыч.— Дрянцо! Ветрогон! С ног до головы никуда не годится! К тому же и в вере не крепок — повелся с колонистами, с нехристью дружбу завел, богоборную их веру похваляет... Не больно знаю его, да и знать не имею желания... Родителя его, Федора Меркулыча, знал достаточно, иной год соседями по ватагам бывали, в Юсуповских водах [1] участки рядом снимали. Обстоятельный был человек, благочестивый, к истинной, старой, значит, вере большую ревность имел. И деды были таковы же и прадеды. Со дней Никонова гоненья до дня блаженной кончины Федора Меркулыча у них в доме канонницы на един час не переводились, негасимую по усопшим читали, божественные службы правили. И священство древлего благочестия у Меркуловых в доме завсегда пребывало. Преисполнен был дом благочестия, а вот какому блудному сыну достался он! Да еще блудному нераскаянному! Чем бы святые, древлеписанные иконы сбирать, смехотворные картины да языческих богов изображения скупает! Чем бы хорошие книги покупать, он — скоморошные, нечестивые, богоотметные!.. Совсем пропащий человек!

Быстро откинулась от окна Лизавета Зиновьевна. Лицо ее пылало, ярым блеском глаза загорелись. Гневно окинув очами Марка Данилыча, строго, спокойно, молча прошла она к Дарье Сергевне.

---

[1] Юсуповские воды находятся в Поморье, от Синего Морца к северу. Они обыкновенно сдаются на откуп участками.

— Да, Федор Меркулыч человек был мудрый и благочестивый,— продолжал Смолокуров.— Оттого и тюленём не займовался, опричь рыбы никогда ничего не лавливал. И бешенку на жир не топил, «грешно, говорил, таку погань в народ пускать, для́ того что вкушать ее не показано...» Сынок-от не в батюшку пошел. В тюленя́ весь капитал засадить... Умно, неча сказать... Променял шило на свайку... Нет, дружище, ежели и вперед он так пойдет, так, едучи в лодке, пуще, чем в бане, угорит.

— А как по-твоему? Можно поправить его дела? — спросил Зиновий Алексеич.

— Умненько надо вперед поступать, тем только и можно их поправить,— ответил Марко Данилыч.— Завсегда так надо делать, чтобы каждого сорта товар хоть по сколько-нибудь, хоть по самой малости налицо был. На одном принял убыток, на другом вернешь его... Понял?.. А он ни с того ни с сего весь капитал ухнул в тюленя!.. Ну, не дурова ли голова?.. Сядет теперь малый на бобах, беспременно сядет... А капитал-от у родителя был изрядный, тысяч ста полтора, надо полагать. Много ль сыновей-то после Федора Меркулыча осталось?

— Один всего только и есть,— ответил Доронин.— Сестра еще была, да та еще при жизни родителя выделена. Матери нет... Так ему проторговаться, говоришь?

— Не миновать,— молвил Марко Данилыч.— Говорю тебе: нет на тюленя́ покупателей и вперед не предвидится.

Пуще прежнего насупился Зиновий Алексеич.

— Неужто ж дело его совсем непоправное? — после долгого молчанья спросил Доронин.

— Как тебе сказать?..— молвил Марко Данилыч.— Бывает, и курица петухом поет, бывает, и свинья кашлит... Может, чудом каким и найдет покупателей... Только навряд... Да у тебя векселя, что ли, на него есть?

— Какие векселя! — отозвался Зиновий Алексеич.

— Так что ж тебе сухоти́ться?.. Сам кашу заварил, сам и расхлебывай,— сказал Смолокуров.

— Парня-то было жаль. Парень-от хорош больно,— с сердечным участьем промолвил Доронин.

— Какое хорош! — с досадой сказал Марко Данилыч.— Как есть шалыган, повеса... С еретиками сьякшался, с колонистами!..

— С покойным его родителем мы больше тридцати годов хлеб-соль важивали, в приятельстве были...— продолжал Зиновий Алексеич.— На моих глазах Никитушка и вырос. Жалко тоже!... А уж добрый какой да разумный.

— Разумный! — насмешливо возразил Марко Данилыч.— Где ж у него ты разум-от нашел? В том нешто, что весь капитал в тюленя усадил?

— Это уж его несчастье. Со всяким такое может случиться,— продолжал Зиновий Алексеич защищать Меркулова.— А что умен он, так умен, это уж кого хочешь спроси — на весь Саратов пошлюсь.

— Умен, да не догадлив,— усмехнулся Марко Данилыч.— А ум без догади — шут ли в нем? И по Волге плывешь, так без догади-то как раз в заманиху[1] попадешь. А не хватило у самого догади[2], старых бы людей спросил... Посоветовался бы с кем... Так нет — мы-де, молодые, смыслим больше стариков, им-де нас не учить. А на поверку и вышло, что Никитушка, ровно молодой журавль,— взлетел высоко, а сел низенько. А все нечестие! Все оттого, что в вере повихнулся, с нехристью повязался... Безбожных, нечестивых колонистов, в истинного бога не верующих, похваляет!.. А! чего еще тебе?.. Теперь при его несчастье кто из нашего благочестия руку помощи ему протянет? Кто из беды выручит? А нечестивцы себе на уме, им бы только барыш взять, а упадшего поднять — не их дело!.. Да... Ну что бы ему с кем из нашего брата посоветоваться? Добрым словом не оставили бы... То-то и есть: молодые-то люди, что новы горшки,— то и дело бьются, а наш-от старый горшок, хоть берестой повит, да три века живет. Мóлоды опенки, да черви в них, а стар дуб, да корень свеж... А вы, сударь Петр Степаныч, к стариковским-то речам поприслушайтесь, да, ежели вздумаете что затевать, с бывалыми людьми посоветуйтесь — не пришлось бы после плакать, как вот теперь Меркулову...

— Сами знаете, Марко Данилыч, что не падок я на новости. Дело, дедами насиженное, и то дай бог вести,— молвил Самоквасов.

---

[1] *Заманиха* — глухое русло, ложный фарватер, глубина, замкнутая с трех сторон невидимыми подводными отмелями.

[2] То же, что и догадка. Употребляется в нагорном Поволжье, в Пензенской и Тамбовской губерниях.

— Ну, рыбну-то часть я бы вам советовал,— возразил Марко Данилыч.— Очень бы даже не мешало ее испробовать... У вас же нашлись бы люди, что на первях помогли бы советом... Вы ведь не Меркулов, шалопайства за вами, кажись, не видится, опять же и в благочестии не шатаетесь... Оттого, что бы там по вашим делам ни случилось, ото всех наших во всякое время скорая вам будет помощь... В каку ямину ни попадете — на руках, батюшка, вытащим, потому что от старой веры не отшатываетесь. Будьте в том уповательны — только по греховным стопам не ходите... Только это одно.

— Нет, уж от рыбного-то дела увольте, Марко Данилыч,— весело смеясь, сказал Петр Самоквасов.— Гривна в кармане дороже рубля за́ морем.

— Молод телом, а старенек, видно, делом,— кивнув на Петра Степаныча, заметил Зиновий Алексеич, напрасно стараясь вызвать улыбку на затуманившемся лице своем.

— Что ж? За́ это хвалю,— молвил Марко Данилыч,— но все-таки,— прибавил, обращаясь к Самоквасову,— по рыбной-то части попробовать бы вам. Рыба не тюлень... На ней завсегда барыши...

— Нет уж, Марко Данилыч, какие б миллионы на рыбе ни нажить, а все-таки я буду не согласен,— с беззаботной улыбкой ответил Самоквасов.

— Напрасно,— слегка хмурясь, сказал Марко Данилыч и свел разговор на другое.

— А что, Зиновий Алексеич, возил ли хозяюшку с дочками на ярманку? — спросил он у Доронина.

— Показал маленько,— отозвался Зиновий Алексеич.— Всю, почитай, объехали: на Сибирской [1] были, Пароходную смотрели, под Главным домом раз пяток гуляли, музыку там слушали, по бульвару и по Модной линии хаживали. Показывал им и церкви иноверные, собор, армянскую, в мечеть не попали, женский пол, видишь, туда не пущают, да и смотреть-то нечего там, одни голы стены... В городу́ — на Откосе гуляли, с Гребешка на ярманку смотрели, по Волге катались.

— Ишь как разгулялись! — молвил Марко Данилыч.— А в театрах?

---

[1] Сибирская пристань на Волге, где, между прочим, разгружаются чаи.

— Нет еще, а грешным делом сбираюсь,— отвечал Доронин.— Стоющие люди заверяют, что, хоша там и бесу служат, а бесчиния нет, и девицам, слышь, быть там не зазорно... Думаю повеселить дочек-то, свожу когда-нибудь... Поедем-ка вместе, Марко Данилыч!

— Со всяким моим удовольствием,— отвечал Смолокуров.— Ты без нас уж не езди. Не поверишь, сколь я рад, видевшись с тобой да с Татьяной Андревной... Видишь ли, у меня Дарья Сергевна, покойника брата Мокея невеста — по хозяйству золото, а по эвтой части совсем никуда не годится... Смиренница, постница, богомольница, что твоя инокиня... Ни за что на свете не поедет она не токмá в театр, а хоша б и под Главный дом... А без старшей из женского полу как девицу в люди везти?.. А с Татьяной-то Андревной оно и можно... Ты уж сделай милость, Зиновий Алексеич, с сей минуты от нас ни на пядь... По старой дружбе не откажи, пожалуйста.

— Радехонек, Марко Данилыч,— отвечал Доронин.— И девицам-то вместе повазднее будет.

— Главное, нá людях-то было бы пристойно да обычливо,— поддакнул Марко Данилыч.— Вот и Петра Степаныча прихватим,— с улыбкой прибавил он.

Быстро с места вскочил Самоквасов и с сияющими глазами стал благодарить и Марка Данилыча и Зиновья Алексеича, что не забыли его.

Решили на другой же день в театр ехать. Петр Степаныч взялся и билеты достать.

— Вот и согрешим,— с довольством потирая руки и ходя по комнате, говорил Марко Данилыч.— Наше от нас не уйдет; а воротимся домой, как-нибудь от этих грехов отмолимся. Не то керженским старицам закажем молиться. Здесь же недалече... Там, брат, на этот счет ух какие мастерицы!.. Первый сорт!..

— По-моему, и грех-от не больно велик,— отозвался Зиновий Алексеич.— Опять же ярманка!

— Конечно,— согласился Марко Данилыч.— А потом выберем денек, да к ловцам рыбу ловить. Косных у меня вдоволь... Вверх по Оке махнем, не то на Волгу покатим... Уху на бережку сварганим, похлебаем на прохладе!.. Так али нет, Зиновий Алексеич? — прибавил он, хлопнув по плечу друга-приятеля.

— Идет,— весело ответил Зиновий Алексеич.— Песенников не прихватить ли?

— Можно и песенников,— согласился Смолокуров.— У Петра Степаныча ноги молодые да прыткие, а делов на ярманке нет никаких. Он нам и смастерит. Так али нет, Петр Степаныч?

Самоквасов с радостью согласился. Об одном только просил — не мешали бы ему и ни в чем не спорили. Согласились на то Смолокуров с Дорониным.

Вплоть до сумерек просидели гости у Марка Данилыча. Не удосужилось ему съездить к водяному. «Делать нечего, подумал, завтра пораньше поеду».

Только что вышли гости, показался в передней Василий Фадеев. Разрядился он в длиннополую сибирку тонкого синего сукна, с мелкими борами назади, на шею повязал красный шелковый платок с голубыми разводами, вздел зеленые замшевые перчатки, в одной руке пуховую шляпу держит, в другой «лепортицу». Ровно гусь, вытянул он из двери длинную шею свою, зорко, но робко поглядывая на хозяина, пока Марко Данилыч не сказал ему:

— Войди!

Фадеев вошел и стал глядеть по углам, отыскивая глазами икону. Увидев, наконец, под самым потолком крохотный, невзрачный образок и положив перед ним три низких поклона, еще пониже, с подобострастной ужимкой поклонился хозяину, затем, согнувши спину в три погибели, подал ему «лепортицу».

— Насчет рабочих давеча по утру́ приказали сготовить,— сказал он сладеньким и подленьким голосом.— Насчет, значит, ихних заборов.

Молча взял бумагу Марко Данилыч. Быстро просмотрел ее и, вскинув глазами на приказчика, строго спросил:

— Это что у тебя за отметки? Сбежал, сбежал, сбежал.

— Давеча, только что изволили съехать с барже́й, они гурьбой-с!..— пожимая левым плечом и слегка откинув правую руку, ответил грозному хозяину Фадеев.— Цела половина сбежалась. Шестьдесят человек.

— А пачпорты как же? — спросил Марко Данилыч.

— Слепые были-с,— не разгибая спины, но понизив голос, молвил Василий Фадеев.

— Все шестьдесят?

— Так точно-с,— ответил Фадеев. Заискивающим

взором только что побитой собаки робко, умильно взглядывал он на хозяина.

— Гм! — по́д нос себе промычал Смолокуров и, потирая губу о губу, продолжал рассматривать «лепортицу», чистенько переписанную, разлинованную, разграфленную — хоть самому губернатору подавай.

— Более четырехсот целковых экономии-с,— хихикнул Василий Фадеев.

— Жаловаться не стали бы,— думчиво молвил Марко Данилыч.

— Как же смеют они жалобиться?.. Помилуйте-с!..— возразил Василий Фадеев.— Ни у кого никакого вида нет-с... Жалобиться им никак невозможно. В остроге сидеть аль по этапу домой отправляться тоже не охота. Помилуйте! — говорил Фадеев.

— А другие что? — спросил Марко Данилыч.

— Смирились-с. На всю вашу волю полагаются. Оченно просят вашу милость, простили б их супротивленье,— умиленным голосом и с покорным видом наклонясь, говорил Василий Фадеев.

— А тот сызранский-от? Из Елшанки, Сидор Аверьянов? — спросил Марко Данилыч.

— Сбежал-с,— тряхнув головой и погладив прилизанные виски, быстро ответил Фадеев и, ровно в чем провинился, уставился на хозяина широкими глазами.

— Без вида был?

— Как есть-с...

Замолчал Смолокуров.

— Самый буянственный человек,— на все стороны оглядываясь, говорил Василий Фадеев.— От него вся беда вышла... Он, осмелюсь доложить вашей милости, Марко Данилыч, на все художества завсегда первым заводчиком был. Чуть что не по нем, тотчас всю артель взбудоражит. Вот и теперь — только что отплыли вы, еще в виду косная-то ваша была, Сидорка, не говоря ни слова, котомку на̀ плечи да на̀ берег. За ним все слепые вало́м так и повалили.

— Впрямь сызранский он? — спросил Марко Данилыч.

— Навряд-с...— тряхнув головой, ответил Фадеев.— По речам надо быть ему ярославцем... Из служивых, должно быть, солдатик горемычный... беглый... попросту сказать.

— То-то, солдатик. А ты будьпооглядчивей да поопасливей...— внушительно сказал приказчику Марко Данилыч.— Не ровен час — могут неприятности последовать. Больно-то много слепых не набирай.

— Вашей же милости сходнее, Марко Данилыч,— пожав плечами, с плутовской ужимкой, ответил Василий Фадеев.— Слепые-то су́против зрячих много дешевле. Опять же слепенького, когда понадобится, и укротить сподручнее; жалобиться не пойдет, значит, из него хоть веревку вей... Вот хоша бы сегодняшна ва́торга[1] — будь они с пачпорта́ми-то, всей бы оравой сейчас к водяному, а не то и к самому губернатору. Су́дьбище пошло бы, вам неприятности от начальства, а теперича и жалобщиков нет, и без малого пятьсот целковых в экономии.

— Так-то оно так, а все-таки промеж дверей пальца не тычь,— сказал Марко Данилыч.— Нынче, брат, не прежнее время... Строгости!..

— Известно, по нонешним годам много строже пошло,— встряхнув волосами, молвил приказчик.— Однакож никто как господь... Бог милостив.

Марко Данилыч отвернулся от Фадеева, молча прошел к окну и стал разглядывать улицу. После короткого молчанья Фадеев, неслышно шаг за шагом ступая вперед и вытянув шею по-гусиному, спросил вполголоса Марка Данилыча:

— Насчет остальных какое будет от вашей милости приказание?

Ни слова не ответил Марко Данилыч.

— Дрожмя́ дрожат-с, до конца сробели... Милости просят,— немножко помолчав, опять стал клянчить у хозяина Василий Фадеев.

— А те?.. Дядя-то с племянником, что в первы́х были? — спросил Смолокуров, продолжая глядеть в окошко.

— Не они были зачинщиками, Марко Данилыч,— проворно отвечал Фадеев.— Всему делу голова Сидорка. Он всю ва́торгу затеял; он всех подбил, а Карпушка с племянником люди тихие, смирные... Им бы и в голову не могло прийти, чтоб су́против хозяина буйство поднять... Карпушка-то придурковат маленько; Сидорка ему и пригрозил: не полезешь, дескать, вперед, в воду тебя

[1] *Ваторга* — шум, буйство, драка.

кину... Он сдуру-то и поверь, да по глупости своей и полез. Ежели б не Сидорка, Карп словечка не молвил бы, потому человек он не смелый... А Софронка, племянник-от его, и вовсе рта не разевал. Мальчишка еще глупый — куда ему?.. Просто разиня рот возле дяди стоял.

— Кто ж, опричь Сидорки, больше всех бунтовал? — спросил Марко Данилыч, все еще не повертываясь к приказчику.

— У меня они все переписаны,— быстро сказал Василий Фадеев и, вынув из кармана записочку, стал читать по ней:— Лукьян Носачев, Пахомка Заплавной, Федька Квасник, Калина Затиркин да Евлашка Кособрюхов... Только их теперь донять невозможно.

— Отчего? — повернувшись к Фадееву, спросил Смолокуров.

— Сбежали-с. Тоже из слепеньких были,— проворно перебирая пальцами, с плутовской ужимкой молвил приказчик.

Опять к окну повернулся Марко Данилыч, опять на улице начал прохожих считать.

— По правде сказать, как я уж вам и докладывал, одни слепые и озорничали,— после короткого молчанья заискивающим голоском опять заговорил Фадеев.— Остальные, кажись бы, стояли смирнехонько... Потому нельзя им буйства заводить — пачпорты.

Молчал Смолокуров.

— Опять же и то взять,— опять помолчав, продолжал свое нести Фадеев.— Только что приказали вы идти каждому к своему месту, слепые с места не шелохнулись и пуще прежнего зачали буянить, а которы с видами, те, надеясь от вашего здоровья милости, по первому слову пошли по местам... Самым главнеющим озорникам, Сидорке во-первых, Лукьяну Носачеву, Пахомке Заплавному, они же после в шею наклали. «Из-за вас, говорят, из-за разбойников, нам всем отвечать...» Народ смирный-с.

И покорно поник головой и глубоко вздохнул Василий Фадеев.

— Много ль народу осталось? — спросил Смолокуров.

— Шестьдесят человек ровнехонько.

— На разделку хватит?

— Должно бы хватить.

— Разочти завтра,— молвил Марко Данилыч.

— Слушаю-с,— ответил приказчик и, прокашлявшись в руку, спросил, глядя в сторону: — За простойные дни как прикажете?

— Черт с ними, отдай! — сказал Смолокуров.

— Слушаю-с,— молвил Василий Фадеев и после короткого молчанья спросил: — Не будет ли еще каких приказаний?

— Никаких,— угрюмо молвил Марко Данилыч.

Сбираясь уходить, Фадеев, как водится, стал креститься на угол, на едва видимый образ.

— Постой, погоди,— остановил его Смолокуров.— Завтра явись ко мне за расценочной ведомостью, поутру, часу в девятом, а теперь сейчас на баржи... Смотри, на ярманке не загуляй; отсель прямо на караван... Да чтобы все у меня было тихо. Понял?

— Слушаю-с,— приниженным голосом ответил Фадеев и, бойко положив три поясных поклона перед образом, низко-пренизко поклонился хозяину, промолвивши:

— Засим счастливо оставаться-с.

Вышел было за́ дверь, но Смолокуров его воротил.

— На тюленя́ как цены? — отрывисто спросил у него.

— Еще не обозначились-с,— быстро мигая, проговорил Фадеев.

— Дурак!.. Не обозначились!.. Без тебя знают, что не обозначились,— крикнул на него Марко Данилыч.— Что на эвтот счет говорят по караванам? Вот про что тебя, болвана, спрашивают... Слухи какие ходят ля эвтого предмету?.. На других-то есть караванах?

— Розно толкуют-с,— перебирая пальцами и глядя в сторону, ответил Фадеев.— На орошинских баржа̀х был намедни разговор, что тюленю надо быть рубля на два, а по другим караванам толкуют, что будет два с гривной, даже двух рублей с четвертаком ожидают. Дело закрытое-с...

— Примечай,— мотнув головой, промолвил Марко Данилыч.

— Слушаю-с.

— Чуть что услышишь, то́тчас ко мне.

— Слушаю-с.

— С богом! — махнув рукой, сказал Смолокуров.

Сызнова Фадеев помолился на образок, сызнова отвесил низкий поклон хозяину, быстро юркнув за дверь, осторожно притворил ее за собою.

Долго после его ухода Марко Данилыч сидел у окна, долго ногтями тихонько по стеклу барабанил... Сходил в свою спальную комнату, вынес оттуда счеты и с полчаса щелка́л на них костями. Что-то высчитывал, над чем-то раздумывал, вдруг его ровно ветром с места сорва́ло... Вскочил и с радостным взором не то что прошелся, а чуть не пробежал раз и другой взад и вперед по комнате. Потом к Дуне прошел, нежно простился с ней и, обещав привезти гостинца с ярманки, торопливо схватил картуз и спешно, чуть не бегом, выбежал вон из гостиницы.

— На ярманку!..— громко крикнул извозчику, садясь в широкие на лежачих рессорах дрожки, порядочно, впрочем, потертые.

Бойкий кузнечевец [1] быстро тронулся с места. Через несколько минут въехав на мост через Оку, он спросил седока:

— Которо место в ярманке прикажете?

— В трактир пошел!.. В тот, куда рыбны торговцы по вечерам чай ходят пить,— сказал ему Марко Данилыч.

— А в коем же трактире они чай-от пьют?

— Как же ты этого не знаешь!.. Какой же ты после этого извозчик! — с досадой крикнул Смолокуров.

— А как же нашему брату знать, где какое купечество чаи распивает? — спокойно ответил кузнечевец.— Здесь, ваше степенство, трактиров не перечесть. Кто их знает, кто куда ходит.

— А ты поменьше говори да поменьше умничай! — с досадой молвил Марко Данилыч.

— Нисколько мы не умничаем, господин купец,— продолжал нести свое извозчик.— А ежели нашему брату до всех до этих ваших делов доходить вплотную, где то есть каждый из вас чаи распивает аль обедает, так этого нам уж никак невозможно. Наше дело — сказал седок ехать куда, вези и деньги по такцыи получай. А ежели хозяин добрый, он тебе беспременно и посверх такцыи на чаек прибавит. Наше дело все в том только и заключается.

---

[1] В Нижнем бо́льшая часть легковых извозчиков из подгородных деревень, преимущественно из Кузнечихи.

— Говорят тебе: много не разговаривай! — крикнул Марко Данилыч — Чем лясы-то распускать, лучше бы поспрошал у кого-нибудь, где тот трактир...

— Вот что дело, то дело,— согласился невозмутимый кузнечевец.— Поспрошать, это можно. Мост-от переехамши, куда же ворочать-от? Направо аль налево?

— К Гребновской пристани ближе ступай... Там спросим.

Хлестнул извозчик добрую красивую обвенку [1], и дробной рысцой побежала она по шоссейной дороге Сундучного ряда... После долгих расспросов, после многих переездов от одного трактира к другому Марко Данилыч отыскал, наконец, тот, где в этом году рыбные торговцы по вечерам собирались.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Из крупных торговцев, из тузов, что ездят к Макарью, больше половины московских. Оттого на ярманке и порядки все московские. Тех порядков держатся там и сибиряки и уральцы, народ верховый и низовый — словом, все «городовые» [2]. Как и в московском городе, все торговые сделки ладятся по трактирам. И хозяева и приказчики из лавки целый день ни ногой, но, только что смеркнется, только что зажгут фонари, валом повалят по трактирам. Огонь в лавках воспрещен, а в палатках над ними, где купцы живут, хоть и дозволяют держать огонь часов до одиннадцати, но самовары запрещены. Правда, нà эти запреты никто почти внимания не обращает, в каждой лавке ставят самовары и курят табак безо всякой опаски, однако ж по привычке купцы все-таки каждый вечер расходятся по трактирам чайком побàловаться да, кстати, и дельцо, ежели повернется, обладить.

По вечерам и ярманочные и городские трактиры битком набиты. Чаю выпивают количество непомерное. После, как водится, пойдут в ход закусочки, конечно с прибавленьицем. В Москве — в Новотроицком, у Лопашева и в других излюбленных купечеством трактирах —

---

[1] Порода небольших, кругленьких, крепких, доброезжих и очень выносливых лошадей. Называются по реке Обве (Пермской губернии), где разведены Петром Великим.

[2] Городовыми как в Москве, так и у Макарья, называются купцы не московские.

можно только чай пить, но закусывать, а пуще того винца рюмочку выпить — сохрани господи и помилуй!.. Зазорное дело!.. У Макарья не то: там и московским и городовым купцам, яко в пути находящимся, по все дни и по вся ночи — разрешения на вся.

На сто восемьдесят миллионов, а годами и больше того товару на Макарьевскую свозится, на сто шестьдесят и больше продается, и все обороты делаются по трактирам. Лет шестьдесят тому, когда ставили ярманку возле Нижнего, строитель ее, ни словечка по-русски не разумевший, а народных обычаев и вовсе не знавший [1], пожелал, чтоб ярманочные дела на новом месте пошли на ту же стать, на какую они в чужих краях идут. Для того прежде всего позаботился он выстроить огромный дом, наподобие не то амстердамской, не то гамбургской биржи, и назвал тот дом «Главным домом». Двери и окна его разукрасил кадуцеями Меркурия; теперь они уж сняты... В верхнем ярусе Главного дома устроил семь ли восемь обширных зал да еще внизу четыре и в каждой из них приказал быть ежедневно собраньям купцов. Возле зал небольшие комнатки для маклерских дел устроены были. И все убрали, все разукрасили роскошно, одних зеркал больше пятисот поставили в Главном доме... Все бы, кажется, было приспособлено к потребностям торговцев, обо всем подумали, ни о чем не забыли, но, к изумленью строителя, купцы в Главный дом не пошли, а облюбовали себе трактиры, памятуя пословицу, что еще у Старого Макарья на Желтых Песках сложилась: «Съездить к Макарью — два дела сделать: поторговать да покуликать». Поминая Петра Великого, властный чужеземец к строгостям было вздумал прибегнуть: по его веленью чуть не палками купцов в Главный дом загоняли... Не помогло. Так дом и остался пустым. Благо, что лет через десять на городской стороне Оки сгорел деревянный летний дом, где на время ярманки живал губернатор. В пустой, ни на что не нужный Главный дом посадили тогда губернатора — не пропадать же даром казенному месту. Кадуцеи с дверей и с окон сняли, может быть потому, что губернатору торговать не полагается. На всякий случай для биржи оставили одну залу. И до сих пор в ней собираются разные комитеты, но торговых сделок никогда не бывает.

---

[1] Генерал Бетанкур.

А биржа появилась-таки на ярманке, но сама собой и не там, где было указано. По всякой торговле было удобно сделки в трактирах кончать, но хлебным торговцам это было не с руки. У них — главное дело поставки, им надо бурлаков рядить, с артелями толковать, в трактир их с собой не потащишь. И стали они каждый день толпами сходиться на берегу, возле моста. По времени хлебные торговцы не только стали тут рабочих нанимать, но и всю торговлю свою туда перевели. Хлебная биржа с каждым годом становилась люднее, густые толпы неповоротливых бурла̀ков мешали свободному движению людей, обозов и экипажей, и потому у мостовых перил над самой Окой деревянный навес поставили. Стоял тот навес на длинных шестах; в хороший ветер его со всеми людьми могло бы сдунуть в самую глубь реки. Перевели биржу на̀ берег, устроили для нее красивый дом из железа, тут она и уселась. И теперь каждый день в положенные часы сбираются туда кучи народа. Бурлаков уж нет: пароходство убило их промысел, зато явились владельцы пароходов, капитаны, компанейские директоры, из банковых контор доверенные, и стали в железном доме ладиться дела миллионные. А без трактира все-таки не обошлось — бок о́ бок с железным домом на самом юру́, ровно гриб, вырос трех- либо четырехъярусный каменный трактир ермолаевский. На бирже потолкуют, с делом уладятся, а концы сводить пойдут к Ермолаеву. Там за чайком, за водочкой аль за стерляжьей селяночкой и стали дела вершать.

Стоном стоят голоса в многочисленных обширных, ярко освещенных комнатах Рыбного трактира. Сверху из мезонина несутся дикие, визгливые крики цыганок и дрожмя дрожит потолок под дробным топотом беснующихся плясунов. Внизу смазливые немки, с наглыми, вызывающими взорами, поют осиплыми голосами, играют на струнных инструментах, а потом докучливо надоедают, ходят с нотами от столика к столику за подаянием. Не чив степенный торговец до немецких певуний, с досадой отмахивается он от их назойливых требований «на ноты», но голосистые немки не унывают... Не со вчерашнего дня знают они, что, стоит только купецкой молодежи раскуражиться, кучами полетят на ноты разноцветные бумажки... Ровно с цепи сорвавшись, во все стороны мечутся ярославцы в белых миткалевых рубашках, с бе-

лыми полотенцами чрез плечо, в смазных со скрипом сапожках... Разносят они чайники с чашками, графинчики с рюмками, пышные подовые пироги, московские селянки, разварную осетрину, паровые стерлядки — кому что на потребу... Топот толпы бегающих половых, стук ложками и ножами, говор, гомон по всем комнатам не перемежаются ни на минуту. Изредка раздается хлопанье пробки от «холодненького» — это значит сделку покончили.

Степенной походкой вошел Марко Данилыч, слегка отстранив от себя ярославцев, хотевших было с его степенства верхнюю одёжу снять. Медленными шагами прошел он в «дворянскую» — так назывались в каждом макарьевском трактире особые комнаты, где было прибрано почище, чем в остальных. Туда не всякого пускали, а только по выбору.

Зоркий глаз Марка Данилыча разом приметил в углу, за большим столом, сидевших рыбных торговцев. Они угощались двенадцатью парами чая.

— Марку Данилычу наше наиглубочайшее! — с легкой одышкой, сиплым голосом промолвил тучный, жиром оплывший купчина, отирая красным платком градом выступивший пот на лице и по всей плешивой до самого затылка голове.

Быстро подскочил половой и подставил стул для Марка Данилыча.

— Чай да сахар! — молвил Смолокуров, здороваясь со знакомцами.

— К чаю милости просим,— отвечал тучный лысый купчина и приказал половому:

— Тащи-ка, любезный, еще шесть парочек. Да спроси у хозяина самого наилучшего лянсину. Не то, мол, гости назад отошлют и денег копейки не заплатят.

Что есть мочи размахивая руками, быстро кинулся половой вон из комнаты.

— Давно ли пожаловали? — спросил Марка Данилыча седой старый купец в щеголеватом, наглухо застегнутом кафтанце тонкого синего сукна и в глянцевитых сапогах с напуском. Ростом он был не велик, но из себя коренаст. Здоровое красное лицо, ровно камчатским бобром, опушенное окладистой, темно-русой, с седой искрой бородою было надменно и горделиво, в глазах виднелись высокомерье и кичливая спесь. То был самый богатый,

самый значительный из всех рыбников — Онисим Самойлыч Орошин. Считали его в пяти миллионах — потому великий почет ему отдавали, а ему на всех наплевать...

— Вечор только прибыли,— кладя на окошко картуз, мягко, приветливо ответил Орошину Марко Данилыч.— Вы давненько ли в здешних местах, Онисим Самойлыч?

— Шестой день без пути здесь болтаемся. Делов еще нет. Надоело до смерти! — молвил Орошин.

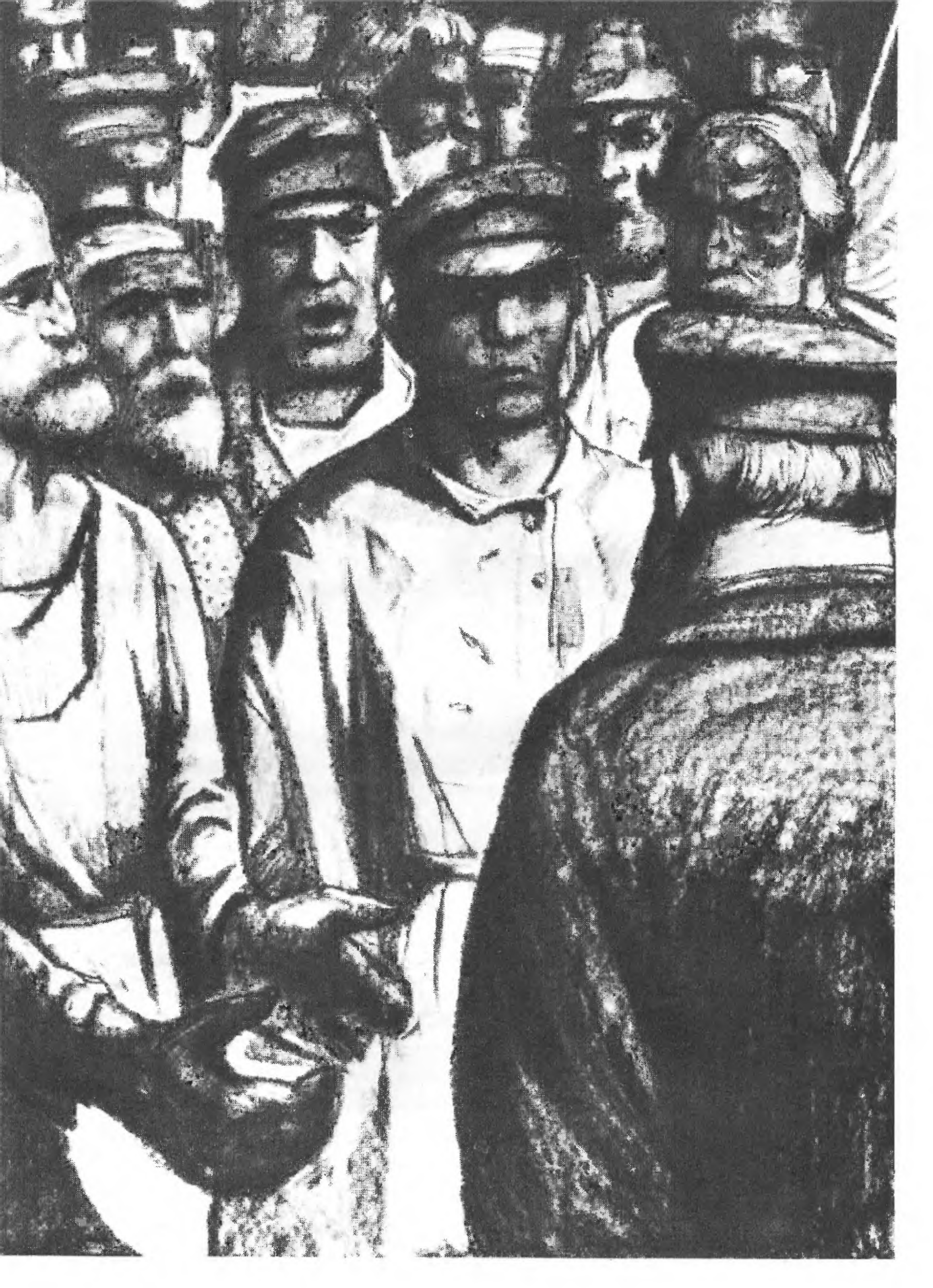
— Без того нельзя,— заметил Смолокуров.

— Вестимо, нельзя,— отозвался Сусалин Степан Федорыч, тот лысый тучный купчина, что первый встретил приветом Марка Данилыча.

То же промолвил Иван Ермолаич Седов, бородастый широкоплечий купчина лет пятидесяти, богатырь богатырем... Поглядеть на него — протодьяконом бы реветь ему, ан нет: пищит, визжит, ровно старая девка. Был тут еще Веденеев Дмитрий Петрович, человек молодой, всего друго лето стал вести дела по смерти родителя. Посмотреть на него — загляденье: пригож лицом, хорош умом, одевается в сюртуки по-немецкому, по праздникам даже на фраки дерзает, за что старуха бабушка клянет его, проклинает всеми святыми отцами и всеми соборами: «Забываешь-де ты, непутный, древлее благочестие, ересями прельщаешься, приемлешь противное богу одеяние нечестивых...». Капиталец у Веденеева был кругленький: дела он вел на широкую руку и ни разу не давал оплошки; теперь у него на Гребновской караван в пять баржéй стоял... По молодости Веденеева старые рыбники обращались с ним немножко свысока, особливо Орошин. Хоть Марко Данилыч негодовал на Меркулова за то, что с колонистами водится и ходит в кургузой одежде, но на богатом Веденееве будто и не замечал ее...

И Орошин и другие рыбники Митенькой звали Веденеева, хоть этот Митенька ростом был вершков тринадцати, а возрастом далеко за двадцать лет. Но как не был еще сполна хозяином, хозяйкой то есть пока не обзавелся, то и оставался покудова Митенькой. Он кой-чему учился, видел пошире, глядел на дела пояснее, чем старые рыбники. Родитель его, не то чтобы по своему изволенью, и не то чтоб по желанью сына, а по приказу губернатора, отдал его учиться в Коммерческую академию.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Глава IV



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Глава V

Заметив в маленьком Веденееве способности, начальник губернии безо всяких обиняков объявил его отцу, что не утвердит за ним каких-то выгодных подрядов, ежели не пошлет он сына учиться в академию. Подряд, по всем расчетам, должен был озолотить старика,— делать нечего, свез сына в Москву, не слушая ни вопля жены, ни проклятий матери. Новым человеком воротился в свой город Дмитрий Петрович. А приехал он на родину уж единственным наследником после умерших вскоре один за другим отца, старшего бездетного брата и матери. Хоть и молод, хоть и ученый, а не бросил он дела родительского, не по́рвал старых торговых связей, к старым рыбникам был угодлив и почтителен, а сам вел живую переписку со школьными товарищами, что сидели теперь в первостатейных конторах, вели широкие дела или набирались уму-разуму в заграничных поездках... Старого закала рыбники понять не могли, отчего это у Митеньки так все спорится, отчего это он умеет вовремя купить, вовремя продать, и хоть бы раз споткнулся на чем-нибудь. «Счастье, видно, такое,— говорили они,— такой уж, видно, талант ему от бога дан, а все за молитвы родительские».

Разбитной половой подал шесть пар «отменного лянсину». Митенька стал разливать, с особенным вниманьем обращаясь к Марку Данилычу.

— Где пристал? — спросил Орошин у Смолокурова.— На караване, что ль?

— Нельзя мне нонешний год на караване жить,— прихлебывая чай, отвечал Марко Данилыч.— Дочку привез с собой, хочу ей показать Макарьевскую. В каюте было бы ей беспокойно. Опять же наши товары на этот счет не больно подходящие — не больно пригоже попахивают.

— Есть того дела, точно что есть,— тоненьким голосом весело захихикал копне подобный Седов Иван Ермолаич,— товарец наш деви́чью носу по нутру не придется. Скривит его девка, ежель понюхает.

Ровно кольнуло что Марка Данилыча. Слегка нахмурился он, гневно очами сверкнув, но не ответил ни слова Седову. Простой был человек Смолокуров, тонкостям и вежливостям обучен не был, но, обожая свою Дуню, не мог равнодушно сносить самой безобидной насчет ее шутки. Другой кто скажи такие слова, быть бы велико-

му шуму, но Седов капиталом мало чем уступал Смолокурову — тут поневоле смолчишь, особливо ежели не все векселя учтены... Круто поворотясь к Орошину, Марко Данилыч спросил:

— Что, Онисим Самойлыч?.. Как будут ваши делишки? Какие цены на рыбу хотите уставить?

— Тебя спросить надо,— лукаво подмигнув собеседникам, отвечал Орошин.— У тебя на Гребновской-то восемь баржей, а у меня четыре. Значит, ты вдвое сильнее меня...

— А в ходу-то сколько у тебя? Тех, видно, не считаешь!.. Забыл, должно быть? — тоже подмигнув собеседникам, молвил Марко Данилыч.

— Что на ходу, то еще в руце божией, а твой товар на месте стоит да покупателя ждет...— насмешливо улыбаясь, ответил Орошин.— Значит, мне равняться с тобой не приходится.

— Не приходится!.. Эко ты слово молвил,— с досадной усмешкой сказал Смолокуров.— По всей Волге, по всей, можно сказать, России всякому известно, что рыбному делу ты здесь голова. На всех пошлюсь,— прибавил он, обводя глазами собеседников.— Соврать не дадут.

— Знамо дело,— один за другим проговорили и пискливый Седов и осипший Сусалин. Веденеев смолчал.

— Одна пустая намолвка,— с важностью, пожимаясь, молвил Орошин.— Вот нашей песни запевало,— прибавил он, указывая пальцем на Марка Данилыча.— Шутка сказать!.. Восемь баржей!..

— Одну-то выкинь — порожняя! — молвил Смолокуров.— А у тебя четыре на месте, да шесть либо семь в ходу. Тут, сударь мой, разница не маленькая.

— А когда придут? Скажи, коли с богом беседовал,— с досады мотнув головой, отрезал Орошин.— По нашему простому человечьему разуменью, разве что после рождества богородицы придут мои баржи на Гребновскую, значит, когда уж квартальные с ярманки народ сгонят...

— С пристаней-то не сгонят,— возразил Смолокуров.

— Что ж из того?..— ответил Орошин.— Все-таки рыбно решенье о ту́ пору будет покончено. Тогда, хочешь

не хочешь, продавай по той цене, каку ты нашему брату установишь... Так-то, сударь, Марко Данилыч!.. Мы теперича все тобой только и дышим... Какие цены ни установишь, поневоле тех будем держаться... Вся Гребновская у тебя теперь под рукой...

— Больно уж много ты меня возвеличиваешь,— пыхтя с досады, отозвался Марко Данилыч.— Такие речи и за̀ смех можно почесть. Все мы, сколько нас ни на есть,— мелки лодочки, ты один изо всех — большущий корабль.

— Полно-ка вам друг дружку-то корить,— запищал Седов-богатырь, заметив, что тузы очень уж обозлились.— В чужи карманы неча глядеть — в своем хорошенько смотри. А не лучше ль, господа, насчет закусочки теперь нам потолковать?.. Онисим Самойлыч, Марко Данилыч, Степан Федорыч, какие ваши мысли на̀ этот счет будут?.. Теперь госпожинки, значит, нашим же товаром будут нас и потчевать...

— В нонешнем посту рыба-то, кажись, не полагается,— молвил Сусалин.— По правилам святых отец, грибы да капуста ноне положены.

— Грибам не род, капуста не доспела,— с усмешкой пискнул Седов.— Опять же мы не дома. А в пути сущим пост разрешается. Так ли, Марко Данилыч?.. Ты ведь в писании боек — разреши спор...

— Есть такое правило,— сухо ответил Марко Данилыч.

— Значит, по этому самому правилу мы холодненькой осетрины, либо стерлядок в разваре закажем... Аль другого чего? — ровно сытый кот щуря глазами, пищал слоновидный Седов.

— Не будет ли вкуснее московска селянка из стерлядок? — ласковым взором всех обводя, молвил Веденеев.— Майонез бы еще из судака...

— Ну тебя с твоей немецкой едой! — с усмешкой пропищал Седов.— Сразу-то и не вымолвишь, какое он кушанье назвал... Мы ведь, Митенька, люди православные, потому и снедь давай нам православную. Так-то! А ты и невесть что выдумал...

— Так селянка селянкой, а еще-то чего потребуем?.. Осетринки, что ли? — добродушно улыбаясь, молвил Веденеев.

— Что ж, и селянка не вредит, и осетрины пожевать противного нет,— молвил Сусалин.— Еще-то чего?

— Банкет, что ль, затеваете?..— сумрачно молвил Орошин.— Будет и осетрины с селянкой...

— Судаки у них, я видел, хороши. Живехонькие в лохани плавают. Лещи тоже,— сказал Веденеев.

— Всей рыбы не переешь,— решил Орошин.— Осетрины да селянку... Так уж и быть — тебя ради, Митенька, судак куда ни шел. Пожуем и судака... А леща, ну его к богу — костлив больно... Еще коим грехом да подавишься.

Заказали, а покамест готовят ужину, водочки велели себе подать, икорки зернистой, огурчиков малосольных, балыка уральского.

— Народец-то здесь продувной! — поднимаясь с места сказал Веденеев.— Того и норовят, чтобы как-нибудь поднадуть кого... Не посмотреть за ними, такую тебе стерлядь сготовят, что только выплюнуть... Схожу-ка я сам да выберу стерлядей и ножом их для приметы пристукну. Дело-то будет вернее...

— Подь-ка, в самом деле, Митенька,— ласково пропищал Седов.— Пометь, в самом деле, стерлядок-то, да и прочую рыбу подбери... При тебе бы повар и заготовку сделал... А то в самом деле плутоват здесь народ-от...

Веденеев ушел. В это самое время подлетела к рыбникам одна из трактирных певиц...

— На ноты! — приседая и умильно улыбаясь, проговорила молоденькая немочка в розовой юбке, с черным бархатным корсажем.

Рыбники враждебно на нее покосились.

— Не подаем,— молвил Орошин, грубо отстраняя немку широкой ладонью.

Та кисло улыбнулась и пошла к соседнему столику.

— Что этого гаду развелось ноне на ярманке! — заворчал Орошин.— Бренчат, еретицы, воют себе по-собачьему — дела̀ только делать мешают. В какой трактир ни зайди, ни в едином от этих шутовок спокою нет.

И плюнул в ту сторону, куда немка пошла.

— Кто нас с тобой помоложе, Онисим Самойлыч, тем эти девки по нраву,— усмехнувшись, пискнул Седов.

— Оттого и пошла теперь молодежь глаза протирать родительским денежкам... Не то, что в наше время,— заметил Сусалин.

Под эти слова вернулся Веденеев и объявил, что выбрал двух важнеющих стерлядок и припятнал их ножом, чтобы не было обмана.

Вслед подбежал за Веденеевым юркий размашистый половой с водкой, с зернистой икрой, с московским калачом, с уральским балыком и с малосольными огурцами. Выкушали по одной. По малом времени повторили, а потом Седов сладеньким голоском пропищал, что без троицы дом не строится.

Когда принялись за жирную, сочную осетрину, Орошин спросил Смолокурова:

— Давеча молвил ты, Марко Данилыч, что у тебя на Гребновской одна баржа порожняя... Нешто продал одну-то?

— Хвоста судачьего не продавывал,— с досадой ответил Марко Данилыч.— Всего пятый день караван на место поставили. Какой тут торг?.. Запоздал — поздно пришел, на самом стержне вон меня поставили.

— Отчего ж у тебя баржа-то пустует?..— продолжал свои расспросы Орошин.— Не порожнюю же ведь гнал. Аль по пути продавал?..

— Пустовать баржа не пустует, а все едино, что ее нет,— ответил Марко Данилыч.— Товарец такой у меня стоит, что только в Оку покидать.

— Как так? — спросил Орошин, зорко глядя на Смолокурова.— До сей поры про такие товары мне что-то не доводилось слыхать... Стоют же чего-нибудь!..

— Тюлений жир. В нонешню ярманку на него цен не будет,— сказал Марко Данилыч.

— Отчего ж вы это думаете? — с удивленьем спросил Веденеев.

— Некому покупать,— молвил Марко Данилыч.— Хлопку в привозе нет, значит красному товару застой. На мыло тюленя́ не требуется — его с мыловарен-то кислота прогна̀ла. Кому его нужно?

— Понадобится,— сказал Веденеев.

— Жди!.. Как же!.. Толокном Волгу прежде замесишь, чем этот окаянный товар с рук сбудешь! — отозвался Смолокуров.

— Продай мне, Марко Данилыч. Весь без остатку возьму,— молвил Орошин.

Подумал маленько Марко Данилыч, отвечает:

— Для че не продать, ежели сходную цену дашь.

— Рубль восемь гривен,— молвил Орошин.

Марко Данилыч только головой мотнул. Помолчавши немного, с усмешкой сказал он:

— Сходней в Оку покидать.

— Без гривны два.

— Ну тебя к богу, Онисим Самойлыч! Сам знаешь, что не дело говоришь,— отвернувшись от Орошина, с досадой проговорил Смолокуров.

— Два целковых идет?

Ни слова не говоря, Марко Данилыч только головой помотал.

— Два с четвертаком?

Молчит Марко Данилыч, с удивленьем поглядывает на Орошина, а сам про себя думает: «Эк расшутился, собака! Аль у него в голове-то с водки стало мутиться».

— Два рубля тридцать — последнее слово,— сказал Орошин, протягивая широкую ладонь Марку Данилычу.

У того в глазах зарябило.

— Идет? — приставал Орошин.

Марко Данилыч рукой махнул. Думает, что шутки вздумал Орошин шутить.

— Два рубля тридцать пять, больше ни полукопейки,— настойчиво продолжал свой торг Орошин.

Разгорелись глаза у Марка Данилыча. То на Орошина взглянет, то других обведет вызывающим взглядом. Не может понять, что бы значили слова Орошина. И Седов и Сусалин хоть сами тюленём не занимались, а цены ему знали. И они с удивленьем посматривали на расходившегося Орошина и то же, что Марко Данилыч, думали: «Либо спятил, либо в головушке хмель зашумел».

— Пять копеечек и я б с своей стороны прикинул! — ровным, спокойным голосом самоуверенно сказал Веденеев, обращаясь к Марку Данилычу.

Как вскинется на него Орошин, как напустится. Так закричал, что все сидевшие в «дворянской» оборотились в их сторону.

— Куда суешься?.. Кто тебя спрашивает?.. Знай сверчок свой шесток — слыхал это?.. Куда лезешь-то, скажи? Ишь какой важный торговец у нас проявился! Здесь, брат, не переторжка!.. Как же тебе, молодому человеку, перебивать меня, старика... Два рубля сорок пять копеек, так и быть, дам...— прибавил Орошин, обращаясь к Марку Данилычу.

Ровно красным кумачом подернуло свежее лицо Веденеева, задрожали у него побледневшие губы и гневом сверкнули глаза... Обидно было слушать окрик надменного самодура...

— Даст и с полтинкой, и с шестью гривнами даст! — с злорадным смехом сказал он Смолокурову.— Оплести ему вас хочется, Марко Данилыч. Вот что!.. Не поддавайтесь...

— Замолчишь ли?..— из себя выходя, во все горло закричал Орошин и так стукнул по столу кулаком, что вся посуда на нем ходенем заходила.— Чего смыслишь в этом деле?.. Какое тут есть твое понимание?..

— Вы, Онисим Самойлыч, должно быть так о себе представляете, что почта из Питера только для вас одних ходит,— лукаво прищурив глаза, с язвительной усмешкой сказал Веденеев.— Слушайте, Марко Данилыч, настоящее дело вам расскажу: у меня на баржах тюленя́ нет ни пуда; значит, мне все равно — есть на него цена, нет ли ее. А помня завсегда, что тятеньке покойнику вы были приятелем, хлеб-соль с ним важивали, и, кажется, даже бывали у вас общие дела, хочу на сей раз вам услужить. Нате-ка, вот, почитайте, что пишут из Питера. Сегодня перед вечером только что получил.

И, вынув письма из бумажника, подал одно Смолокурову.

Читает Марко Данилыч: ждут в Петербург из Ливерпуля целых пять кораблей с американским хлопком, а перед концом навигации еще немало привоза ожидают... «Стало быть, и ситцы, и кумачи пойдут, и пряжу станут краси́ть у Баранова, только матерьялу подавай». Такими словами заключал письмо веденеевский приятель.

Прочитав его, Марко Данилыч отдал Веденееву и с поклоном сказал ему:

— Покорно вас благодарю. Вовеки не забуду вашей послуги... Завсегда по всяким делам буду вашим готовым услужником. Жалуй к нам, Митень... Ох, бишь Дмитрий Петрович... Жалуйте, сударь, к нам, пожалуйста... На Нижнем базаре у Бубнова в гостинице остановились, седьмой, восьмой да девятый нумера... Жалуй когда чайку откушать, побеседовать... У нас же теперь каждый день гости — Доронины из Вольска в той же гостинице пристали, Самоквасов Петр Степаныч...

— Это что с дядей-то судиться хочет? Казанский? — пропищал Седов.

— Судиться он не думает,— заметил Марко Данилыч,— а свою часть, котора следует ему, получить желает.

— Шиша не получит! — молвил Седов.— Знаю я дядю-то его Тимофея Гордеича — кремень. Обдерет племянника, что липочку, медного гроша не даст ему.

— Суд на то есть, закон,— вступился Веденеев.

— Что суд?.. Рассказывай тут! — усмехнулся Седов.— По делу-то племянник и выйдет прав, да по бумаге в ответе останется. А бумажна вина у нас ведь не прощеная — хуже всех семи смертных грехов.

Меж тем взбешенный Орошин, не доужинав и не сказав никому ни слова, схватил картуз и вон из трактира.

Завязалась у рыбников беседа до полночи. Поздравляли «холодненьким» с барышами Марка Данилыча, хвалили Веденеева, что ловко умел Орошину рог сшибить, издевались над спесью Орошина и над тем, что дело с тюленём у него не выгорело. Не любили товарищи Онисима Самойлыча, не жаловали его за чванство, за гордость, а пуще всего за то, что не в меру завистлив был. Кто ни подвернись, каждого бы ему в дураки оплести, у всякого бы дело разбить. Тем еще много досаждал всем Орошин, что года по четыре сряду всю рыбу у Макарья скупал, барыши в карман клал богатые, а другим оставлял только объедышки.

Когда засидевшиеся в трактире рыбники поднялись с мест, чтоб отправляться на спокой, в «дворянской» было почти уж пусто. Но только что вышли они в соседнюю комнату, как со всех сторон раздались разноязычные пьяные крики, хохот и визг немецких певуний, а сверху доносились дикие гортанные звуки ярманочной цыганской песни:

Здесь ярманка так просто чудо.
Одна лишь только в ней беда —
Что к нам не жалуют покуда
С карманом толстым господа!..

— А что, Митенька, не туда ли? — с усмешкой пропищал Седов, подмигнув левым глазом и указав на лестницу, что вела наверх к цыганкам.

Веденеев не сразу ответил. Промелькнула по лицу его легкая нерешительность, маленькая борьба. Но сдержался... Презрительно махнув рукою, он молвил:

— Ну их к шуту!.. Невидаль!.. Спать пора...

— И умно. По-моему, право умно,— сказал Марко Данилыч.— Что там, грех один — беса тешить... Лучше милости просим завтрашний день ко мне чаи распивать... Может статься, и гулянку устроим. Не этой чета...

Веденеев обещался быть непременно.

Вышли на крыльцо. Тут новый Содом и Гомор. Десятка полтора извозчиков, ломя и толкая друг друга, ровно звери, с дикими криками кинулись на вышедших.

— Куда ехать?.. Куда, господин купец?.. Вот со мной на серой!.. На хорошей!

Пробраться сквозь крикливую толпу было почти невозможно. А там подальше новая толпа, новый содом, новые крики и толкотня... Подгулявший серый люд с песнями, с криками, с хохотом, с руганью проходил куда-то мимо, должно быть еще маленько пображничать. Впереди, покачиваясь со стороны на сторону и прижав правую ладонь к уху, что есть мочи, заливался молодой малый в растерзанном кафтане:

Нам трактиры надоели.
Много денежек поели —
Пойдем в белую харчевню
Да воспомним про деревню,
Наше ро́дное село!

Насилу выбрались рыбники. Но не отъехали они от трактира и ста саженей, как вдруг смолкли шумные клики. Тихо... Ярманка дремлет. Лишь издали от тех мест, где театры, трактиры и разные увеселительные заведения, доносятся глухие, нестройные звуки, или вдруг откуда-нибудь раздастся пьяный крик: «караул!..» А ближе только и слышна̀ тоскливая песня караульщика-татарина, что всю ночь напролет просидит на полу галереи возле хозяйской лавки с длинной дубиной в руках.

Взъехал на̀ мост Марко Данилыч. Гулко и звонко раздаются удары копыт и шум колес. Длинным серебристым столбом отражается луна в речных дрожащих струях и на золотых главах соседнего монастыря, великанами поднимаются темные горы правого берега, там и сям мерцают сигнальные фонари пароходов, пышут

к небу пламенные столбы из труб стальных заводов... Чудная картина — редко где такую увидишь, но не любуется на нее Марко Данилыч, не видит даже ее. Смежив очи, думает он сам про себя: «А ведь, ежели б не Митенька Веденеев, он бы, старый хрен, объегорил меня... Кого бы мне теперь обработать, пока еще не пошли в огласку петербургские новости?..»

* * *

Когда Смолокуров домой воротился, Дуня давно уж спала. Не снимая платья, он осторожно разулся и, тихонечко войдя в соседнюю комнату, бережно и беззвучно положил Дуне на столик обещанный гостинец — десяток спелых розовых персиков и большую, душистую дыню-канталупку, купленные им при выходе из трактира. Потом минуты две постоял он над крепко, безмятежным сном заснувшею девушкой и, сотворив над ее изголовьем молитву, тихонько вышел на цыпочках вон.

Долго после того сидел он один. Все на счетах выкладывал, все в бумагах справлялся. Свеча догорала, в ночном небе давно уж белело, когда, сложив бумаги, с расцветшим от какой-то неведомой радости лицом и весело потирая руки, прошелся он несколько раз взад и вперед по комнате. Потом тихонько растворил до половины дверь в Дунину комнату, еще раз издали полюбовался на озаренное слабым неровным светом мерцавшей у образов лампадки лицо ее и, взяв в руку сафьяновую лестовку, стал на молитву.

Немного пришлось отдыха на его долю. Еще к ранним обедням не начинали благовеста, как, на̀спех одевшись, чуть не бегом побежал он к Доронину. Зиновий Алексеич один еще был на ногах. Когда вошел к нему Марко Данилыч, он только что хотел усесться за столик, где уж кипел самовар.

— А я к тебе спозаранок, ни свет ни заря,— говорил Смолокуров, здороваясь с Зиновьем Алексеичем.

— Просим милости,— радушно ответил Доронин.— Дорогим гостям завсегда рады: рано ли, поздно ли, и в по́лночь, и за̀полночь... Чайку чашечку!

— От чаю. от сахару отказу у меня не бывает,— молвил Марко Данилыч,— я ж и нѐ пил еще — оно будет и кстати. Так вот как мы!.. Встал, умылся, богу по-

молился, да и в гости. Вот как мы ноне, Зиновий Алексеич.

— Что ж? Дело доброе. Пока мои не встали, покалякаем на досуге,— сказал Доронин.

— И то ведь я пришел покалякать с тобой,— ответил Марко Данилыч, принимаясь за налитую чашку.— Скажи ты мне, Зиновий Алексеич, по самой сущей, по истинной правде, вот как перед богом... Что это у тебя вечор так гребтело, когда мы с тобой насчет этого Меркулова толковали.

— Паренек-от, говорю тебе, хороший... Жалко... По человечеству жалко! — как бы нѐхотя отвечал Зиновий Алексеич.

— Только-то?..— слегка прищурясь и зорко поглядев на приятеля, протяжно и с лукавой усмешкой проговорил Марко Данилыч.— А я думал, что у тебя с ним какие дела зачинаются.

— Какие дела?.. Ни с ним, ни с родителем его дел у меня никаких не бывало,— маленько, чуть-чуть смутившись, ответил Доронин.— По человечеству, говорю, жалко. А то чего ж еще? Парень он добрый, хороший — воды не замутит, ровно красная девица.

— А я полагал, что ты затеваешь с ним дело какое? — прихлебывая чай, протяжно проговорил Марко Данилыч.

Пуще прежнего замялся Доронин. Хотел что-то сказать, но придержался, не вымолвил.

— Никаких теперь у меня делов с Никитой Федорычем нет...— твердо и решительно сказал он.— Ничего у нас с ним не затеяно. А что впереди будет, как про то знать?.. Сам понимаешь, что торговому человеку вперед нельзя загадывать. Как знать, с кем в каком деле будешь?..

— Так...— протянул Марко Данилыч.— А я вечор с нашими рыбниками в трактире сидел. Чуть не до полночи прокалякали... Про меркуловские дела тоже говорили... Получил кой-какие вести... Кажись бы, полезные для Меркулова...

Просиял Зиновий Алексеич.

— Все в один голос его жалеют... Ведь он не женат еще? — вдруг спросил Марко Данилыч.

— Холостой,— ответил Доронин.

Зорко глядя на приятеля, думает сам про себя Смолокуров: «Врешь, не обманешь, Лизавету за него ладишь. Насквозь вижу тебя... Недаром вечор она, ровно береста на огне, корчилась, как речь зашла про Меркулова».

— Хозяйку бы ему добрую, говорят наши рыбники,— молвил, глядя в сторону, Марко Данилыч.— Да тестя бы разумного, чтобы было кому научить молодого вьюношу, да чтобы он не давал ему всего капитала в тюленя́ садить... Налей-ка чашечку еще, Зиновий Алексеич.

Поспешно налил чашку Доронин и подал ее Марку Данилычу.

— Ноне на ярманке эвта кантонка, прах ее побери, куда как шибко пошла...— небрежно закинул иную речь Марко Данилыч.— Звания чаю нет, просто-напросто наша сенная труха, а поди-ка ты, как пошла... Дешева — потому... Пробовал ли ты, Зиновий Алексеич, эту кантонку?

— Доводилось,— ответил Доронин.

— Брандахлыст,— решил Марко Данилыч.

— Почти одно, что наша копорка [1],— заметил Доронин.

— За копорку-то по головке не гладят, в тюрьму даже сажают, а на кантонку пошлины сбавили. Вот тут поди и суди!..— молвил Марко Данилыч.

— Соображения!

— Вестимо, соображения! — согласился Марко Данилыч.— А много ль капиталу Меркулов в тюленя-то усадил?

— Много,— покачав головой, ответил Доронин.

— Однако как?

— Тысяч до шестидесяти.

— Не пустячные деньги! — покачал головою и Марко Данилыч.— Да неужто у него только шестьдесят тысяч и было? — спросил он после короткого молчанья.— Отец-от ведь у него в хорошем капитале был...

— Еще столько же наберется, может, и побольше,— сказал Зиновий Алексеич.— К слову ведь только гово-

---

[1] *Копорка*, иван-чай — растение Epilobium angustifolium. Его собирали, сушили, преимущественно в Петербургской губернии, и мешали с кяхтинским чаем. Такая подделка строго преследовалась.

рится, что весь капитал засадил. Всего-то не засаживал... Как же это возможно?

— А много ль пудов?.. тюленя́-то?..— спросил Смолокуров, как бы от нечего говорить.

— Пятьдесят ли, пятьдесят ли пять тысяч, наверно сказать не могу,— ответил Зиновий Алексеич.

— А сюда не ближе сентября будет?

— Сказывал он, что прежде рождества богородицы никакими способами ему не управиться,— молвил Доронин.

— Нешто пишет? — спросил Смолокуров.

— Неза́долго до нашего отъезда был он в Вольском, три дня у меня выгостил,— сказал Доронин.— Ну, и кучился тогда, не подыщу ль ему на ярманке покупателя, а ежель приищу, за́продал бы товар-от... Теперь пишет, спрашивает, не нашел ли покупщика... А где мне сыскать?.. Мое дело по рыбной части слепое, а ты еще вот заверяешь, что тюлень-от и вовсе без продажи останется.

— Ежели у него теперича пятьдесят тысяч пудов на шестьдесят тысяч рублей, значит, пуд-от по рублю с двумя гривнами обойдется,— рассчитывал Марко Данилыч.

— Должно быть, что так,— подтвердил Зиновий Алексеич.

— А он тебе только на словах говорил, чтоб до его приезда тюленя́ запродать?

— Доверенность на всякий случай дал. Доверенность у меня есть,— отвечал Доронин.

— Так!..— протянул Марко Данилыч.— Прямь — и доверенность дал... Что ж, искал ты покупателей-то?— спросил он потом, немножко помолчавши.

— Да ведь говорю я тебе!.. Где я буду их искать?— отозвался Зиновий Алексеич.— До твоего приезду спрашивал кой у кого из рыбников. И от них те же речи, что от тебя.

— Кого спрашивал-то?

— Да кого я спрашивал? Сусалина спрашивал, Седова, еще кой-кого... Все в одно слово: никаких, говорят, в нонешню ярманку цен не будет.

— Верно!.. Еще, пожалуй, в убыток продашь... Вот какова она, наша-то коммерция... Самое плевое дело!..— молвил Марко Данилыч.

— К Орошину, думаю, съездить,— после недолгого молчанья сказал Доронин.— Он ведь у вас главный

скупщик — не один раз весь рыбный товар до последнего пуда на ярманке скупал. Он не возьмет ли?

— Постой, погоди! — спешно перебил Смолокуров.— Денек-другой подожди, не езди к Орошину... Может, я сам тебе это дельце облажу... Дай только сроку... Только уж наперед тебе говорю — что тут ни делай, каких штук ни выкидывай, а без убытков не обойтись. По рублю по двадцати копеек и думать нечего взять.

— Да уж хоть сколько бы нибудь да взять... Не в воду ж в самом деле товар-от кидать!.. Похлопочи, сделай милость, Марко Данилыч, яви божескую милость... Век не забуду твоего одолженья.

— Эк как возлюбил ты этого Меркулова... Ровно об сыне хлопочешь,— лукаво улыбнувшись, молвил Смолокуров.— Не тужи, бог даст, сварганим. Одно только, к Орошину ни под каким видом не езди, иначе все дело изгадишь. Встретишься с ним, и речи про тюленя́ не заводи. И с другим с кем из рыбников свидишься, и тем ничего не говори. Прощай, однако ж, закалякался я с тобой, а мне давно на караван пора.

Воротясь на квартиру, Марко Данилыч тотчас за счеты. Долго щелкал костями, то задумываясь, то самодовольно улыбаясь. Ловкий оборот затевал. Баш[1] нà баш, пожалуй, возьмет...

И нимало не совестно было ему перед другом-приятелем, хоть он и догадывался, что Меркулов скоро своим будет Доронину. «Почище обработаю, чем Орошину хотелось меня...— думает Марко Данилыч, расхаживая по комнате.— Объегорю!.. Что ж?.. До кого ни доведись, всяк бы то же сделал... Купец, что стрелец,— оплошного ждет... Друзья мы приятели с Зиновьем Алексеичем — так что ж из этого?.. Сват сватом, брат братом, а денежки не родня... Всё ведь так, всё... Упусти-ка я случай насчет ближнего погреться — меня же дураком обзовут... А обдуй кого-нибудь получше, над ним смеяться станут — учись, мол, плати за науку... Да что мне до людей!.. Ну их... Мне бы только Дунюшке, Дунюшке, моей голубке, побольше накопить... А то что мне люди?.. Плевать!»

---

[1] *Баш* — по-татарски голова. Взять баш на баш — взять рубль на рубль. Выражение употребительно в Поволжье.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Доронина в мильоне считали. Был он одним из самых сильных хлебных торговцев. Тысяч до двух десятин земли у него засевалось в Самарском Заволжье, близ Балако́вской пристани, да без малого тысяча возле Сызрани. За Волгой пшеницу он сеял, в сызранской окольности — просо. Муку молол на десятипоста̀вной мельнице-крупчатке, что была строена еще его родителем на реке на Иргизе, а просо ша́стал на пшено на двенадцати круподерках, что сам вкруг Сызрани поставил. И чужого хлеба немало скупал, часть его перемалывал на иргизской мельнице; муку и зерно на своих расшивах ставил в Рыбную и другие верховые города. Хлеб и в Москву, а годами и в Питер на Калашникову пристань возил, а у Макарья торговал больше пшеном. Супротив Доронина по пшену на всей Волге не было ни единого человека.

Сыновьями не благословил бог Зиновья Алексеича, не было у него по делам родного, кровного помощника, на кого бы он мог, как на самого себя, во всем положиться. Весь труд, все заботы ему довелось на одних своих плечах выносить. Наемным приказчикам большой веры не давал; хоть и добрый был человек, благодушный, и всякому был рад помощь оказать, но приказчикам на волос не верил. «Ему что? — говаривал Зиновий Алексеич.— Как ему довериться? Ноне не старые годы, народ стал плут плуто́м — каждый обойдет, что мертвой рукой обведет, надует тебя, ровно козий мех. Мигнуть не успеешь, как он тебя обобрал да и прочь отошел. Ищи, дескать, на меня, только меня-то не сыщешь». Дальних людей к большим делам не приставлял; пробовал, да от каждой пробы сундук тощал. Из ближних взять было некого, народ все ненадежный, недаром про него исстари пословицы ведутся: «В Хвалыне ухорезы, в Сызрани головорезы», а во славной слободке Малы́ковке двух раз вздохнуть не поспеешь, как самый закадычный приятель твой обогреет тебя много получше, чем разбойник на большой дороге. Не имея надежных помощников, чуть не круглый год Зиновий Алексеич мыкался из стороны в сторону, все в разъездах да в разъездах, все от семьи в отлучке; то на севе, то на жниве, то на иргизской мельнице, то на сызранских круподерках, не то в Рыбной,

в Питере, в Москве, у Макарья. А в родном насиженном гнездышке светил Зиновий Алексеич, ровно молодой месяц: покажется да тотчас и спрячется. К жене, к дочерям, ровно званый гость, наезжал на великие только праздники да на чьи-нибудь именины. Дом же господарский, гнездо свое семейное свил Зиновий Алексеич чуть не на самом краю так называемых Гор, в раскинувшемся привольно по правому берегу Волги, красиво обстроенном Вольске. Доронинский дом, каменный, двухъярусный, с зеркальными стеклами, с ярко горевшими на солнце оконными приборами, с цветниками перед жильем, с плодовыми деревьями назади, чуть ли не был лучшим во всем городе. В любую столицу можно было поставить доронинский домик — улиц не испортил бы.

* * *

У русского простонародья нет ни летописных записе́й, ни повестей временных лет, ни иных писанных памяте́й про то, как люди допрежь нас живали, какие достатки, богатства себе добывали, кто чем разжился́, что богатеем тому аль другому помогло сделаться. Но есть живучие преданья: народная память их молвой по белу свету разносит... Строго, правдиво молва говорит, но безобидно, ибо бесстрастна она. Спокойный дух народа в молве о былых временах сказывается; нет у русского человека ни наследственной злобы, ни вражды родовой, ни сословной ненависти... Добр, незлопамятен русский человек; для него что прошло, то мину́ло, что было, то былью поросло; дедовских грехов на внуках он не взыщет ни словом, ни делом. Про начало доронинских достатков молва ходила не славная, но никто не корил Зиновья Алексеича за неправедные стяжанья родительские.

С сотню годов и побольше того, когда еще красивый Вольск был дворцовой слободой Малы́ковкой, дедушка Зиновья Алексеича перебивался с копейки на копейку, а в пугачевщину и совсем разорился. Сын его, родитель Зиновья Алексеича, жил в бедной, ветхой, полуразвалившейся избенке на самом всполье. Промысел его не из важных был; в дырявых лаптях, в рваной рубахе, с лямкой на груди, каждое лето он раза по два и по три грузными шагами мерял неровный глинистый бечовник Волги от Саратова до Старого Макарья али до Рыбной. Бур-

лачил, в коренных ходил и в добавочных [1], раза два кашеваром был, но та должность ему не по нраву пришлась: не доваришь — от своей братьи на орехи достанется, переваришь, хуже того; не досолишь — не беда, только поругают; пересолил, ременного масла беспременно отведаешь. Бывал Доронин и в косных, был мастак и на дерево лазить, и по райнам ходить, и бечеву ссаривать; но до дяди, за пьянством, не доходил, ни ра́зу в шишках даже не бывал [2]. На плесу [3] человек был бедовый, а дома самый смиренный, ровно с него взята была волжская поговорка: «дома баран, на плесу буян». Горемыке-бурла́ку как деньгу на черный день заработать? А у Алешки Доронина к тому ж был обычай: на плесу, коли шапка либо рвань какая-нибудь от рубахи не пропита, ни единого кабака не минует. Пропащая, бесшабашная был голова... Так и звали его «Алешка беспутный», другого имени не было.

Сплыл один год бесшабашный Алешка в Астрахань, поплыл из дому ранней весной с ледоходом. После того нигде по пристаням его не видали; слухи, как в яму, вести, как в воду,— никто ничего про Алешку не знал. Сгиб да пропал человек. Поговаривали, что где-то в пьяной драке зашибли его, болтали, что деревом пришибло его до́ смерти, ходили слухи, что пьяный свернулся он с расшивы и потонул, но верного никто не знал. Год толковали, на другой перестали,— новые толки в народе явились, старые разводить было не к чему, да и некогда. Совсем позабыли про Алешку беспутного. А меж тем домишко у него сгорел, жена с ребятишками пошла по миру и, схоронив детей, сама померла в одночасье... И как метлой смело память о Дорониных.

---

[1] *Коренными* бурлаками зовут порядившихся на всю путину и взявших при этом задатки; *добавочными* — взятых на пути, где понадобится, без сроку и без задатка.

[2] *Ременное масло* — на языке бурлаков удары линьком или концом лямки. *Дерево* — мачта, *райна* — поперечное дерево на мачте, к которому прикрепляется парус, по-морски рея. *Бечеву ссаривать* — отцеплять ее от кустов и деревьев, перекидывая бечеву через них. Это дело косных. *Косными* зовут на судне двух бурлаков, что при парусах, они обшивают их и насаживают на райну; один из них *кашевар*, то есть повар бурлацкой артели; *дядя*, то есть лоцман, управляет ходом судна; *шишка* — передовой бурлак во время тяги бичевою.

[3] То есть на Волге. Собственно плес — часть реки от одного изгиба до другого.

На седьмой год воротился Доронин на родину, воротился не Алешкой беспутным, а «почтеннейшим Алексеем Степанычем». Не в истерзанном рубище, не с котомкой за плечьми явился он в родном городе, а с возами дорогих товаров, с туго набитой мошной, в синей тонкого сукна сибирке, в шелковой алой рубахе. В возах были у него не одна сотня кусков канауса и термаламы, бухарские да кашемировые шали, бирюза, индийские кисеи и разные другие азиатские ткани. А деньги, что привез, были не наши, не русские, а все золотые туманы да ти́лле, серебряные кираны да рупии [1]. Отколь у бурлака такое богатство? Новые толки, новые пересуды пошли, и опять-таки не было в них ничего, кроме бестолочи. Кто говорил, что Доронин по Волге в разбое ходил, сначала-де был в есаулах, потом в атаманы попал; кто уверял, что разжился он мягкою денежкой [2], кто божился, клялся, что где-то на большой дороге богатого купца уходил он... Нашлись и такие, что образ со стены снимали, заверяя, что Доронин попал в полон к трухменцам, продан был в Хиву и там, будучи в приближении у царя, опоил его сонным зельем, обокрал казначейство и с басурманскими деньгами на Русь вышел... Слушая такие небылицы, припоминали, однако, ходившие когда-то и потом скоро заглохшие слухи, что Доронина в Мертвом Култу́ке [3] видали. Мудрено ль оттуда в хивинский полон попасть, мудрено ль и дослужиться у неверного царя до почестей!.. Бывали примеры!.. Было же, что пленная мещанка из Красного Яра Матрена Васильева, угодив хану печеньем пирогов, попала в тайные советницы его хивинского величества!

А на Мертвом Култуке Доронин в самом деле каждое лето бывал. Ходил он туда на промысла́, только не рыбные.

Около того времени, как француз на Москву ходил, серебряный рубль целковый стал в четыре рубля ассигнациями, а медные пятаки да гривны в прежней цене оставались. А медные екатерининские деньги не тепереш-

---

[1] *Туман* или *томан* — персидская золотая монета в 2 р. 80 к.; *тилле* — бухарская золотая в 3 р. 90 к.; *киран* — серебряная персидская в 30 к.; *рупия* — индийская серебряная в 60 к.

[2] *Мягкая деньга* — фальшивая.

[3] *Мертвый Култук* — залив в северо-восточной стороне Каспийского моря.

ним были чета; из пуда меди только на шестнадцать рублей ассигнациями их выбивали. Персиане за пуд денежной меди с радостью по сороку да по пятидесяти рублей ассигнациями давали, платя больше своими товарами. И стали русские пятаки да гривны пропадать бесследно; зорко стали тогда присматривать за медниками, за литейщиками, за колокольными заводчиками; не нашлось, однако, на них никакого подозренья. Да и как каждый год по нескольку сотен тысяч пудов медных денег тайком перелить? В каком подполье, в каком овраге такие горны наделаешь? Со временем приметили, что гривны да пятаки вниз по Волге плывут и назад в середку России не ворочаются, а в Астрахани стали они чуть не реже золотых. Вся мелкая торговля там на персидские да на бухарские товары пошла. Съестного надо купить, сдачу сдать с синенькой, либо с целкового, давали отрезки бурмèти, ханагая, алачи́ и канауса [1]; бурлак в питейный забредет, спросит шкалик [2] и бязью [3] платит. Это называлось *пяташной торговлей*. Тою торговлей разжился и Алешка Доронин.

А придумали и устроили ту торговлю именитые греки да армяне. Сами в Астрахани сидели, ровно ни в чем не бывало, медали, кресты, чины за усердие к общей пользе да за пожертвования получали, а, отправляя пятаки к кизильбашам [4], нагревали свои руки вокруг русской казны. Самых отчаянных, самых отважных сорванцов, каким жизнь копейка, а спина и полушки не стоит, набирали они на астраханских пристанях да по рыбным ватагам, ихними руками и жар загребали. Головорезы от своих хозяев, именитых армян да греков, получали бочонки с медью, тайно спроваживали их к Гурьеву городку, а оттоль в телегах на Мертвый Култу́к. На пустынных песчаных берегах того залива, в едва проходимых высоких камышах там и сям гнили тогда лежавшие вверх дном расшивы. Казалось, бурей они были на берег вы-

---

[1] *Бурме́ть* — нечто вроде холста из хлопчатобумажной пряжи персидского изделия, простая бурметь зовется *шиле*, лучшая — *ханагай*. *Алача* или *аладжа* — шелковая или полушелковая полосатая ткань персидского изделия. *Канаус* — известная шелковая ткань.

[2] *Шкалик* — полкосушка.

[3] *Бязь* — то же почти, что бурметь, но не персидского, а среднеазиатского изделия.

[4] *Кизильбашами* зовут персиан. Старинное их название. Значит — красноголовый.

брошены, а в самом деле нарочно вытащены из воды и опрокинуты. Под ними складывались бочонки с медной монетой. Сюда персиане приезжали и за свои товары получали гривны с пятаками. По зиме, когда по восточным берегам Каспийского моря на сотни верст живой души не бывало, кизильбаши увозили медь к себе домой на санях, не боясь ни казацких караулов, ни набегов хищных трухменцев.

Доронин попал к самому первостатейному греку, к тому, что и выдумал пяташную торговлю. С самого начала «Алешка беспутный» выказал себя на воровское дело самым способным человеком. В Мертвом Култуке зелено́ вино редко важивалось, и волей-неволей он понемножку отвык от чарочки. А у него непохмельного и голова и руки были золотые. И первый год и второй греку верой и правдой служил он, на третий, сведя знакомство с кизильбашами и даже выучась говорить по-ихнему, стал и свои пятаки продавать. И как только заслышал, что в Питере сведали, куда пятаки да гривны идут, сразу зашабашил, не поставив во грех надуть благочестивого грека. Получив за его бочонки два воза персидских товаров, не сдал их хозяину, а когда тот стал требовать, сказал ему: «Хочешь товар получить, так подавай на меня губернатору жалобу, без того последней тряпки не дам». Грек расшумелся, да нечего делать, плюнул на Доронина и рукой махнул.

На родине ни дома, ни жены, ни ребятишек не нашел. Постоял на поросшем лопухом и чернобылом месте, где когда-то стояла избенка его, почесал в затылке, выругался сам про себя и. перекрестившись, пожелал жене царства небесного. Потом крякнул с горя, махнул рукой и пошел на постоялый двор, где тогда у него воза стояли. Наутро беглый поп, что жил в Вольске при богатой часовне, строенья знаменитого откупщика Злобина, отпел Доронину канон за единоумершую и за то хорошие деньги получил на негасимую свечу и годовое чтение псалтыря по покойнице. Устроив душу жены, в тот же день Доронин уехал к Макарью, там выгодно продал товары, разменял басурманские деньги на русские и воротился в Вольск с крупным наличным капиталом.

На руках носили все Алексея Степаныча, не знали, чем угодить, чем почет воздать ему... Однако ж хоть все земляки от мала до велика перед ним лебезили, не захо-

телось ему остаться на родине. И в кабаках-то сидели еще те самые целовальники, которым он последнюю шапчонку, бывало, закладывал, и в полиции-то служили те самые будочники, что засыпáли ему в спину горяченьких, и товарищи прежней беспутной жизни теперь одолели его — еле стоя на ногах, лезли к нему с увереньями в дружбе и звали с собой разгуляться по-старинному. Накупил Алексей Степаныч за Волгой да вкруг Сызрани земель и выстроил на Иргизе возле немецких колоний мельницу. А была та мельница на удивленье. Дом при ней поставил, разукрасил его на славу и привез из Сызрани на новоселье молодую хозяйку, женился он там на богатой купеческой дочке.

Были у него сын да дочь — красные дети. Вырастил их Алексей Степаныч в страхе господнем, дочку выдал замуж в Саратов за хлебного торговца, сына на богатой сиротке женил. И только что успел устроить детей, кончил жизнь свою позорною смертью. Поехал он в Саратов по какому-то делу да кстати поглядеть на молодое хозяйство новобрачной дочери. А тогда по Волге шел неведомый, еще впервые появившийся на Руси мор. Ужас и уныние шли вместе с холерой; вечером и на рассвете по всем церквам гудел колокольный звон, чтобы во всю ночь между звонами никто не смел выходить на улицу; на перекрестках дымились смрадные кучи навоза, покойников возили по ночам арестанты в пропитанных дегтем рубахах, по домам жгли бесщадно все оставшееся после покойников платье, лекаря ходили по домам и все опрыскивали хлором, по народу расходились толки об отравлении колодцев... Страшное было время, особливо в Саратове. Доронин стосковался по жене, боялся за нее, за сына и молодую сноху, бросил дела на произвол судьбы и поехал домой. Его остановили и посадили в карантин. В тоске, в смертном страхе и горе подкупил он сторожей и с помощью их бежал из карантина. Его поймали, в двадцать четыре часа осудили и среди двух сторожей вздернули раба божия на виселицу.

* * *

Зиновий Алексеич рос под неусыпными, денноощными заботами матери. Отцу некогда было заниматься детьми; то и дело в отлучках бывал. Только у него об

них и было заботы, чтоб, возвращаясь из какой-нибудь поездки, привезти гостинцев: из одежи чего-нибудь да игрушек и лакомств. Мать Зиновья Алексеича женщина была добрая, кроткая, богомольная; всю душу положила она в деток. И вылился в них весь нрав разумной матери.

Из Зиновья Алексеича вышел человек ума недюжинного, нрава доброго, честного, всегда спокойного и во всем с рассудком согласного. Ему, воспитанному в страхе божием, было с раннего младенчества внушено беззаветное уважение к дедовским обычаям, любовь к родине безграничная, честность ни в чем не колебимая, милосердие ко всякому бедному и несчастному. Когда исполнилось ему восемнадцать лет, мать, опасаясь, чтобы не смутил его враг рода человеческого и не ввел бы во грех, затворяющий, по ее убеждению, райские двери, стала ему невесту приискивать. Искала недолго, давно она сноху себе наметила — дальнюю свойственницу, круглую сироту с покорным нравом и с богатым приданым. Татьяна Андревна — так звали молодую жену Зиновья Алексеича — вся вышла в свекровь: такая же добрая жена, такая же заботная мать.

После плачевной кончины Алексея Степаныча его вдова то жила у сына, то гостила у дочери — ни того, ни другой обидеть ей не хотелось. В обоих домах порядок держала и во всех делах, по хозяйству ли, насчет маленьких внучат, слово ее было законом. Внуков у дочери и внучек у сына нянчила, с детства в добре и правде их наставляла, молодым хозяевам советами во всем помогала. Десять годов с половиной так прожила честна̀я вдовица и столь же тихо угасла, сколь тихо протекла жизнь ее, полезная для всех, кто ни знал ее. Много горя-печали кончина ее принесла и своим и чужим, пуще всех горевали по ней бедные вдовы да сироты.

Зиновий Алексеич, как и родитель его, вел жизнь непоседную, разъездную; в дому у него чуть не круглый год бабье царство бывало. К Татьяне Андревне сродницы гостить приезжали, матери да канонницы с Иргиза да с Керженца, бедные вдовы да старые девы — больше никого. Вкруг дома жили одни рабочие, ближними соседями были немцы-колонисты. Скучненько было подраставшим дочерям Зиновья Алексеича, и частенько он подумывал: «Хорошо бы в городу̀ домик купить, либо но-

вый построить: все-таки Лиза с Наташей хоть маленько бы света божьего повидали». Но вслух о том заикнуться не смел, зная, как дорог был дом на мельнице старухе, его матери. По пятнадцатому году, когда тот дом только что обстроен был, вступила она под его кровлю хозяюшкой, всю почти жизнь провела в нем безвыездно и ни за что бы на свете не согласилась на старости лет перебраться на новое место.

Схоронивши мать, Зиновий Алексеич переселился в Вольск. Выстроил там лучший дом в городе, разубрал его, разукрасил, денег не жалея, лишь бы отделать все в «наилучшем виде», лишь бы каждому кидалось в глаза его убранство, лишь бы всяк, кто мимо дома ни шел, ни ехал,— все бы время на него любовался и, уехавши, молвил бы сам про себя: «Сумел поставить хоромы Зиновѐй Алексеич!»

В городу́ житье на иной лад пошло. Зиновий Алексеич был душа-человек: радушный, ласковый, доброжелательный, хлебосольный, гостям бывал рад обо всякую пору. Весело, радошно похаживал он по разубранным своим горницам, когда они бывали гостями полнехоньки; тут от него и шутки и смехи так и сыплются, а без гостей приказчики да рабочие иной раз от хозяина слова добиться скоро не могут, только и разговорится, что с одними семейными. Всякому гостю званому и нежданному привет от него был один, только чванных, спесивых да ломливых гостей он не жаловал. Веселые гостины у Доронина бывали, однако временами, когда хозяин в дому, а во время отлучек его только женский пол у Татьяны Андревны гащивал: знакомые купчихи из Вольска да из Балакова, подружки подраставших дочерей да матушки и келейные девицы из иргизских монастырей да из скитов керженских и чернораменских бывали в дому у нее.

И Зиновий Алексеич и Татьяна Андревна в дочерях своих души не чаяли, обеих равно лелеяли, обеих равно берегли, и не было из них ни отцовской баловницы, ни материной любимицы. Держали девиц просто, воспитали их бесхитростно, брали лаской да любовью, а не криками и строгостями. Читать и писать полууставом выучила их проживавшая при домашней моленной читалка-канонница; девочки были острые, к ученью способны и рачительны; еще детьми прочитали они все двадцать

кафизм псалтыря даже Ефрема Сирина и Маргарит Златоуста. Зиновий Алексеич рассуждал, что растит дочерей не для кельи и не ради манатьи́; и, к великому огорченью матушек, к немалому соблазну кумушек, нанял бедного старичка, отставного учителя, обучать Лизу с Наташей читать и писать по-граждански и разным наукам, какие были пригодны им. Татьяна Андревна тому не препятствовала, но, когда приходил учитель, на шаг не отходила от дочерей и ни единого слова учителя мимо ушей ни пропускала. Советовали знакомые Зиновью Алексеичу свезти дочерей в Казань либо в Москву в хороший пансион, где ихние дочери обучались, а если жаль надолго расставаться, принять в дом учительницу, чтобы могла она их всему обучить, что по нынешним временам от дочерей богатых купцов требуется. Зиновий Алексеич на то не согласился. «Как, говорил, приму в дом чужого человека?.. Кто ее знает—какова навернется, чего доброго еще перепортит девчат... Да, пожалуй, по середам да пятницам скоромничать вздумает,— так разве это в христианском дому можно?» Зато стал покупать дочерям книги не только божественные, но и мирские. Ни сам он, ни Татьяна Андревна не знали, какие книги пригодны и какие дочерям в руки брать не годится, потому и спрашивали старичка учителя и других знающих людей, какие надо покупать книги. Но и тут Татьяна Андревна тогда только давала дочерям книгу, когда наперед сама, бывало, прочитает ее от доски до доски. С раннего детства Лиза с Наташей на полной свободе росли, не видывали они сурового взгляда родительского, оттого и не таились ни в чем пред отцом-матерью. Еще бабушка на мельнице с самых пеленок внушала им, что нет на свете ничего хуже притворства и что всякая ложь, как бы ничтожна она ни была, есть чадо диавола и кто смолоду лжет, тот во все грехи потом вступит и впадет на том свете в вечную пагубу. По смерти бабушки Татьяна Андревна то же самое дочерям внушала. И не было в них притворства, никогда с их языка не сходило лживого слова. На глазах родителей девочки делали, что хотели — и хорошее и дурное, за хорошее их не хвалили, за дурное не бранили и ничем не грозили, а кротко объясняли, почему это дурно и почему того делать не след. Откровенность девочек с бабушкой, с отцом и с матерью была безгранична; каждое свое помышленье они им рас-

сказывали. Живя на мельнице, мало видели они людей, но и тогда, несмотря на младенческий еще почти возраст, не были ни дики, ни угрюмы, ни застенчивы перед чужими людьми, а в городе, при большом знакомстве, обходились со всеми приветно и ласково, не жеманились, как их сверстницы, и с приторными ужимками не опускали, как те, глаз при разговоре с мужчинами, не стеснялись никем, всегда и везде бывали веселы, держали себя свободно, развязно, но скромно и вполне безупречно. По образу жизни родителей Лиза с Наташей были удалены от сообщества мещанских девушек, потому и не могли перенять от них вычурных приемов, приторных улыбок и не совсем нравственных забав, что столь обычны в среде молодых горожанок низшего слоя. На их «подругах» заметно было влияние мещанства, и это было противно Лизе с Наташей; не умевшие лгать и притворствовать, они высказывали это подругам напрямик. За то подруги на них досадовали, а иные даже ненавидели, но никогда ни одна не посмела про них сплетку сплести.

Словом сказать, выросли Лиза с Наташей в строгой простоте коренной русской жизни, не испорченной ни чуждыми быту нашему верованиями, ни противными складу русского ума иноземными новшествами, ни доморощенным тупым суеверием, все порицающим, все отрицающим, о чем не ведали отцы и деды, о чем не писано в старых книгах.

Хоть Лиза двумя годами была постарше сестры, но в их наружности почти никакой разницы не было: похожи друг на дружку, ровно две капли воды. Не такие были они красавицы, каких мало на свете бывает, каких ни в сказках сказать, ни пером описать, но были так миловидны и свежи, что невольно останавливали на себе взоры каждого. Острый, спокойный ум так и блистал в их ясных темно-синих очах. Только что заневестилась старшая, молодежь стала на нее заглядываться, стала она заглядываться и на младшую, а старые люди, любуясь на сестриц-красавиц, Зиновью Алексеичу говаривали: «Красён, братец, дочками — умей зятьев подобрать, а выбрать будет из кого, свахи все пороги у тебя обобьют».

И в самом деле обили. Еще годов не выходило Лизавете Зиновьевне, как матушки да тетушки мало-мальски заметных по купечеству женихов стали намекать насчет

сватовства, но Татьяна Андревна речи их поворачивала на шутку. Когда ж исполнились года, городские свахи и приезжие из Саратова, Хвалыня и Сызрани зачастили к Дорониным. Сватались к Лизе молодые и степенные, сватались бедные и богатые, сватались те, кому жениным приданым хотелось карман починить, засылали свах и такие, что, думая завести торговое дело пошире, рассчитывали на доронинские денежки... Сватались из-за невестиной красоты, из-за хорошего родства, а больше всего из-за денег; таких только отчего-то не виделось, что думали жениться в надежде найти в Лизавете Зиновьевне добрую жену, хорошую хозяйку и разумную советницу. От прямых ответов свахам Татьяна Андревна уклонялась, говорила, что дочь у нее еще не перестарок, хлебом-солью отца не объела, пущай, дескать, в девичестве подольше покрасуется, подольше поживет под теплым материнским крылышком. Не дивили свах речи Татьяны Андревны — речи те были обычные, исстари заведенные; завсегда говорятся они, будь невеста хоть совсем старуха, хоть такая перезрелая дева, по народному присловью, на том свете какой козлов пасти. То смущало свахонек, то странным и чудным казалось им, что Доронины, и муж и жена, им сказывали, что воли с дочерей они не снимают, за кого хотят, за того пускай и выходят, а их родительское дело благословить да свадьбу сыграть. Такое нарушенье старых порядков свахи сочли ересью и потом сомневались даже, в своем ли уме такой ответ Доронины держали.

Года полтора от свах отбоя не было, до тех самых пор, как Зиновий Алексеич со всей семьей на целую зиму в Москву уехал. Выгодное дельце у него подошло, но, чтоб хорошенько его обладить, надо было месяцев пять в Москве безвыездно прожить. И задумал Доронин всей семьей катить в Белокаменную, кстати ж ни Татьяна Андревна, ни Лиза с Наташей никогда Москвы не видали и на Рогожском кладбище сроду не маливались.

В Москве у Зиновья Алексеича знакомство по купечеству было обширное. А водил он хлеб-соль и был в дружбе-приязни не с одними старообрядцами. И церковные уважали его за прямоту души. По приезде в Москву оказалось у него столько знакомых, что Татьяне Андревне две недели пришлось изо дня в день разъезжать по Москве, знакомства делать. Не привыкла она

к такой жизни, неприятны ей были разъезды с одного конца города на другой; но делать было нечего; Зиновий Алексеич сказал, что так надо,— противоречить ему в голову не прихаживало Татьяне Андревне. Вступив в круг новых знакомых, Доронины старались доставлять дочерям удовольствия, какие были возможны и доступны им. Поездки в гости, в театр, на вечера отуманили Лизу с Наташей; ничего подобного до тех пор они не видали, было им боязно и тягостно среди нового общества. Все им чудилось, что они и из себя-то хуже всех, и глупее-то всех, и говорить-то ни о чем не умеют; все им казалось, что москвичи смотрят на них, как на привозные диковины, и втихомолку над ними насмехаются. Бо́йки и резвы в своем Вольске они выросли, а теперь сидят себе да помалкивают, боясь слово сказать, сохрани бог не осмеяли бы, а у самих сердце так и щеми́т, так и ноет — расплакаться, так в ту же пору... В самом начале московских выездов Доронины всей семьей были на именинах; хозяйская племянница села за фортепиано; начались танцы. Невыносимо стало Лизе с Наташей: их зовут танцевать, а они не умеют. Глядят на девиц и видят, что платья на них и проще и дешевле ихних, а сидят на них и лучше и красивее; одни они одеты, ровно «кутафьи роговны»...[1] И скучно и тошно показалось им в Москве, поскорей бы домой, на родную сторонушку, где живется проще да привольней, где завсегда бывали они всех приглядней, всех наряднее.

Зиновий Алексеич рассудил и́наче. Тоже не легко было ему на́ сердце, как увидел он дочерей в несродной им среде. Обижало его и крепко огорчало, что Лиза с Наташей во всем от других отстали, и не раз он вспокаялся, что не послушался другов-приятелей, не принял в дом учительницы... Плакала потихоньку и Татьяна Андревна, хоть и громко ворчали на нее рогожские матери, но Зиновий Алексеич не внял тому, нанял учительницу, обучила б скорей дочерей танцевать, накупил им самых модных нарядов и чуть не каждый день стал возить их в театры, в концерты и по гостям, ежели знал, что танцев там не будет. Танцы — наука не хитрая, была бы

---

[1] *Кутафья* — неуклюжая, безобразно одетая женщина, также неуклюже построенное здание (в Москве башня Кутафья так прозвана народом, а не официально). *Кутафья роговна* — столь безобразно одетая женщина, что над нею все смеются.

только охота, а Лизе с Наташей очень хотелось им выучиться. У выросших без грозы девушек все движенья и приемы были свободны, и в каждом выражалась прелесть красоты и непорочности,— выучиться танцам было им не трудно. Месяца через полтора никто бы не узнал их. Заговорили про дочерей Доронина по всему купечеству... Нарадоваться не мог Зиновий Алексеич. Самодовольно похаживал он на званых вечерах в Купеческом клубе, видя, как его дочери привлекают на себя общее внимание, как блестят красой, ловкостью и разумными разговорами. Тихой радостью сияла Татьяна Андревна, видя, как молодые сыновья самых первых московских тузов-миллионщиков не сводят жадных взоров с ее дочерей и как люди пожилые, степенные, поглядывают на них с довольной и одобрительной улыбкой. И вот что всего было удивительнее: блистая в новой среде, Лиза с Наташей не возбуждали к себе ни чувств недоброжелательства и пренебрежения в матерях неказистых из себя невест, ни зависти и затаенной злобы в новых подругах. Так обаятельна была прелесть их чистоты, так всемогуща была непорочность их помыслов, что выражалась в каждом слове, в каждом взоре, в каждом движенье поволжских красавиц...

Всем были ведомы достатки Доронина, все знали, что каждой из его дочерей половина его состоянья достанется. Тетушки и бабушки неженатых московских купчиков в разговорах с Татьяной Андревной стали загадывать всем понятные, исстари по Руси ходячие загадки: «Не век-де Лизавете Зиновьевне маком сидеть, не векде ей русой косой красоваться, не пора ль де ей за свое хозяйство приниматься, свой домок заводить?» Татьяна Андревна, тоже как исстари ведется, от прямого ответа уклонялась, не давала, как говорится, ни приказу, ни отказу. Тогда тетушки да бабушки заводили сватовство напрямки: «У вас, дескать, товар, а у нас на товар купец найдется». И называли купца по имени и отчеству. Но Татьяна Андревна и тут, не давая прямого ответа, обычные речи говаривала: «Наш товар не продажный, еще не поспел; не порогом мы вам поперек стали, по другим семьям есть товары получше нашего». И сколько ни затевалось сватовства, толку не выходило. Лизавета Зиновьевна знала все, мать от нее ничего не таила, однако она ни на минуту не задумывалась ни над

одним женихом. Все они были ей равны, ничьи страстные взоры, ничьи сладкие речи не отзывались в ее сердце. Оно, чистое, непорочное, было еще безмятежно, как зеркальная поверхность широко раскинувшегося озера в тихий, ясный июньский вечер.

Пришел Зиновѐй с порошей — охотничий праздник [1]. Хоть снежку на перву порошу Зиновѐй в тот год и не принес, а Доронин, не будучи псовым охотником, про Зиновьев праздник и не слыхивал, однако ж задумал было в тот день на всю знакомую Москву пир задать. Зиновьи раз только в году бывают — всем знакомым, кто в святцы поглядывают, было известно, что их поволжский гость в тот день именинник... Обед задать, или вечеринку устроить — советовали меж собой Зиновѐй Алексеич с Татьяной Андревной. Но как ихняя квартира в нанятом доме-особняке на Земляном валу еще не была как следует устроена, а именины пришлись в пятницу, значит, стола по всей красе устроить нельзя, то и решили отложить пир до Татьянина дня [2], благо он приходился в скоромный понедельник. Так всем знакомым и сказывали.

В день ангела Зиновий Алексеич со всей семьей съездил на Рогожское, отстоял там часы, отслушал заказной канон преподобному и, раздав по всем палатам щедрую милостыню, побывал в келье у матушки Пульхерии и вдоволь наслушался красноглаголивых речей знаменитой по всему старообрядству старой-престарой игуменьи. Татьяна Андревна с дочерьми от Пульхерии домой поехали, а именинник по какому-то делу в город отправился, обещавшись к обеду воротиться. Подошла обеденная пора, а хозяина нет. Захлопоталась Татьяна Андревна: не пересидела бы, сохрани бог, кулебяка, не переварилась бы осетрина, не перекипела бы рыбная селянка... А время идет да идет, доброй хозяюшке жутко уж становится, чуть не до слез дело дошло... «Каждый год,— думает она,— к именинному пирогу из-за тысячи верст приезжал, а теперь в одном городу, да ровно сгиб-пропал... Не случилось ли уж чего?.. Лошади не разбили ль?.. Не захворал ли вдруг?» Обливается тоской сердце Татьяны Андревны, а смущенные не меньше матери

---

[1] 30 октября.
[2] 12 января.

дочери давно все окна проглядели — не едет ли тятенька из города.

— Едет! — радостно вскрикнула, наконец, Наташа и бросилась встречать отца.

Татьяна Андревна три раза набожно перекрестилась, глядя на иконы, и спокойной походкой к дверям пошла.

— С каким-то гостем,— молвила Лизавета Зиновьевна, еще не отходившая от окошка.

В самом деле, в щегольских парных орехового дерева санях рядом с Зиновьем Алексеичем сидел кто-то, закутанный в ильковую шубу и дорогую соболью шапку.

«С кем бы это? — размышляла Татьяна Андревна, проворно подходя к окну, мимо которого заворачивали на двор сани.— Уж не из наших ли, не из вольских?.. Да шубы-то такой во всем Вольске нет».

— Может, из московских кто-нибудь,— заметила Лиза.

— Привезет ли он кого из здешних на именины, когда пиры да гостины отложены? Так не водится,— молвила Татьяна Андревна.

Вошел в прихожую Зиновий Алексеич. Наташа быстро подскочила к отцу, сняла с него шапку и повисла у него на шее, целуя заиндевевшую от мороза родительскую бороду.

— Заждались мы тебя! Чуть-чуть не поплакали. Думали, не случилось ли уж чего с тобой,— говорила она, весело улыбаясь и снимая с отца шубу.

— И впрямь, батька, где это ты запропастился?..— стоя в дверях залы, сказала Татьяна Андревна.— Как это тебе, Алексеич, не стыдно мучить нас?.. Чего-чего, дожидаючись тебя, мы ни надумали!.. А кулебяка-то, поди-чать, перегорела, да и рыба-то в селянке, думать надо, перепрела.

— Запоздал маненько,— молвил Зиновий Алексеич.

— Како тут маненько? — возразила Татьяна Андревна.— Погляди на часы-то. Битых два часа тебя поджидали, а ему про нас и думушки нет... А еще именинник!.. Постылый ты этакой! — с напускною досадой промолвила Татьяна Андревна, отворачиваясь от мужа.

— Ну, простите, Христа ради. Ни впредь, ни после не буду,— ласково потрепав хозяйку по плечу, сказал Зиновий Алексеич.— Что делать?.. Линия такая вышла! Зато и дельце сварганили... Ну, да ведь соловья баснями

не кормят, а ты, Андревнушка, спроворь-ко нам поскорее закусочку: водочки поставь да мадерцы, икорки зернистой, да грибочков, да груздочков, да рыжичков, да смотри, огурчиков солененьких не забудь. А за обедом извольте поздравлять меня холодненьким — значит, шампанское чтоб было подано... А этого молодца признала? — сказал Зиновий Алексеич, указывая на выходившего из передней молодого человека.

— Не могу признать,— пристально глядя на гостя и слегка разводя руками, молвила Татьяна Андревна.

— Вот оно каково!..— шутил Зиновий Алексеич.— Вот оно что значит в Москву-то забраться!.. Своих не узнаешь!.. Наших палестин выходец, волжанин сын [1], саратовец, да еще нам никак и сродни маленько приходится!

Тут Татьяна Андревна совсем уж растерялась. Сложив руки на груди и умильно поглядывая на молодого человека, сказала ему:

— Ни за́ что на свете старым моим глазам не признать вас, батюшка... Скажите, сделайте милость, как вы нам родня-то?

Молодой человек был смущен не меньше Татьяны Андревны. Мнет соболью свою шапку, а сам краснеет...

Не спал, не грезил — и вдруг очутился середь красавиц, каких сроду не видывал, да они же еще свои люди, родня.

— Федора Меркулыча помнишь? — спросил у жены Зиновий Алексеич.

— Как же, батька, не помнить Федора Меркулыча? Двоюродным братцем матушке покойнице доводился,— отвечала Татьяна Андревна...

— Так это его сынок, Никита Федорыч,— сказал Зиновий Алексеич.

— Микитушка! — радостно вскликнула Татьяна Андревна.— Родной ты мой!.. Да как же ты вырос, голубчик, каким молодцом стал!.. Я ведь тебя еще махоньким видала, вот этаким,— прибавила она, подняв руку над полом не больше аршина.— Ни за что бы не узнать!.. Ах ты, Микитушка, Микитушка!

И с любовной лаской принялась со щеки на щеку лобызать новоявлѐнного сродника.

---

[1] *Волжанин* или *волжанин сын* — так зовут уроженцев Поволжья, особенно среднего и низового.

— Ну что, как у тебя домашние-то? — с родственным участьем спрашивала Татьяна Андревна.

— Батюшка летошний еще год помер,— тихо промолвил Никита Федорыч.

— Слышали, родной, слышали... Пали и к нам вести об его кончине,— говорила Татьяна Андревна.— Мы все как следует справили, по-родственному: имечко святое твоего родителя в синодик записали, читалка в нашей моленной наряду с другими сродниками поминает его... И в Вольске при часовне годовая была по нем заказана, и на Иргизе заказывали, и на Керженце, и здесь, на Рогожском. Как следует помянули Федора Меркулыча, дай господи ему царство небесное,— три раза истово перекрестясь, прибавила Татьяна Андревна.

Меж тем в гостиной на особый столик закуску поставили, и Зиновий Алексеич, взяв гостя под руку, подвел к ней и молвил:

— Покойникам вечный покой, а живым — хлеб да соль. Милости просим, Никита Федорыч!.. Водочки-то! Икорки, балычка!

— Дома-то, слыхали мы, мало живешь!..— продолжала расспросы свои Татьяна Андревна.— Все больше, слышь, в разъездах.

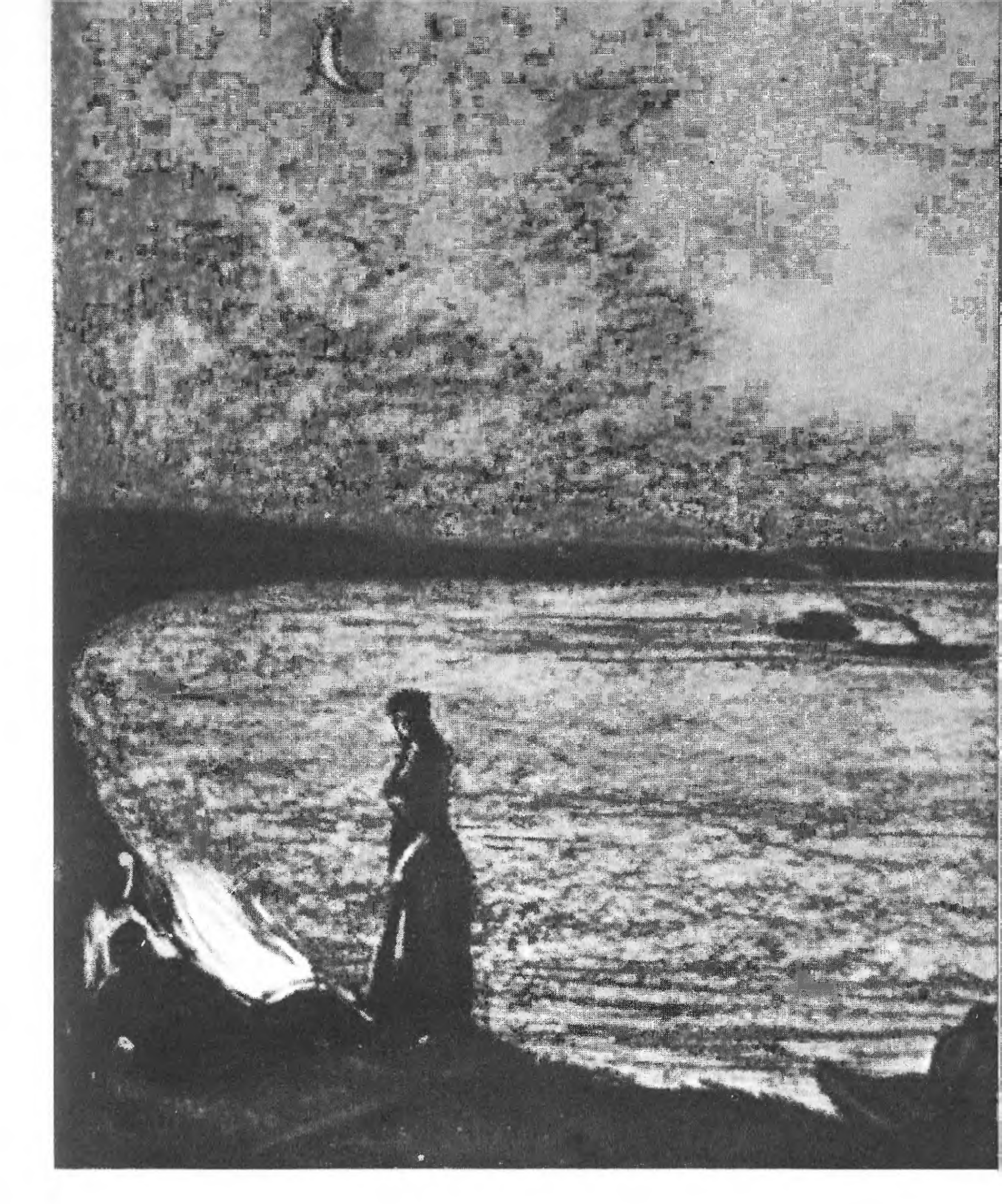
— Такое уж наше дело,— отвечал Меркулов.— Ведь я один, как перст, ни за мной, ни передо мной нет никого, все батюшкины дела на одних моих плечах остались. С ранней весны в Астрахани проживаю, по весне на взморье на ватагах, летом к Макарью; а зиму больше здесь, да в Петербурге.

— В Питере-то что у тебя за дела? Не хлебом, батька, торгуешь? — спросила Татьяна Андревна.

— По нынешним обстоятельствам нашему брату чем ни торгуй, без Питера невозможно,— ответил Никита Федорыч.— Ежели дома на Волге век свой сидеть, не то чтобы нажить что-нибудь, а и то, что после батюшки покойника осталось, не увидишь, как все уплывет.

— Это так, это верно,— подтвердил Зиновий Алексеич.— До какого дела ни коснись — без Питера нельзя, а без Москвы да без Макарья — тем паче.

— Нынешняя коммерция не то, что в старые годы, Татьяна Андревна,— прибавил Никита Федорыч, обтираясь салфеткой после закуски.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Глава X

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Глава XVII

И хотел было подробнее о том разговориться, но Татьяна Андревна тут на него прикрикнула:

— Да что я тебе за Татьяна Андревна такая далась?.. Опомнись, батька, перекрести лоб-от!.. Твоему родителю внучатной сестрой доводилась, значит, я тебе тетка, а не Татьяна Андревна!.. А это тебе дядюшка Зиновей Алексеич, а это сестрица — Лизавета Зиновьевна да Наташа — до Натальи-то Зиновьевны она еще не доросла. Ты у меня и не смей иначе звать, как меня тетушкой, его дядюшкой, их сестрицами... На что это похоже?.. Люди свои, сродники, а меж собой ровно бы чужие разговаривают!.. Басурмане, что ли, мы? Так и те родню почитают... Ты у меня и думать не смей по имени по отчеству нас величать... Слышишь!..

За столом Меркулов, по приказу Татьяны Андревны, называл ее тетушкой, назвал было Зиновья Алексеича по имени и отчеству, так и тот на него вскинулся:

— Разве я не теткин муж? — сказал он.— Коль она тебе тетка, я, значит, тебе дядя. Так-то, сударь!

Стал Никита Федорыч и Доронина дядюшкой называть, но девиц сестрицами называть как-то не посмел, оттого мало и разговаривал с ними. А хотелось бы поговорить и сестрицами назвать. .

После обеда именинник пошел на часок отдохнуть, а гость домой стал собираться, но тетушка его не пустила.

— Куда это ты, Микитушка? — говорила она.— Посумерничай, батька, у нас, покалякаем; встанет Зиновий Алексеич, чайку попьем да еще покалякаем до ужина-то. Отведи до конца дядины-то именины, гостѝ у нас дó ночи.

И остался племянник у дяди до пóлночи, говорил с ним о делах своих и намереньях, разговорился и с сестрицами, хоть ни той, ни другой ни «ты» сказать, ни «сестрицей» назвать не осмелился. И хотелось бы и бояться бы, кажется, нечего, да тех слов не может он вымолвить; язык-то ровно за порогом оставил.

А ехавши домой, всю дорогу про ласковых, пригожих сестриц продумал; особенно старшая вспоминалась ему. Вплоть до зари больше половины ночи продумал про нее Никитушка; встал поутру — а на уме опять та же сестрица.

Сердце сердцу весть подает. И у Лизы новый братец с мыслей не сходит... Каждое слово его она вспоми-

нает и каждому слову дивится, думая, отчего это она до сих пор ни от кого таких разумных слов не слыхивала...

Пришел ее час.

А Наташа ничего. Братец за̀ дверь, она про него и забыла. Ее час еще не пробил.

* * *

Через какую-нибудь неделю Меркулов у Дорониных совсем своим человеком стал. Как родного сына, холила и лелеяла «Микитушку» Татьяна Андревна, за всем у него приглядывала, обо всем печаловалась, каждый день от него допытывалась: где был вчера, что делал, кого видел, ходил ли в субботу в баню, в воскресенье за часы на Рогожское аль к кому из знакомых в моленну, не оскоромился ль грехом в середу аль в пятницу, не воруют ли у него на квартире сахар, не подменивают ли в портомойне[1] белье, не надо ль чего заштопать, нет ли прорешки на шубе аль на другой одёже какой. Покажется Татьяне Андревне, что у Микитушки глаза мутны́ аль в лице побледнел, то́тчас зачнутся расспросы: не болит ли головка, лихоманка не напала ли, не съел ли чего лишнего, не застудил ли себя. За расспросами советы пойдут: напиться на ночь той либо другой травки, примочить голову уксусом, приложить горчишник. Взгрустнется Никите Федорычу аль раздумье на него нападет, опять тетушкины расспросы: не случилось ли в делах изъяну, не гребтит ли срочный вексель, не обчел ли его кто-нибудь, не обидел ли словом али делом.

Иной раз Никите Федорычу докучны бывали тетушкины заботы, но он и виду не показывал, что они ему надоели. Знал, что радушное о делах его беспокойство Татьяны Андревны, усердные вкруг него хлопоты идут от бескорыстной любви, от родственного чувства, хоть на самом-то деле какой уж он был ей сродник? В седьмом колене доводился, а Лизе с Наташей — в восьмом. В Сибири, на севере и в широких степях заволжских, кто живет за полтораста, за двести верст, тот ближний сосед, а родство, свойство и кумовство считается там чуть не до двадцатого колена. Седьма вода на киселе, десята води́на на кваси́не и всякая сбоку припёка и́з роду, из

[1] Прачешное заведение.

племени не выкидается. Даже тот, кто на свадьбе в поезжанах был, век свой новобрачным кумом, а их родителям сватом причитается. Хранить родство, помогать по силе возможности сродникам по тем местам считается великой добродетелью, а на того, кто удаляется от родных, близких ли, дальних ли, смотрят, как на недоброго человека. Зиновий Алексеич и Татьяна Андревна свято хранили заветы прадедов и, заботясь о Меркулове, забывали дальность свойства: и́з роду, из племени не выкинешь, говорили они, к тому ж Микитушка сиротинка — ни отца нет, ни матери, ни брата, ни сестры; к тому ж человек он заезжий — как же не обласкать его, как не приголубить, как не при́зреть в теплом, родном, семейной кружке. «Бог счастье отнимет, кто родню на чужбине покинет»,— говаривала Татьяна Андревна.

* * *

Никита Федорыч матери не помнил. В пеленках остался после нее. Рос на попеченье нянек да мамок. Родитель его в людях человек душевный, веселый, добродушный, обходительный, ко всякому радушный и ласковый, в стенах своего дома бывал всегда угрюм, суров и своеобычен. Из домашних на него никто угодить не мог — вечно ворчит, вечно чем-нибудь недоволен и гневен. А ежели рассердится,— а сердился он почти ежечасно,— изъязвит, бывало, словами человека. Рукам воли не давал, но подначальные говаривали: «Не в пример бы легче было, ежели бы хозяин за всяко просто в ус да в рыло... А то пилит-пилит, ругается над тобой, ругается — не видно ни конца, ни краю... А ведь ругается-то как: каждое словечко больней плети треххвостки!» И редкие работники подолгу у Меркулова уживались, хоть платил он им хорошо, а поил, кормил не в пример лучше, чем другие хозяева.

По смерти жены, то одну, то другую сродницу звал хозяйствовать да за сыном приглядывать — больше полугода ни одна не уживалась. Чужих стал звать, большие награды давал — те и месяца не выдерживали. Вырос Микитушка на руках двух нянек, безответных старушек; за душевный подвиг они себе поставили претерпеть все невзгоды и ругательства хозяина ради «маленького птенчика, ради сироты, ни в чем не повин-

ного». Канонница из Иргиза, что при моленной жила, тоже решила себя на смиренномудрое долготерпение в доме Федора Меркулыча, но сделала это не из любви ко птенчику сиротке, а за то, что ругатель-хозяин в обитель ее такие суммы отваливал, что игуменья и соборные старицы, бывало, строго-настрого наказывают канonнице: «Вся претерпи, всяко озлобление любовию покрой, а меркуловского дома покинуть не моги, велия бо из него благостыня неоскудно истекает на нашую честну́ю обитель». Канонница Микитушку читать-писать выучила: нянькам и за то спасибо, что ребенок вырос ни кривым, ни хромым, ни горбатым каким. Лет десять ему было уж, Микитушке, как родитель его, наскучив одинокой жизнью и тем, что в его богатом доме без бабы пустым пахло, без прямой хозяйки все лезло врознь,— вздумал жениться на бедной молоденькой девушке. Была она мещанская дочь; отец ее чеботарил. Видал ее Федор Меркулыч каждое лето, когда, бывало, пробудясь от послеобеденного сна, прохлаждался он, сидя за чаем в гулянке [1], что стояла вскрай его сада, рядом с садишком чеботаря. Видал он ее еще тогда, как девчонкой-чупахой, до пояса подымя подол, бегала она по саду, собирая опавшие дули и яблоки, видал и подростком, когда в огороде овощ полола, видал и бедно́ в ситцевый сарафанчик одетою девушкой, как, ходя вечерком по вишеннику, тихонько распевала она тоскливые песенки. Влюбился старый брюзга, слова с девушкой не перемолвя, послал он за чеботарем и, много с ним не говоря, с первого слова объявил ему, что хочет зятем ему учиниться. Чеботарь от нежданного счастья белугой заревел и в ноги поклонился Федору Меркулычу. На другой день седовласый жених, все еще не видавшись с невестой, поехал к беглому попу, что проживал при злобинской часовне.

— Так и так, отче святый, жениться хочу.

— Не старенько ли твое дело, Федор Меркулыч? — спросил у него поп.

— Помоложе тебя буду, а живешь же с попадьей да детей еще плодишь,— ответил сурово жених.— Не гляди на меня, что волосом бел, то знай, что я крепостью цел. Году не минет — крестить позову.

— Ох, чадо, чадо! Что мне с тобой делать-то? —

---

[1] Беседка.

вздохнул беглый поп, покачивая головой и умильно глядя на Федора Меркулыча.— Началить тебя — не послушаешь, усовестить — ухом не поведешь, от писания святых отец сказать тебе — слушать не захочешь, плюнешь да прочь пойдешь... Что мне с тобой делать-то, старче божий?

— Чего делать? — усмехнулся Федор Меркулыч.— Бери деньги да венчай,— вот и все твое дело.

— Ох-ох-ох!.. Грехи наши, грехи тяжкие! — вздыхал поп по-прежнему.— О душе-то надо бы подумать, Федор Меркулыч. Ведь немало пожито, немало и грехов-то накоплено... Каяться бы тебе да грехи оплакивать, а не жениться!

— Не на дух к тебе, батька, пришел, законный брак повенчать требую,— вспыхнул Меркулов.— Ты лясы-балясы мне не точи, а сказывай: когда ехать в часовню и сколько возьмешь за труды?..

— Ох-ох-ох! — вздыхал поп и, видя, что седого жениха не возьмешь ни мытьем, ни катаньем, спросил: — С кем же браком сочетаться есть твое произволение?

Жених назвал невесту.

— Ах, Федор Меркулыч, Федор Меркулыч!..— покачивая головой, сказал на это поп.— Да ведь ей только что семнадцатый годок пошел, а тебе ведь седьмой десяток в доходе. Какая ж она тебе пара?.. Ведь она перед тобой цыпленок.

— Цыпленок! — с самодовольствием молвил Федор Меркулыч — Что ж из того?.. Всяк человек до цыплятинки-то охотник!.. Ты не охотник разве, отче святый?.. А?..

— Ох, грехи, грехи! — глубоко вздыхая, молвил поп и, зная, что упрямого Федора Меркулыча в семи ступах не утолчешь, да притом рассчитывая и на благостыню, какой, может быть, еще сроду не видывал, назначил день свадьбы.

Женился Федор Меркулыч. Десятилетний Микитушка на отцовской свадьбе благословенный образ в часовню возил и во все время обряда глаз с мачехи не спускал. Сам не знал, отчего, но с первого взгляда на нее невзлюбила невинная отроческая душа его розовой, пышно сияющей молодостью красавицы, стоявшей перед налоем рядом с седовласым его родителем. Сердце вещун — и добро оно чует и зло, особливо в молодых годах.

В русских семьях хитрая молодая жена зачастую подбирает к рукам мужа старика, вертит им, как себе хочет, и живет он у нее во смиренье и послушанье до самого смертного часа. Так и с Федором Меркулычем случилось: семнадцатилетняя женка, наслушавшись советов матери и других родственниц, сумела вконец заполонить семидесятилетнего мужа. Федор Меркулыч не выходил из ее воли: что ни вздумала, чего бы ни захотела «свет душа Паранюшка» у него, тотчас вынь да положь. И стал бедный цыпленок царить в богатом доме, все под ноготок свой подвела Прасковья Ильинишна, всем распоряжалась по властному своему хотенью. Заспесивилась перед сверстницами-подругами, загордилась перед давними знакомыми, зачванилась перед близкими и дальними сродниками. Живучи у родителей, и в великие праздники сладкого куса не знавшая, подчас голодавшая и холодавшая,— много злобы и зависти накопила Прасковья Ильинишна в своем девичьем сердце, а когда начала ворочать тысячами, стала ровно каменная, заледенела. Опричь денег, ни к чему сердце у ней не лежало. И родных своих по скорости чуждаться стала, не заботили ее неизбывные их недостатки; двух лет не прошло после свадьбы, как отец с матерью, брат и сестры отвернулись от разбогатевшей Параши, хоть, выдавая ее за богача, и много надежд возлагали, уповая, что будет она родителям под старость помощница, а бедным братьям да сестрам всегдашняя пособница. Ото всех отшатнулась, на всех подула холодком, и, ласкаясь к старому и полному немощей мужу, страстно его уверяла, всеми клятвами заклинаясь, что, кроме его, нет у нее ничего заветного, что даже отец с матерью стали остудой для нее. Верил старый и души не чаял в молодой жене.

Дух алчности и злобы совсем осѐтил ее. Мужу только угождала, и то из корысти, день и ночь помышляя, как бы добиться, чтоб старый, отходя сего света, ей все имение отдал. Своих деток не родилось, пасынок поперек дороги стоял, и оттого возненавидела она беззащитного мальчика... Тюрьмы да каторги опасаясь, со свету сжить Никитушку не решалась, зато вздумала сбыть его из дому, не вертелся бы он на отцовских глазах. Вырастивших его нянек со двора долой согнала; иргизскую канонницу, что грамоте его обучила, сменила старой, злой, бранчивой керженской читалкой. Не с кем стало

словечко перемолвить Никитушке; отца видал он редко, а от мачехи да от прислуги только бранные речи слыхал и каждый день терпел обиды: и щипки, и рывки, и целые потасовки. Любил его только серый Волчок — старая цепная собака, и того мачеха извести велела. А из дому выходу Никитушке не было, и к нему из сверстников никто не хаживал. Рос мальчик в полном одиночестве.

Болезнуя о забитом Никитушке, други-приятели Федора Меркулыча на беседах ему советовали, отдал бы он сына в ученье в Москву либо в Питер. Узнавши о том, Прасковья Ильинишна день и ночь стала докучать старому, чтобы отправил он в ученье Никитушку. Слушать не хотел Меркулов друзей-приятелей, но Прасковья Ильинишна на своем поставила. Правду пословица говорит: ночная кукушка денную перекукует. Решил Федор Меркулыч отправить сына в Питер, отдать его там в коммерческое училище, а отучится — на контору куда-нибудь; пущай, дескать, к делам приучается. Выйдет человеком, слава богу, свихнется — значит, была на то воля божия. И послали Никитушку при отцовском рыбном обозе в Москву, а оттоль в Питер переправили и там с грехом пополам в училище пристроили. Весела и радошна стала Прасковья Ильинишна, лет на десяток помолодел Федор Меркулыч от любовных ласк молодой жены. А детушек у Прасковьи Ильинишны нет как нет, не шлет их господь.

Хоть живи, не живи, а годы возьмут свое — ослаб, одряхлел Федор Меркулыч и совсем захилел, когда ему за половину восьмого десятка перевалило. А Прасковья Ильинишна тогда во всю красу вступила. Живой живого ищет, молодость живет молодым. И грустно и тошно стало ей жить со стариком. С тоски да с печали слюбилась она с молодым пригожим приказчиком. По зимам и в темные ночки осенние, когда Меркулов в отлучках бывал, видалась она с полюбовником в уютной спаленке, до вторых петухов с ним просиживала возле изразцовой печки на теплой лежаночке, а летом миловалась с ним в зеленом саду, в частом вишенье, орешенье и весело над постылым мужем посмеивалась. И не день, не месяц молодая жена старого мужа обманывала, любилась она со дружком два годочка.

Раз перед Троицей Федору Меркулычу прихворнулось; гостил на пиру, на беседе, покушал ботвинья да

жирной кулебяки, грибков в сметане сковородку-другую уплел да жареного поросеночка с гречневой кашей. Только что воротился домой, как его схватило,— сейчас за попом. В сенях Прасковья Ильинишна попа перехватилась, обещала ему сколько-то тысяч, уговорил бы больного написать духовную в ее пользу. Поп так и сделал, и едва успел Федор Меркулыч подписать завещанье, как канонница стала у него в изголовьях и стала читать канон на исход души. Под вечер больной забылся, и все, кто при нем были, один по другому из душной горницы вышли. Только что забрезжило, Федор Меркулыч проснулся и встал с постели, как встрепанный. Огляделся, видит: перед налоем, растянувшись на полу, вся в поту спит мертвым сном канонница... Душно, жажда мучит старика. Обул Федор Меркулыч ичеги[1], накинул на плечи легонький халат и вышел тихонько в сад прохладиться.

А в те поры «хмелевые ночки» стояли — по людям ходил веселый Яр и сладким разымчивым дыханьем палил в них кровь молодую. Разутешенная мужниной духовной, Прасковья Ильинишна тихонько прошла в вишенье с милым дружком повидаться. Радостно было свиданье, ве́селы речи про то, как заживут они теперь в любви и довольстве. Шепотом беседу вели, но старый подслушал. Кол под руку ему попался, и дал он волю ярости и гневу. Приказчик через забор, а Прасковья Ильинишна с разбитой головой едва доползла до горницы. Дня через два в пышных хоромах Меркулова гроб стоял...

Схоронив жену и замяв дело о внезапной ее смерти, Федор Меркулыч сам захворал уж не в шутку. Чувствуя близость смерти, велел он к сыну писать, ехал бы как можно скорей закрывать глаза родителю. Никита Федорыч поездкой поспешил, но отца в живых не застал. Каждый уголок в родительском доме, каждый стол, каждый стул напоминал ему горькую жизнь: каждодневные обиды мачехи да суровые речи отца. В городе никого он не знал, для всех тамошних был чужим человеком... Справляя поминки, сзывал все старообрядство, но по сердцу никому не пришелся. Тараторили с досадой матушки да бабушки молодых невест: «По всему бы же-

---

[1] Сафьянные спальные сапоги татарской работы.

них хорош — и пригож, и умен, и богат, да в вере не тверд: ходит по-модному, проклятый табачище курит, в посты дерзает на скоромное и даже водит дружбу с колонистами, значит сообщается со еретики». Пытались старики молодого человека усовещивать, но он на их уговоры только улыбался. И промчалась про Никиту Федорыча по всему поволжскому старообрядству молва недобрая: совсем-де погиб человек.

Не знавший ласки материнской, Никита Федорыч и в Петербурге не знал женского общества. Принятый с лаской, с участьем и бескорыстной родственной любовью у Дорониных, он почувствовал, что нашел то, чего не знал, но чего давно искала душа его. Все семейство Зиновья Алексеича, особенно мать с дочерьми, произвели на него какое-то таинственное обаяние, и того отрадного чувства, что испытывал он, находясь в их кругу, он не променял бы теперь ни на что на свете... Каждый день бывая у Дорониных и каждый раз вынося из дома их чувство чистоты, добра и свежести, сознавал он, что и сам делается лучше и добрее. Татьяна Андревна на первых же порах стала его понемножку журить за нетвердость в старой вере и за открытое пренебреженье дедовских обычаев. И он, только улыбавшийся на попреки саратовских стариков, тотчас послушался доброй тетушки: и посты стал держать, и при людях табак перестал курить, и одёжу стал носить постепеннее.

Полюбил Никита Федорыч сестриц своих, но любовь к той и к другой была разная. Младшую любил, как брат сестру, а к Лизавете Зиновьевне с самого начала иное чувство в нем зародилось и разгоралось с каждым днем, с каждым свиданьем. С Наташей был он шутлив и весел, иной раз, бывало, как маленький мальчик с нею резвится, но с Лизаветой Зиновьевной обращался сдержанно и, как ни близок был в семействе, робел перед ней. И она тоже дичилась его, и ей как-то стыдно бывало, когда Никита Федорыч с ней заговаривал. Потом мало-помалу привыкла, и хорошенький братец не стал выходить из мыслей сестрицы. Великим постом Доронины стали домой сряжаться, а Никите Федорычу надо было в Астрахань ехать на ватаги; тут он решился намекнуть Татьяне Андревне, что Лизавета Зиновьевна крепко ему полюбилась. Тетушка ни «да» ни «нет» ему не сказала, стала с мужем советоваться. Зиновий Алексеич был не

прочь от такого зятька, поусомнился только, можно ль будет их повенчать — брат ведь с сестрой. Татьяна Андревна в «Кормчую» заглянула и нашла, что браки воспрещаются только до седьмого колена; посчитали—Лиза Никитушке в восьмом приходится. Спросили ее, по мысли ль ей названной братец,— ни слова она не ответила, но, припав к материну плечу, залилась слезами. В то самое время в передней послышался голос Меркулова. Лиза отерла глаза, и лицо ее расцвело радостью, засияло счастьем.

Решили свадьбу сыграть по осени, перед филипповками; к тому времени и жених и нареченный его тесть покончат дела, чтобы пировать на свободе да на просторе. А до тех пор был положён уговор: никому про сватовство не поминать — поменьше бы толков да пересудов было.

Перед отъездом на Низовье услыхал Никита Федорыч от знакомых ему краснорядцев, что по зиме много тюленя для фабрик потребуется. Вспомнилось тут Меркулову, как иные не очень богатые люди от рыбного товара в короткое время делались миллионщиками. Тот всего судака во-время закупил и продал его по высокой цене у Макарья, другой икру в свои руки до последнего пуда забрал и ставил потом на нее цены, какие вздумалось. Отчего ж и ему тюленя не скупить и не продать на ярманке по высокой цене. Надеясь на счастье-талан нареченной своей невесты, решился он пустить на авось весь наличный капитал, а потом весь барыш, сколько ни выручит его, подарить новобрачной жене. Осторожный в делах Зиновий Алексеич уговаривал его больше половины денег наудачу не бросать; счастье-де вольная пташка, садится только там, где захочет... Не внимал Меркулов словам нареченного тестя, но с одного слова Лизаветы Зиновьевны на все согласился.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Придя от Доронина и высчитав, сколько придется получить барышей от закупки меркуловского тюленя, Марко Данилыч пошел было к Дуне, но пришел другой ранний гость, Дмитрий Петрович Веденеев. Рассчитав, что услуга, оказанная накануне этим гостем, принесет на плохой конец полсотню тысяч, Марко Данилыч стал к

нему еще ласковей, еще приветливее. Явился на столе самовар, и пошло угощенье дорогого гостя редкостным лянсином фу-чу-фу. Самоквасов вскоре подошел, познакомился с Веденеевым, и началась беседа втроем за чайничаньем.

— Ну что?.. Новенького чего нет ли на ярманке? — спросил Смолокуров у Петра Степаныча.

— Кажись, ничего особенного,— отвечал Самоквасов.— Останный караван с железом пришел, выгружают теперь на Пески. С красным товаром, надо полагать, чуть ли не покончили.

— Что больно рано? — удивился Смолокуров.

— Линия такая вышла,— молвил Самоквасов, ставя на стол допитой стакан и отирая фуляровым платком пот, обильно выступивший на лице его.

— Кто сказывал? — спрашивал Марко Данилыч.

— Про краснорядцев?.. Никто не говорил, а надо полагать, что расторговались,— сказал Самоквасов.—В семи трактирах вечор кантовали [1]: ивановские у Барбатенка да у Веренинова, московские у Бубнова да у Ермолаева, а самые первые воротилы — у Никиты Егорова. И надо полагать, дела завершили ладно, с хорошими, должно быть, остались барышами.

— А что?

— Спрыски-то уж больно хороши были,— молвил Петр Степаныч.— До того, слышь, кантовали, что иные до извозчика четверней ехали. И шуму было достаточно — дошли до того, что хоть гору на лыки драть.

— Барыши, значит,— сказал Марко Данилыч.— А вот у нас с Дмитрием Петровичем рыбке до сей поры с баржей сойти не охота. Ни цен, ни дел — хоть что хошь делай.

— Наше дело, Марко Данилыч, еще не опоздано,— заметил Веденеев.— Оно всегда под самый конец ярманки решается. Не нами началось, не нами и кончится.

— Да так-то оно так,— промолвил Смолокуров.— Однако уж пора бы и зачинать помаленьку, а у нас и разговоров про цены еще не было. Сами видели вчерась, какой толк вышел... Особливо этот бык круторогий Онисим Самойлыч. Чем бы в согласье вступать, он уж со своими подвохами. Да уж и одурачили же вы его!.. Дол-

---

[1] *Кантовать* — весело пировать на каких-нибудь радостях.

го не забудет. А ништо!.. Не чванься, через меру не важничай!.. На что это похоже?.. Приступу к человеку не стало, ровно воевода какой — курице не тетка, свинье не сестра!

— А вы погодите,— слегка усмехнулся Веденеев.— Орошин не из таковских, чтоб обиды спускать. Помяните мое слово, что ярманка еще не покончится, а он удерет какую-нибудь штуку.

— Бог не выдаст — свинья не съест,— равнодушно промолвил Марко Данилыч.— А у вас, Дмитрий Петрович, разве есть с ним дела либо расчеты какие?

— Слава богу, никаких нет,— ответил Веденеев.

— Так вам и опасаться нечего,— сказал Марко Данилыч.

— Я не про себя, про всех говорю,— молвил Дмитрий Петрович.

— Ну, со всеми-то ему не справиться! — возразил Смолокуров.— Хоть шея у него и толста, а су́против обчества̀ не бойсь и она сломится.

— Да,— сказал Веденеев,— сломилась бы, ежели б промеж нас мир да совет были, ежели бы у нас все сообща дела-то делали. А то что у нас?.. Какое согласие?.. Только и норовят, чтобы врозь да поперек, да нельзя ли другу-приятелю ножку подставить...

— Ну, уж будто и все? — слегка поморщась, промолвил Марко Данилыч.

— Конечно, не все,— ответил Веденеев.— А и то сказать, всяк до поры только до времени. Вот хоть Сусалина взять Степана Федорыча. Вечор, как ушел из трактира Орошин, ведь больше всех над ним издевался, да про дела его рассказывал. А сегодня захожу я порану в рыбный трактир, калоши вечор позабыл — глядь, а Степан Федорыч в уголку с Орошиным чаи распивают, шепчутся — по всему видно, что какое-то дело затевают. Народу-то в трактире никого еще не было, так буфетчик сказывал, что они на безлюдье счеты потребовали и долго считали да костями стучали, а говорили все шепотом.

— Мудреного нет,— заметил Смолокуров.— У Орошина сусалинских векселей довольно...

— То-то и есть, Марко Данилыч,— молвил Веденеев — Векселя!.. И поди ведь, чай, скупленные?

— Пожалуй что и скупленные,— барабаня по столу пальцами, сказал Марко Данилыч.

— И на другого и на третьего рыбника, пожалуй, таких векселей немало у Онисима Самойлыча,— продолжал Веденеев — А его векселей ни у кого нет. Оттого у него и сила, оттого по рыбной части он и воротит, как в голову ему забредет.

— Нельзя же без векселей,— нахмурясь, промолвил Марко Данилыч.— На векселях вся коммерция зиждется... Как без векселей?.. В чужих краях, сказывают, у немцев, аль у других там каких народов, вся торговля, слышь, на векселях идет.

— Это так,— согласился Веденеев,— зато там по векселям-то совсем другие порядки, чем у нас... У нас бы только скупить побольше чьих-нибудь векселей да прижать голубчика, чтоб пикнуть не смел. А по банкам так любят у нас бронзовыми орудовать.

— Какими это бронзовыми? — спросил у Веденеева Петр Степаныч, удаленный дядей от торговых дел и потому не имевший никакого понятия о кредите.

— А вот, к примеру сказать, уговорились бы мы с вами тысяч по двадцати даром получить,— стал говорить Веденеев.— У меня наличных полтины нет, а товару всего на какую-нибудь тысячу, у вас то же. Вот и пишем мы друг на̀ дружку векселя, каждый тысяч по двадцати, а не то и больше. И ежели в банках по знакомству с директорами имеем мы доверие, так вы под мой вексель деньги получаете, а я под ваш. Вот у нас с вами гроша не было, а вдруг стало по двадцати тысяч.

— Да ведь это, по-моему, просто надувательство,— молвил удивленный Самоквасов.— На что же это похоже?.. Как же это так?.. Вдруг у меня нет ни копейки — и я двадцать тысяч ни за что, ни про что получаю?.. Да это ни с чем не сообразно... Ну, а как сроки выйдут?

— Запла̀тите,— сказал Веденеев.

— А ежели нечем?

— Несостоятельным объявитесь,— с усмешкой молвил Дмитрий Петрович.— Только на этот конец надобно не на двадцать тысяч, а сколь можно побольше и в банках и у купцов окредитоваться. Потом все как по маслу пойдет — администрация там али конкурс... Хорошее-то платьице припрячьте тогда подальше, дерюжку наденьте, ходите пешечком, на нищету встречному и поперечному жалуйтесь, иной раз на многолюдстве не мешает и Христа ради на пропитание у кого-нибудь

попросить... Конечно, ваш дом, движимость, которая на виду осталась, продадут, банки да кредиторы по скольку-нибудь копеек за рубль получат... А как только кончилось ваше дело, припрятанный-то капитал при вас, а долгу ни копейки. Опять пускайтесь тогда в коммерцию и опять лет через пяток бронзовых векселей побольше надавайте... Разика три обанкрутитесь, непременно будете в миллионе.

Только плечами пожал Петр Степаныч, а Марко Данилыч, сильно нахмурившись, молвил:

— На то кредит... Без кредиту шагу нельзя ступить, на нем вся коммерция зиждется... Деньги что? Деньги что вода в плесу,— один год мелко, а в другой дна не достанешь, омут. Как вода с места на место переливается, так и деньги — на то коммерция! Конечно, тут самое главное дело: «не зевай»... Умей, значит, работать, умей и концы хоронить.

— Пословица-то, Марко Данилыч, кажется, не так говорится,— прищурив один глаз, заметил Веденеев.

— Как же, по-вашему? — спросил Смолокуров.

— Умей воровать, умей и концы хоронить,— сказал Дмитрий Петрович.

— Молоденьки еще, сударь, про такие важнейшие, можно сказать, дела таким родом толковать,— насупившись, кинул сердитое слово Марко Данилыч и даже в сторону отворотился от дорогого гостя.

— А какой я вам смех расскажу, Марко Данилыч,— вступился Самоквасов, заметив, что и у нового его знакомца брови тоже понахмурились: долго ль до греха, свары бы не вышло.

— Что такое? — сухо спросил Смолокуров.

— У Сергея Филиппыча у Орехова, слышали, я думаю, баржа с рыбой под Чебоксарами затонула,— начал рассказывать Петр Степаныч.— И рвет и мечет, подступиться к нему невозможно, ко всякому придирается, шумит, что голик, и кто ему на глаза ни попал, всякого ругает на чем свет стоит.

— Заругаешься, как баржа с товаром затонет... Не орехов горстка,— сумрачно молвил Марко Данилыч.

— Я не про то, слушайте, какой смех-от из этого вышел,— перебил Самоквасов.— Матушку Таифу знаете?

— Какую там еще Таифу? — спросил Смолокуров.

— Комаровскую. Казначея у матери Манефы,— отвечал Самоквасов.— В Петров день, как мы с вами там гостили, ее дома не было, в Питер, слышь, ездила.

— Ну, знаю,— молвил Марко Данилыч.— Только смеху-то покамест не вижу.

— Зашел я намедни в лавку к Панкову, к Ермолаю Васильичу, из Саратова, может тоже знаете,— продолжал Петр Степаныч,— приятель мой у него в приказчиках служит. Наверх в палатку прошли мы с ним, а там Орехов сидит да изо всей мочи ругается. Мы ничего, слушаем, никакого супротивного слова не говорим, пусть его тешится. Вдруг шасть в палатку мать Таифа со сборной книжкой. Не успела она начàл положить, не успела Ермолаю Васильичу поклониться, как вскинется на нее Сергей Филиппыч да с кулаками. «Вы,— кричит изо всей мочи,— какой ради причины бога-то плохо молили?.. Ах, вы, чернохвостницы, кричит, этакие!.. Деньги берете, а богу молитесь кое-как!.. Я вам задам!» Мать Таифа кланяется ему чуть не в землю, а он пуще да пуще. «Летось, кричит, пятьдесят целковых вам пожаловал, и вы молились тогда как следует: на судаке я тогда по полтине с пуда взял барыша... Сто рублев тебе, чернохвостнице, дал, честью просил, чтоб и на нынешний год побольше барыша вымолили... А вы, раздуй вас горой, что сделали? Целая баржа ведь у меня с судаком затонула!.. Разве этак молятся?.. А?.. Даром деньги хотите брать?.. Так нет, шалишь, чернохвостница, шалишь, анафемская твоя душа! Подавай назад сто рублев!.. Подавай, не то к губернатору пойду!» Мы так и покатились со смеху.

— Чему же смеяться-то тут? — холодно промолвил Марко Данилыч.— Не лиха беда от такого несчастья и совсем с ума своротить... Шутка сказать, цела баржа судака!.. На плохой конец двадцать тысяч убытку.

— Да матери тут при чем же? — спросил Самоквасов.— Они-то чем виноваты?.. Неужто в самом деле ореховский судак оттого затонул, что в Комарове плохо молились?

— Значит, веру в силу молитвы имеет,— молвил Марко Данилыч.— Сказано: по вере вашей будет вам. Вот ему и досадно теперича на матерей... Что ж тут такого?.. До кого ни доведись!.. Над кем-нибудь надо же сердце сорвать!

— Чем же у них кончилось? — спросил во все время самоквасовского рассказа насмешливо улыбавшийся Веденеев.

— Насилу ноги унесла мать Таифа,— ответил Петр Степаныч.— Так с кулаками и лезет на нее. Маленько бы еще, искровенил бы, кажется.

— После того нагнал я Таифу,— после недолгого молчанья продолжал Самоквасов, обращаясь к Марку Данилычу.— Про знакомых расспрашивал. Матушка Манефа домов в ихнем городке накупила — переселяться туда желает.

— Да, ихнее дело, говорят, плоховато,— сказал Смолокуров.— Намедни у меня была речь про скиты с самыми вернейшими людьми. Сказывают, не устоять им ни в каком разе, беспременно, слышь, все порешат и всех черниц и белиц по разным местам разошлют. Супротив такого решенья никакими, слышь, тысячами не откупиться. Жаль старух!.. Хоть бы дожить-то дали им на старых местах...

Опять немножко помолчали. Петр Степаныч с видом сожаленья сказал:

— В большом горе матушка-то Манефа теперь, Таифа говорит, не знают, перенесет ли даже его...

— Легко ль перенести такое горе, особенно такой немощной старице,— с участием отозвался Марко Данилыч.— С самых молодых лет жила себе на едином месте в спокойстве, в довольстве, и вдруг нежданно-негаданно, ровно громом, над ней беда разразилась... Ступай долой с насиженного места!.. Ломай дома, рушь часовню, все хозяйство решай, все заведенье, что долгими годами и многими трудами накоплено!.. С кем век изжила, те по сторонам расходись, живи с ними врозь и наперед знай, что в здешнем свете ни с кем из них не увидишься!.. Горько, куда как горько старице!

— Не в том ее горе, Марко Данилыч,— сказал на то Петр Степаныч.— К выгонке из скитов мать Манефа давно приготовилась, задолго она знала, что этой беды им не избыть. И дома̀ для того в городе приторговала, и, ежели не забыли, она тогда в Петров-от день, как мы у нее гостили, на ихнем соборе других игумений и стариц соглашала, чтоб заранее к выгонке готовились... Нет, это хоть и горе ей, да горе жданное, ведомое, напредки зна-

емое. А вот как нежданная-то беда приключилася, так ей стало не в пример горчее.

— Что ж такое случилось? — спросил Марко Данилыч.

— Племянницу-то ее помните? Патапа Максимыча дочку? Жирная такая да сонливая... Когда мы у Манефы с вами гостили, она тоже с отцом там была.

— Как не помнить? — ответил Марко Данилыч.— Давно знаю ее, с Дуней вместе обучались.

— Замуж вышла,— молвил Петр Степаныч.

И так он сказал это слово, как будто сегодня только узнал про им же состряпанное дельце.

— Какое же тут горе Манефе?..— удивился Марко Данилыч.— Не в черницы же она ее к себе прочила.

— Прочить в черницы, точно, не прочила,— сказал Петр Степаныч.— Я ведь каждый год в Комарове бываю, случалось там недели по три, по четыре живать, оттого ихнюю жизнь и знаю всю до тонкости. Да ежели б матушке Манефе и захотелось иночество надеть на племянницу, не посмела бы. Патап-от Максимыч не пожалел бы сестры по плоти, весь бы Комаров вверх дном повернул.

— Так чего же ради горевать матушке, что племянницу замуж выдали? — спросил Марко Данилыч.

— В том-то и дело, что ее не выдавали... Уходом!.. Умчали!.. А умчали-то из Манефиной обители.

Говорит, а сам хоть бы мигнул лишний разок, точно не его дело.

— Ай-ай-ай!.. Как же это не доглядела матушка!.. У нее завсегда такой строгой порядок ведется. Как же это она такого маху дала?..— качая головой, говорил Марко Данилыч.

— Самой-то не было дома, в Шàрпан соборовать ездила. Выкрали без нее...— ответил Самоквасов.— И теперь за какой срам стало матушке Манефе, что из ее обители девица замуж сбежала, да еще и венчалась-то в великороссийской!.. Со стыда да с горя слегла даже, заверяет Таифа.

— Вот, чать, взбеленился Чапурин-от!..— сказал Марко Данилыч.

— Радехонек, такие, слышь, пиры задавал на радостях, что чудо. По мысли зять-то пришелся,— отвечал Петр Степаныч.

— Да кто таков? — с любопытством спросил Смолокуров.

— Знакомый вам человек,— ответил Самоквасов.— Помните, тогда у матушки Манефы начетчик был из Москвы, с Рогожского на Керженец присылали его по какому-то архиерейскому делу.

— «Искушение»-то? — весело спросил Марко Данилыч.

— Он самый!..

— Ха-ха-ха-ха! — на всю квартиру расхохотался Смолокуров.— Да что ж это вы с нами делаете, Петр Степаныч? Обещали смех рассказать да с полчаса мучали, пока не сказали... Нарочно, что ли, на кончик его сберегали! А нечего сказать, утешили!.. Как же теперь «Искушение»-то? Как он к своему архиерею с молодой-то женой глаза покажет... В диакониссы, что ли, ее?.. Ах он, шут полосатый!.. Штуку-то какую выкинул!.. Дарья Сергевна! Дунюшка! Подьте-ка сюда — одолжу! Угораздило же его! Ха-ха-ха!..

Вошла Дарья Сергевна с Дуней. Марко Данилыч рассказывал им про женитьбу Василья Борисыча. Но не заметно было сочувствия к его смеху ни в Дарье Сергевне, ни в Дуне. Дарья Сергевна Василья Борисыча не знала, не видывала, даже никогда про него не слыхала. Ей только жалко было Манефу, что такой срам у нее в обители случился. Дуня тоже не смеялась... Увидав Петра Степаныча, она вспыхнула вся, потупила глазки, а потом, видно, понадобилось ей что-то, и она быстро ушла в свою горницу.

На прощанье с гостями Марко Данилыч, весело улыбаясь, сказал Самоквасову:

— А что же, Петр Степаныч, как у нас будет насчет гулянок? Больно хочется мне Дунюшку повеселить да кстати и Зиновья Алексеича дочек... Помнится, какой-то добрый человек похлопотать насчет этого вызвался...

— В театр имели сегодня намерение? — весело отвечал обрадованный Самоквасов.— Я сим же моментом за билетами.

— Нет, Петр Степаныч, насчет театра надо будет маленечко обождать,— сказал Марко Данилыч.— Вечо̀р советовались мы об этом с Зиновьем Алексеичем и с Татьяной Андревной—положили оставить до розговенья... Успенье-то всего через неделю. Все-таки, знаете, лучше

будет, ладнее. Нынешний-от пост большой ведь, наряду с великим поставлен, все одно, что первая да страстная. Грешить, так уж грешить в мясоед... Все-таки меньше ответу будет на том свете.— И, обращаясь к Веденееву, примолвил: — правду аль нет говорю я, Дмитрий Петрович?

— Оно каждому как по его рассужденью,— уклончиво ответил Дмитрий Петрович.— Впрочем, и то сказать, театр не убежит, побывать в нем завсегда будет можно.

— Мы вот что сделаем,— сказал Марко Данилыч.— До розговенья по Оке да по Волге станем кататься. У меня же косные теперь даром в караване стоят.

— И распрекрасное дело,— кудрями тряхнув, весело молвил и даже пальцами прищелкнул удалой Петр Степаныч.—Когда же?

— Да хоть сегодня же, только что жар свалит,— сказал Смолокуров.— Сейчас пошлю, сготовили бы косную, а мало — так две.

— Записочку-с! — протягивая руку, молвил Петр Степаныч Марку Данилычу.

— Какую?

— К караванному к вашему — отпустил бы косных, сколько мне понадобится. Остальное наше дело. Об остальном просим покорно не беспокоиться. Красны рубахи да шляпы с лентами есть?

— Есть на двенадцать гребцов,— отвечал Марко Данилыч.

— А павлиньи перушки тоже водятся? — спросил Петр Степаныч.

— Перушки у нас не водятся,— сказал Марко Данилыч.

— Слушаем-с,— отозвался Самоквасов.— Все будет в должной исправности-с.

— Быть делу так,— молвил Марко Данилыч, отходя к столу, где лежали разные бумаги, конторские книги и перья с чернильницей.

Написав записку Василью Фадееву, Марко Данилыч отдал ее Самоквасову и примолвил:

— Ваше дело, сударь, молодое. А у молодого в руках все спорится да я́глится [1], не то, что у нас, стариков. По-

[1] *Яглиться* — поволжское слово, употребляемое от Нижнего до Астрахани, значит — двигаться, шевелиться, сгибаться, а говоря о деле каком — спориться, ладиться, клеиться.

хлопочите, сударь Петр Степаныч, пожалуйста, оченно останемся вами благодарны и я и Зиновий Алексеич. Часика бы в три собрались мы на Гребновской, да и махнули бы оттоль куда вздумается — по Волге, так по Волге, по Оке, так по Оке... А на воде уж будьте вы нашим капитаном. Как капитан на пароходе, так и вы у нас на косной будете... Из вашей воли, значит, не должен никто выступать... Идет, что ли, Петр Степаныч? — примолвил Смолокуров, дружелюбно протягивая руку Самоквасову.

— Принимаем-с,— с веселой усмешкой ответил Петр Степаныч.— Значит, из моей воли никто не смей выходить. Это оченно прекрасно!.. Что кому велю, тот, значит, то и делай.

— Да ты этак, пожалуй, всех перетопишь! — засмеялся Марко Данилыч.— «Полезай, мол, все в воду»... Нечего тут будет делать! Поневоле полезешь!

— Безумных приказов от нас, Марко Данилыч, не ждите. Насчет эвтого извольте оставаться спокойны. А куда ехать и где кататься, это, с вашего позволенья, дело не ваше... Тут уж мне поперечить никто не моги.

— Только послушай его,— трепля по плечу Петра Степаныча, ласково молвил Марко Данилыч.— А вы, Дмитрий Петрович, пожалуете к нам за компанию? Милости просим.

Веденеев благодарил Марка Данилыча и напросился, что и ему было дозволено сообща с Петром Степанычем устраивать гулянье и быть на косной если не капитаном, так хоть кашеваром.

— Что ж вы нам кашу варить будете? — шутливо спросил у него Марко Данилыч.

— Кашу ли, другое ли что, это уж мне предоставьте,— улыбаясь, ответил Дмитрий Петрович.

— Кашу-то вместе сварим,— сказал Самоквасов.— Засим счастливо оставаться,— примолвил он, обращаясь к Смолокурову.— Часика в три этак, значит, припожалуете?

— Ладно, ладно,— говорил Марко Данилыч.— Эх, молодость, молодость!.. Так и закипела... Глядя на вас, други, и свою молодость воспомянешь.. Спасибо вам, голубчики!

Расстались, и Самоквасов с Веденеевым поехали прямо на Гребновскую.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Солнце стояло еще высоко, когда разубранная, разукрашенная косная отвалила от пристани. Впереди лодки, на носу, сидят восемь ловких, умелых гребцов в красных кумачовых рубахах и в поярковых шляпах с подхватцем, убранных лентами и павлиньими перьями. Всё удосужили Самоквасов с Веденеевым. Дружно и мерно сильные руки гребцов рассекают длинными веслами воду, и легкая косная быстро летит мимо стай коломенок и гусянок [1], что стоят на якоре вдоль берегов. С гребцами шесть человек песенников; взял их Самоквасов на вечер из московского хора, певшего в одном из лучших трактиров. Все певцы одеты одинаково, в голубые канаусовые рубахи-косоворотки, обшитые серебряным позументом, все в шляпах кашниках, перевитых цветочными кутасами [2]! Середи косной, вплоть до самой кормы, стоит на железных прутьях парусный намет [3] для защиты от солнца, а днище лодки устлано взятыми напрокат у кавказского армянина персидскими коврами; на скáмьи, что ставлены вдоль бортов, положены мягкие матрацы, крытые красным таганским сукном [4] с золотым позументом. Таково краснó разубрал Петр Степаныч косную с помощью нового своего знакомца Веденеева.

Еще до отвала, когда гости подъехали к пристани, Марко Данилыч не узнал косной. С довольным, веселым видом тотчас он стал журить молодых людей:

— Что это вы вздумали? Это на что? Эх, грозы-то на вас нет! Как вам это не стыдно, Петр Степаныч, в такой изъян входить? Не могли разве мы покататься в простой косной? Глядика-сь чего тут понаделали!.. Ах, господа, господа! Бить-то вас некому!

---

[1] *Коломенка* — барка от пятнадцати до двадцати сажен длины, поднимает от семи до двенадцати тысяч пудов груза. *Гусянка* — крытая барка с четвероугольною палубой, свешенною к корме и к носу (не как у тихвинки или шитика, у тех палубы округлые), в длину бывает до двадцати сажен и грузу поднимает пудов тысяч по десяти и больше.

[2] *Цветочный кутас* — гирлянда из цветов, плетеница, длинный венок.

[3] Тент.

[4] Цветочные сукна, выделываемые на фабрике Понятовского при селе Таганче (Каневского уезда, Киевской губернии), известны в ярмарочной торговле под именем *таганских*.

Сиял радостью Петр Степаныч, слушая попреки смолокуровские и по лицу замечая, что Дуне нравится разубранная на славу косная.

— Уговор помните, Марко Данилыч? — молвил Самоквасов.

— Какой еще уговор?

— А ведь я говорил вам, чтобы мне никто не мешал и ни в чем бы со мною не спорил... Забыли?

— Да могло ль прийти в голову, что вы эдак деньгами швырять станете? Ведь за все за̀ это на плохой конец ста полтора либо два надо было заплатить!.. Ежели б мы с Зиновеем Алексеичем знали это наперед, неужто бы согласились ехать с вами кататься?

— Поздно теперь рассуждать,— молвил Петр Степаныч.— Милости просим в косную.

Расселись по скамьям: Марко Данилыч с Дуней, Доронин с женой и с обеими дочерьми. Петр Степаныч последний в лодку вошел и, отстранив рукой кормщика, молодецки стал у руля.

— Уговор помните, Марко Данилыч? — спросил он у Смолокурова.

— Какой еще?

— А давеча, вот при Дмитрии Петровиче говорили, чтоб мне на косной быть за капитана и слушаться меня во всем.

— Ну так что же?

— Нет, я это так только сказал... К слову, значит, пришлось...— молвил Петр Степаныч и молодецки крикнул:

— Эй вы, гребцы-молодцы! Чур не зевать!..— и, повернув рулем, стал отваливать.

Косная слегка покачнулась и двинулась.

— Права греби, лева табань [1]! — громким голосом крикнул Петр Степаныч, по его веленью гребцы заработали, и косная, проплыв между тесно расставленными судами, выплыла на вольную воду [2].

— Молись богу, православные! — снимая шапку, крикнул Петр Степаныч.

---

[1] *Та̀банить, тава́нить*, нередко *тала́нить*—грести веслом назад. Гребля с одного бока вперед, а с другого назад употребляется при заворотах лодки.

[2] На которой нет ни судов, ни лодок.

Разом гребцы поставили двенадцать весел торчком к небу и, сняв шляпы, но не вставая со скамей, принялись креститься. И другие бывшие в косной обнажили головы и сидя крестились.

— Дай бог добрый час! — молвил Марко Данилыч, кончив молитву.

— Весла! Оба греби! Дружнее, ребята, дружней! — кричал Самоквасов.

Быстро косная вылетела на стрежень [1] и понеслась вверх по реке. Высятся слева крутые, высокие горы красноватой опоки, на венце их слышатся барабаны, виднеются кучки солдат. Там лагерь — ученье идет... Под горой пышет парами и кидает кверху черные клубы дыма паровая мукомольня, за ней версты на полторы вдоль по подолу тянется длинный ряд высоких деревянных соляных амбаров, дальше пошла гора, густо поросшая орешником, мелким березником и кочерявым [2] дубняком. Направо, вдоль лугового берега, тянутся длинные подгородные слободы, чуть не сплошь слившиеся в одну населенную местность. Красиво и затейливо они обстроены — дома все большие, двухъярусные, с раскрашенными ставнями, со светелками наверху, с балкончиками перед ними. Чуть не у каждого дома на воротàх либо на балкончике стоит раскрашенная маленькая расшива, изредка пароходик. Из слобод и со всего левого берега несется нескончаемый, нестройный людской гомон [3], слышится скрип телег, ржанье лошадей, блеянье пригнанных на убой баранов, тяжелые удары кузнечных молотòв, кующих гвоздь и скобы в артельных шиповках [4], звонкий лязг перевозимого на роспусках [5] к стальным заводам полосового железа, веселые крики и всплески купальщиков, отдаленные свистки пароходов. Все сливается в

---

[1] Фарватер.

[2] *Кочерявый, коряжистый* — суковатый, кривоствольный кустарник. Кочерявый дуб вырастает от корней срубленного, но не выкорчеванного (вырытого с корнем) леса. Он годится только на дрова.

[3] *Гомон* — громкий, нестройный шум от множества человеческих голосов, в котором за отдаленностью или за сильным криком нельзя распознать ни единого слова.

[4] В так называемых *шиповках* куют гвозди и скобы для судов. Работа большей частью артельная. У каждого наковальня и железо свои, а уголь общий.

[5] *Роспуски* — станок, дроги для перевозки клади.

один, никаким словом невыразимый поток разнородных звуков.

Летит косная, а на ближних и дальних судах перекликаются развалившиеся на палубах под солнопеком бурлаки, издалека доносятся то заунывные звуки родимой песни, то удалой камаринский наигрыш [1] второй Сизовской гармоники [2]. Всюду ключом кипит жизнь промышленная, и на воде и на суше. А там, дальше, вверх по реке, друг за дружкой медленно, зато споро, двигаются кладнушки с покатыми шире бортов палубами, плоскодонные уемистые дощаники [3], крытые округлою палубой шитики, на ходу легче тех судов нет никакой посудины [4]. Тянутся суденышки не как по Волге — там их тянут бурлаки, здесь лошади тащат речные суда. Идут себе шажком по бечевнику крепкие, доброезжие обвенки [5] и тянут судно снастью, привязанною к дереву [6]. На Волге сделать того невозможно — таковы у ней берега.

Несется косная по тихому лону широкой реки, вода что зеркало, только и струится за рулем, только и пенится что веслами. Стих городской и ярманочный шум, настала тишь, в свежем прохладном воздухе не колыхнет. Петр Степаныч передал руль кормщику и перешел к носу лодки. Шепнул что-то песенникам, и тотчас залил-

---

[1] *Наигрыш* — старинное слово, в киевских былинах употребляемое,— голос песни, напев.

[2] Гармоники изобретены не более пятидесяти лет тому назад туляком Сизовым. Они давно уже совсем вытеснили старинную нашу балалайку. Гармоник, исключительно тульской работы, на одной Макарьевской ярманке продается каждый год до 250 тысяч штук. Сорты гармоник: пятитонная в 10 к., семитонная в 20 к., редкая от 25 до 30 к., вторная от 35 до 45 к., двухсторонняя от 50 до 65 к., детский свист от 50 до 90 к., трехвторная от 1 р. 30 к. до 1 р. 80 к., десятинная от 2 до 3 р. Высшие сорта есть по 5 и 6 рублей.

[3] *Кладнушка* — небольшое плоскодонное судно длиной сажен в шесть. *Дощаник* — с палубой не над всем судном, а только над серединой — гребное, а в случае благоприятной погоды и парусное. *Шитик* — мелкое судно, крытое округлою палубой. Шитик и дощаник поднимают до тысячи пудов грузу. Кладнушка — тысяч до двух.

[4] *Посуда, посудина* — всякое парусное судно на Волге, кроме лодок.

[5] *Обвенки* — крепкие малорослые лошади, первоначально разведенные на реке Обве (Пермской губернии) Петром Великим. Их также называют *вятками*.

[6] *Дерево* — мачта на судне; *снасть* — не очень толстый канат.

ся переливчатыми, как бы дрожащими звуками кларнет, к нему пристал высокий тенор запевалы, песенники подхватили, и над широкой рекой раздалась громкая песня:

Уж вы, горы ль мои, горы, круты горы да высокие,
Ничего-то на вас, горы, не повыросло;
Вырастал на вас един только ракитов куст,
Расцветал на вас един только лазорев цвет.
Как на том ли на кусту млад сизой орел сидит,
Во когтях держит орел черна ворона.
Он и бить его не бьет, только спрашивает:
«Где ты, ворон, побывал, что ты, черный, повидал?»
— А я был-побывал во саратовских степях,
А я видел-повидал чудо дивное...
Растет тамо не ракитов куст,
Цветет тамо не лазорев цвет,
Как растет ли порастает там ковыль-трава,
А на той ковыль-траве...

— Шабаш! — крикнул Самоквасов. Не хотел он, чтоб песенники продолжали старинную песню про то, как на лежавшее в степи тело белое прилетали три пташечки: родна матушка, сестра да молода вдова. Пущай, мол, подумает Авдотья Марковна, что про иное диво чудное в песне пелося — пущай догадается да про себя хоть маленько подумает.

— Что не дал допеть? — спросил у Самоквасова Марко Данилыч.—Песня годная.

— Очень заунывна,— молвил Петр Степаныч.— Катай, ребята, веселую!..— крикнул он песенникам.

Залилась веселая песня:

Ах ты, бражка, ты, бражка моя!
Дорога бражка подсыченная!
Что на речке ль бражку смачивали,
На полатях рассолаживали,
Да на эту ль бражку нету питухов,
Нет удалых добрых молодцев у нас.

И под песенку о бражке Петр Степаныч с Веденеевым из серебряной раззолоченной братины пошли разливать по стаканам «волжский квасок». Так зовется на Волге питье из замороженного шампанского с соком персиков, абрикосов и ананасов.

Стали гостей «кваском» обносить. Марко Данилыч с Зиновьем Алексеичем опять стали журить молодых людей:

— Бога не боитесь вы, что вздумали!.. Сами, что ль, деньги-то делаете, аль они к вам с неба ва́лятся!.. Бесшабашные вы, безумные!

Однако взяли по стаканчику и с удовольствием выпили во славу божию, потом повторили и еще повторили.

Вышло так, что, обойдя старших, в одну и ту же минуту Петр Степаныч поднес стакан Дуне Смолокуровой, а Дмитрий Петрович — Наталье Зиновьевне. Палючими глазами глядят оба на красавиц.

Багрецом белоснежное нежное личико Дуни подернулось, когда вскинула она глазами на пышущего здоровьем, отвагой и весельем, опершись в бок левой рукой стоявшего перед ней со стаканом Самоквасова. Хочет что-то сказать и не может.

— Пожалуйте-с! — говорит ей Петр Степаныч.— Сделайте такое ваше одолжение!

А сам ног под собой не слышит. Так бы вот и кинулся, так бы и расцеловал пурпуровые губки, нежные ланиты, сверкающие чудным блеском глаза.

Молчит Дуня. Сгорела вся.

— Не задерживайте-с!.. Покорно прошу! — шепчет, наклонясь к ней, Петр Степаныч.

У Дуни слеза даже навернулась. Не знает, куда ей деваться.

— Что ж ты, Дунюшка, не берешь? — весело молвил ей Марко Данилыч.— Возьми, голубка, не чинись, с этого питья не охмелеешь. Возьми стаканчик, не задерживай капитана. Он ведь теперь над нами человек властный. Что прикажет, то и делай — на то он и капитан.

Дрожащей рукой взялась Дуня за стакан и чуть не расплескала его. Едва переводя от волнения дух, опустила она подернутые непрошеной слезою глаза.

Дорониных Дмитрий Петрович прежде не знал; впервые увидал их на пристани. Когда рассаживались в косной по ска̀мьям, досталось ему место прямо против Наташи... Взглянул и не смог отвести очей от ее красоты. Много красавиц видал до того, но ни в одной, казалось ему теперь, и тени не было той прелести, что пышно сияла в лучезарных очах и во всем милом образе девушки... Не видел он величавого нагорного берега, не любовался яркими цветными переливами вечернего неба, не глядел на дивную игру солнечных лучей на желтоватом лоне широкой, многоводной реки... И величие неба, и прелесть

водной равнины, и всю земную красу затмила в его глазах краса девичья!.. Облокотясь о борт и чуть-чуть склонясь стройным станом, Наташа до̀ локтя обнажила белоснежную руку, опустила ее в воду и с детской простотой, улыбаясь, любовалась на струйки, что игриво змеились вкруг ее бледно-розовой ладони. Слегка со скамьи приподнявшись, Веденеев хочет взглянуть, что там за бортом она затевает... Наташа заметила его движенье и с светлой улыбкой так на него посмотрела, что ему показалось, будто небо раскрылось и стали видимы красоты горнего рая... Хочет что-то сказать ей, вымолвить слова не может... Тут подозвал его Самоквасов на подмогу себе разливать по стаканам волжский квасок... Подавая Наташе стакан, Веденеев опять-таки слов доискаться не мог, не мог придумать, что бы такое ей молвить. Горячею кровью обливается и сладостно трепещет его сердце... Когда же, принимая стакан, Наташа с младенческой улыбкой бросила на него ясный, приветливый взор, тихо сиявший чистотой непорочной души, Веденеев совсем обомлел... А слов все-таки придумать не может... Сам на себя не может надивиться — смел и игрив он в последнее время среди женщин бывал, так и сыпа̀л перед ними речами любезными, веселил их шутками и затейными разговорами, а теперь же слова промолвить не может. Какая-то застенчивость крепко связала язык...

Не укрылось это от «капитана». Подошел он к запевале, шепнул ему что-то и отошел к корме. Запевало в свою очередь пошептался с песенниками и, глядя на Самоквасова, ждал.

— Гей!.. Певцы-молодцы!.. Развесе́ленькую!..— крикнул Петр Степаныч.

Грянула живая, бойкая песня:

Здравствуй, светик мой Наташа,
Здравствуй, ягодка моя!
Я принес тебе подарок,
Подарочек дорогой.
Подарочек дорогой:
С руки перстень золотой,
На белу́ю грудь цепочку,
На шеюшку жемчужок!
Ты гори, гори, цепочка,
Разгорайся, жемчужок!
Ты люби меня, Наташа,
Люби, миленький дружок!

Не догадываясь, что песня поется по заказу Петра Степаныча, Веденеев еще больше смутился при первых словах ее. И украдкой не смеет взглянуть на Наталью Зиновьевну. А она, веселая, игривая, кивает сестре головкой и с детской простотой говорит:

— Лиза, ведь это моя песенка, мне поют ее.

Лизавета Зиновьевна только улыбнулась, оправила на сестре взбившийся кисейный рукав, но в ответ ничего не промолвила.

— Говорят: «Сказка — складка, а песня — быль»,— усмехнулся, вслушавшись в Наташины слова, Марко Данилыч.— Пожалуй, скоро и в самом деле сбудется, про что в песне поется. Так али нет, Татьяна Андревна?..

— Все во власти господней,— улыбаясь тихонько, проговорила ему Татьяна Андревна.

Наташа смеялась и весело на всех посматривала. А Дмитрий Петрович — хоть в воду, так впору.

Солнце все ниже и ниже, косная все дальше и дальше по темной глади речной. Медленно тускнут лучи дневного светила, полупрозрачные тени багряно-желтых облаков темно-лиловыми пятнами стелются по зеркальной водной поверхности, а высокая зеленая слуда [1] нагорного берега, отражаясь в прибрежных струях, кажется нескончаемой, ровно смоль черной полосою. Под слудой пышут огнем и брызжут снопами рассыпчатых огненных искр высокие трубы стального завода, напротив его на луговом, таловом [2] берегу там и сям разгораются ради скудного ужина костры коноводов [3]. По реке вдоль и поперек тихо, чуть слышно разъезжают в маленьких ботниках ловцы-удальцы [4], раскидывая на ночь шашковые снасти для стерляжьего лова [5]. Вот по слуде жел-

---

[1] *Слуда* — высокий, бугристый, поросший лесом берег большой реки.

[2] Поросший тальником, то есть кустарной ивой, вербой, salix amigdalina, иначе лоза, шелюга.

[3] *Коноводами* зовутся на Оке бурлаки на судах, которые тянутся лошадьми.

[4] На Волге и в устьях Оки рыболовов зовут ловцами, а не рыбаками. Рыбак — это торговец рыбой.

[5] Черная, или шашковая, снасть — длинная веревка *(хребтина)*, которую опускают на дно; к ней на веревочках прикреплены железные крючки *(кованцы)*. Каждый крючок держится в воде от хребтины вверх посредством шашки *(поплавка)* из деревянной чурки, держащейся в верхних слоях воды.

той ленточкой вьется середь низкорослого чапыжника[1] дорожка к венцу горы, к Ровнеди, где гордо высится роща полуторастолетних густолиственных дубов Последний бедный остаток дремучих дубовых лесов, когда-то сплошь покрывавших нагорный берег Оки. От Ровнеди как бы отщепилась скала и нависла над рекой. Она тоже поросла дубами и внизу вся проточена прорытыми для ломки алебастра пещерами. То место Островом зовется. Красив, величав вид на эти места с водной равнины Оки. Шуми, шуми, зеленая дуброва, зеленейте, дубы, предками холеные, возращенные! Пока жив я, не коснется топор древних стволов ваших! Шуми, лес, зеленей, родная дуброва[2]!

На косной меж тем широкой рукой идет угощенье. В ожиданье привала к ближайшей ловецкой ватаге чая не пили. Подносы с мороженым, конфетами и волжским кваском Петр Степаныч и Дмитрий Петрович то и дело гостям подносили. Доволен-предоволен был Марко Данилыч, видя, как его чествуют; не ворчит больше за лишнюю трату денег... «Добрые парни,— думает он,— умны и разумны, один другого лучше». И Дуня и судьба ее при этом забрели на мысли почтенного рыбника. «Что ж,— думает он,— дочь — чужое сокровище, расти ее, береги, учи разуму, а потом, рано ли, поздно ли, в чужи люди отдай!..»

А девицы расшутились, красные развеселились — может быть, от волжского кваску. Живо и резво заговорила с подругами молчаливая Дуня, весело смеялась, радостно щебетала нежная Наташа, всегда думчивая, мало говорливая Лизавета Зиновьевна будто забыла денноощную заботу о тяжкой разлуке с женихом — расшутилась и она. Татьяна Андревна по-своему благодушествовала; она осыпа́ла теплыми, задушевными ласками Самоквасова с Веденеевым, то журила их за лишние расходы, то похваливала, что умеют старшим уважить. А Марко Данилыч с Зиновьем Алексеичем меж собой повели разговоры, пошла у них беседа про торговые дела. Об меркуловском тюлене ни полслова. То разумеет Марко Данилыч: брат братом, а свя́ты денежки хоть в одном месте у царя деланы, а меж собой

---

[1] *Чапыжник* — частый, едва проходимый кустарник.

[2] Ровнедь и Остров входят в состав владений автора.

не родня. Дружба, родство — дело святое, торги́ да промыслы — дело иное.

И Ровнедь минули, и Щербинскую гору, что так недавно еще красовалась вековыми дубовыми рощами, попавшими под топор промышленника, либо расхищенными людом, охочим до чужого добра. Река заворотила вправо; высокий, чернеющий чапыжником нагорный берег как бы исполинской подковой огибал реку и темной полосой отражался на ее зеркальной поверхности. Солнце еще не село, но уж потонуло в тучах пыли, громадными клубами носившейся над ярманкой. В воздухе засвежело; Татьяна Андревна и девицы приукутались.

— Не назад ли? — обратился Марко Данилыч к Самоквасову.

— Я капитан, воля моя; по-мо̀ему, рано еще ворочаться,— подхватил Петр Степаныч.

И крикнул гребцам:

— Живей, живее, ребята! Глубже весло окунай, сильней работа̀й — платы набавлю!

Дружно гребцы приударили, косная быстрей полетела.

Марко Данилыч с Зиновьем Алексеичем продолжали беседу о торговых делах. Об векселях зашла речь.

— Ни на̀ что стало не похоже,— заговорил Смолокуров.— Векселя у тебя, а должник и ухом не ведет. Возись с ним, хлопочи по судам. Не на дело трать время, а на взысканья. А взыскивать станешь — пять копеек за рубль. А отчего? Страху не стало, страху нет никакого... Конкурсы, администрации?.. Одна только повадка!.. От немцев, что ли, такую выдумку к нам занесли, только не по плечу она нам скроена да сшита... А ты вот как сделай: вышел векселю срок, разговоров не размножай, а животы продавай [1]; не хватает, сам иди в кабалу, жену, детей закабали. Так бывало в стары годы, при благочестивых царях, при патриархах... Не то Сибирь — заселяй ее должниками, люди там нужны... А теперь что это такое? Мошенникам житье, а честному купцу только убытки... А вон зачали еще толковать, чтоб и яму порушить, должника неисправного в тюрьму бы не сажать! Да что ж после этого будет? Как липочку, всех обдерут.

---

[1] Имение.

Что ж после этого будет значить вексель? Одна пустая бумага. Так али нет говорю, Зиновей Алексеич?

— Оно, пожалуй бы, что и так, Марко Данилыч,— отозвался Доронин.— Только уж это не больно ли же́стоко будет? Легко сказать, в кабалу! Да еще жен и детей!

— Уложено́ так царем Алексием Михайловичем, когда еще он во благочестии пребывал, благословлено святейшим Иосифом патриархом и всем освященным собором. Чего тебе еще?.. Значит, святым духом кабала-то уставлена, а не заморскими выходцами,— горячился Марко Данилыч.— Читывал ли ты «Уложение» да «новоуказные статьи»? Прочитай, коли не знаешь.

— Знаю я их, Марко Данилыч, читывал тоже когда-то,— ответил Доронин.— Хорошо их знаю. Так ты и то не забудь, тогда было время, а теперь другое.

— Что ж, по-твоему? Иосиф-от патриарх без ума, что ли, подписом своим те правила утверждал? — вспыхнув досадой на противоречие приятеля, возвысил голос Марко Данилыч.— Не греши, Зиновей Алексеич, то памятуй, что праздное слово на страшном су́дище взыщется. Ведь это, прямо сказать, богохульство. Так али нет?

— Какое же тут богохульство? — с живостью возразил Зиновий Алексеич.— Год на̀ год, век на́ век не подходят. Всякому времени довлеет злоба его. Тогда надо было кабалу, теперь другое дело. Тогда кабала была делом благословенным, теперь не то.

— Времена мимо идут, слово же господне не мимо идет,— тяжело вздохнув и нахмурясь, молвил Марко Данилыч.

— Так господнее слово, а не человеческое,— слегка улыбнувшись, заметил Зиновий Алексеич.

— А святые-то отцы на что? Каково, по-твоему, ихнее-то слово?—сумрачно спросил у него Марко Данилыч.

— Непреложно,— ответил Доронин.

— А Иосифа патриарха выкинешь разве из святых-то? — задорно спросил Смолокуров.

— Свят ли он, не свят ли, господь его ведает, знаем только, что во святых он не прославлен,— молвил Зиновий Алексеич.— Да и то сказать, кажись бы не дело ему по торговле да кабалам судить. Дело его духовное!

— Богохульник ты, одно слово, что богохульник!..— воскликнул Марко Данилыч.— Как можно на святейшего патриарха такие хулы возносить...

— Никто насчет кабалы с тобой согласен не будет...— немножко помолчавши, сказал Зиновий Алексеич.

— Ой ли? — с усмешкой сказал Смолокуров.— Дмитрий Петрович! А Дмитрий Петрович!

Но Дмитрий Петрович не слышит, загляделся он на Наташу и заслушался слов ее в разговоре с сестрой да с Дуней. Тронул его Смолокуров за плечо и сказал:

— Человек вы ученый, разрешите-ка наш спор с Зиновием Алексеичем. Как, по-вашему, надо по векселям долги строже взыскивать аль не надо?

— То есть как это? — спросил, не понимая, в чем дело, Дмитрий Петрович.

— Ну вот, к примеру сказать про Красилова, Якова Дмитрича. Слыхали про его обстоятельства?

— Не платит, говорят,— молвил Веденеев.

— Объявился несостоятельным: вчера об этом я письмо получил. Моих тысячи тут за три село,— продолжал Марко Данилыч.— Администрацию назначат либо конкурс. Ну и получай пять копеек за рубль. А я говорю: ежели ты не заплатил долгу до последней копейки, иди в кабалу, и жену в кабалу и детей — заработали бы долг... Верно ли говорю?

— Нет, Марко Данилыч,— отвечал Веденеев.— Помоему, не так...

— А как же? — вскликнул Смолокуров.— Благочестивыми царями так уставлено, патриархом благословлено...

— Двести лет назад можно было в кабалу отдавать, а теперь нельзя,— сказал Дмитрий Петрович.— Господень закон только вечен, а людские законы временные, потому они и меняются.

— Ладно, хорошо,— молвил Смолокуров.— А как, по-вашему, Евангелие вечно?

— Вечно,— ответил Веденеев.

— А помните ль, что там насчет должников-то писано? — подхватил Марко Данилыч.— Привели должника к царю, долгов на нем было много, а расплатиться нечем. И велел царь продать его, и жену его, и детей, и все, что имел. Христовы словеса, Дмитрий Петрович?

— Так ведь это в притче сказано,— возразил Дмитрий Петрович.— А в повелении Христовом, в молитве господней что сказано? «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим».

— Увертки не хватки, Дмитрий Петрович,— молвил с досадой Марко Данилыч.

— По-моему, никаких бы взысканий по векселям не делать,— сказал Веденеев.— Коли деньги даете, так знайте кому. Верьте только надежному человеку.

— Вот еще что! — хмуря лоб, усмехнулся Смолокуров.— Значит, после этого векселю и веры нет никакой?

— То-то и есть, Марко Данилыч,— подхватил Веденеев,— что у нас не по-людски ведется: верим мы не человеку, а клочку бумаги. Вера-то в человека иссякла; так не на совесть, а на суд да на яму надежду возлагаем. Оттого и банкротства.

— А ежели в человеке совести-то нет? — возразил Смолокуров.

— Такому не верьте.

— Да кто ему в душу-то влезет? — с жаром молвил Марко Данилыч.

— Кого хорошо не знаете, того не кредитуйте,— отвечал Веденеев.

— Значит, и векселей не надо? — насмешливо спросил Марко Данилыч.

— Вексель нужен,— ответил Дмитрий Петрович,— но только для памяти. И для счетов он необходим.

— Пропадали у вас деньги в долгах?

— Бог милостив, копейки пока еще не пропало,— ответил Дмитрий Петрович.

— То-то и есть, оттого вы так и говорите. А вот как огреют вас разика три, четыре, так не бойсь другую песню запоете.

— Не запою,— уверенно отвечал Веденеев.

Ничего не сказал на то Марко Данилыч и обернулся назад, будто рассматривать темневшую больше и больше с каждой минутой даль.

Петр Степаныч стал на корму; гребцы сильней приударили в весла. Чайкой несется косная мимо низины под горным кряжем, ровно на крыльях летит она мимо дикого, кустарником заросшего ущелья, мимо длинного, высокого откоса Теплой горы. Миновав ту гору, Самоквасов

взял «право руля» [1], и косная, плавно повернувши влево, тихо пристала у берега. Там ярко горел и весело потрескивал огромный костер, а по песчаному прибрежью разостланы были ковры и на них расставлена столовая и чайная посуда. Самоквасов с Дмитрием Петровичем наперед в особой косной послали туда все нужное для гулянья. Выйдя из косной, Марко Данилыч опять забрюзжал: зачем молодежь так бестолково транжирит деньги. Петр Степаныч с Веденеевым ему на то ни слова не отвечали.

Подбежали к косной трое бойких ловцов, все трое одеты по-праздничному — в новых ситцевых рубахах, в черных плисовых штанах, с картузами набекрень. Петр Степаныч наперед откупил у них вечерний улов в шашковых снастях. По песку был раскинут невод из бо́тальной дели [2], изготовили его ловцы на случай, если купцы вздумают не только рыбу ловить, но на бель тони закидывать [3]. Одаль рашни́ и бо́тала лежали [4]. Тоже на всякий случай ловцы их припасли.

Сло́ва два молвил ловцам Самоквасов, и они, молодецки прыгнув в легкий бо́тник [5], стрелой полетели на стрежень. За ними в уго́н понеслась и косная. Став на середине реки, один ловец захватил конец хребтины, и, меж тем как товарищ его, спускаясь вниз по реке возле опущенной снасти, веслом работа́л потихоньку, он вытягивал ее понемногу в ботник, а третий ловец снимал с крюков стерлядей, когда они попадались. Косная следила за ними. Равнодушно глядел на стерляжью ловлю Марко Данилыч,— ему, владельцу обширных рыбных ватаг на волжском низовье, здешняя ловля казалась де-

---

[1] *«Право руля», «лево руля»* — волжские выражения. Взять право руля значит поворотить дышло руля вправо, тогда лодка или судно поворотит влево.

[2] *Бо̀тальная дель*—двойная рыболовная сеть. Снаружи—*режь*, то есть самая редкая сеть, по четверти аршина в каждой ячее; внутри ее другая сеть, частая. Делью называется всякая сеть.

[3] На Волге и низовьях Оки у ловцов *рыбой* зовется только осетровая порода, остальное — *бель* или *частѝк*.

[4] *Рашня* — то же, что *раковица* — снаряд для ловли раков — сетчатый кошель на обруче. *Бо̀тало* — шест с дощечкой или деревянным стаканом на конце; этим орудием «бо́тают» воду, то есть бьют обо дно и мутят ее для загона рыбы или раков в сети или в рашню.

[5] *Бо̀тник* — легкая маленькая рыбачья лодка, не больше как на трех человек.

лом пустяшным. «Вот если бы пуда в три осетра вытянули,— он говорил,— либо белугу, тогда бы дело иное, а это что? Плевое дело, одно баловство». Зато с веселым вниманьем следили за хребтиной девицы, не видавшие никогда рыбной ловитвы. Каждый раз, когда ловец снимал задетую за́ бок стерлядку, громко они с радости вскрикивали, брали ры́бину в руки, любуясь ею, пока не попадал крюк с новой стерлядкой. Не одну снасть вытащили, а каждая ста на четыре крючка была, но поймали только штук двадцать пять небольших стерлядей, три были покрупнее, а в одной от глаза до пера аршин с вершком, мерная [1], значит. Улов не богатый, зато все довольны, а больше всего были довольны ловцы, взявши за снасти чуть не вчетверо больше, чем бы выручили они от продажи рыбы на Мытном дворе [2].

К берегу пристали, на коврах уселись; Татьяна Андревна стала хозяйничать вкруг самовара; Марко Данилыч с Зиновьем Алексеичем за стаканами лянсина продолжали спор о векселях; Дуня немножко разговорилась с Самоквасовым, Дмитрий Петрович осмелел перед резвой, веселой Наташей. Одна Лизавета Зиновьевна, задумавшись, молча сидела возле матери, дела жениховы с ума у нее не сходили. Молчала Татьяна Андревна, изредка глубо́ко вздыхая; те ж невеселые думы бродили на мыслях у ней. А небо меж тем тускней становилось, солнце зашло, и вдали над желто-серым туманом ярманочной пыли широко раскинулись алые и малиново-золотистые полосы вечерней зари, а речной плес весь подернулся широкими лентами, синими, голубыми, лиловыми. Вдали край небосклона засверкал тысячами искр; это зажглись огни в фонарях, это огни заблистали в неисчетных зданиях ярманки.

— Неводко́м не будет ли в угоду вашей милости белячка половить? — снимая картуз и нагибаясь перед Самоквасовым, спросил старший ловец. По всем его речам и по всем приемам видно было, что он из бывалых, обхождению в трактирах обучился.

— Закидывай,— ответил ему Петр Степаныч и, не внимая ворчаньям Смолокурова, сам принялся хлопотать вкруг невода вместе с ловцами.

---

[1] *Мерными* на средней Волге зовут стерлядей в аршин и более; от трех четвертей до аршина зовется *полумерною*.

[2] Так называется рынок.

Проворно подвели к берегу новую лодку, уложили в нее двухсотсаженный невод, и возле ковра, где распивали чаи Смолокуровы с Дорониными, в землю пятной кол [1] вколотили. Прикрепив к нему мертвый кодо́л, тихо, веслами чуть касаясь воды, полегоньку поплыли ловцы поперек реки, выметывая из лодки пятно́е крыло невода. Доплыв до стрежня, поворотили они вдоль по теченью, выкинули мотню и, продолжая выметывать ходовое крыло, поворотили к берегу, причалили и на руках вынесли ходовой кодо́л [2].

— Маленько бы погодить вытаскивать-то, ваше степенство,— молвил ловец Самоквасову.— Тем временем порачить не желаете ли?

— Валяй,— сказал Петр Степаныч, и ловцы принялись за раков.

Босиком, штаны засучив выше колена, бойко ловцы похватавши рашни́ и бо́талы, бросились с ними на покрытую водою отмель. Одни воду толкут и мутят ее, загоняя раков, другие рашни́ расставляют. Набежали мальчишки, сами охотой полезли в реку и безо всяких снарядов принялись руками раков таскать из нор, нарытых в берегу под водою. Вынул ловец первую рашню — тихо возилось там десятка полтора крупных и мелких раков.

— Вот они! — молвил ловец, опрастывая рашню у ног Самоквасова, и потом, взявши за ус самого крупного рака, при́поднял его кверху и молвил: — Вот так мастеровой, скоро его не признаешь: по ножницам швец, по щетине чеботарь [3]. Два ро́га да не бык, шесть ног да без копыт!

Через четверть часа не одна уже сотня раков была наловлена.

— Будет,— молвил ловцам Самоквасов.— Тащите-ка невод теперь, молодцы. Посмотрим, чем бог благословил нашу ловлю.

---

[1] *Пятным колом* (от пята) называется кол, к чему привязывается конец невода, с которого начинают его закидывать.

[2] *Пятное крыло* — та половина невода, с которой начинается его выкидка в воду, затем следует *мотня* — середка невода; это кошель из самой частой и крепкой дели (сети), в которой при вытаскивании невода остается наловленная рыба. Крыло невода по другую сторону мотни называется ходовым. *Кодо́л* — веревка, на которую навязан невод; один конец ее, привязываемый к колу, называется *мертвым,* или *глухим,* противоположный — *ходовым.*

[3] *Ножницы* — клешни, *щетина* — усы.

Уговаривают ловцы повременить, чтоб бели набралось побольше, но уж темно становилось, и Самоквасов велел им тотчас за невод приняться.

Схватив концы кодóлов, ловцы потянули нá берег невод. Минут через десять мотня подошла; ее вытянули на песок: там трепетало с десяток красноперых окуней, небольшой с бледно-розовым брюшком лещ, две юркие щуки, четыре налима, десятка два ершей да штук пятьдесят серебристой плотвы. Улов незавидный. Кроме того, были в мотне пара раков да одна лягушка...

— Говорил, что надо подождать,— почесывая затылок, будто с обиженным видом молвил старшой из ловецкой артели.— Что это за тоня! Разве такие бывают! Только званье одно...

— Ничего, всей рыбы в Оке не выловишь. С нас и этой довольно,— молвил Петр Степаныч.— А вот что, мóлодцы. Про вас, про здешних ловцов, по всему нашему царству идет слава, что супротив вас ухи никому не сварить. Состряпайте-ка нам получше ушицу. Лучку, перчику мы с собой захватили, взяли было мы и кастрюли, да мне сказывали, что из вашего котелка уха в тысячу раз вкуснее выходит. Так уж вы постарайтесь! Всю мелкоту вали на привар. Жаль, что ершей-то больно немного поймали.

— Ничего, ваше степенство, плотвой, окунями добавим, да вот еще у нас два налима. Навар будет знатный — за первый сорт,— ответил ловец.— А щука да лещ в уху не годят [1],— прибавил он.

— Щук дарю, кушай их на здоровье, а леща мы зажарим,— молвил Петр Степаныч.— А как ты думаешь?.. Для навару-то раков в котелок не пустить ли?

— Зачем поганить уху? — крикнул с ковра Марко Данилыч.— Рак ведь погань, водяной сверчок, христианам есть его не показано. Вы бы уж и лягушку-то тоже в уху положили!

— Все раков едят,— молвил Петр Степаныч.

— Мало ль чего! Татары и кобылятину жрут, господа зайцев едят да похваливают. Вотяки с чувашами и житничками [2] не брезгают. Так им закон не писан, а мы люди крещеные, от мерзости нам вкушать не подобает. Нет уж, Петр Степаныч, пожалуйста, не паскудь ухи.

---

[1] То есть не годятся.

[2] *Житнички* — хлебные мыши, что водятся в житницах.

— Да оно и не годит раков-то класть,— молвил ловец,— не будет от них никакого навару.

— Ну, так ладно,— сказал Самоквасов.— Живей, ребята, берись за стряпню.

Ловцы проворно вычистили бель и подвесили котелок над маленьким, нарочно для стряпни разведенным костром. Всю бель свалили в котелок и потом принялись стерлядей потрошить.

— Дмитрий Петрович, вам досталось на нынешний день быть в кашеварах. Давайте-ка жарить леща,— сказал Веденееву Петр Степаныч, и оба тотчас принялись за работу.

— А хорошо ведь на вольном-то воздухе в таку пору середь друзей-приятелей доброй ушицы похлебать,— молвил Зиновий Алексеич, обращаясь к Марку Данилычу.

— Ничего, дело не плохое,— отвечал Смолокуров.— Тут главное дело — охота. Закажи ты в любой гостинице стерляжью уху хоть в сорок рублев, ни приятности, ни вкуса такого не будет. Главное дело охота... Вот бы теперь, мы сидим здесь на бережку,— продолжал благодушествовать Смолокуров,— сидим в своей компании, и семейства наши при нас—тихо, приятно всем... Чего же еще?

И, маленько помолчав, наклонился к Зиновию Алексеичу и тихо промолвил:

— А ты приходи-ка завтра пораньше ко мне, а не то я к тебе зайду. С тюленем бы надо покончить. Время тянуть нечего.

— Ладно, приду,— так же тихо ответил Доронин.— А сегодня я с нарочным письмо послал к Меркулову, обо всем ему подробно отписал. На пароход посадил с тем письмом молодца. В две недели обернется. Завтра потолкуем, а делу конец, когда ответ получу. Лучше как хозяйско согласье в руках — спокойнее...

— Напрасно,— насупившись, прошептал Смолокуров.— Как ему, сидя в Царицыне, знать здешни дела макарьевски? Смотри, друг, не заваляюсь бы у нас... Теперь-то согласен, а через два либо через три дня, ежели какая линия подойдет, может статься и откажусь... Дело коммерческое. Сам не хуже меня разумеешь.

— Конечно, это доподлинно так! Супротив этого сказать нечего,— вполголоса отозвался Доронин.— Только ведь сам ты знаешь, что в рыбном деле я на синь-порох

ничего не разумею. По хлебной части дело подойди, маху не дам и советоваться не стану ни с кем, своим рассудком оборудую, потому что хлебный торг знаю вдоль и поперек. А по незнаемому делу как зря поступить? Без хозяйского то есть приказу?.. Сам посуди. Чужой ведь он человек-от. Значит, ежели что не так, в ответе перед ним будешь.

— Да ведь у тебя доверенность?—с досадой тихонько молвил Марко Данилыч и, нахмурясь, засверкал глазами.

— Что ж из того, что доверенность при мне,— сказал Зиновий Алексеич.— Дать-то он мне ее дал, и по той доверенности мог бы я с тобой хоть сейчас по рукам, да боюсь, после бы от Меркулова не было нареканья... Сам понимаешь, что дело мое в этом разе самое опасное. Ну ежели продешевлю, каково мне тогда будет на Меркулова-то глаза поднять?.. Пойми это, Марко Данилыч. Будь он мне свой человек, тогда бы еще туда-сюда; свои, мол, люди, сочтемся, а ведь он чужой человек.

— Ой ли? — лукаво усмехнувшись, громко сказал Марко Данилыч.— Так-таки совсем и чужой? — прибавил он, ударив по плечу приятеля.

— Разумеется, чужой,— немножко смутившись, ответил Зиновий Алексеич.— Причитается племянником, сродником зовется, да какая ж в самом-то деле родня? Седьмая водина на квасине, на одном солнышке онучки сушили.

— Ладно, ладно,— с лукавой усмешкой трепля по плечу Зиновья Алексеича, сказал Марко Данилыч.— Так совсем чужой?

Доронин не сразу ответил, а Татьяна Андревна даже совсем обомлела. Уставив на Смолокурова зоркий, пристальный взор, она думала: «Неужто спроведал? От кого же это?.. Неужели Никитушка кому проболтался?» А Лизавета Зиновьевна, хоть солнце и село, а распустила зонтик и закрыла им смущенное лицо.

— Сказано тебе, какая родня,— сказал Зиновий Алексеич приставать Марку Данилычу.— Такой родни до Москвы не перевешаешь. А что человек он хороший, то верно, зато и люблю его и, сколько смогу, ему порадею.

— Не хитри, дружище! — молвил Смолокуров, погрозив пальцем.

— Чего хитрить-то мне? Для чего? — сказал Зиновий Алексеич.— Да и ты чудной, право, повел речь про дела, а свел на родство. Решительно тебе сказываю, раньше двух недель прямого ответа тебе не дам. Хочешь жди, хочешь не жди, как знаешь, а на меня, наперед тебе говорю, не погневайся.

— Да ты не ори,— шепотом молвил Марко Данилыч, озираясь на Веденеева.— Что зря-то кричать? А скажи-ка мне лучше, из рыбников с кем не покалякал ли? Не наплели ли они тебе чего? Так ты, друг любезный, не всякого слушай. Из нашего брата тоже много таковых, что ему сказать да не соврать — как-то бы и зазорно. И таких немалое число, и в каждом деле, какое ни доведись, любят они помутить. Ты с ними, пожалуйста, не растабарывай. Поверь мне, они же после над тобой будут смеяться.

Так говорил едва слышно Марко Данилыч, а Доронин слушал его и молчал. И тут вспало ему в голову: «С чего это он так торопится и ни с кем про тюленя говорить не велит? Уж нет ли тут какого подвоха?»

— Так смотри же ты у меня, Зиновей Алексеич, прималчивай покамест,— после недолгого молчанья стал опять ему шептать Марко Данилыч.— Две недели куда ни шли, можно обождать. Только уж, сделай милость, ни с кем про это дело и языка не распускай. Вот тебе перед богом, все дело перепортишь и мне и Меркулову. Поверь слову. И этому не моги говорить,— прибавил он, указывая глазами на отвернувшегося в сторону Веденеева.— Ты его не знаешь, а мы давно ведаем — птичка мала, да ноготок востер... А в голове-то ветер еще ходит. В деле недавно, а каких уж делов успел натворить. Пуще всего его берегись, его словам из наших рыбников никто не верит. Как узнал про какое дело, тотчас норовит помутить его, а не то и расстроить.

— Что же мне с ним говорить? С какой стати? — ответил Зиновий Алексеич.

— Уха сейчас готова! — крикнул Самоквасов.— Дмитрий Петрович, вы ведь у нас за кашевара, готовьте чашки да ложки скорее.

Веденеев на особом в сторонке разостланном коврике проворно расставил привезенную из города закуску: графинчики с разными водками, стерляжьей икры жестянку, балык донской, провесную елабужскую белорыби-

цу, отварные в уксусе грибы, вятские рыжички, керженские груздочки.

— Эк что наставили,— покачивая головой, сказал Дмитрию Петровичу Смолокуров.— Да этого, сударь, десятерым не съесть. Напрасно, право напрасно так исхарчились. Знал бы, ни за что бы в свете не поехал с вами кататься.

Однако подошел к закуске и, налив четыре рюмки, взял одну, другую подал Зиновью Алексеичу, примолвив:

— Хватим по одной, разогреемся, свеженько от воды-то стало!.. А вы, Дмитрий Петрович, вы, сударь Петр Степаныч. Без вас и пить не станем, принимайтесь за рюмочки.

Выпили хорошо, закусили того лучше. Потом расселись в кружок на большом ковре. Сняв с козлов висевший над огнем котелок, ловец поставил его возле. Татьяна Андревна разлила уху по тарелкам. Уха была на вид не казиста; сварив бель, ловец не процедил навара, оттого и вышла мутна, зато так вкусна, что даже Марко Данилыч, все время с усмешкой пренебреженья глядевший на убогую ловлю, причмокнул от удовольствия и молвил:

— Уха знатная-то!

— Бесподобная,— подтвердил Зиновий Алексеич, а Татьяна Андревна, радушно обращаясь к кашеварам, сказала, что отроду такой чудесной ухи не едала.

После ухи появились на ковре бутылки с разными винами и блюдо с толстыми звеньями заливной осетрины. Рыба прекрасная, заготовка еще лучше, по всему видно, что от Никиты Егорова.

— Осетрина первый сорт, редкостная,— похвалил ее Смолокуров,— а есть ее, пожалуй, грешно.

— Отчего ж это, Марко Данилыч? — спросил Веденеев.

— А водяных-то сверчков на кой прах вокруг напихали? — сказал Смолокуров, указывая на раковые шейки, что с другими приправами разложены были вкруг сочных звеньев осетрины.

— Откинь, коль не в угоду,— молвил Зиновий Алексеич,— а рыба сготовлена так, что ни у тебя, ни у меня так вовек не состряпают.

Марко Данилыч в раздумье только головой покачал, но осетрина так лакомо глядела на него, что не мог он стерпеть, навалил себе тарелку доверха.

Ужин, как водится, кончился «холодненьким», нельзя уж без того. Две белоголовые бутылки опорожнили.

Малиновые переливы вечерней зари, сливаясь с ясным темно-синим небосклоном, с каждой минутой темнели. Ярко сверкают в высоте поднебесной звезды, и дрожат они на плесу, отражаясь в тихой воде; почернел нагорный берег, стеной поднимаясь над водою; ярчей разгорелись костры коноводов и пламенные столбы из труб стального завода, а вдали виднеется ярманка, вся залитая огнями. То и дело над нею вспыхивает то белое, то алое, то зеленое зарево потешных огней, что жгут на лугах, где гулянья устроены.

— Пора и по домам,— с места поднявшись, сказала Татьяна Андревна.— Ишь до коей поры загостились.

И, помолясь на восток, стала она потеплей одеваться и укутывать дочерей своих и Дуню.

— Пора, пора,— подтвердили и Марко Данилыч и Зиновий Алексеич. Заторопились отъездом.

Щедро награжденные молодыми людьми ловцы и деревенские ребятишки громкими криками провожали уезжавших, прося их жаловать почаще, и, только что двинулась по реке косная, стали высоко метать горящие головни, оглашая вечернюю тишь громким радостным криком.

А певцы на косной дружно грянули громкую песню, и далеко она разнеслась по сонной реке.

* * *

Полночь была недалеко, когда воротились с катанья. Все остались довольны, но каждый свою думу привез, у всякого своя забота была на душе.

Доронин был встревожен неуместными приставаньями Марка Данилыча. «Что это ему на разум пришло? И для чего он так громко заговорил про это родство, а про дело вел речь шепотком? Не такой он человек, чтобы зря что-нибудь сделать, попусту слова он не вымолвит. Значит, к чему-нибудь да повел же он такие речи».

И долго, чуть не до самого свету, советовался он с

Татьяной Андревной, рассказав ей, что говорил ему Марко Данилыч. Придумать оба не могли, что бы это значило, и не давали веры тому, что сказано было про Веденеева. Обоим Дорониным Дмитрий Петрович очень понравился. Татьяна Андревна находила в нем много сходства с милым, любезным Никитушкой.

Пала кручина на́ сердце Лизаветы Зиновьевны, не добро подумала она о Марке Данилыче. Насмехаться ли хочет, аль беду какую готовит Никитушке? Невзлюбила его, первого человека в жизни своей она невзлюбила.

Оставшись вдвоем с сестрой, стала она раздеваться. Наташа все у столика сидела, облокотясь на него и положа на ладонь горевшую щеку.

— Что сидишь, не раздеваешься? — спросила у ней Лиза.— Поздно уж, спать пора.

Не вдруг ответила Наташа. Подумав немного, быстро подняла она головку и, поглядев на сестру загоревшимися небывалым дотоле блеском очами, сказала:

— А ведь он славный!

— Кто? — спросила Лиза.

— Да он.

— Кто он?

— Дмитрий Петрович!

Взглянула Лиза на сестру и улыбнулась.

— Такой пригоженький, такой хорошенький, веселый такой! — продолжала Наташа.

— А ты раздевайся-ка с богом да ложись спать,— сказала, улыбаясь, Лиза.

Пришла и Наташе пора.

Марко Данилыч, с Дуней простясь, долго сидел над бумагами, проклиная в душе Зиновья Алексеича. Шутка сказать, тюлень из рук выскользал, на плохой конец сорок тысяч убытку. Хоть не то, что убыток, а разве не все едино, что почти держать в руках такие деньги, а в карман их не положить. Это ведь что в сказках говорится: «По усу текло, а в рот не попало». Как же не досадовать, как не проклинать друга-приятеля, что пошел было на удочку, да вильнул хвостом. Долго думал, долго на счетах выкладывал, наконец, ровно чем озаренный, быстро с места вскочил, прошелся раз десяток взад и вперед по комнате и сел письмо писать.

Писал он к знакомому царицынскому купцу Володерову, писал, что скоро мимо Царицына из Астрахани

пойдет его баржа с тюленем,— такой баржи вовсе у него и не бывало,— то и просил остановить ее: дальше вверх не пускать, потому-де, что от провоза до Макарья будут одни лишь напрасные издержки. Тюлень, писал он, в цене с каждым днем падает, ежели кому и за рубль с гривной придется продать, так должен это за большое счастье сочесть. И много такого писал, зная, что знакомый его непременно расскажет о том Меркулову, и полагая, что в Царицыне нет никакого Веденеева, никто из Питера коммерческих писем не получает. Тот расчет был у Марка Данилыча, что как скоро Меркулов узнает про неслыханный упадок цен, тотчас отпишет Доронину, продавал бы его за какую ни дадут цену.

Написал, запечатал, чтобы завтра поутру послать с письмом нарочного в Царицын. Придет сутками позже доронинского письма. Авось дело обладится.

И успокоилась душа у Марка Данилыча; радостный, благодушный пошел он себе на спокой. Проходя мимо Дуниной горницы, тихонько отворил дверь поглядеть на свою ненаглядную. Видит: стоит на молитве.

«Молись, голубушка! И меня помяни во святых молитвах твоих. Ты ведь еще ангел непорочный. От тебя молитва до бога доходна... Молись, Христос с тобой...»— так подумал Марко Данилыч и, неслышно притворив дверь, пошел в свою спальню. Тих, безмятежен был сон плутоватого рыбника.

Грустна, молчалива Дуня домой воротилась. Заела незнаемая прежде кручина победное ее сердце. Испугалась Дарья Сергевна, взглянув на бледное лицо и горевшие необычным блеском очи своей любимицы.

— Ох уж эти мне затеи! — говорила она.— Ох уж эти выдумщики! Статочно ль дело по ночам в лодке кататься! Теперь и в поле-то опасно, для того что росистые ночи пошли, а они вдруг на воду... Разум-то где?.. Не диви молодым, пожилые-то что? Вода ведь теперь холодна, давно уж олень копытом в ней ступил. Долго ль себя остудить да нажить лихоманку. Гляди-ка, какая стала,— в лице ни кровинки. Самовар поскорее поставлю, липового цвету заварю. Напейся на ночь-то.

— Да у меня, тетенька, ничего не болит, я совсем здорова,— молвила Дуня тревожно суетившейся вкруг нее Дарье Сергевне.

— Здорова!.. Много ты знаешь!.. Хорошо здоровье, нечего сказать,— отвечала Дарья Сергевна.— Погляди-ка в зеркало, погляди на себя, на что похожа стала.

И, не слушая речей Дуни, вышла из комнаты, велела поставить самовар и, заварив липового цвета с малиной, напоила свою любимицу и, укутав ее в шубу, положила в постель.

«Пропотеет, авось хворь-то снимет»,— сказала сама про себя Дарья Сергевна и, заметив, что Дуня, закрыв глаза, успокоилась, отошла тихонько от ее постели и, прочтя молитвы на сон грядущий, неслышными шагами отошла за ширмы, где стояла ее кровать.

Дуня не спала. Закрыв глаза, все про катанье вспоминала, и ровно живой восставал перед ней удалой добрый молодец, веселый, пригожий красавчик. То и дело в ушах ее раздавались звуки его голоса.

«Не брежу ли я? В самом деле не схватила ли меня лихоманка?» — подумала Дуня.

Но эта дума так же скоро промчалась, как скоро налетела. А сон нейдет, на минуточку не может Дуня забыться. На мыслях все он да он, а сердце так и стучит, так его и щемит.

И приходит на память ей беседа, что вела она с Груней перед отъездом из Комарова.

От слова до слова вспоминает она добрые слова ее: «Если кто тебе по мысли придется и вздумаешь ты за него замуж идти — не давай тем мыслям в себе укрепляться, стань на молитву и богу усердней молись».

«Замуж! — подумала Дуня.— Замуж!.. Да как же это?..»

Подошла к столику, вынула из него заветную свою коробочку, вынула из нее колечко, отцом подаренное, когда минуло ей восемнадцать годков. Сидит, глядит на него, а сама родительские слова вспоминает.

«Слушай, Дуня: ни мать твою, ни меня родители венцом не неволили. И я тебя неволить не стану. Даю тебе кольцо обручальное, отдай его волей тому, кто полюбится...»

И слезы закапали на колечко. «Да разве может это статься? — думает Дуня.— Господи, господи! что ж это со мной?»

А сердце так и стучит, кровь молодая так и кипит ключом.

«Стань на молитву и богу усердней молись! — опять приходят ей на память слова доброй Груни.—Стань на молитву, молись, молись со слезами, сотворил бы господь над тобой святую волю свою».

«Стану, стану молиться...— думает Дуня.— Но что ж это будет?.. Как это будет?.. Бедная, бедная я...»

И разметалась в постели. Высоко поднимается белоснежная грудь, заревом пышут ланиты, глаза разгорелись, вся как в огне.

Опять приходят на память Груни слова: «И ежели после молитвы станет у тебя на душе легко и спокойно, прими это, Дуня, за волю господню, иди тогда безо всякого сомненья за того человека».

И потихоньку, не услыхала бы Дарья Сергевна, стала она на молитву. Умною молитвой молилась, не уставной. В одной сорочке, озаренная дрожавшим светом догоравшей лампады, держа в руках заветное колечко, долго лежала она ниц перед святыней. С горячими, из глубины непорочной души идущими слезами долго молилась она, сотворил бы господь над нею волю свою, указал бы ей, след ли ей полюбить всем сердцем и всею душою раба божия Петра и найдет ли она счастье в том человеке.

Кончив молитву, стала Дуня середь горницы и судорожно закрыла лицо руками. Отдернула их — душа спокойна, сердце не мутится, так ей хорошо, так радостно и отрадно.

«Благословляет бог!» — подумала, взглянув на иконы, и слезы потоком хлынули из очей ее.

— Боже, милостив буди ко мне! — шептала она.

И, веселым взором обведя комнату, тихо улеглась в одинокую постельку. Тих, безмятежен был сон ее.

А куда девались мо́лодцы, что устроили катанье на славу? Показалось им еще рано, к Никите Егорычу завернули и там за бутылкой холодненького по душе меж собой разговаривали. Друг другу по мысли пришлись. А когда добрались до постелей, долго не спалось ни тому, ни другому. Один про Дунюшку думал, другой про Наташу.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Вели́ка пречиста пришла [1], день госпожин. Из края в край по всей православной Руси гудят торжественно колокола, по всей сельщине-деревенщине, по захолустьям нашей земли с раннего утра̀ и стар и млад надевают лучшую одежду и молитвой начинают праздник. В половине августа рабочая страда самая тяжелая: два поля надо убрать да третье засеять: но в день госпожин ни один человек за работу не примется, нельзя: Вели́ка пречиста на другой год не даст урожаю. Оттого церкви, обыкновенно пустые в летние праздники, в тот день полнехоньки народом, а в раскольничьих моленных домах чуть не всю ночь напролет всенощные поют да часы читают. На Горах по дальним от городов захолустьям справляют в тот день «дожинки», старорусский обычай, теперь всюду забытый почти. Если к Успеньеву дню успеют дожать яровое, тогда праздник вдвое, тогда бывает «сноп именинник» и празднуются «дожинки» — древний русский обычай, теперь почти повсеместно забытый. Сжав ярь без остатка, оставляют накануне дожинок ру́ченьку овсяных колосьев не сжатою «волотку на бородку» [2], а последний сжатый сноп одевают в нарядный сарафан, украшают его монистами и лентами, на верхушку надевают кокошник и водят вокруг его хороводы. Это и есть «сноп именинник». Одни жнеи песни поют имениннику в честь, другие катаются с боку на бок по сжатому полю, а сами приговаривают: «Жнивка, жнивка, отдай мою силку на пест, на мешок, на колотило, на молотило да на новое веретено». В самый день дожинок после обедни идут, бывало, с веселыми песнями на широкий двор помещичий, высоко́ держа над головами именинный сноп. У каждой жнеи в руке обвитый соломой серп. Сноп именинный вносили в комнаты, ставили его в передний угол под образа́, и на том месте красовался он до первого воскресенья. Сняв в этот день его со стола и сняв с него украшения, берегли до Покрова, тогда делили его, и каждый хозяин примешивал доставшуюся ему долю к

---

[1] Августа 15-го Велика пречиста (успение богородицы), а сентября 8-го (рождество богородицы) — Мала пречиста.

[2] *Волот* — великан, сказочный богатырь. Кости допотопных животных считаются костями волотов. Волоты почитаются в некоторых местах покровителями земледелия.

корму скота, чтобы он всю зиму добрел да здоровел. А когда жнецы и жнеи с обвитыми серпами и со снопом именинником подходили к помещичьему дому, хозяин с хозяйкой и со всей своей семьей выходили навстречу дорогому гостю за ворота и, трижды перекрестясь, низкими поклонами «хлебушку встречали», приговаривая: «Жнеи молодые, серпы золотые — милости просим откушать, нового хлебца порушать». А на широких дворах уж столы стоят, а вокруг них переметные скамьи либо доски, положенные на чураки, кадушки и бочонки. Обнесут рассевшийся народ чаркой-другой и ломтями хлеба, испеченного из новой ржи, потом подадут солонины с квасом и огурцами, щи с бараниной либо со свининой, пироги с творогом и кашу с маслом, а перед каждым кушаньем браги да пива пей сколько хочешь. В конце «дежень» подавали, непременное кушанье на «дожинках» — кислое молоко с толокном. После обеда до самой вечерней зари за околицей либо возле гумен, а иной раз и на барском дворе молодежь водит хороводы и под сумрак наступающей ночи громко распевает:

Закатилось красно солнышко
За зелен виноград,
Целуемся, милуемся,
Кто кому рад.

На тех хороводах долго загуливаться нельзя — чем свет иди на страду, на работу, гни спину до ночи.

Расходятся мирно и тихо по избам и там в первый раз после лета вздувают огни. Теперь барские дожинные столы перевелись, но у зажиточных крестьян на Успеньев день наемным жнеям и жнецам ставят еще сытный обед с вином, с пивом и непременно с деженем, а после обеда где-нибудь за околицей до поздней ночи молодежь водит хороводы, либо, рассевшись по зеленому выгону, поет песни и взапуски щелкает свежие, только что созревшие орехи.

По большим и малым городам, по фабричным и промысловым селеньям Велика пречиста честно́ и светло празднуется, но там и в заводе нет ни дожинных столов, ни обрядных хороводов, зато к вечеру харчевни да кабаки полнехоньки, а где торжок либо ярманка, там от пьяной гульбы, от зычного крику и несвязных песен — кто во что горазд — до полуночи гам и содом стоят, да-

леко́ разносясь по окрестностям. То праздничанье не русское.

По многим монастырям в тот день большие собранья бывают. Из дальних и ближних мест богомольцы тысячами стекаются в Печерскую лавру к киевским угодникам, в Саровскую пустынь, к Троице-Сергию и на Карпаты — в Почаев. Много ярманок в тот день бывает: и в Харькове, и в Калаче, и за Уралом, и на Крестовском поле, что возле Ивановского [1], и по разным другим городам и селеньям. Но нигде так не кипит народная жизнь, никуда так много русского люда в тот день не стекается, как к Макарью. На Успеньев день там самый сильный разгар ярманки. Утро молитве дань — в соборе четыре обедни одну за другой служат, и все время церковь также переполнена богомольцами, во многих лавках поют молебны Успенью и святому Макарию. Армянская церковь также переполнена богомольцами, даже бугор, где стоит она, целое утро усеян ими ради храмового праздника и торжественного освящения винограда. По молитве наступает обычное неустанное движенье по всей ярманке; разряженные толпы снуют около Главного дома, по бульвару, по рядам. Биржа полнехонька, даже ступени ее железного здания усеяны тесной, сплошной толпой народа; в трактирах вереницы ловких половых едва успевают разносить кушанья,— праздник большой да к тому ж и розговенье. Мину́л час обеда, и загремела музыка, по трактирам запели хоры московских песенников родные песни; бешено заголосили и завизжали цыгане, на разные лады повели заморские песни шведки, тирольки и разодетые в пух и прах арфистки, щедро рассыпая заманчивые улыбки каждому «гостю», особенно восточным человекам. Вокруг самокатов чуть не с самой обедни раздаются роговая музыка, хриплые голоса подгулявших спозаранок певунов, нестройные звуки дешевых оркестров; пищат шарманки, дерут уши пронзительные звуки волынок, шум, крик, музыка, песни, но веселья, задушевного веселья не видится. Так чествуют у Макарья день госпожин, а вечером кончают его театрами, ристаньями в цирках, пьяным разгулом и диким безобразием в увеселительных заведеньях особого рода.

У степенных людей старого закала Успеньев день иными собраньями отличается. В кипучем водовороте

[1] Шадринского уезда, Пермской губернии.

ярманочной жизни те собранья не заметны тому, кто мало знаком с местными обычаями.

Когда торговали на Желты́х песках у Старого Макарья, ярманка кончалась раньше; в первых числах августа купцы уж по домам разъезжались, концом торга считался праздник первого спаса[1]. В тот день, после обычного крестного хода на воду, купцы по лавкам служили благодарные молебны за окончание дел и раздавали при этом щедрую милостыню. Верст из-за полутораста и больше пешком сходилась к тому дню нищая братия, водой из-за трех- и четырехсот верст приплывала она. Целыми лодками, целыми дощаниками приплывала. И тем лодкам и дощаникам было имя «Христовы кораблики».

Плывут, бывало, нищие по Волге, плывут, громогласно распевая про Алексея божия человека, про страшный суд и про то, как «жили да были два братца родные, два братца, два Лазаря; одна матушка их породила, да не одно счастье господь им послал». Далеко по широкому раздолью разносятся, бывало, заунывные голоса, доносятся они и до прибрежных сел и деревень. И от каждого села, от каждой деревни выплывают ко Христову кораблику лодочки с христолюбцами, и подают те христолюбцы Христовым корабельщикам доброхотное даяние — хлеба караваи, бочонки квасу, печеные яйцы, малину, смородину, не то новины отрезок, либо восковую свечу к иконе преподобного Макария. Деньгами подавали редко, но иной раз какой-нибудь богатей раскошелится и пошлет на Христов корабль ставешок[2] медных грошей да копеек, молили бы бога о спасенье души его. Хворает ли кто у него, трусит ли он затеянного не больно надежного дела — непременно пошлет деньги на каждый Христов кораблик, когда плывет он мимо его жилища. И щедры же бывали подаянья на пути и на ярманке; нищие собирались артелями, и особые дощаники нанимали на две путины, туда и обратно, должно быть выгодно бывало им. Теперь и в за́водях этого нет, не плавают больше по Волге Христовы кораб-

---

[1] Августа 1-го. В 1816 году 16 августа Макарьевская ярманка сгорела дотла (после чего и переведена в Нижний); тогда на ней не было уже ни единого человека и ни единого тюка с товарами.

[2] Деревянная точеная чашка.

лики, не видать на ее широком раздолье Христовых корабельщиков — только искрами, дымом и паром дышащие пароходы летают по ней. По лону могучей реки, вместо унылых напевов про Лазаря, вместо удалых песен про батьку атамана Стеньку Разина, вместо бурлацкого стона про дубинушку, слышится теперь лишь один несмолкаемый шум воды под колесами да резкие свистки пароходов.

Стародавний, дедами, прадедами уставленный обычай раздавать милостыню под конец ярманки и на новом месте ее сохранился. Но в Нижнем ярманка чуть не с каждым годом запаздывает, оттого запоздала и раздача. Не по старине теперь творят дело божие, подают не на первый спас, а на день госпожин. Дающих рука не оскудела, но просящих стало меньше, чем у Старого Макарья. Не плетутся теперь на ярманку по пыльным дорогам певучие артели слепцов и калик перехожих, не плывут по Волге Христовы корабельщики, не сидят на мостах с деревянными чашками в руках слепые и увечные, не поют они про Асафа царевича,— зато голосистых немок что, цыганок, шарманщиков!

Таясь от взоров полиции, успенская раздача подаяний еще не вывелась. Лишь осторожнее стали и просящие и дающие, но в урочный час божье дело по укромным местам без помехи творится.

Не расхаживают, как бывало на Желты́х песках, по торговым рядам вереницы нищей братии и толпы сборщиков на церковное строенье, но оттого не оскудела рука сердобольных гостей макарьевских... Небольшими кучками в день госпожин собираются нищие по лугам и по выгонам и молча стоят с головами непокрытыми. С книжками в руках сходятся туда же и сборщики на церковное строение. Крестясь и поминая родителей, доброхотные датели в строгом молчанье творят Христову заповедь; так же крестясь и так же безмолвно принимают их подаяния голодные и холодные, неимущие и увечные, и те сборщики, что божьему делу отдали труд свой и все свое время.

И раскольничьи сборщики на день госпожин к Макарью собираются. Сибирь — золотое дно, Урал — покрышка серебряная, тихий Дон Иванович, станицы кубанские, слободы стародубские, дальнее Поморье, ближний Ке́рженец и славное кладбище Рогожское высы-

лают сюда к Успеньеву дню сборщиц и сборщиков. И те люди не нищие, не убогие; привитают они в палатках богатых купцов, либо в укромных покойчиках постоялых дворов, что содержатся их одноверцами. Не грошами, не гривнами, а крупными суммами подают им христолюбцы милостыню; а в день госпожин сборщики и сборщицы все-таки блюдут стародавний обычай: с книжками за пазухой чуть свет сходятся они на урочных местах и ждут прихода благодетелей. И не коснят благодетели исполнить извечный, предками уставленный обряд милосердия. Затем в палатках богатых ревнителей древлего благочестия, и в лавках, где ведется торговля иконами, старыми книгами и лестовками, сходятся собравшиеся с разных концов России старообрядцы, передают друг другу свои новости, личные невзгоды, общие опасенья и под конец вступают в нескончаемые, ни к чему, однако, никогда не ведущие споры о догматах веры, вроде того: с какой лестовкой надо стоять на молитве — с кожаной али с холщовой. Так у Макарья проводят раскольники день госпожин.

В обширной, из нескольких комнат, палатке, над собственной лавкой в Лубянках[1] помещался московский богач Сырохватов. Ревнитель австрийских попов и их архиереев, любил он надо всем верховодить, везде любил быть первым, поклоны и почет любил ото всех принимать. Что было у него на душе, каких мыслей насчет веры Илья Авксентьич держался, дело закрытое, но все знали, и сам он того не скрывал, что в правилах и соблюденье обрядов был он слабенек. «Славу мира возлюбил,— говорили про него строгие поборники старообрядства,— возлагает он надежду на князи и на сыны человеческие, в них же несть спасения, водится с ними из-за почестей и ради того небрежет о хранении отеческих преданий». Но всехвальная рогожская учительница мать Пульхерия на то, бывало, говаривала: «Был бы в вере тверд, да был бы всегдашним нашим заступником пред сильными внешнего мира, и все согрешения его вольные и невольные, яже словом и яже делом, на свою душу беру». И действительно, Сырохватов при каждом случае являлся ходатаем за своих одноверцев перед властями и

[1] Лубянками зовут каменные корпуса лавок, преимущественно с красным товаром, построенные между Обводным каналом и шоссе. Зовут их также Ивановскими (по фабричному селу Иванову).

в самом деле о прощении его грехов усердно молились по многим часовням и кельям.

Развалившись в мягких, обитых малиновым бархатом креслах, после плотного обеда и доброй выпивки отдыхает Илья Авксентьич. Возле него стоит столик, а на нем стакан чаю и пачка заклеенных пакетов. Сидит Сырохватов, слушает разговоры гостей, а сам пальцами барабанит по пакетам. А сам ни словечка.

На стульях, на креслах, на длинном турецком диване десять скитских матерей с черными пла̀тами на головах да пятеро пожилых степенных купцов сидят. В смежной комнате краснощекий толстый приказчик хозяйничает за ведерным самоваром, то и дело отирая платком пот, обильно выступавший на громадной его лысине.

Матери были недальние, все керженские да чернораменские, из Комарова, из Улангера, из Оленева. От матери Манефы да из Шарпана не было ни одной. Пришли старицы к щедрому благодетелю с великим горем своим: со̀ дня на̀ день ожидают они за Волгу петербургского генерала; значит, скоро будет скитам конец положен, скоро настанет падение славного Керженца, скоро настанет мерзость запустения на месте святе. Молча слушает Илья Авксентьич жалобы и плач черноризиц на бедность и нужды, что их впереди ожидают, но равнодушно глядит на слезные токи, что обильно текут по бледным ланитам скорбных матерей. Молчит, а сам по пакетикам пальцами постукивает.

— Хоть бы наш скит к примеру взять,— плачется величавая, смуглая, сухощавая мать Маргарита оленевская, игуменья знаменитой обители Анфисы Колычевой — У нас в Оленеве больших и малых обителей восьмнадцать да сорок сиротских домов. Стариц да белиц будет за тысячу, это одних «лицевых», которы, значит, по па̀спортам проживают; потаенных еще сотни две наберется. Жили мы, благодаря первее бога, а по нем христолюбивых благодетелей, тихо и безмятежно; всем удоволены, забот мирских и не знавали, одна у всех была забота: бога молить за своих благодетелей и о всемирной тишине. А теперь с котомками по чужим сторонам нам брести доводится, Христовым именем под оконьем питаться! В Комарове такое ж число наберется; в Улангере положить хоть наполовину, а по всем скитам с сиро-

тами нашей сестры тысячи за три наберется. Как нам будет жить на чужой стороне с чужими людьми незнакомыми? Особливо старушкам в преклонных годах. Великое горе, несчастная доля всем нам предстоит! А как того горя избыть, сами не знаем. Одно упование на царицу небесную да на наших благодетелей, что не забывают нища, стара и убога. А ежель и они забвенью нас предадут, погибнем, аки червь.

— Да ведь слышно, матушка, что вас по своим местам разошлют, на родину, значит. Какие ни на есть сродники ведь тоже у каждой найдутся, они не оставят родных,— сказал высокий, седой, сановитый ивановский фабрикант Старожилов.

— Ах, Артемий Захарыч, Артемий Захарыч! Какая родина, какие сродники!— возразила ему мать Маргарита.— У нас по всему Керженцу исстари такое заведенье бывало, чтобы дальним уроженкам в ближние к нам города и волости переписываться, поближе бы пачпортà было выправлять. И зачастую бывает, что в том городе али волости не токмà сродников, и знакомых-то нет никого. А которы хоть и остались приписаны к родине, кого они там найдут? Ведь каждая почèсть сызмальства живет в обители, иная, может быть, лет пятьдесят на родине-то и не бывала, сродники-то у ней примерли, а которые вновь народились, те, все одно, что чужие.

— Пожалуй, что и так,— подумав маленько, согласился Старожилов и смолк.

— Иваныч! — кликнул хозяин.

Вошел тучный, лысый приказчик, что за самоваром сидел. Илья Авксентьич подманил его пальцем; приказчик наклонился, и хозяин пошептал ему что-то на ухо.

— Слушаю-с,— тихо молвил приказчик, взял со стола пакеты и унес их.

— А опять теперь насчет строения,— скорбно заговорила мать Юдифа улангерская.— Сломают, и все пропадет ни за денежку. Кому лес продавать и другое прочее, что от часовен да келий останется? Мужикам не надо, у них у каждого свой хороший дом. Так задаром и погниет все добро наше, так и разорятся веками насиженные наши гнездышки. И помыслить-то тяжко!.. Вспадет на ум, так сердце кровью обольется... А с нами

что станется, как придет час разоренья? Хоть бы прибрал заране Христос, царь небесный, не видать бы нам беды неизбывной.

Под это слово приказчик вошел и подал Илье Авксентьичу пакеты. Тот положил их на столик и по-прежнему, слова не молвя, стал по ним барабанить.

— На своз бы кому продали,— в ответ Юдифи тихо, чуть слышно промолвил приземистый, седенький, рябоватый, с болезненно слезящимися глазками, московский купец Порохонин.

Был человек он богатый, на Кяхте торговлю с китайцами вел, не одна тысяча цыбиков у него на Сибирской [1] с чаем стояла, а в Панском гуртовом — горы плисов, маслòвых да мезерицких сукон ради мены с Китаем лежали.

— Продать-то кому, милосердный благодетель Никифор Васильич? Покупщиков-то где взять? — молвила ему мать Юдифа.— Окольным мужикам, говорю вам, не надо, да и денег у них таких нет, чтобы все искупить. А далёко везти — кто повезет? Вот здесь в городу и много стройки идет, да кто повезет сюда за сотню без малого верст? Провоз-от дороже леса станет. Нет уж, гноить надо будет, девать больше некуда. Хорошо еще тем скитам, что поблизости нашего городка стоят, там еще можно, пожалуй, сбыть, хоть тоже с большими убытками.

— Да, слезовое ваше дело,— горько вздыхая, с участьем промолвил Никифор Васильич.

— Поистине слезовое,— согласился и Старожилов.

Стали высказывать матерям свое участье и другие гости: здоровенный, ростом в косую сажень, непомерной силищи, Яков Панкратьич Столетов, туляк, приехавший с самоварами, подсвечниками, паникадилами и другим скобяным товаром; приземистый, худенький, седой старичок из Коломны Петр Андреяныч Сушилин — восемь барж с хлебом у него на Софроновской [2] было, и толстый казанский купчина с длинной, широкой, во всю богатырскую грудь, седой бородой, оптовый торговец сафьяном Дмитрий Иваныч Насекин. Ласковыми речами стараются-

---

[1] Сибирская пристань на Волге возле Макарьевской ярманки; там громадные склады кяхтинских чаев.

[2] Софроновская пристань на городской стороне, на самом устье Оки, против ярманки. Там становятся караваны с зерновым хлебом.

ся они хоть сколько-нибудь облегчить горе злополучных стариц; один хозяин ни слова.

— Жили мы жили, не знали ни бед, ни напастей,— на каждом слове судорожно всхлипывая, стала говорить мать Таисе̂я комаровская, игуменья обители Бояркиных.— Тихо мы жизнь провождали в трудах и молитвах, зла никому не творили, а во дни озлоблений на господа печаль возверза̂ли, молясь за обидящих и творящих напасти. А ныне богу попущающу, врагу же действующу, презельная буря воздвигается на безмятежное наше жительство. Где голову приклоним, как жизненный путь свой докончим?.. В горе, в бедах, в горьких великих напастях!..

И, зарыдав, закрыла руками лицо. Другие матери тоже заплакали. Купцы утешают их, но Сырохватов, как и прежде, ни слова, молчит себе да пальцами постукивает по пакетам.

— Иваныч! — крикнул он.

Опять вошел толстый приказчик, опять что-то шепнул ему хозяин, и опять тот, взявши пакеты, из комнаты вон вышел.

Мать Таисе́я меж тем жалобы свои продолжала:

— Красота-то где будет церковная? Ведь без малого двести годов сияла она в наших часовнях, двести годов творились в них молитвы по древнему чину за всех христиан православных... И того лишиться должны!.. Распу́дится наше словесное стадо, смолкнет пение за вся человеки и к тому не обновится... Древнее молчание настанет... В вертепах и пропастях земных за имя Христово придется нам укрываться...

Вошел приказчик и, положив на столик пакеты, тотча̀с удалился. Ни слова, ни взгляда хозяин ему. Стучит по-прежнему пальцами по новым пакетам.

Долго еще Таисе̂я жалобилась с плачем на скитские напасти. Встал, наконец, с места Илья Авксентьич и, взявши пакеты, сказал матерям:

— Вам, матери, надо теперь, поди, у других христиан побывать, да и мне не досужно. Вот вам покамест.— И, набожно перекрестясь, подал каждой старице по пакету.— Перед окончаньем ярманки приходите прощаться, я отъезжаю двадцать седьмого, побывайте накануне отъезда, тогда мне свободнее будет.

В ноги поклонились матери благодетелю, а потом сотворили начал на отход свой.

— К нам, честные матери, милости просим,— молвил Петр Андреич Сушилин.— На хлебный караван на Софроновской пристани пожалуйте. В третьей барже от нижнего края проживанье имеем. Всякий дорогу укажет, спросите только Сушилина. Не оставьте своим посещеньем, сделайте милость.

— Благодарим покорно за ваше неоставленье,— отвечала за всех Маргарита оленевская, и все старицы поклонились Сушилину великим обычаем.

— И меня не забудьте,— примолвил Старожилов.— Мы отсель недалече, всего через лавку.

— Не преминем, благодетель Артемий Захарыч, безотменно побываем,— сказала мать Маргарита.

И перед Старожиловым сотворили матери уставное метание.

— Нас-то, матушки, не обойдите, нас не оставьте своим посещеньем,— молвил старик Порохонин.— В Панском гуртовом по второй линии. Знаете?

— Как не знать, Никифор Васильич,— сказала Маргарита.— Старинные благодетели, никогда не оставляли нас, убогих, великими своими милостями. Благодарим вас покорно.

И ему сотворили метание.

— И к нам в лавку милости просим,— пробасил купец-исполин Яков Панкратьич Столетов.— Возле флагов, на самом шоссе в Скобяном ряду. Не оставьте!..

И его благодарит мать Маргарита оленевская, и ему все матери творят метания. С тем и вышли они вон из палатки.

За матерями один по другому пошли и купцы; остался один туляк-богатырь Яков Панкратьич Столетов.

Сойдя с лестницы, встретил Сушилин сырохватовского приказчика.

— Зачем это ты, Петр Иваныч, пакетцы-то менял?— спросил он у него, поглаживая свою жиденькую седенькую бородку.

— Надо полагать, оченно уж разжалобили хозяина-то. Спервоначалу велел в каждый пакет по радужной положить, потом по двести велел, а под конец разговора по триста.

— Ишь ты! — молвил хлебный торговец.— По триста!.. Вон оно как!

И, задумавшись, пошел вон из лавки.

— А что, Яша? Дернем? — спросил Илья Авксентьич у Столетова, когда они остались один на один.

— Пожалуй! — равнодушно пробасил Столетов.

— К Бубнову, что ли? К цыганкам?

— Ладно.

— А с полночи закатимся?

— Пожалуй.

— К Кузнецову аль к Затыкевичу?

— Куда повезешь, туда и поеду.

— Да тебе, может, неохота?

— Эка выдумал! Одевайся-ка лучше, чем пустяки городить.

И закатились приятели до свету.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

На другой день Великой пречистой третьему спасу празднуют. Праздник тоже честной, хоть и поменьше Успеньева дня. По местам тот праздник кануном осени зовут; на него, говорят, ласточкам третий, последний отлет на зимовку за теплое море; на тот день, говорят, врач Демид [1] на деревьях листву желтит. Сборщикам и сборщицам третий спас кстати: знают издавна они, что по праздникам благодетели бывают добрей, подают щедрее.

Мать Таисея, обойдя приглашавших ее накануне купцов, у последнего была у Столетова. Выходя от него, повстречалась с Таифой — казначеей Манефиной обители. Обрадовались друг дружке, стали в сторонке от шумной езды и зачали одна другую расспрашивать, как идут дела. Таисея спросила Таифу, куда она пробирается. Та отвечала, что идет на Гребновскую пристань к Марку Данилычу Смолокурову.

С того года как Марко Данилыч отдал Дуню в Манефину обитель на воспитанье, Таифа бывала у него каждую ярманку в караване. Думала и теперь, что он попрежнему там на одной из баржей проживает.

— Пойдем вместе,— молвила ей Таисея.— И я собиралась поклониться Марку Данилычу, да не знаю, где отыскать его.

---

[1] Август 16 празднуют св. врачу Диомиду.

— Пожалуй, пойдем,— согласилась Таифа, и старицы побрели по сыпучим наметанным у берега Оки пескам к Гребновской пристани.

Там не скоро добились, в коем месте стоит караван смолокуровский. По берегу кучками сидели рабочие с рыбных баржéй разных хозяев, хлебая из уемистых ставцов квас с луком, огурцами и с краденой рыбною сушью. На спрос стариц ни слова они не сказали: некогда, мол,— рты на работе; один только паренек, других помоложе, жуя из всей силы, ложкой им указал на Оку. Спросили старицы у торговок, что сидели в шалашиках за прилавками, уставленными вареными рыбцами, гороховым киселем, студенью и жареной картошкой. Торговки сказали, что не знают, какой-такой Смолокуров и на свете-то есть. У ломовых [1], что с длинным рядом роспусков стояли вдоль берега, спросили инокини; те только головой потряхивают — не знаем, дескать, такого. Совсем выбились из сил, ходя по сыпучему песку; наконец, какой-то добрый человек показал им на баржи, что стояли далеко от берега, чуть не на самом стрежне реки.

Притомились матери, приустали, чуть не битый час бродючи по глубокому песку, раскаленному солнопеком. Рады были они радехоньки, когда, порядив паренька свезти их на задний караван, уселись в его ботничок, залитый наполовину водою. Подплыв к крайней барже смолокуровского каравана, видят матери, у борта стоит и уплетает один за другим толстые арбузные ломти долговязый, не знакомый им человек. В пропитанном жиром нанковом длиннополом сюртуке, с сережкой в ухе, с грязным бумажным платком на шее, стало быть, не ихнего поля ягода, не ихнего согласу, по всем приметам, никонианец. Ревнитель древлего благочестия плата на шею не намотает и серьги в ухо не вденет...

Обратилась к нему Таифа с вопросом:

— Господин честной, это Марка Данилыча караван? Смолокурова?

А господин честной, ровно ничего не видит и ничего не слышит, уплетает себе арбуз да зернышки в воду выплевывает.

— Это, мол, смолокуровские баржи али где в ином месте стоят? — немножко погодя опять спросила его Таифа.

---

[1] Извозчиков.

Головой лишь кивнул и, только когда покончил с арбузом, грубо ответил:

— Здесь смолокуровский караван.

— Марка Данилыча бы нам повидать.

— А на́ што вам его? — облокотясь о́ борт руками и свесив голову, спросил долговязый.— Ежели по какому делу, так нашу честь прежде спросите. Мы, значит, здесь главным, потому что весь караван на отчете у Василья Фадеича, у нас, это значит.

— Нам бы самого хозяина. До него самого есть дельце,— отвечала на то мать Таифа.

— Этого никак невозможно,— сказал, ломаясь, Василий Фадеев.— Самого хозяина вам в караване видеть ни в каком разе нельзя. А ежели у вас какая есть к нему просимость, так просим милости ко мне в казенку; мы всякое дело можем в наилучшем виде обделать, потому что мы самый главный приказчик и весь караван на нашем отчете.

— Да нет, нам бы самого Марка Данилыча,— настаивала Таифа.— Наше дело не торговое.

— А какое ж ваше дело? — вытянув шею, с любопытством спросил Василий Фадеев.— Объясните мне вашу просимость, а я совет могу подать, как вам подойти к Марку Данилычу. Ведь с ним говорить-то надо умеючи.

— Да мы не впервые, давно его знаем, умеем, как говорить,— молвила Таифа.

— Да вы из какех мест будете? — спросил Василий Фадеев.

— Из-за Волги, родной, из Комарова,— ответила Таисея.

— Та-а-ак-с,— протянул Василий Фадеев.— Из-за Волги, из Комарова... Не слыхивал про такой... Это город, что ли, какой, Комаров-от?

— Монастырь старообрядский,— объяснила Таифа.

— Та-а-ак! По-нашему, значит, раскольничий скит? Что ж вы там попи́те, что ли? Ведь у вас, слышь, там девки да бабы за попов служат? — глумился над матерями Василий Фадеев.

Они промолчали, смолк и Фадеев. Немножко погодя зевнул он во весь рот, громогласно прокашлялся и молча стал приглядываться к чему-то на берегу.

— Так как же бы нам, Василий Фадеич, Марка-то Данилыча повидать? — заискивающим голосом спроси-

ла Таифа.— Сделайте милость, скажите, дома он или отъехал куда с каравана?

— Этого знать я не могу,— нехотя ответил приказчик и снова зевнул.

— Да на которой барже он проживает? — приставала Таифа.

Промычал что-то под нос себе Василий Фадеев. Матери не расслыхали.

— Что изволили сказать? — переспросила Таифа.

Злобно откинулся от борта Василий Фадеев и злобно крикнул на них:

— Убирайтесь, покамест целы!.. Убирайтесь, говорю вам, не то велю шестами по вашему ботничишку... Искупаетесь тогда у меня!

— Да что это ты, батько, сердитый какой? — возвысила голос Таифа.— Не к тебе приехали, а к хозяину, тебя честью просим.

— Сказано, убирайтесь!..— во всю мочь закричал Фадеев.— И говорить не хочу с вами, чертовы угодницы!

И плюнул в ботник, а затем быстро прошел в свою казенку.

— Поезжай, паренек, вдоль каравана, авось добьемся толку,— молвила Таифа, и ботник поплыл вниз по реке.

На крайней барже у самой кормы сидел на рогожке плечистый рабочий. Лапоть он плел, а рядом с ним сидел грамотный подросток Софронко, держа трепанный клочок какой-то книжки. С трудом разбирая слова, читал он вслух про святые места да про Афонскую гору. Разлегшись по палубе, широко раскинувши ноги и подпирая ладонями бороды, с десяток бурлаков жарили спины на солнопеке и прислушивались к чтению Софронки.

— На которой барже Марко Данилыч живет? — спросила Таифа, поровнявшись с ними.

— Ни на коей не живет он, матушка,— положив лапоть, добродушно ответил дядя Архип.— В городу́ проживает, в гостинице.

— Как так? — удивилась Таифа.— Да он доселе кажду ярманку живал в караване.

— Дочку привез,— сказал дядя Архип,— с дочкой, слышь, прибыл. Как же ей здесь проживать с нашим братом бурла̀ком, в такой грязи да в вонище? Для̀ того и нанял в гостинице хорошу хватеру.

Обрадовались матери. Любили они добрую, нежную Дуню.

— А в какой же гостинице он пристал? — спросила Таифа.

Не сумел дядя Архип путем о том рассказать, не умели и другие бурлаки, что теперь, повскакав с палубы, столпились вдоль борта разглядывать стариц. Только и узнали матери, что живет Смолокуров на Нижнем базаре, а в какой гостинице, господь его знает.

Пошли они на Нижний базар. По дороге купили по душистой дыне да по десятку румяных персиков на поклон Дунюшке, опричь поясков, шитой шелками покрышки на стол и других скитских рукоделий. Опытная в обительском хозяйстве Таифа знала, что скупой сам по себе Марко Данилыч за всякую ласку дочери не пожалеет ничего. Добрались они, наконец, до его квартиры.

Радушно встретил Смолокуров старую знакомую, мать Таифу. Узнав, что она уж с неделю живет у Макарья, попенял ей, что до сей поры у него не побывала, попрекнул даже, что, видно-де, у ней на ярманке и без него знакомых много. И мать Таисею ласково принял.

Про Дуню спросила Таифа и про Дарью Сергевну.

— Обе здесь со мной,— отвечал Смолокуров.— Чуточку их не захватили, в гости пошли ненадолго. С женой да с дочерьми приехал сюда приятель мой Доронин, Зиновéй Алексеич, хлебом торгует.

— Довольно знаем и Зиновья Алексеича и Татьяну Андревну, и девиц ихних,— отвечала Таифа.— Не раз у них гащивала, как они еще на мельнице жили.

— К ним вот и пошли мои,— молвил Марко Данилыч.— Девицы-то подруги Дунюшке, одна ровесница, другая годком постарше. Вместе-то им, знаете, охотнее. Каждый день либо моя у них, либо они у нас. Молодое дело, нельзя.

— Известно,— согласилась Таифа.— Выросла, поди, Дунюшка-то, похорошела? — прибавила мать казначея, умильно поглядывая на Марка Данилыча.

— Как, матушка, не вырасти, года такие. Старое-то старится, молодое растет,— с лаской молвил в ответ Смолокуров.— А мы и у вас маленько погостили на старом Дунюшкином пепелище... Вас-то, матушка, только не захватили.

— Уж как я жалела, как жалела, Марко Данилыч, что не привел господь вас с Дунюшкой-то с вашей в обители видеть... Дела-то ведь у нас знаете, какие...

— Знаю, матушка, все знаю,— ответил с участьем Марко Данилыч.— Из Питера-то не привезли ли чего утешительного? Там-то как смотрят на ваше дело?

— Дело наше, Марко Данилыч, как есть совсем пропащее,— с глубоким вздохом отвечала Таифа, и слезы сверкнули на ее скорбных глазах.— Выгонки не избыть никакими судьбами... Разорят наш Кѐрженец беспременно, бревнышка не останется от обителей. И ровно буйным ветром разнесет всех нас по лицу земли. Горькая доля, Марко Данилыч, самая горькая...

И громко зарыдала. Мать Таисея, глядя на Таифу, тоже заплакала.

— Не покинет господь своей милостью вас,— утешает матерей Марко Данилыч.— Не плакать, богу надо молиться, на него возложить упованье.

— Кто ж у нас и прибежище, дак не господь царь небесный? — утирая слезы, сказала Таифа.— На него да на заступницу нашу, пресвятую богородицу, всё упование возлагаем.

— Стало, все и будет по-хорошему,— молвил Марко Данилыч.— На бога, матушка, поло́жишься, так не обложишься. Господь-от ведь все к лучшему строит, стало быть плакать да убиваться вам тут еще нечего. Может, еще лучше будет вам.

— Куда уж лучше, Марко Данилыч! О лучшем-то нечего и помышлять,— сказала Таифа.— Хоть бы в вере-то господь сохранил, а то вон ведь какие напасти у нас пошли: в единоверческую многие хотят...

— Полноте, матушка! — вскликнул Смолокуров.

— Не лгу, благодетель,— горячо сказала Таифа.— Есть хромые души, что паче бога и отеческой веры возлюбили широкое, пространное житие, мало помышляя о вечном спасении. Осиновские матери к единоверью склоняются, и в Керженском скиту сам отец Тарасий начал прихрамывать.

— Не может того быть, матушка,— решительно сказал Марко Данилыч.— В жизнь не поверю...

— И мы, благодетель, не давали веры, да вот на правду стало походить,— молвила Таифа.

— С чего ж это они? — спросил Смолокуров.

— Славы мира, должно быть, восхотели, тесного пути не желают, пространным шествовать хотят.

— А куда пространный-то путь приведет их? — покачав головой, воскликнул Марко Данилыч.

— То не неведомо им, благодетель,—с грустью сказала Таифа.— Люди они умные, слову божию наученные начетчики великие.

— Ах, дела, дела!.. Какие дела-то у вас деются,— в недоумении качая головой, говорил Смолокуров.

— Да, батюшка, Марко Данилыч, дожили мы до слезовых дней,— отвечала Таифа.— Думано ли, гадано ли было?.. Какие бы, кажется, столпы благочестия были? Адаманты! А вот что вышло. Истину глаголет писание: «Несть правды под небесами».

И замолчали. И не малое время в кручинной думе сидели.

— Как матушка Манефа поживает? — спросил, наконец, Марко Данилыч.

— Плохо, благодетель, оченно даже плохо! — пригорюнясь, жалобно ответила мать Таифа.— У всех нас горе, а у ней вдвое... Слышали, может, про неприятности, что после вашего посещения у нас случились?

— Какие, матушка? — спросил Марко Данилыч.

— Про племянненку-то про нашу любезную, про толстуху-то нашу, Прасковью Патаповну, нешто не слыхали? — спросила Таифа.

— Замуж вышла,— сказал Марко Данилыч.

— Головушку с плеч снесла матушке! — со слезами стала говорить Таифа.— Во гроб ее уложила!.. Вот чем заплатила за любовь ее и за все попечения. Души в племянненках матушка не чаяла, и что же теперь? Одна горе принесла — преставилась, другая всю обитель осрамила, позор навела и на матушку... Потерпи ей господи за такое озлобление... И одно за другим: Марья Гавриловна без бытности матушки сбежала, потом родная племянница замуж уходом ушла!.. Слава-то ведь какая пойдет теперь про нашу обитель! Никогда таких бесчиний в ней не бывало, а теперь и вдовы и девицы замуж сбегают да еще венчаются по-никониански... А тут еще горестные-то наши обстоятельства да еще отпадение от веры в Осинках и в Керженском!.. Тут, батюшка Марко Данилыч, и не с таким здоровьем, как матушкино, до смертного часа недолго, а она ведь у нас на Пасхе-то все

едино, что из мертвых восстала... Выдался годик, такой годик, что подай только господи крепости да терпения!

— Патап-от Максимыч, слышь, ничего. Не больно гневи́лся на дочку, а зятька, говорят, возлюбил,— сказал Марко Данилыч.

— Что Патап Максимыч! — с горечью молвила Таифа.— Ему бы только самому было хорошо, о других он и думать забыл. Балагурить бы ему только да смехи́ разводить!.. Ежель ему жених по мысли приходился и дочку он за него замуж хотел выдать, ну и венчал бы как следует, честью. А то на-ко что устроили! Из обители выхватили девицу... Сраму-то что теперь! Соблазну-то! Почитали б вы, что Гусевы пишут из Москвы да Мартыновы, а они ведь наши первые по всей Москве благодетели. К вам, пишут, мы по духовному делу посланника послали, а вы его сосватали да женили... Иноческое ли это дело свахами вам быть? — пишут... Каково это сносить, благодетель?.. Сами посудите, Марко Данилыч. Как еще переносит наша матушка такие неприятности!

— Да как же это в самом деле жениться-то его угораздило? Поглядел я тогда на него, воды, кажись, не замутит,— сказал Марко Данилыч.

— А пес его знает, проклятика, как его, окаянного, угораздило! — вскликнула в сердцах Таифа.— Известно, что без вражьей силы тут не обошлось. Выбрал окаянный себе нечистый сосуд в том проклятике... Колдунья одна есть, возле нашего скита проживает. Не раз она была приличена в волховании. Марья Гавриловна к ней же по утренним зарям тайно хаживала, а потом вот и сбежала... Кто знает? Может, и Параша с любезным своим к ней же бегивала?.. Не и́наче надо думать, что колдунья назло нашей матушке бесовскою силой все это дело оборудовала. Такое у нас рассуждение держат, и сама я так понимаю. Сжечь бы ее, еретицу поганую, и со всем бы домом ее. Угодное бы господу то дело было. Ведь это хуже чумы. Хуже чумы, благодетель.

— Чего бы, мне кажется, много-то об этом заботиться матушке Манефе? — после недолгого молчанья сказал Марко Данилыч.— Ежели бы еще черница сбежала али канонница, ну так еще, пожалуй. А то ведь мирская девица, гостья. Никакого, по-моему, тут и сраму-то нет ни матушке, ни обители.

— Как же нет сраму, Марко Данилыч? — с горячностью перебила его Таифа.— Сохранить, значит, девицу не сумели, приглядеть не могли за ней. Разве это не стыд, разве не срам? А опять же этот Василий Борисыч, иссохнуть бы ему... Какую остуду у московских навел на нас! Теперь ведь по всему христианству про нас худая слава пронеслась. Вот, скажут, на Керженце-то какие дела делаются! Рогожских послов в великороссийской венчают!.. Какого еще больше сраму, Марко Данилыч?.. Помилуйте! А по нашим-то скитам? Нешто нет у нас завистниц, особливо по тем обителям, где вольнёнько живут? Матушка-то Манефа, сами знаете, старица строгая и над другими обителями держит верх. За непорядки, бывало, началит самих игумений... А теперь?.. Чего-чего теперь они не плетут на нас!.. Волос даже вянет...

— Все бы не след матушке убиваться,— сказал Марко Данилыч.— Кто довольно ее знает, тот худа об ней не помыслит, а ежели непутные языки болтают, плюнуть на них, да и вся недолга.

— Хорошо так вам говорить, Марко Данилыч,— с горячностью молвила Таифа.— А из Москвы-то, из Москвы-то что пишут?.. И здесь, к кому ни зайдешь, тотчас с первого же слова про эту окаянную свадьбу расспросы начинаются... И смеются все. «Как это вы, спрашивают, рогожского-то посла сосватали?» Легко ль это слушать, благодетель, легко ли терпеть? Нет, Марко Данилыч, велика наша печаль. Это... это...

И, горько заплакав, Таифа замолчала.

— Жаль мне матушку. Оченно жалко,— помолчав недолго, молвил Марко Данилыч.

Не смеялся он теперь, как в то время, когда Самоквасов впервые рассказывал ему про свадьбу Василья Борисыча. Жалко ему стало Манефу и Таифу жаль; они ведь так пеклись о Дунюшке, так много любят ее.

— А у нас-то в обители, Марко Данилыч, какое дело сделалось,— начала в свою очередь жалобиться мать Таисея.— Помните, как на Петров-от день гостили вы у нас в Комарове, Самоквасов Петр Степаныч да панковский приказчик Семен Петрович были у нас?

— Помню,— сказал Марко Данилыч.

— В обители у нас приставали,— продолжала Таисея.

— Помню.

— После вашего отъезда еще с неделю прогостили. И вдруг Петр Степаныч ни с того ни с сего срядился вдруг и уехал.

— Здесь он теперь,— заметил Марко Данилыч.

— Вот видите,— сказала Таисея.— И Семен Петрович тоже уехал, оба даже не простившись. Очень было это тогда нам обидно, кажется ничего худого от нас не видали, рады мы были им всей душой, и вдруг не простившись... Хорошо ли это с их стороны?

— Не хорошо,— сказал Смолокуров.— Люди молодые, ветер в голове...

— Да как же это не простясь-то? Помилуйте! Как же это возможно? Нешто так делается?

— Не делается, матушка, не делается,— ответил Марко Данилыч и вдруг, чтоб как-нибудь отвязаться от рассказов Таисеи, сказал: — Что же это я? Хорош хозяин! Сколько времени толкуем, а нет, чтобы чайком попотчевать дорогих гóстей... Вот что значит без хозяек-то.

— Напрасно беспокоитесь, Марко Данилыч, сейчас от чаю,— отирая глаза, молвила Таифа.

— Сбери-ка нам, любезный человек, поскорее самоварчик,— приказал Смолокуров влетевшему на звонок коридорному.

— Сею секундой-с,— быстро ответил тот и вихрем полетел назад.

— Право, напрасно беспокоитесь, благодетель,— говорили старицы, но за чаем замолкли.

Когда Марко Данилыч распивал лянсин с матерями, бойко вошел развеселый Петр Степаныч. Здороваясь с хозяином, взглянул на стариц... «Батюшки светы! Мать Таисея! Вот встреча-то! И Таифа тут же. Ну,— думает себе Петр Степаныч,— как они про свадьбу-то разнюхали да про все Марку Данилычу рассказали!.. Пропадай тогда моя головушка долой!» И веселый вид его смутился. «Не прогнал бы, не запретил бы дочери знаться со мной»,— думал он про себя.

Однако, притворяясь спокойным, с улыбкой обратился он к Таисее:

— Вот уж не думал, не гадал с вами встретиться, матушка. Как ваше спасение? [1] Все ли у вас здоровы?

[1] Иноков и инокинь не спрашивают о здоровье, а всегда о спасении.

— Слава богу, поколь господь грехам терпит,— молвила Таисея и тотчас же попрекнула Петра Степаныча: — А вы тогда на неделю от нас поехали да так и не бывали.

— Дела такие подошли, матушка,— озабоченно отвечал Самоквасов.— В Москве был, в Питер ездил, теперь вот здесь третью неделю живу. Нонешним годом, не знаю, в другорядь-то и попаду ли я к вам.

— А в будущем-то не к кому, пожалуй, будет и приехать,— грустно промолвила мать Таисея.

— Как не к кому? Опять к вам же. Авось не прогоните? — сказал Самоквасов.

— Самих-то нас к тому времени разгонят на все четыре стороны,— тихо промолвила мать Таисея.— Приедешь в Комаров, ан нет Комарова. Пожалеешь, чать, тогда?

— Э, матушка, страшен сон, да милостив бог,— сказал Самоквасов.— Поживете еще, а мы у вас погостим, как прежде бывало.

— Хорошо бы так, сударик мой, только этому не бывать... Последние дни доживаем...

— Полно вам, матушка, верного-то покамест еще никто не знает,— говорил Самоквасов.

— Как же нет верного? — возразила мать Таисея.— Генерал едет из Питера, строгий-настрóгий. Как только наедет, тóтчас нам и выгонка.

— Приедет, уедет, за ним другой приедет да уедет, а там и третий и четвертый. Бывали ведь и прежде не раз такие дела.

— Нет, Петр Степаныч, понапрасну не утешай. Дело наше кончено, и нет ему возвороту,— сказала мать Таисея и смолкла.

Пока Самоквасов разговаривал с Таисеей, Марко Данилыч вел с Таифой речи про Дунюшку. Разговорясь про наряды, что накупил ей на ярманке, похвалился дорогой шубой на чернобурых лисицах. Таифе захотелось взглянуть на шубу, и Смолокуров повел ее в другую комнату, оставив Таисею с Петром Степанычем продолжать надоевшие ему хныканья о скитском разоренье.

— Ну, как поживали без меня, матушка? — обратился Самоквасов к Таисее.

— Ох, житье наше! — со вздохом отвечала она.— Та-

кие дела были, что просто беда. На казанскую, только что съехал ты со двора, и Семен-от Петрович пропал.

— Да ведь он со мной поехал,— подхватил Самоквасов, зорко глядя на мать Таисею.

— С тобой?.. А ведь мы думали... Да как же это с тобой? Ты ведь один на три, что ли, дня поехал. И не простился даже путем, сама до ворот тебя провожала... Я ведь помню хорошо,— говорила мать Таисея.

— К Жжениным заходил Сеня прощаться, а я заторопился,—нисколько не смущаясь, сказал Самоквасов.— От нас повернул было я к Жжениной обители, а Сеня навстречу, я его в тележку да и айда-пошел! Мы так завсегда!.. На живую руку.

— Вот оно что! — сказала Таисея.— Так это ты его умчал. А я-таки на него погневалась, посерчала. Думаю, как же это так? Гостил, гостил, рады ему были ото всей души, всячески старались угодить, а он хоть бы плюнул.

— Моя вина, матушка, простите, ради Христа! — молвил на то Самоквасов.— Дело-то больно спешное вышло тогда. Сеня и то всю дорогу твердил, как ему было совестно не простившись уехать. Я в ответе, матушка, Сеня тут ни при чем.

— Ну господь с тобой,— ласково сказала мать Таисея и, понизив голос, примолвила: — А ты только что уехал, беда-то какая у нас в Комарове стряслась!

— Что такое? — озабоченно спросил Самоквасов.

— Помнишь, матушка Манефа тогда в Шарпан уехала, а Василья-то Борисыча ко мне перевела на время отлучки. Он в тот самый день и пропади у нас, а тут неведомо какие люди Прасковью Патаповну умчали... Слышим после, а это он ее выкрал да у попа Сушилы и побрачился.

— Слышал я кой-что насчет этого, в Москве сказывали мне,— сказал Петр Степаныч.— Родители-то ведь, слышно, простили и зятя приняли в дом.

— Верно, сударь мой, верно,— подтвердила мать Таисея.— А вышло на поверку, что все это дело самого Патапа Максимыча. Наперед у него все было слажено...

— Полноте, матушка! — возразил удивленный Петр Степаныч.— Зачем же бы ему после того свадьбу уходом справлять?

— Экой недогадливый,— усмехнулась мать Таисея.—

Будто не может и понять?.. А помнишь мои речи, что говорила я тебе на черствые твои именины?

— Какие, матушка? Что-то не припомню,— ответил Самоквасов.

— Про Дунюшку-то, про Авдотью-то Марковну,— шепнула она ему на ухо.— Забыл небось?

Смутился маленько, но не выдал себя Самоквасов.

— Что ж? — спросил он игуменью.

— А то, что ежели мои речи походят на правду, так стану я Марку Данилычу советовать, венчал бы тебя в великороссийской.

— Своих-то попов разве у нас нет? — с улыбкой возразил Самоквасов.

— А чтобы венец-от у тебя на голове покрепче держался. Вот для чего.

— Не понимаю, матушка, не знаю, к чему ваши речи,— сказал Самоквасов.

— А к тому мои речи, что все вы ноне стали ветрогоны,— молвила мать Таисея.— Иной женится, да как надоест жена, он ее и бросит, да и женится на другой. Много бывало таких. Ежели наш поп венчал, как доказать ей, что она венчана жена? В какие книги брак-от записан? А как в великороссийской повенчались, так уж тут, брат, шалишь, тут не бросишь жены, что истопку[1] с ноги. Понял?

— Понять-то понял, а все-таки придумать не могу, что за надобность Патапу Максимычу была уходом дочернюю свадьбу играть,— молвил Самоквасов.

— Честью дочь отдавать да у церковного попа венчать ему нельзя,— внушительно сказала мать Таисея.— По торговым делам остуду мог бы принять. Разориться, пожалуй, мог бы... А как уходом-то свадьба свенчана, так он перед обчéством не в ответе. Понял?

— Вот оно что! — молвил Петр Степаныч. А сам думает: «Ай да матери! Этого бы нам с Сеней в год не выдумать». Таифа вспала ему на ум — толкует она там с Марком Данилычем да вдруг как брякнет что-нибудь про ту свадьбу... Потому и спросил Таисею, каких мыслей о том матушка Манефа.

— Таких же, как и все,— ответила Таисея.— Сначала-то в недоуменье была, и на того думала и на другого; чего греха таить, мекала и на тебя, и как приехала из

[1] Истоптанный лапоть.

Питера Таифа, так все это дело и распутала, как по ниточкам. А потом и сам Патап Максимыч сказывал, что давно Василья Борисыча в зятья себе прочил.

«Эка умница какая мать-то Таифа! — подумал Петр Степаныч.— Надо будет купить ей ковровый платок».

— Стало быть, матушка Манефа теперь успокоилась? Не убивается, как давеча говорила мать Таифа? — мало погодя, спросил Самоквасов.

— Как же это не убиваться, сударь ты мой, как ей не убиваться? — отвечала Таисея.— Ведь ославилась обитель-то. То вдова сбежит, то девку выкрадут!.. Конечно, все это было, когда матушка в отлучке находилась, да ведь станут ли о том рассуждать?.. Оченно убивает это матушку Манефу. А тут еще и Фленушка-то у нее.

— А что такое? — быстро спросил Петр Степаныч.

— Господь ее знает, что такое с ней приключилось: сначала постричься хотела, потом руки на себя наложить, тоска с чего-то на нее напала, а теперь грешным делом испивать зачала.

— Славная шубка, славная! — говорила Таифа, выходя в это время из Дуниной комнаты с Марком Данилычем.— Отродясь такой еще не видывала. Да и все приданство бесподобное.

Петр Степаныч наскоро простился с Марком Данилычем.

Сумрачен, пасмурен вышел и тихо пошел, не размышляя куда и зачем. Молча и дико смотрит вокруг, и все ему кажется в желтом каком-то тумане. Шумный говор, громкие крики людей, стук и скрип тяжело нагруженных возов, резкий пронзительный стук целых обозов с железом — не слышны ему. Холод по телу его пробегал, хоть знойный полдень в то время палом пàлил.

Острою, жгучею болью, ровно стрелой, пронзило сердце его, когда узнал он про Фленушку... «Бедная, бедная!..» — думает. И вспоминает.

Вот она, легкая станом, чудной прелести девушка, резво, будто на крыльях, несется вдоль по зеленому всполью. Едва поспеваешь за ней, достигнуть нет сил. Вот перелесок, и в прохладной тени, на сочной, пушистой траве вдруг упала, лежит недвижимо, пурпурные губки раскрыв. Темные очи из-под густых соболиных бровей, звездàми сверкнув, на минуту закрылись. Подбежал и как вкопанный стал, жадно смотря на ее красоту. Чуть-

чуть слегка развела белоснежные руки, открыла глаза— они затуманены негой. Вот низко наклонился он над пылающим лицом, хочет сорвать поцелуй, но, как будто бы резвая птичка, она встрепенулась и резвоного бежит...

Вот сидит он в мрачном раздумье, склонясь над столом, в светелке Манефы. Тихо, безмолвно, беззвучно. Двери настежь, и с ясным радостным смехом птичкой влетела она. Шаловлива, игрива, как рыбка, быстро она к нему подбежала, обвила его шею руками, осияла очами, полными ясных лучей, и уста их слились. Сам не помня себя, вскочил он, но, как сон, как виденье, исчезла она.

Вот в знойный полдень на всполье она на Каменном Вражке, в кругу подруг молодых, под надзором двух стариц смиренных и сонных. Чинно, чуть слышно девицы беседу между собою ведут, шепотом молитву творят инокини, ради отгнания «срящего беса полуденного». Вдруг у ней загорелись ланиты, темные очи зажглись, как огни. Руки в боки, и лихая веселая песня раздалась по долине. Мечутся матери, хотят унять проказницу... Остановишь ли в поле ветер, удержишь ли водный поток? Одни за другим пристают голоса, звучит песня громче и громче, заглушая крикливую брань матерей.

Вот, сидя возле него, нежно смотрит она ему в очи, играет кудрями, треплет по румяной щеке и целует... Едва переводя дух, шепчет он ей о любви, шепчет страстные моленья; но чуть резкий порыв, чуть смелое движенье — хлоп по лбу ладонью, и была такова.

По три года каждым летом в Комарове он гащивал. Каждый божий день увещал, уговаривал ее повенчаться, каждый раз обещалась она, но до другого года откладывала. А как после дедовой кончины сам себе хозяином стал, наотрез ему отказала. «Побàловались и шабаш,— она молвила,— и мне и тебе свой путь-дорога, ищи невесту хорошую». Пугала, что будет злою женой, неугодливой.

И запила! Бедная Фленушка, бедная».

Идет да идет Петр Степаныч, думы свои думая. Фленушка из мыслей у него не выходит. Трепетанье минувшей любви в пораженном нежданным известием сердце. Горит голова, туманится в глазах, по телу дрожь пробегает.

Идет, идет и на̀ гору подня́лся. Вот уж он внутри кремля, на венце Часовой горы.

Внизу, под крутой высокой горой, широкий съезд, ниже его за решеткой густо разросшийся сад, в нем одинокая златоглавая церковь. Еще ниже зубчатой каменной лентой смелыми уступами сбегают с высоты древние кремлевские стены и тянутся по̀ низу вдоль берега Волги. Круглые башни с бойницами, узенькие окна из давно забытых проходов внутри стены, крытые проемы [1] среди шумной кипучей жизни нового напоминают времена стародавние, когда и стены и башни служили оплотом русской земли, когда кипели здесь лихие битвы да молодецкие дела. Еще ниже стен виднеются кучи друг над другом возвышающихся кирпичных домов, а под ними важно, горделиво и будто лениво струится широкая синяя Волга. Влево, за множеством домов, церквей, часовен и бесчисленных торговых лавок виднеется мутно-желтая Ока. Не у́же она своей матери Волги, но, сплошь заставленная стройными рядами разного вида и устройства судов, почти не видна́. За Окой в тумане пыли чуть видны здания ярмарки, бесчисленные ряды лавок, громадные церкви, флажные столбы, трех- и четырехэтажные гостиницы, китайские киоски, персидский караван, минарет татарской мечети и скромный куполок армянской церкви, каналы, мосты, бульвары, водоподъемная башня, множество домов каменных, очень мало деревянных и один железный.

То и дело взад и вперед, вверх и вниз по Волге, пыхтя черными клубами дыма, бегут пароходы. Дробя речные струи́ на седые волны и серебристую пыль, поражая слух нескончаемыми свистками, мчатся они мимо города. Нигде по России, ни в Петербурге, ни в Одессе, ни в Кронштадте, ни в других приморских портах никогда одновременно не бывает и третьей доли стольких пароходов [2] и стольких парусных судов. Это внутренний русский порт, как назвал его Петр Великий. А за широким раздольем Волги иной широкий простор расстилается. Зеленые заливные луга, там и сям прорезанные серебристыми озерами и речками, за ними ряды селений, почти слившихся одни с другими, а середи

---

[1] Амбразуры.

[2] Их теперь по Волге с притоками плавает больше пятисот, и для всех почти их рейсов целью служит устье Оки.

их белые церкви с золочеными и зелеными верхами. А за теми за церквами и за теми деревнями леса, леса и леса. Темным кряжем далеко они протянулись, и с Часовой горы не видать ни конца им, ни краю. Леса, леса и леса!

Ни города, ни ярмарки, ни Волги с Окой, ни судов не видит Петр Степаныч. Не слышит он ни городского шума, ни свиста пароходов, не видит широко разостлавшихся зеленых лугов. Одно только видит: леса, леса и леса. Там в их глуши есть Каменный Вражек; там бедная, бедная Фленушка.

Солнце стояло еще высо́ко, как Петр Степаныч спешно скакал к перевозу.

Привез с того берега перевозный пароход толпу народа, притащил за собой и паром с возами. Только что сошел с них народ, Петр Степаныч туда чуть не бегом. Тройку с тарантасом, что взял он на вольной почте, первую на паром поставили. Когда смеркаться стало, он уже ехал в лесах.

Про Дуню Смолокурову ни думы, ни помину. Ровно и на свете ее не бывало.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Тотчас по уходе Самоквасова воротилась Дуня с назва́нною тетенькой. Обе были рады керженским гостьям.

За̀ полдень было. Марко Данилыч распорядился обедом. Старицы, как водится, стали чиниться, от хлеба, от соли отказываться, уверять, что обедали.

Марко Данилыч им свое говорил:

— Супротив сытости не спорим, а позора на меня не кладите. Как это мне возможно вас отпустить без обеда? Сами недавно у вас угощались, и вдруг без хлеба, без соли вас пустим! Нельзя. Извольте оставаться; в гостях — что в неволе; у себя как хочешь, а в гостях как велят. Покорнейше просим.

— Да как же это, Марко Данилыч? — молвила мать Таисея.— Нам, сущим во ангельском чину, не подобало бы в «корчемнице» пищу принимать.

— Здесь, матушка, не корчемница, станете кушать в дому у меня,— ответил на то Марко Данилыч.

С таким хозяином матерям не стать было спорить. Нечего делать, остались.

И не раскаялись. Перед обедом Дарья Сергевна поставила закусочку из рыбных запасов богатого рыбника ради домашнего обихода. Была тут разная икра, и стерляжья, и белужья, и севрюжья, и осетровая, вислая спинка белой рыбицы, вяленая севрюжья тешка, копченая стерлядь и сочные уральские балыки. А за обедом поставили борщевое ботвинье с малосольной белужиной, стерляжью уху с налимьими печенками, расстегаи с жирами да с молоками, заливную осетрину, какой и у Макарья не вдруг сыскать, жареного леща, начиненного яйцами, да крупных карасей в сметане. Хорошо едят по скитам, а таких обедов, каким угостил матерей Марко Данилыч, сама Таифа не то что на Керженце, ни в Москве, ни в Питере, у самых богатых людей не видывала. После обеда долго чай распивали.

Маленько соснувши, Марко Данилыч на караван поехал. Таисея ушла по каким-то своим делам, осталась Таифа с Дуней да с на̀званною тетенькой ее.

Плакалась Таифа на грозящие беды, жалобилась на тяжкое обстояние и, зная, что собеседницы из избы сору не вынесут, принялась рассказывать, как мать Манефа по совету с нею полагает устроиться после выгонки.

— Еще будучи в Питере,— говорила Таифа,— отписала я матушке, что хотя, конечно, и жаль будет с Комаровым расстаться, однако ж вконец сокрушаться не след. Доподлинно узнала я, что выгонка будет такая же, какова была на Иргизе. Часовни, моленные, кельи порушат, но хозяйства не тронут. Все останется при нас. Как-нибудь проживем. В нашем городке матушка места купила. После Ильина дня хотела туда и кельи перевозить, да вот эти неприятности да матушкины болезни задержали...

— Какие неприятности? — спросила Дуня.

— А про свадьбы-то наши разве вестей до вас не доходило? — отозвалась Таифа.

— Это про Парашину-то? — с участием и печально промолвила Дарья Сергевна.

— Да,— отвечала Таифа.— И Прасковья Патаповна и Марья Гавриловна! Срамом покрыли обитель, ославили нас! Каково было это вынести матушке!.. А все братец родимый, Патап Максимыч.

— Он при чем же тут? — с живым любопытством спросила Дарья Сергевна.

— Его, сударыня, затейки, ничьи что его,— досадливо ответила Таифа.— Теперь, слышь, хохочет, со смеху помирает. Любо, вишь, ему.

— Кажись бы, человек он такой обстоятельный и по вере ревнитель,— в недоуменье качая головой, молвила Дарья Сергевна.

— По карману он, сударыня, ревнитель, а не по вере,— досадливо сказала на то мать Таифа.— Погряз в мирских вещах, о духовных же не радит.

Стала Дарья Сергевна расспрашивать про заволжских знакомых. Дуня про Аграфену Петровну спросила ее.

— Здесь ведь Грунюшка-то,— ответила ей мать Таифа.— Вечером мы с ней повстречались. В лавку к себе зазвала, погостила я маленько у них.

— Где она? Как ее отыскать? — радостно вскликнула Дунюшка.

— С мужем приехала, с Иваном Григорьичем, а пристала не в ярманке, а у ихнего годового приказчика, где-то на Почайне.

— В чьем доме?

— А вот уж это я и не знаю, любезненькая,— отвечала Таифа.— Знаю только, что третий дом от угла. Завтра сбираюсь у ней побывать.

— Скажите, матушка, ей, чтоб она у нас побывала,— сказала Дуня и вся раскраснелась, а глаза так и блестят.— Пожалуйста, не забудьте.

— Как можно забыть, родная! А для памяти запиши-ка лучше на бумажке, как ваша-то гостиница прозывается,— сказала Таифа.

Дуня написала и подала Таифе бумажку.

— Завтра же у нас побывала бы. На целый бы день приходила,— говорила Дуня.

— Ну, целый-то день в гостях сидеть ей не приходится: с детками ведь приехала,— молвила Таифа.— Сам-от Иван Григорьич с приказчиком да с молодцами на ярманке живет, а она с детками у приказчика на квартире. Хоть приказчикова хозяйка за детками и приглядывает тоже, да сама ведь знаешь, сколь заботлива Грунюшка: на́долго ребятишек без себя не оставит.

До ночи просидела Таифа, поджидая возврата Марка Данилыча. Еще хотелось ей поговорить с ним про тесное обстояние Манефиной обители. Знала, что, чем боль-

ше поплачет, тем больше возьмет. Но так и ушла, не дождавшись обительского благодетеля.

* * *

Тихо и ясно стало нà сердце у Дунюшки с той ночи, как после катанья она усмирила молитвой тревожные думы. На что ни взглянет, все светлее и краше ей кажется. Будто дивная завеса опустилась перед ее душевными очами, и невидимы стали ей людская неправда и злоба. Все люди лучше, добрее ей кажутся, и в себе сознает она, что стала добрее и лучше. Каждый день ей теперь праздник великий. И мнится Дуне, что будто от тяжкого сна она пробудилась, из темного душного морока на высоту лучезарного света она вознеслась.

С восторгом узнала, что ее сердечный друг и добрая советница завтра с нею увидится. Все ей скажет она, все выльет, что есть на душе. Вели́ка отрада мыслями с другом делиться, но Дуне не с кем было по душе говорить, некому тайные думы свои передать. Отцу, он хоть и любит ее и хоть не раз говорил, что в сердечных делах воли с нее не снимает, стыдится, однако, признаться, робеет, смелость теряет. Он всегда такой занятой, всегда озабоченный, сумрачен, важен, степенен. Любит ее и Дарья Сергевна, но как с ней начать разговоры? Для нее все суета, все мирская прелесть, греховное дело. Изнывала Дуня в одиночестве, с тех пор как проснулось ее сердце и неясной, еще не вполне сознаваемой любовью впервые встрепенулось. И вдруг она милую, добрую Груню увидит!

Утром, только что встала с постели Дуня, стала торопить Дарью Сергевну скорей бы сряжалась ехать вместе с ней на Почайну. Собрались, но дверь широко распахнулась, и с радостным, светлым лицом вошла Аграфена Петровна с детьми. Веселой, но спокойной улыбкой сияла она. Вмиг белоснежные руки Дуни обвились вокруг шеи сердечного друга. Ни слов, ни приветов, одни поцелуи да сладкие слезы свиданья.

Минут через двадцать все сидели за чаем. Дарья Сергевна девочек возле себя посадила и угощала их сдобными булками; Марко Данилыч разговаривал с Груней, Дуня глаз с нее не сводила.

— Как это вы нас разыскали? — спросил Марко Данилыч.

— Рано поутру сегодня мать Таифа ко мне прихо-

дила и сказывала, что вчера целый день у вас прогостила. Я, как узнала, тотчас и к вам.

— Очненно вам благодарны за вашу любовь и за ласку,— весело молвил Марко Данилыч.— Праздник вы сделали Дунюшке.

Добрым любящим взором взглянула на Дуню Аграфена Петровна.

— Ну что, матушка, каково торгуете на ярманке? — спросил у ней Марко Данилыч.

— Об этом меня не спрашивайте, Марко Данилыч,— ответила Аграфена Петровна.— Ничего тут не знаю. Однако же Иван Григорьич, кажется, доволен.

— От кого ни послышишь, все хоть помаленьку торгуют, а у нас с восьми баржей восьми фунтов до сих пор не продано,— недовольным голосом промолвил Марко Данилыч.

— Ваш торг иной,—ответила Аграфена Петровна.— Наш идет по мелочи, а вы хоть долго ждете, зато разом решите.

— Так-то оно так, а все-таки берет досада,— молвил Марко Данилыч.— Да и скучно без дела-то. Покончить бы и по домам.

— Погодите маленько, повеселите дочку-то,— молвила Аграфена Петровна.— Ведь у вас Дунюшка-то впервые на ярманке-то?

— В первый раз,— сказал Марко Данилыч.— Да мы уж маленько повеселились и на ярманке раз пяток побывали, по реке катались, рыбачили.

— Ну вот, видите,— молвила Аграфена Петровна.— А вы ее еще повеселите, чтоб помнила ярманку.

Немного погодя Марко Данилыч стал на караван сбираться. Он просил Аграфену Петровну остаться с Дуней на весь день. Та не согласилась.

— Хвост-от велик у меня, Марко Данилыч,— сказала она.— Две вот со мной да две на квартире, да Гришенька хоть и у отца в лавке, а все ж надо и за ним присмотреть.

— В такие молодые годы да такая семья у вас,— приветно глядя на Аграфену Петровну, молвил Марко Данилыч.— Много вам забот, много хлопот.

— Забота не работа,— шутливо, с ясной улыбкой ответила Груня.

— Так хоша пообедаем вместе,— немного помолчав, сказал Смолокуров.— Видите, Дунюшка-то как вам об-

радовалась. Погостите у нас, сударыня, сделайте такое ваше одолжение.

— Останься,— тихо промолвила Дуня, крепко держа Груню за руку.

— Ин вот как сделаем,— решила Аграфена Петровна.— Теперь я у вас посижу немножко, а потом на часок домой съезжу, погляжу, что мои птенчики поделывают, да к обеду и ворочусь. А после уж не держите, пожалуйста. Право, нельзя.

— После-то обеда я бы к ней, тятенька? — ласкаясь к отцу, молвила Дуня.

— Что ж, с богом,— согласился Марко Данилыч

Так и решили. Марко Данилыч уехал, Дарья Сергевна занялась с девочками, а Аграфену Петровну Дуня увела в свою укромную горенку.

Лишь только вошли туда, Дуня бросилась к ней на шею и осыпала горячими поцелуями. А сама плачет, разливается.

— Как я рада тебе, моя дорогая! Дня не миновало, часа не проходило, чтоб я не вспоминала про тебя. Писать собиралась, звать тебя. Помнишь наш уговор в Каменном Вражке? Еще гроза застала нас тогда,— крепко прижимая пылавшее лицо к груди Аграфены Петровны, шептала Дуня.

— Помню, милая, помню,— обнимая Дунюшку, ласково говорила Аграфена Петровна.

— Не чаяла я с тобой свидеться! Все сердце изныло без тебя.

— Ну что? — с ясным взором и улыбкой, полной участья, спросила Аграфена Петровна.

Дуня зарыдала у ней на груди, слова не может вымолвить от рыданий.

— Перестань! Хоть не с горя льешь слезы, а все тяжело. Полно же, полно! — уговаривала ее Аграфена Петровна.

Перестала Дуня рыдать, но тихие слезы все еще струились из ясных ее очей. И вся она сияла сердечной радостью и блаженством.

Сидя рядом, обе молчали. Аграфена Петровна нежно гладила по головке склонившуюся к ней девушку.

— Знаешь что, Груня? — наконец, чуть слышно промолвила Дуня, еще крепче прижавшись к сердечному другу.

— Что, милая? — тихо ответила Груня.

— Я... кажется, я... нашла...— в сильном душевном волненье едва могла проговорить Дуня.

— По душе человека? — шепнула Аграфена Петровна.

— Да,— отрывисто ответила Дуня и закрыла руками пылавшее лицо.

— Ну и слава богу,— ласково отвечала ей Груня.

— Все тебя поминала,— тихим, чуть слышным голосом говорила Дуня.— Сначала боязно было, стыдно, ни минуты покоя не знала. Что ни делаю, что ни вздумаю, а все одно да одно на уме. Тяжело мне было, Грунюшка, так тяжело, что, кажется, смерть бы легче принять. По реке мы катались, в косной. С нами был... Добрый такой... Правдивый... И как он глядел на меня и таким голосом говорил со мной, что меня то в жар, то в озноб.

И замолчала. Ни слова не сказала Аграфена Петровна, лишь молча гладила Дуню по головке и, кротко улыбаясь, поглядела ей в подернутые слезами очи.

— Дома твои слова вспомянула, твой добрый совет, не давала воли тем мыслям, на молитву стала, молилась. Долго ль молилась, не знаю,— продолжала Дуня.

— Что ж после? — спросила Аграфена Петровна.

— Не мутились мысли после молитвы,— ответила Дуня.— Стало на душе и легко и спокойно. И об нем спокойнее прежнего стала я думать... И когда на другой день увидала его, мне уж не боязно было.

— Пошли тебе господи счастливую долю. Видима святая воля его,— горячо поцеловав Дуню, с задушевной теплотой сказала Аграфена Петровна.

— Ты каждый день у нас бывай, Груня,— говорила Дунюшка.— Он к нам частенько похаживает. Поговори хорошенько с ним, вызнай, каков он есть человек. Тебе виднее. Пожалуйста!

И обвила Аграфену Петровну руками и, крепко прижав ее к груди, целовала.

— Да кто ж он таков? — с доброй улыбкой спросила у ней Аграфена Петровна.—Ты мне пока еще не сказала.

— Да тот...— тихо, чуть слышно промолвила Дуня, склонясь на плечо сердечного друга.

— Какой тот?

— Да тот... В Комарове-то... Помнишь,— прошептала Дуня и залилась слезами.

— Петр Степаныч?

— Ну да,— шепнула Дуня и, вскинув ясными очами, улыбнулась светлой, радостной улыбкой.

А между тем столбом пылит дорога и гремят мосты под тройкой быстрых звонкокопытных коней. Мчится Петр Степаныч по Керженским лесам.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

На ловецких ватагах, на волжских караванах, по пристаням, по конторам немало по найму служило народа у Марка Данилыча. Держал он на̀ймитов[1] в страхе и послушанье, праздного слова никто перед ним молвить не смел. Всегда угрюм и молчалив, редко говаривал он с подначальными, и то завсегда рывком да с ругней. Кончая брань, вздыхал он глубоко и вполголоса богу жалобился, набожно приговаривая: «Ох, господи, царю небесный, прости наши великие согрешения!..» А чуть что не по нем — зарычит, аки зверь, обругает на чем свет стоит, а найдет недобрый час — и тычком наградит.

Безответно терпели подначальные от крутонравого хозяина, лебезили перед ним, угодничали, лезли на глаза, чтобы чем-нибудь прислужиться. Знал наемный люд, что так поступать вперед пригодится. Смолокуров платил хорошо, гораздо больше других старых рыбников, расчеты давал верные, безобидные и, опричь того, раза по три в году награды и подарки жаловал, глядя по усердию. Мелких людей: ловцов, бурлаков и других временных каждый раз обсчитать норовил хоть на малость, но с приказчиками и с годовыми рабочими дела вел начистоту.

Все терпел, все сносил и в надежде на милости всем, чем мог, угождал наемный люд неподступному хозяину; но не было ни одного человека, кто бы любил по душе Марка Данилыча, кто бы, как за свое, стоял за добро его, кто бы рад был за него в огонь и в воду пойти. Между хозяином и наймитами не душевное было дело, не любовное, а корыстное, денежное.

Одного только приказчика Марко Данилыч особ-

---

[1] Начиная от Тверской губернии по Заволжью употребляется слово *наймáк*, а по Горному Поволжью до устья Суры — *на̀ймит*. И то и другое означает наемник.

ливо жаловал, одного его отличал он от других подначальных. Лет уж двадцать служил тот приказчик ему, и не то чтобы пальцем тронуть, обидного слова никогда Смолокуров ему не говаривал. Был тот приказчик смел и отважен, был бранчив, забиячлив и груб. С кем ни свяжется, с первых же слов норовит обругать, а не то зачнет язвить человека и на смех его поднимать, попрекать и делом и нёбылью. С хозяином зачнет говорить, и то бы ему в каждое слово щетинку всучить, иной раз ругнет даже его, но Марко Данилыч на то никогда ни полслова. Самый вздорный, самый сварливый был человек, у хозяина висел на ушке, и всех перед ним обносил, чернил, облыгал, оговаривал. И за то его ненавидели, а боялись чуть ли не пуще, чем самого Марка Данилыча. А когда полезно было ему смиренником прикинуться, напускал на себя такое смиренство, что хоть в святцы пиши его между преподобными. Не было у него никакой особой части на отчете, его дело было присматривать, нет ли где какого изъяна аль непорядка, и, ежели что случится, о том хозяину немедля докладывать. Кроме того, «хитрые дела» ему поручались, и он мастерски их обделывал.

Поддеть ли кого половчее, провести ли простачка поискусней, туману ль кому в глаза подпустить, Марко Данилыч, бывало, его за бока, а сам будто в сторонке, ничего будто не знает, ничего не ведает. Рад был приказчик таким порученьям, любил похвастать хитрым своим разумом, повеличаться ловкой находчивостью, похвалиться уменьем всякого человека в дураки посадить, да потом еще вдоволь насмеяться над его оплошкой и недогадкою. На брань, на попреки обманутого только, бывало, хихикает да его же корит: «А кто тебе, умному человеку, говорит, велел от нас, дураков, гнилой товар принимать? Кто тебе указывал на торгу глаза врозь распускать?.. Коли ты умный человек называешься, так, когда берешь, чванься, а взял, так кланяйся».

И не было тому приказчику другого имени как «Прожженный».

А крещеное имя было ему Корней Евстигнеев. Был он тот самый человек, что когда-то в молодых еще годах из Астрахани пешком пришел, принес Марку Данилычу известие о погибели его брата на льдинах Каспийского моря. С той поры и стал он в приближенье у хозяина.

Восстав от сна на другой день после катанья в косной, Марко Данилыч послал за Корнеем Прожженным. Тот не замедлил.

Размашисто помолясь на иконы и молча поклонясь хозяину, стал он у стола и, опершись на него рукой, спросил:

— Посылали за мной?

— Да, Евстигнеич,— сказал Марко Данилыч.— Дельце есть, для́ того и позвал.

— Знамо, что за делом. За бездельем-то бегать сапогов не напасешься,— пробурчал Прожженный и, подняв голову, стал потолок оглядывать.

— Тебе сегодня же поутру́ надо в путь-дорогу,— молвил ему Марко Данилыч.

— Куда?

— В Царицын.

— За коим лешим? По арбузы аль по горчицу? Новы торги, видно, заводить охота пришла,— насмешливо молвил Корней.

— Володерова знаешь? — спросил Смолокуров.

— Как не знать! Первый вор и мошенник,— слегка усмехнулся Прожженный.

— К нему,— сказал Марко Данилыч.

— Видно, почты не стало и штафеты [1] гонять перестали? — сердито проворчал Корней.

— Дело не в письме, а в твоем уменье,— молвил Смолокуров.

— Что за нужда на̀скорь приспела? — хмурясь, Прожженный спросил.— Володерова поучить аль другого кого объемелить? [2]. Ежель Володерова, так его не вдруг обкузьмишь [3]. Сам огонь и воду прошел.

— Он будет тебе на подмогу,— молвил Марко Данилыч.

— Смерть не люблю!..— с сердцем, отрывисто вскликнул Корней, отвернувшись от Марка Данилыча.— Терпеть не могу, ежели мне кто в моих делах помогает. От помощников по́соби мало, а пакостей вдоволь. Кажись бы, мне и не учиться стать хитрые дела одной своей башкой облаживать?..

---

[1] Эстафеты.
[2] Обмануть, как Емелю дурака.
[3] Не обманешь, не проведешь.

— А ты так поверни, чтобы Володерову и на разум не пришло, что он под твою дудку пляшет,— молвил Марко Данилыч.

— Вот это дело — важнец!..— тряхнув головой, радостно вскликнул Прожженный.— Вокруг такой статьи не грех поработать... Что за дельце такое?

— Меркулова знаешь? — понизив голос, спросил Марко Данилыч.

— Видать не видал, а слыхом немало слыхал,— отвечал Корней.— Говорят, парень не больно удатный, прямо сказать, простофиля.

— Его-то и надо объехать,— сказал Смолокуров.— Видишь ли, дело какое. Теперь у него под Царицыным три баржи тюленьего жиру. Знаешь сам, каковы цены на этот товар. А недели через две, не то и скорее, они в гору пойдут. Вот и вздумалось мне по теперешней низкой цене у Меркулова все три баржи купить. Понимаешь?

— Чего тут не понять? Не хитрость какая! — с усмешкою молвил Корней.— На кривых, значит, надобно его объехать? Это мы можем. Володеров-от при чем же тут будет?

— Больше бы веры Меркулов дал. Пишу я Володерову — остановил бы мою баржу с тюленем, как пойдет мимо Царицына, и весь бы товар хоть в воду покидал, ежель не явится покупателя, а баржу бы в Астрахань обратил,— сказал Смолокуров.

— Кака баржа? Давно все выбежали,— молвил на то Прожженный.

— Та баржа еще не рублена, да и тюлень не ловлен. Писано ради отвода,— улыбаясь, промолвил Марко Данилыч.— Нешто не понял?

— Мекаем,— мотнув головой, ответил Корней Евстигнеев.— Еще что будет приказу?

— Доронину, Зиновью Алексеичу, на продажу тюленя Меркулов доверенность дал,— продолжал Марко Данилыч.— Давал я ему по рублю двадцати; отписал он про то Меркулову да с моих же слов известил его, что выше той цены нечего ждать. Написать-то Доронин написал, а дела кончать не хочет,— дождусь, говорит, какое от Меркулова будет решенье. Вечор нарочного послал к нему. Как только ты отдашь мое письмо Володерову, он тотчас его Меркулову покажет, они ведь приятели. Тогда Меркулов то́тчас же вышлет согласье на

продажу. Сам-от ему ты не больно на глаза суйся, сомненья не подай. Пробудешь в Царицыне день и тогда с богом на Низ. И говори всем: у меня, мол, дело спешное: велено баржу опростать и с пути, где ни встречу, ее воротить.

— Пой, хозяин, молебен, пиши, барыши,— воскликнул Прожженный.— Дело в шляпе; не будь я Корней Евстигнеев, ежели у нас это дело самым лучшим манером не выгорит.

Часа через два Корней Евстигнеев отправился. На пароходе вел себя важно, говорил отважно. Умел он себя показать на народе.

* * *

Отпустив Прожженного, Марко Данилыч долго и напрасно дожидался прихода Доронина. Сильно хотелось ему еще гуще ему тумана́ подпустить, дела бы не затягивал, скорей бы решал с ним, не дожидаясь вестей из Царицына. И за чай не раз принимался Смолокуров, и по горнице взад да вперед ходил, и в торговые книги заглядывал, а Зиновья Алексеича нет как нет. И чем дольше шло время, тем больше разбирал нетерпеж Марка Данилыча, расходилось, наконец, сердце его полымем, да сорвать-то его, как нарочно, не на ком, никто под глаза не подвертывался. Самому бы идти к другу-приятелю, да то вспало на ум, что ежели станет он спешить чересчур, Доронин, пожалуй, подумает: нет ли тут какого подвоха.

«Пятьдесят тысяч верных! — рассуждает сам с собою Марко Данилыч.— И во сне такого дельца не грезилось — ровно само с лука спрянуло. На плохой конец сорок пять! Дунюшке на приданство пойдет. Соверши только, господи, подай успех. А нейдет, пострел его возьми, вечор поутру обещался придти, а нейдет, чтоб иссохнуть бы ему! С Митькой уж не покалякал ли?.. Да нет, некогда было с ним увидаться. Здесь ни у кого теперь по малой цене тюленя не купишь. Веденеев при всех прочитал письмо. Пароход в пятницу в Царицыне будет, тем же днем и Корней все обладит... Господи многомилостивый, подаждь совершение! На Смоленскую владычицу, на родительское мое благословенье ризу червонного золота справлю с жемчугами, с бурмицкими

зернами, с дорогими каменьями! День и ночь стану теплить лампаду перед тобой, царица небесная!.. А все нейдет, пес этакой. Ну, была не была, пошла такова! Сам к нему пойду».

И пошел к Доронину неторопко и полегоньку.

Зиновий Алексеич со всей семьей вокруг самовара сидел. Увидя Смолокурова, быстро встал он с места, пошел навстречу и поздоровался.

Про катанье потолковали. Вспомянула добрым словом Татьяна Андревна Самоквасова с Веденеевым и примолвила, что, должно быть, оба они большие достатки имеют... С усмешкой ответил ей Марко Данилыч:

— Пиво варит не кто богат, а кто тороват. Так стары люди говаривали, Татьяна Андревна. Оно, правда, Петру Степанычу после дедушки наследство хорошее досталось, и ежели у него с дядей раздел на ладах повершится, будет он с хорошим достатком, ну, а насчет Веденеева не знаю, что вам сказать... Из ученых ведь он, в Москве обучался, торговым делом орудует не по-старому. Не слыхать, чтобы оплошек каких-нибудь наделал, да ведь это до поры до времени. Не больно прочны́, видятся, у нас эти ученые, особливо по рыбному делу. Тут нужна особа сноровка. А так вести дело, как Митенька ведет, не без опаски сегодня удастся, завтра удастся, а когда-нибудь и сорвется... И много сильней да смышленей его с сумой за плечами хаживали. Отважен уж очень. У него валяй, не гляди, что будет впереди,— улов не улов, а обрыбиться надо.

— А удается? — спросил Зиновий Алексеич.

— Покуда счастье везет, не исполошился ни разу,— отвечал Марко Данилыч.— Иной раз у него и сорвется карась,— глядишь, щука клюну́ла. Под кем лед ломится, а под ним только потрескивает. Счастье, говорю. Да ведь на счастье да на удачу крепко полагаться нельзя: налетит беда — растворяй ворота, а беда ведь не ходит одна, каждая семь бед за собой ведет.

— Кажется, он добрый такой и умный,— молвила Татьяна Андревна.

— Добрый-то добрый, может статься и умен, да только не разумен. Ветер в голове,— отозвался Марко Данилыч.

— Что ж такое? — спросила Татьяна Андревна, пытливо взглянувши на Смолокурова.

— Да все то же. Смело уж больно поступает, отважен не в меру,— молвил Марко Данилыч.— Тут от беды недалёко. Опять за ним примечено: вздорные слухи больно охоч распускать. Развесь только уши, и не знай чего тебе не наскажет: то из Москвы ему пишут, то из Питера, а все врет, ничего никто ему не пишет, похвастаться только охота. И не один раз он враньем своим хороших людей в беду вводил. Кто поверит ему, у того, глядишь, из кармана и потекло. Теперь по всей Гребновской ему никто не верит. Известное дело, кто проврался, все едино что прокрался: люди ведь помнят вранье и вруну вперед не поверят.

— Для чего ж это он так делает? Какой ради корысти? — спросила Татьяна Андревна.

— Что ж ему? — сказал Марко Данилыч.— Врать не цепом молотить, не тяжело. Из озорства, а не из корысти людей он обманывает. Любо, видите, как другой по его милости впросак попадется. Говорю вам, ветер в голове. Все бы ему над кем покуражиться.

— Нехорошо,— покачавши головой, заметила Татьяна Андревна.

— Хорошего немного, сударыня,— сказал Марко Данилыч, допивая третий стакан чаю.— Если бы жил он по-хорошему-то, много бы лучше для него было. Без людей и ему века не изжить, а что толку, как люди тебе на грош не верят и всячески норовят от тебя подальше.

То алела, то бледнела Наташа. Разгорелись у нее ясные глазки, насупились соболиные брови. Вещее сердце уму-разуму говорило: «Нет правды в речах рыбника злого».

— С чего ж это сталось с ним, Марко Данилыч? — участливо спросила Татьяна Андревна.— Когда ж это он, сердечный, у добрых-то людей так изверился?

Рта не успел разинуть Марко Данилыч, как Наташа, облив его гневным взором, захохотала и такое слово бросила матери:

— При царе Горохе, как не горело еще озеро Кубенское.

— Наталья! — строго крикнул на нее отец.

Но ее уж не было. Горностайкой выпрыгнула она из комнаты. Следом за сестрой пошла и Лизавета Зиновьевна.

— Не обессудьте глупую, батюшка Марко Данилыч,— смиренно и кротко сказала Смолокурову Татьяна Андревна.— Молода еще, неразумна. Ну и молвит иной раз, не подумавши. Не взыщите, батюшка, на ее девичьей неумелости.

— Что это вы себя беспокоите,— благодушно улыбаясь, отвечал Марко Данилыч.— Мало ль сгоряча что говорится. Наталья же Зиновьевна из подросточков еще только что выходит. Чего с нее требовать?

— Все ж таки... Как же это возможно. Пойду пожурю ее,— молвила Татьяна Андревна.

И с тем словом пошла к дочерям.

По уходе жены Зиновий Алексеич дружески упрашивал Смолокурова не гневаться на неразумную. Марко Данилыч не гневался, а только на ус себе намотал.

— А как насчет тюленя? — спросил он после того.

— Нового ничего нет,— ответил Доронин.— Что вечор говорил, то и седни скажу: буду ждать письма от Меркулова.

— По-моему, напрасно,— заметил Марко Данилыч.— По-дружески говорю, этого дела в долгий ящик не откладывай.

— Делом спешить, людей насмешить,— с добродушной улыбкой ответил Зиновий Алексеич.

— Спешить не спеши, а все-таки маленько поторапливайся,— перебил Доронина Марко Данилыч.— Намедни, хоть я и сказал тебе, что Меркулову не взять по рублю по двадцати, однако ж, обдумав хорошенько, эту цену дать я готов, только не иначе как с рассрочкой: половину сейчас получай, пятнадцать тысяч к Рождеству, остальные на предбудущую ярманку. Процентов не начитать.

— Тяжеленьки условья-то,— усмехнувшись, молвил Доронин.— При таких условиях и с барышом находишься нагишом.

— Условия хорошие,— не смущаясь нимало, ответил Смолокуров.— По теперешним обстоятельствам отец родной лучше условий не предложит. Мне не веришь, богу поверь. Иду наудачу. Может, тысяч двадцать убытков понесу. Третьего дня ивановцы говорили, что они сокращают фабрики, тюленя, значит, самая малость потребуется... А на мыло он и вовсе теперь нейдет... Прямо тебе говорю — иду наудачу; авось хлопку не подве-

зут ли, не прибавится ли оттого дела на фабриках. Удастся — тысяч пять наживу, не удастся — на двадцать буду в накладе. По-дружески, откровенно открыл я тебе все дело, как на ладонке его выложил. Подумай да не медли. Сегодня по рублю по двадцати даю, а может, дня через три и рубля не дам. Есть у тебя доверенность, так и думать нечего, помолимся да по рукам.

— Нет, Марко Данилыч, я уж лучше письма подожду. Сам посуди, дело чужое,— немножко подумав, решил Зиновий Алексеич.

— Ваше дело, как знаешь,— сердито ответил, вставая со стула, Марко Данилыч.

Молчит Зиновий Алексеич. «Не по рукам ли?» — думает. Но нет.

— Лучше погожу,— решительно сказал он.

— Как знаешь,— беря картуз, с притворной холодностью молвил Смолокуров.— Желательно было услужить по приятельству. А и то, по правде сказать, лишняя обуза с плеч долой. Счастливо оставаться, Зиновий Алексеич. На караван пора.

И распрощались друзья-приятели холодно.

* * *

Когда встревоженная выходкой Наташи Татьяна Андревна вошла к дочерям, сердце у ней так и упало. Закрыв лицо и втиснув его глубоко в подушку, Наташа лежала как пласт на диване и трепетала всем телом. От душевной ли боли, иль от едва сдерживаемых рыданий бедная девушка тряслась и всем телом дрожала, будто в сильном приступе злой лихоманки. Держа сестру руками за распаленную голову, Лиза стояла на коленях и тревожным шепотом просила ее успокоиться.

— Что с тобой, что с тобой, Наташенька?—всплеснула руками, вполголоса, чтоб гостю не было слышно, спрашивала Татьяна Андревна.

Не дала ответа Наташа и крепче прежнего прижалась к подушке.

Не знает, за что взяться Татьяна Андревна, не придумает, что сказать, кидается из стороны в сторону, хватается то за одно, то за другое — вконец растерялась, бедная. Стала, наконец, у дивана, наклонилась и окропила слезами обнаженную шею дочери.

И сушат и целят материнские слезы детище, глядя по тому, отчего они льются. Слезы Татьяны Андревны целебным бальзамом канули на полную сердечной скорби Наташу. Тихо повернулась она, открыла ярко пылавшее лицо и тихо припала к груди матери. Татьяна Андревна обняла ее и тихонько, чуть слышно сказала:

— Что с тобой, милая? Что с тобой, моя ненаглядная?

Ни слова не может ответить Наташа, а слезы градом, а рыданья так и надрывают молодую грудь.

— Дай-ка мне водицы, Лиза,— догадалась Татьяна Андревна.

Спешно налив холодной воды, Лиза подала стакан матери, а та внезапно спрыснула Наташу, обрядно примолвив:

— Да воскреснет бог и разыдутся врази его! Крест — святым слава и победа, крест — бесом язва, а рабе божией, девице Наталии, помощь и утверждение!

Ровно от тяжелого сна очнулась Наташа, медленно провела по лицу руками и, окинув мать и сестру кротким взором, чуть слышно проговорила:

— Я... ничего...

Татьяна Андревна легонько обняла, поцеловала ее в лоб и, немножко помолчав, спросила:

— Что это с тобой?

— Зачем он его обижает? — прошептала Наташа, и глаза ее разгорелись.

— Наташа! — с изумленьем молвила Татьяна Андревна.

— Он добрый такой, хороший, а этот злой, недобрый...— в сильном волненье заговорила Наташа.

— Полно-ка ты, полно, успокой себя... Как можно такие слова говорить? — уговаривала дочь Татьяна Андревна.— Лучше ляг да усни, сном все пройдет... На-ка, выпей водицы.

Жадно выпила Наташа воду и горько промолвила:

— Он клеплет, он со зла напраслину взводит на него. Не верь ему.

— Да полно же, полно, голубка моя. Засни лучше,— уговаривала Татьяна Андревна Наташу, но та еще не скоро успокоилась.

Только что ушел Смолокуров, спешными шагами прошла к мужу Татьяна Андревна и рассказала ему

свои догадки. Изумился Зиновий Алексеич, но решил пока в это дело не мешаться, и если сама Наташа не заведет речи про Веденеева, не говорить об нем ни полслова.

— На волю господню положимся,— сказал он под конец советного разговора.

* * *

Встречаясь с знакомыми, Доронин под рукой разузнавал про Веденеева — каков он нравом и каковы у него дела торговые. Кто ни знал Дмитрия Петровича, все говорили про него похвально, отзывались, как о человеке дельном и хорошем. Опричь Смолокурова, ни от кого не слыхал Зиновий Алексеич худых вестей про него.

— Хорошо об нем отзываются,— говорил Зиновий Алексеич Татьяне Андревне.— Ежели дело заварится, чего еще лучше?

— По-моему, тут главное то, что у него, все едино, как у Никитушки, нет ни отца, ни матери, сам себе верх, сам себе голова,— говорила Татьяна Андревна.— Есть, слышно, старая бабушка, да и та, говорят, на ладан дышит, из ума совсем выжила, стало быть ему не будет помеха. Потому, ежели господь устроит Наташину судьбу, нечего ей бояться ни крутого свекра, ни лихой свекрови, ни бранчивых деверьёв, ни золовок-колотовок.

А Наташа про Веденеева ни с кем речей не заводит и с каждым днем становится молчаливей и задумчивей. Зайдет когда при ней разговор о Дмитрии Петровиче, вспыхнет слегка, а сама ни словечка. Пыталась с ней Лиза заговаривать, и на сестрины речи молчала Наташа, к Дуне ее звали — не пошла. И больше не слышно было веселого, ясного, громкого смеха ее, что с утра до вечера, бывало, раздавался по горницам Зиновья Алексеича.

В Успеньев день, поутру, Дмитрий Петрович пришел к Дорониным с праздником и розговеньем. Дома случился Зиновий Алексеич и гостю был рад. Чай, как водится, подали; Татьяна Андревна со старшей дочерью вышла, Наташа не показалась, сказала матери, что голова у ней отчего-то разболелась. Ни слова не ответила на то Татьяна Андревна, хоть и заметила, что Наташина хворь была притворная, напущённая.

За чаем про разные разности толковали, и про дела и про веселье; речь зашла про Марка Данилыча.

— Совсем пропал,— сказал про него Зиновий Алексеич.— Сколько уж ден не вижу его; и утром завернешь, и в обед, и вечером,— все дома нет.

— Рыбные дела зачинаются,— заметил Веденеев,— верховые покупатели стали трогаться помаленьку. Покамест еще вяло идет, а бог даст по скорости немножко расторгуемся. Марко Данилыч теперь весь день на караване сушь продает.

— А как вообще дела-то? — спросил Зиновий Алексеич.— Цены каковы?

— Покуда так себе,— отвечал Дмитрий Петрович.— Да ведь теперь еще нет настоящих цен, у нас развязка всегда под конец ярманки бывает. Через неделю дела пойдут бойчее.

— А вы как? Начали торги? — спросил Зиновий Алексеич.

— Я не тороплюсь,— отвечал Веденеев,—и надивиться не могу, с чего другие горячку порют. Вот хоть бы Марко Данилыч. Развязку только задерживает, а покупатели крепятся, да такие рассрочки платежей предлагают, что согласиться никак невозможно — двенадцать да осьмнадцать месяцев.

— А как теперь цены на ваши товары? — спросил Зиновий Алексеич.

— Сушь рубля полтора да по два, коренная три с полтиной, белуга три с гривной. Других сортов покамест еще не продавали.

— А тюлень? — спросил Доронин, зорко поглядев на Дмитрия Петровича.

— Еще никаких цен нет,— отвечал Веденеев.

— А скоро ли будут?

— К самому концу,— ответил Дмитрий Петрович.

Хотел было Доронин подробнее про тюленя расспросить, но вспомнил слова Смолокурова. «Кто его знает, этого Веденеева,— подумал он,— мягко стелет, а пожалуй, жестко будет спать, в самом деле наврет, пожалуй, короба с три. Лучше покамест помолчать».

И свел разговор на иное.

— Не забывайте нас, Дмитрий Петрович,— сказала на прощанье Татьяна Андревна,— жалуйте почаще к нам. Завсегда вам рады.

С веселой улыбкой Веденеев обещался бывать почаще. Затем, поговорив с Лизаветой Зиновьевной, спросил про Наташу.

— Нездоровится что-то ей,— сказала Татьяна Андревна.

— Что с ней? — тревожно спросил Веденеев, и румянец мгновенно облйл лицо его. Не укрылось то ни от отца ни от матери, не утаилось и от Лизаветы Зиновьевны.

— Голова что-то разболелась,— молвила Татьяна Андревна.— Да ничего, с кем этого не случается?

— Однако ж...— начал было Веденеев, но смутился и еще больше покраснел... Потом, схватив шляпу, стал торопливо прощаться с Зиновьем Алексеичем.

— Когда же увидимся? — спросил его Доронин.

— Да я... завсегда очень рад...— слегка запинаясь, говорил Дмитрий Петрович.— Пожалуй, хоть завтра.

— И прекрасно,— ласково молвил ему Зиновий Алексеич— Пообедаем вместе.

— Очень рад...— ответил Веденеев.

— Так мы будем ждать вас,— сказал Зиновий Алексеич, провожая Дмитрия Петровича.

Не успел уйти Веденеев, как Лиза, отворив дверь в свою комнату, наткнулась на сестру. Все время Наташа простояла у двери и в щелочку все глядела на Веденеева.

Проводя гостя, Зиновий Алексеич к жене подошел.

— Заметил? — спросила его Татьяна Андревна.

— Еще бы не заметил! Что ж? Давай бог! Обеих бы разом!

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Ниже истока Ахту́бы с лишком на двадцать сажен высится правый берег широкой Волги. Здесь край так называемых Гор. Дальше пойдут отлогие берега, песчаные степи, кочевья калмыков. Берег глубоким оврагом разрезан. По дну того оврага речка струится; про эту речку такое сказанье идет от годов стародавних.

Стоял на ее берегах дивный дворец: всюду блистало золото, всюду горели самоцветные камни. Двери серебряные, на полах разостланные мазандеранские ковры, диваны были крыты рытым бархатом, подушки низаны

жемчугом, занавесы из шелковых китайских тканей, по всем чертогам носится благовонный дым аравийских курений. Вкруг дворца тенистые сады, цветники с редкими цветами, целые рощи гилянских роз и высоко бьющие холодными, кристальными струями водометы. Толпою сродниц и роем молодых невольниц окруженная, жила там прекрасная собой и добрая сердцем ордынская царица, дочь хорасанского хана... Как нежная роза в темной листве сияет, так сияла она середь красавиц, что с нею в том дворце обитали. Подобной красы во всем мире не было видано ни прежде, ни после. Оттого и звали ту царицу «Звездой Хорасана».

Ее супруг, грозный, могучий царь Золотой Орды, часто к ней приезжал из Сарая, самые важные только дела заставляли его с печалью на сердце покидать роскошный дворец Хорасанской Звезды. Сколько царь ни уговаривал ее переселиться в столицу, Звезда Хорасана ему не внимала, не хотела менять тихого житья в прохладных садах и роскошных палатах на шум ордынской столицы. Ханские жены, что жили в Сарае, в глаза не видали Звезды Хорасана, но много слыхали про ее красоту неземную. Черная зависть их обуяла, стало им нестерпимо, что хан любит эту жену больше всех остальных. И стали они плести ему наговоры. «О грозный, могучий хан Золотой Орды и многих царств-государств повелитель,— так они говорили ему,— иль ты не знаешь, отчего любимая твоя царица не хочет жить в славной столице твоей? Там, в пустынных чертогах, ей жизнь не в пример веселее, наехать бы тебе к ней расплохом, обыскать бы сады и дворец, может статься, кого-нибудь там нашел бы». Вспыхнул яростью хан, услыхав речи жен, и излил гнев на злых завистниц.

Долго ли время шло, коротко ли, стали говорить хану думные люди его: «О грозный, могучий хан Золотой Орды, многих государств повелитель, многих царств обладатель! Обольстила тебя Звезда Хорасана; ради ее, недостойной, часто ты царские дела свои покидаешь. А не знаешь того, солнце земли, тень аллаха, что она, как только ты из ее пустынных чертогов уедешь, шлет за погаными гяурами и с ними, на посмех тебе, веселится». Вскипел гневом владыка ордынский и велел головы снять думным людям, что такие слова про Звезду Хорасана ему говорили.

Долго ли время шло, коротко ли, приходит к царю старая ханша и такие слова ему провещает: «Сын мой любезный, мощный и грозный хан Золотой Орды, многих царств-государств обладатель! Не верь ты Звезде Хорасана, напрасно сгубил ты слуг своих верных. Доподлинно знаю, что у нее в пустынном дворце по ночам бывает веселье: приходят к царице собаки-гяуры, ровно ханы какие в парчовых одеждах, много огней тогда горит у царицы, громкие песни поют у нее, а она у гяуров даже руки целует. Вот каким срамом кроет твою царскую голову Звезда Хорасана». Хан замолчал. Хоть ярость и гнев и кипели на сердце, но на мать родную он излить их не мог А старая ханша свое продолжает: «Верно я знаю, сын мой любезный, что на другой день джу́мы[1], вечером поздно, будет у ней в гостях собака-гяур, ее полюбовник. Будут там петь и играть и позорить тебя, сын мой любезный, грозный хан для неверных, милосердный царь ко всем, чтущим аллаха и его святого пророка». На те слова старой ханши промолчал грозный царь Золотой Орды.

Джу́ма прошла: с рассветом коня царю оседлали, и поехал он к царице с малым числом провожатых. Уж полночь минула и звезды в небе ярко горели, когда подъехал он к пустынным чертогам... Видит — дворец весь внутри освещен, из окон несутся звуки радостных песен. Точно победу какую там воспевают. Одаль оставя дружину, тихо подъехал хан к окнам. И видит: Звезда Хорасана, сродницы и ее рабыни все в светлых одеждах, с веселыми лицами, стоят пред гяуром, одетым в парчеву, и какую-то громкую песню поют. Вот Звезда Хорасана подходит к гяуру и целует его в уста. Свету не взвидел яростный хан, крикнул дружину, ворвался в палаты и всех, кто тут ни был, избить повелел.

А было то в ночь на светлое Христово воскресенье, когда, под конец заутрени, Звезда Хорасана, потаенная христианка, первая с иереем христосовалась. Дворец сожгли, остатки его истребили, деревья в садах порубили. Запустело место. А речку, что возле дворца протекала, с тех пор прозвали речкою Царицей. И до сих пор она так зовется.

---

[1] *Пятница* — мусульманский праздник.

На Волге с одной стороны устья Царицы город Царицын стоит, с другой — Казачья слободка, а за ней необъятные степи, и на них кочевые кибитки калмыков.

До железной дороги городок был из самых плохих. Тогда, недалеко от пристани, стояла в нем невзрачная гостиница, больше похожая на постоялый двор. Там приставали фурщики, что верховый барочный лес с Волги на́ Дон возили. Постояльцам, кои побогаче, хозяин уступал комнаты из своего помещенья и, конечно, оттого в накладе не оставался. Звали его Лукой Данилычем, прозывался он Володеров.

Главным его делом было сводить продавцов с покупателями да исполнять порученья богатых торговцев. Кроме того, Лука Данилыч переторговывал всяким товаром, какой под руку ему попадался. Один год сплавной из Верховья лес продавал, другой — хлебом да рыбой торговал, а не то по соседству елтонскую соль закупал и на волах отправлял ее с чумаками в Воронеж. Главным же делом был меновой с калмыками торг. Хлеб, красный товар, кирпичный чай он посылал к ним в улусы, а отголь пригонял косяки лошадей с табунами жирных ордынских баранов. Калашня большая была у него, больше десятка хлебников каждый день в ней крендели да баранки пекли, и Лука Данилыч возами отсылал их в улусы. Ловкий был, изворотливый человек, начал с копейки и скоро успел нажить большой капитал.

Вот уж без малого месяц в доме его живет-поживает молодой рыбный торговец Никита Федорыч Меркулов. Два чистеньких, прибранных опрятно покойчика из своих хозяин отвел ему и всем успокоил. Но не спокойно жилось постояльцу: дня два-три пробудет в Царицыне и поплывет вниз по Волге до Черного Яра, там день-другой поживет, похлопочет и спешит воротиться в Царицын. Шли у него с моря бурлацкою тягой три баржи с тюленьим и рыбьим из бешенки жиром, добежали те баржи до Черного Яра, и лоцман тут бед натворил. Большой паводок поднялся тогда от долгих дождей проливных; лоцман был пьяный да неумелый, баржи подвел к самой пристани в Черном Яру. А та пристань, окроме весны, всегда мелководна, летом лишь мелким судам к ней подходить неопасно, дощаник да ослянка[1]

[1] *Ослянка*, иначе *осланка* — небольшое мелкосидящее судно.

еще могут стоять в ней с грехом пополам, а другая посудина как раз на́ мель сядет. Так и с меркуловским караваном случилось: паводок спал за одни сутки, и баржи с носов обмелели. На одну всех бурля́ков согнали, те принялись перетираться на шпилях [1] и с великим трудом вывели ее на полую воду. За другую баржу приня́лись — ни с места. Бились, бились с раннего утра до позднего вечера, не пивши, не евши, никакого нет толку.

Вдруг, ровно по чьему приказу, бурлаки разом шпили побросали и в сотню голосов с бранью, с руганью стали задорно кричать.

— Давай паузки [2], хозяин.

— Да где их взять? — отвечал смущенный Меркулов.— Время глухое теперь, по всему Низовью ни единого паузка не сыщешь.

— На Верх посылай, а не то мы сейчас же котомки на плечи да айда по домам,— горланила буйная артель.

— Разве так можно? — крикнул Меркулов.— Нешто вы бессудный народ? Попробуй сбежать, паспорты все у меня и условие тоже. За побег с судна вашего брата по головке не гладят.

— Видали мы таких горячих! У нас, брат, мир, артель. Одному с миром не совладать, будь ты хоть семи пядей во лбу!

— Молчать! — гневно крикнул Меркулов.— Сейчас за работу. Берись за шпили!

Бурлаки в кучу столпились, сами ни с места. Один из них, коренастый, широкоплечий парень лет тридцати, ступил вперед, надел картуз и, подперши руки в боки, нахально сказал Меркулову:

— Ты не кипятись; печенка лопнет. Посылай-ка лучше за паузками, авось найдешь за Саратовом, а не то за Самарой. Тут три таких артели, как наша, ничего не поделают. Ишь как вода-то сбывает, скоро баржи твои обсохнут совсем.

— За паузками посылать мое дело. Вам меня не учить стать,— строго молвил бурла́кам Меркулов.— Ва-

---

[1] *Шпиль* — длинный шест с костылем либо шишкой вверху, о который упираются плечом рабочие. *Перетираться на шпилях* — то же, что *идти на шестах*, значит судно вести, упираясь шпилями во дно реки.

[2] *Паузок* — мелководное судно для перегрузки клади с больших судов на мелкой воде.

ше дело работать — ну и работай, буянить не сметь. Здесь ведь город, суд да расправу тотчас найду.

— Нас этим не напугаешь, не больно боимся. И никто с нами ничего не может сделать, потому что мы артель, мир то есть означаем. Ты понимай, что такое мир означает! — изо всей мочи кричал тот же бурлак, а другие вторили, пересыпая речи крупною бранью.

До того дошли крики, что стало невозможно слова понимать. Только и было слышно:

— Посылай за паузками!.. Сейчас шли за паузками!

— Ну и пошлю,— сказал Меркулов.— А работу бросать у меня не смей, не то я сейчас же в город за расправой. Эй, лодку!

Стихли бурлаки, но все-таки говорили:

— За паузками посылай, а даром на тебя работать не станем. Хоть самому губернатору жалобись, а мы не согласны работать. В условье не ставлено того!

— Плачу за простой,— молвил Меркулов.

— Ну, это ина статья,— заговорили бурлаки совсем другим уж голосом и разом сняли перед хозяином картузы и шапки.— Что ж ты, ваше степенство, с самого начала так не сказал? А то и нас на грех и себя на досаду навел. Тебе бы с первого слова сказать, никто бы тебе супротивного слова не молвил.

— Ну, Христов народ, берись за шпили! — гаркнул тот самый бурлак, что нагло выступал из толпы перед хозяином.— Берись, берись, ребятушки! Хозяин за вином пошлет.

Меркулов в самом деле за водкой послал. Бурлаки пили, благодарили, но, как усердно ни работали, баржа не трогалась с места, а вода все убывала да убывала.

Послал Меркулов за паузками, наняли два в Саратове, но их не хватило и одну баржу распаузить. Дальше послал, а вода все сбывает да сбывает, баржи стало песком заносить. Выведенную в самом начале на полую воду баржу взвели до Царицына, на стержне у Черного Яра оставить ее было ненадежно, неровно поднимется буря, совсем разобьет. Думал Меркулов пароход кабестанный[1] нанять — и тут неудача: пароходов по Волге

[1] *Кабестан* — ворот. Прежде на Волге были коноводные суда, на которых бывало по сотне и более лошадей. Они приводили в движение ворот, на который навивался канат, конец которого с якорем впереди судна брошен в воду. Оттого судно и двигалось, хотя и очень медленно. Теперь сила лошадей заменена силой пара.

в то время еще немного ходило, и все они были заподряжены на целое лето. Набрали, наконец, паузков, и Никита Федорыч вздохнул свободней: хоть позднѿ, а все же поспеет к Макарью, ежель новой беды в пути не случится.

Баржи с паузками пришли, наконец, к царицынской пристани. Велел Меркулов перегрузить тюленя с паузков на баржи, оставив на всякий случай три паузка с грузом, чтоб баржи не слишком грузно сидели. Засуха стояла. Волга мелела, чего доброго на перекате где-нибудь выше Казани полногрузная баржа опять сядет на мель.

Кончились хлопоты, еще ден пяток, и караван двинется с места. Вдруг получает Меркулов письмо от нареченного тестя. Невеселое письмо пишет ему Зиновий Алексеич: извещает, что у Макарья на тюленя́ цен вовсе нет и что придется продать его дешевле рубля двадцати. А ему в ту цену тюлень самому обошелся, значит до́ставка с наймом паузков, с платой за простой и с другими расходами вон из кармана. Вот тебе и свадебный подарок молодой жене!

Ходит Никита Федорыч по пристани, ровно темная ночь. Торопит рабочих, а сам все раздумывает: «Что работай, что нет — все едино, денег пропасть потратил, а все-таки остался в накладе. Вот тебе и тюлень!»

Совсем к отвалу баржи были готовы, как новое письмо от Доронина получил горемычный Меркулов. Пишет, что цены ему кажутся очень уж низки и потому хоть и есть в виду покупатель и весь груз берет без остатка, но сам Доронин без хозяйского письма решиться не может, потому и просит отвечать поскорей, как ему поступать.

Не верится Меркулову, чтобы цены на тюленя до такой меры упали. Знал он, что и хлопку мало в привозе и что на мыльные заводы тюлений жир больше не требуется, а отчего ценам упасть до того, что своих денег на нем не выручишь, понять не может. «Что-нибудь да не так,— думает он,— может, какой охотник до скорой наживы вздумал в мутной водице рыбку поймать, подъехал к Зинове́ю Алексеичу, узнав, что у него от меня есть доверенность, а он в рыбном деле слепой человек». И решил до приезда к Макарью тюленя́ не продавать. Так и в письме писал.

Письмо еще не было послано, как к Царицыну с Верху прибежал буксирный [1] пароход. На пристани пошла обычная суетня. Мигом сбежалась толпа девок и молодиц. Живо, со смехом, с веселыми криками, принялась она таскать на пароход дрова. Сойдя на берег, путники рассыпались по берегу: кто калачи покупал да крендели, кто запасался икрой и рыбой, кто накинулся на дешевые арбузы, на виноград, на яблоки. Шум, гам, крик! С полгорода от скуки сбежалось на пристань поглазеть на проезжих. Приезжих в Царицын был только один смолокуровский приказчик Корней Евстигнеев. Сойдя по сходням с парохода, увидал он стоявшего неподалеку Володерова с каким-то молодым человеком, не то барином, не то купчиком. То был Меркулов.

— Наше вам, Лука Данилыч! — лениво приподняв картуз, молвил Корней Евстигнеев и протянул здоровенную лапищу царицынскому трактирщику.— Вас-то мне и надоть.

— Что за надобность? — сухо спросил у него Володеров.

— А ты не вдруг... Лучше помаленьку,— грубо ответил Корней.— Ты, умная голова, то разумей, что я Корней и что на всякий спех у меня свой смех. А ты бы вот меня к себе в дом повел, да хорошеньку фатеру отвел, да чайком бы угостил, да винца бы поднес, а потом бы уж и спрашивал, по какому делу, откуда и от кого я прибыл к тебе.

— Ну, говори, коли с делом приехал. Чего бакалажиться-то? — с досадой молвил трактирщик Корнею.

— А ты, брат, не нукай, и сам свезешь,— огрызнулся Корней.— Айда, что ли, к тебе чаи распивать.

— Поспеешь,— сказал Володеров и отошел от Корнея к Меркулову.

А Корней, взвалив на плечи чемодан, пошел к постоялому двору.

— Кто такой? — спросил Меркулов у Луки Данилыча.

— Смолокуровский приказчик,— ответил Володеров.— Знаете Смолокурова Марка Данилыча?

— Как не знать? Старый рыбник, один из первых

---

[1] *Буксирным* пароходом называется такой, который ведет за собой несколько барж с грузом.

у нас,— молвил Меркулов.— Только этого молодца я что-то у него на ватагах не видывал.

— При себе больше держит, редко куда посылает, разве по самым важным делам,— отвечал Володеров.— Парень ухорез, недаром родом сызранец. Не выругавшись, и богу не помолится.

— При каких же делах он у Смолокурова? — спросил Меркулов.

— Да при всяких, когда до чего доведется,— отвечал трактирщик.— Самый доверенный у него человек... Горазд и Марко Данилыч любого человека за всяко облаять, а супротив Корнея ему далеко. Такой облай, что слова не скажет путем, все бы ему с рывка. Смолокуров, сами знаете, и спесив, и чванлив, и держит себя высоко, а Корнею во всем спускает. Бывает, что Корней и самого его обругает на чем свет стоит, а он хоть бы словечко в ответ.

— Что ж бы это значило? — спросил Никита Федорыч.

— Какие-нибудь особенные дела у них есть,— сказал Володеров.— Может статься, Корней знает что-нибудь такое, отчего Марку Данилычу не расчет не уважить его.

Меж тем на пароход бабы да девки дров натаскали. Дали свисток, посторонние спешат долой с парохода, дорожные люди бегом бегут на палубу... Еще свисток, сходни приняты, и пароход стал заворачивать. Народ с пристани стал расходиться. Пошли и Никита Федорыч с Володеровым.

Воротясь на квартиру, Меркулов велел подать самовар. И только что успел налить стакан чаю, как дверь отворилась и на цыпочках вошел Володеров.

— Чай да сахар! — молвил Лука Данилыч.

— К чаю милости просим,— ответил Меркулов.— Садитесь-ка — самая пора.

— Покорнейше благодарим, Никита Федорыч. Я к вам по дельцу. Оченно для вас нужное,— вполголоса сказал Володеров.

— Что такое? — немножко встревожившись, спросил Меркулов.

— Да насчет вашего товара желаю доложить,— еще больше понижая голос, отвечал Володеров.

— Что такое? — совсем уж смутившись, спросил Меркулов.

— Этот Корней с письмом ко мне от Смолокурова приехал,— шепотом продолжал Володеров.— Вот оно, прочитайте, ежели угодно,— прибавил он, кладя письмо на стол.— У Марка Данилыча где-то там на Низу баржа с тюленем осталась и должна идти к Макарью. А как у Макарья цены стали самые низкие, как есть в убыток, по рублю да по рублю с гривной, так он и просит меня остановить его баржу, ежели пойдет мимо Царицына, а Корнею велел плыть ниже, до самой Бирючьей Косы [1], остановил бы ту баржу, где встретится.

При первых же словах Володерова Никита Федорыч вскочил со стула и крупными шагами стал ходить по горнице. В сильном волнении вскликнул:

— Не может быть, чтоб по рублю!.. Никак этого не может быть!.. Что-нибудь да не так... Или ошибка, иль уж не знаю что.

— Вот письмо, извольте прочесть,— сказал Лука Данилыч.

Меркулов стал читать. Побледнел, как прочел слова Марка Данилыча: «А так как предвидится на будущей неделе, что цена еще понизится, то ничего больше делать не остается, как всего тюленя хоть в воду бросать, потому что не будет стоить и хранить его...»

— Ах ты, пропасть какая! — отчаянным голосом вскликнул Никита Федорыч.— Это бог знает на что похоже! Ниже рубля!.. Что ж это такое?

И, не кончив самовара, поблагодарив Володерова за участие, пошел на пристань освежиться в вечерней прохладе.

Подошел к своим баржам... Возле них Корней Евстигнеев стоит, с приказчиком его растабарывает.

— Невеселые вести от Макарья привез,— сказал, указывая на Корнея, приказчик Меркулову.

— Какие вести? — спросил Никита Федорыч, будто не знает ничего.

— Да вот-с насчет тюленя,— ответил приказчик.

— Что ж такое насчет тюленя? — обратился Меркулов к Прожженному.

— А то могу доложить вашей милости, что по нонешнему году этот товар самый что ни на есть анафем-

---

[1] На устье Волги на Каспийском взморье.

ский. Провалиться б ему, проклятому, ко всем чертям с самим сатаной,— отвечал Корней.

— За что ж вы так честите наш товарец... Кажется, он всегда хо́док бывал...— сказал Никита Федорыч, а у самого сердце так и разрывается.

— Ходкий, неча сказать!..— захохотал Корней.— Теперь у Макарья, что водке из-под лодки, что этому товару, одна цена. Наш хозяин решил всего тюленя, что ни привез на ярманку, в Оку покидать; пущай, говорит, водяные черти кашу себе маслят. Баржа у нас тут где-то на Низу с этой дрянью застряла, так хозяин дал мне пору́ченность весь жир в воду, а баржу погрузить другим товаром да на̀скоро к Макарью вести.

— А как, однако, цены теперь на тюлень? — спросил Меркулов.

— Какие цены? Вовсе их нет. Восьми гривен напросишься,— отвечал Корней Евстигнеев.

— Уж и восемь гривен,— с недоверьем отозвался Никита Федорыч.— Знаем тоже кой-что...

— Знаешь ты с редькой десять! — вскинулся на него Корней.— Врать, что ли, я тебе стану? Нанимал, что ли, ты меня врать-то?.. За вранье-то ведь никакой дурак денег не даст... Коли есть лишние, подавай — скажу, пожалуй, что пуд по пяти рублев продавали...

— Управились, что ли? — спросил Меркулов своего приказчика, отвернувшись от Корнея.

— Совсем почти,— отвечал приказчик.— Самая малость осталась, завтра к полдням все будет готово.

— Так пообедавши, бог даст, и отвалим,— сказал Меркулов и пошел на квартиру.

— Валил бы лучше в Волгу свое сокровище. Выгоднее, право выгодней будет,— кричал ему вслед Корней Евстигнеев.— Вот так купец-торговец!.. Три баржи с грузом, а сам с голым пузом! Эй, воротись, получай по два пятака за баржу — все-таки тебе хоть какой-нибудь барыш будет.

Не слушал Никита Федорыч ни речей Корнея, ни бурлацкого хохота, раздававшегося на его слова, быстрыми шагами удалился он от пристани. А сердце так и кипит от гнева и досады... Очень хотелось ему расправиться с нахалом.

Долго, до самой полночи ходил он по комнате, думал и сто раз передумывал насчет тюленя. «Ну что ж,— ре-

шил он, наконец,— ну по рублю продам, десять тысяч убытку, опричь доставки и других расходов; по восьми гривен продам — двадцать тысяч убытку. Убиваться не из чего — не по миру же, в самом деле, пойду... Барышу наклад родной брат, то один, то другой на тебя поглядит... Бог даст, поправимся, а все-таки надо скорей с тюленем развязаться!..»

И, разорвав приготовленное письмо, стал писать другое. Извещал он Зиновья Алексеича, что отправляется с баржами из Царицына, и просил его поторопиться продажей, по какой бы цене ни было.

Утомившись от дневных тревог и волнений, поздно за̀ полночь лег Меркулов в постель. Не спалось ему — тюлень с ума не сходил. «Эх, узнать бы повернее ярманочные цены!.. От рыбников толку не добьешься... К кому ни пиши — все кулаки с первого до последнего, правды от них не жди... Кто бы это такой у Зиновья Алексеича тюленя́ торгует?.. Что бы написать ему!.. Не из наших, должно быть, не из рыбников, да из них Зиновий Алексеич, кажется, ни с кем знакомства не имеет... Разве написать к кому... К Орошину? И не подумает ответить, меня же еще на смех поднимет, станет носиться с моим письмом по всем караванам. К Смолокурову, к Седову, к Сусалину? Одного сукна епанча!.. Засмеют, а что обманут — в том и сомненья нет».

Думал, думал, ничего придумать не мог. А кручинные думы неотвязчивы, ты гони их, а они, ровно мухи, так и лезут к тебе.

Вдруг ровно его осветило. «Митя не в ярманке ли? — подумал он.— Не сбирался он к Макарью, дел у него в Петербурге по горло, да притом же за границу собирался ехать и там вплоть до глубокой осени пробыть... Однако ж кто его знает... Может быть, приехал!.. Эх как бы он у Макарья был».

А Дмитрий Петрович Веденеев был великий друг и приятель Меркулову. Земляки, сверстники по возрасту, почти одногодки. Торговому делу обучались не в лавке, не в амбаре, а на школьной скамье. Оба промышляли на ватагах, и оба торги вели не по-старому. Старые рыбники на них обоих глядели свысока, подшучивали над их ученьем и крепко недолюбливали за новые, неслыханные дотоль на Волге порядки, что завели они у себя на промыслах и в караванах. Ловцы у них были на готовых

харчах, оттого и воровали меньше, чем на других ватагах. Старым рыбникам было то за большую досаду, боялись, что молодежь все дело у них перепортит.

Живучи в Москве и бывая каждый день у Дорониных, Никита Федорыч ни разу не сказал им про Веденеева, к слову как-то не приходилось. Теперь это на большую досаду его наводило, досадовал он на себя и за то, что, когда писал Зиновью Алексеичу, не пришло ему в голову спросить его, не у Макарья ли Веденеев, и, ежели там, так всего бы вернее через него цены узнать.

Засветил огня Никита Федорыч, распечатал приготовленное к нареченному тестю письмо и приписал в нем, чтобы он попытал отыскать на Гребновской пристани Дмитрия Петровича Веденеева и, какую он цену на тюленй скажет, по той бы и продавал... Написал на случай письмо и к Веденееву, просил его познакомиться с Дорониным и открыть ему настоящие цены.

Когда Никита Федорыч запечатал письма, у него отлегло на душе, и стал он гораздо спокойнее. Тревоги ровно не бывало, беспокойство стихло. Про баржи да про убытки и на разум не вспадает, думает про одну невесту да по пальцам высчитывает, через сколько дней с ней увидится. И сдается ему, что, как только увидит он милый лик любимой девушки, все скорби и печали, все заботы и хлопоты как рукой снимет с него и потекут дни светлые, дни счастья и тихой радости... Минуют черные дни, и она, никто как она, избавит его от бед и напастей.

На другой день рано поутру Меркулов отправил с письмами двуконную эстафету. Ради верности сам на почту ходил, сам письма сдал. Выходя из почтовой конторы, встретился с Корнеем Евстигнеевым.

— Мне бы штафету надо послать,— сказал Корней, войдя в контору.

— Куда? — отрывисто спросил у него сумрачный почтмейстер.

— В Нижний, на ярманку.

— Письмо аль посылка? — немножко поласковей спросил почтмейстер.

— Одно письмо.

— Тридцать восемь рублей двадцать пять копеек,— молвил почтмейстер.

Рад он был. Не серым волком, а сизым голубком поглядел на Корнея Прожженного, садиться просил его,

приветные слова говорил. Эстафете все едино — два ли, три ли письма везти. Значит, без малого сорок рублей почтмейстеру перепало.

Сел Корней у стола деньги считать. Отдавая, спросил у почтмейстера:

— От Меркулова другая-то штафета?

Почтмейстер молча кивнул головой.

— Мы ведь по одному с ним делу,— заметил Прожженный.— К Доронину, надо полагать, он послал?

Раскрыл почтмейстер книгу и вслух прочитал:

— «В Нижний-Новгород, на Гребновскую пристань, вольскому купцу Зиновью Доронину и... и почетному гражданину Дмитрию Веденееву от почетного гражданина Никиты Меркулова». А от вас кому?

— На ту же Гребновскую к Смолокурову Марку Данилычу,— молвил Корней Евстигнеев.

— В одно, значит, место.

— И место одно, и дело одно, и во всех трех письмах писано одно,— подтвердил Корней.— А скоро ль штафета пойдет?

— Слышите колокольчик,— молвил почтмейстер.— Письмецо-то ваше пожалуйте.

— Как же мне быть? — молвил Корней, вынимая письмо.— Мне бы надо было еще словечка два приписать хозяину.

— Печатка с вами?

— При мне,— отвечал Корней Евстигнеев, взяв в руку подвешенную к часам сердоликовую печать.

— Так садитесь и приписывайте. Вот вам конверт, вот сургуч, бумажки понадобится — и бумажки дадим.

Распечатавши письмо, Корней приписал, что с той же эстафетой идут письма от Меркулова: одно к Доронину, другое к Веденееву.

Сорок рублей до того раздобрили почтмейстера, что он ради будущего знакомства пригласил Корнея к себе на квартиру, а так как у него на ту пору пирог из печки вынули, предложил ему водочки выпить да закусить. Корней не отказался и, прощаясь с гостеприимным почтмейстером, сунул ему красненькую. Тот стал было отнекиваться, однако принял...

Через час после того плыл вверх по Волге Никита Федорыч, провожаемый добрыми пожеланьями Володерова и насмешливыми взглядами Корнея Прожженного.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Резво и бойко одна за другой вверх по Волге выбегали баржи меркуловские. Целу путину ветер попутный им дул, и на мелях, на перекатах воды стояло вдоволь. Рабочие на ба́ржах были веселы, лоцмана̀ радовались высокой воде, водоливы вёдру, все ровному ветру без порывов, без перемежек. «Святой воздух» широко̀ расстилал «апостольские скатерти» [1], и баржи летели ровно птицы, а бурлаки либо спали, либо ели, либо тешились меж собою. Один хозяин не весел по палубе похаживал — тюлень у него с ума не сходил.

Как ни быстро бежал караван Никиты Федорыча, посланные из Царицына эстафеты его упредили.

Дня через четыре после отправки тех эстафет, рано поу́тру, только что успел Марко Данилыч протереть заспанные очи и помолиться по лестовке, крадучись, ровно кошка, робкими стопами вошел к нему Василий Фадеев. Помолясь богу и отдав низкий поклон хозяину, осторожно развязал он бумажный платок и подал письмо.

— Штафета из Царицына,— вполголоса промолвил он и глубоко̀ вздохнул, ровно непосильную тяжесть с плеч сбросил.

Жадно схватил письмо Смолокуров, быстро со́рвал печать и принялся читать неразборчивое посланье Корнея. Сначала лицо его радостно просияло, потом он весь, как кумач, покраснел: и глаза загорелись гневом... Таково крепко он при этом выругался, что Фадеев на всякий случа̀й отступил шага на четыре поближе к двери.

— Зарезал!..— закричал Марко Данилыч, бросая смятое письмо. Потом, заложа руки за̀ спину, принялся шагать взад и вперед по горнице.

А Василий Фадеев попятился к самому порогу. В знак покорности склонил он низко голову, робко вытянул вперед гусиную шею свою, а сам искоса то и дело поглядывает на вспылившего хозяина.

— Чтоб его вдоль и поперек!.. Чтоб ему ни гроба, ни савана!..— продолжал тот браниться. И вдруг ни с того ни с сего накинулся на Фадеева:

— Ты чего торчишь?.. Вон пошел!.. Мошенники!.. Ироды проклятые!..

---

[1] Бурлацкие выражения. *Святой воздух* — ветер, *апостольская скатерть* — паруса.

Богу не помолясь, хозяину не поклонясь, юркнул из комнаты Василий Фадеев.

«Не выгорело! — сам с собой рассуждал Марко Данилыч.— Теперь дело бро́совое!.. И как это мне на мысли не вспало, что Митька с Микиткой земляки?.. Они друг дружке известны, к тому ж одной масти, одной выучки... Что бела собака, что чёрна собака — все один пес... Да я же с большого-то ума и свел Митьку с Дорониными... Позвал тогда его на катанье!.. Прометнулся!.. Вот те и барыш, вот те и тюлень!.. Господи, батюшка, ризу ведь я обещал на владычицу!.. Червонного золота! Мало разве?.. Так я бы прибавил!..».

Чуть-чуть отворилась входная дверь, и высунулось побитое оспой лицо Василья Фадеева.

— Еще два письма почтальон привозил на пристань,— робко промолвил он.

— Знаю,— крикнул Марко Данилыч.— Ступай до греха!.. Да убирайся же, чтоб черти тебя на том свете жарили да всякой мерзостью заместо масла поливали!

И неистово затопал ногами.

— Одного не нашли,— настойчиво молвил Василий Фадеев и то́тчас же скрылся за дверью.

— Кого не нашли?.. Ступай сюда,— крикнул ему Смолокуров.

Приказчик опять появился в дверях.

— Доронина какого-то искал почтальон,— сказал он, входя в комнату.— А такого у нас по всей пристани нет. А на письме означено: «На Гребновскую». Спрашивал почтальон, не знает ли кто, где тот Доронин живет — не знает никто. Так ни с чем и уехал.

— С письмом?

— С письмом,— ответил Фадеев.— Говорил, что отдаст его в почтову контору,— что говорит, там хотят, то пущай с ним и делают.

— А-а!.. Ну, за это тебе спасибо,— маленько повеселей промолвил Марко Данилыч.— Другое-то письмо к Веденееву? — спросил он, маленько помолчавши.

— Так точно-с,— посмелей прежнего отвечал Фадеев.

— Сам получал?

— Никак нет-с, приказчик получал. Веденеев на караване не живет.

— Тотчас повез приказчик письмо? — спросил Марко Данилыч.

— Никак нет-с. Сам, говорил, скоро на баржи приедет, тогда и отдам,— отвечал Василий Фадеев.

Рублевку дал ему Марко Данилыч за приятные вести.

— Это тебе за то, что письмо поспешил привезти...— промолвил он, когда Фадеев раболепно целовал щедрую руку.— С богом.

Отвесил низкий поклон Фадеев и молча ушел.

Мрачно ходил Марко Данилыч по комнате, долго о чем-то раздумывал... Дуня вошла. Думчивая такая, цвет с лица будто сбежал. Каждый день подо́лгу видается она с Аграфеной Петровной, но нет того, о ком юные думы, неясные, не понятые еще ею вполне тревожные помышленья. Ровно волной его смыло, ровно ветром снесло. «Вот уж неделя, как нет»,— думает Дуня... Думает, передумывает и совсем теряется в напрасных догадках.

Только что взглянул на Дуню Марко Данилыч, вдруг сам изменился в лице. Ни гнева, ни досады. С нежностью поцеловал он дочь.

— Что это, погляжу я на тебя, Дунюшка, ровно ты не по себе? — спросил он, одной рукой обнимая ее, другой ласково гладя по шелковистым волосам.

Чуть-чуть вспыхнула Дуня. Тихо подняла она на отца голубые глаза и, силясь казаться беззаботной, с улыбкой ему отвечала.

— Нет, я ничего.

— Да ты здорова ли? — заботно спрашивал отец, прикладывая широкую заскорузлую ладонь к белоснежному челу дочери.

— Здорова.

— Что ж это глаза-то у тебя какие?.. Ровно бы плакала?..

Смутилась Дуня, поалела́, однако ж твердо, спокойно, с улыбкой промолвила:

— О чем же плакать мне, тятя?

— То-то, ты у меня смотри,— молвил Смолокуров. И, нежно поцеловав Дуню, отошел к окну.

А она в самом деле чуть не половину ночи проплакала от неотвязчивых дум.

— Давно ли с подругами-то виделась, с Дорониными? — спросил Марко Данилыч, пристально гля́дя на что-то в окошко.

— Дня три не видались,— ответила Дуня.

— Что ж это ты? Побывай у них... Девицы хорошие, любят тебя,— молвил Марко Данилыч, по-прежнему глядя на улицу.— А то с одной Аграфеной Петровной хороводишься... Только у тебя и света в окошке... Так, ласточка ты моя, делать не годится.

— Груня меня любит. Опять же знала меня еще махонькой.

— Видаться с ней запрета тебе не кладу,— сказал Марко Данилыч.— Баба она хорошая, дельная, разумная. А все же нельзя ради ее других покидать. Так не водится, моя сердечная.

— Сегодня же побываю у Дорониных,— тихо ответила Дуня.

— А вот попьешь чайку да тотчас же к ним и ступай. По малом времени я и сам подойду,— сказал Марко Данилыч.

Молча, головку склонивши, пошла Дуня к Дарье Сергевне, а там уж стоял самовар на столе.

* * *

Когда в Царицыне Меркулов писал письма, он, от бессонной ночи и душевного волнения, написавши адрес Веденеева: «На Гребновскую пристань», бессознательно поставил его и на письме к Зиновью Алексеичу. Из этого путаница вышла. Хорошо еще, что Веденеев был у Макарья, а то бы письмо к Доронину так и завалялось в почтовой конторе.

Дуня еще сидела у Дорониных, а Марко Данилыч еще не приходил к ним, как с праздничным лицом влетел в комнату Дмитрий Петрович. Первым словом его было:

— Получили эстафету?

— Какую? — с удивлением спросил Зиновий Алексеич.

— От Меркулова, от Никиты Федорыча, из Царицына,— сказал Дмитрий Петрович.

Еще больше удивился Зиновий Алексеич... Лизавета Зиновьевна вспыхнула. Татьяна Андревна, руки сложив на гру́ди, умильно спросила Веденеева:

— А вы нешто Никитушку-то знаете?

— Друг и приятель закадычный. К тому ж земляки,— отвечал Дмитрий Петрович.

— Не сродни ли как? — озабоченно спросила Татьяна Андревна, пристально глядя на Веденеева.

— Ни родства, ни свойства, а живем с ним дружно, союзно. Дай бог и сродникам так жить, как живем мы с Меркуловым,— сказал Дмитрий Петрович.

— Да что за штафета такая? — перебил их Зиновий Алексеич.

— Читайте, что пишет ко мне Никита Сокровенный,—сказал Веденеев, подавая письмо Зиновью Алексеичу.

— Как это вы, батюшка, на̀звали его? — добродушно спросила Татьяна Андревна.

— Никита Сокровенный,— весело улыбаясь, ответил Веденеев.— Так его у нас в дружеском кружке зовут: Никита Сокровенный да Никита Сокровенный, а иной раз и просто Сокровенный. Он уж знает свою кличку.

— За что ж это вы его так про́звали, батюшка? — спросила Татьяна Андревна.

— А за то, что человек он в самом деле скрытный. Лишнего слова не молвит, все подумавши, не то что наш брат,— сказал Дмитрий Петрович.

— Дело не худое,— молвила Татьяна Андревна.— Сказанно слово серебряное, не сказанно — золотое.

— Конечно, не худое дело,— ответил Веденеев.— Опять же и именинник-от он бывает на Никиту Сокровенного, на другой день рождества богородицы. Оттого больше его и про́звали.

— Вот это уж нехорошо,— заметила Татьяна Андревна.— Грех!.. Божьих угодников всуе поминать не следует. И перед богом грех, и люди за то не похвалят... Да... Преподобный Никита Сокровенный великий был угодник. Всю жизнь в пустыне спасался, не видя людей, раз только один Созонт диакон его видел. Читал ли ты, сударь, житие-то его?

— Благодетель! — прочитав письмо, вскликнул Зиновий Алексеич и стал обнимать Веденеева.— Какая ж цена-то?

— Покамест никакой, товар еще нетроганый,— отвечал Дмитрий Петрович,— недельки через две настоящая цена объявится, не раньше. Будет два с полтиной, а не то и два шесть гривен.

Назад даже попятился от удивленья Зиновий Алексеич. Два рубля шесть гривен!.. Мелькнули у него на уме смолокуровские слова, что Дмитрий Петрович ради потехи любит пустые слухи распускать, но из письма Меркулова видно, что они меж собой дружны, стало быть не станут друг дружку обманывать.

— Как два рубля шесть гривен,— громко воскликнул Зиновий Алексеич.— Да я от ваших же рыбников слыхал, что тюленя ни на фабрики, ни на мыльны заводы в нынешнем году пуда не потребуют, и вся цена ему рубль, много, много, ежели рубль с гривной.

— Орошин, что ли, это вам сказывал? Онисим Самойлыч? — улыбаясь, спросил Веденеев.

— Не он,— молвил Зиновий Алексеич и чуть было не назвал Смолокурова... Взглянувши на Дуню, примолк он.

— А тот, кто сказывал вам такие цены, не торговал ли у вас тюленя-то?

— Было дело,— усмехнулся Доронин.

— То-то и есть,— молвил Дмитрий Петрович.— Намедни на том же тюлене хотели Марка Данилыча провести... Я его тогда выручил, в нашем Рыбном трактире при всех показал ему письмо из Петербурга... Оно со мной.

И, подав письмо Зиновью Алексеичу, промолвил:

— Извольте прочитать.

Прочел Зиновий Алексеич и думает: «Так это ты, Марко Данилыч, вкруг нас ручки погреть хотел... Ай да приятель!.. Хорош!.. Можно на тебя положиться!.. Нечего сказать!»

— Где же мое-то письмо? Ко мне его не приносили,— вдруг сказал Зиновий Алексеич.

— За письмом надо будет вам самим съездить в почтову контору, а не то дайте ваш паспорт, я за вас получу. Без того не выдадут,— сказал Веденеев.

— Как так? Ко мне бы на квартиру должны принести.

— Маленько напутал Никита Федорыч,— сказал Дмитрий Петрович.— Написал на вашем письме, что вы

на Гребновской. Почтальон поискал вас там и повез письмо в контору. Дайте паспорт, мигом слетаю.

И минут через пять Дмитрий Петрович катил уж на почту.

Во все время разговора мужа с Веденеевым Татьяна Андревна словечка не проронила. И она и Лизавета Зиновьевна со слезами немой благодарности смотрели на Дмитрия Петровича, а Наташа с каким-то величавым самодовольством поглядывала то на мать, то на сестру и будто говорила ясными взорами: «Что? Чья правда? Станете теперь журить меня? Так ли бы еще надо было обойтись тогда с этим злым, с этим обманщиком?» Ничего не видя, ничего не слыша, сидела Дуня; у ней на душе своя заботная дума была, своя горькая кручина. «Где-то он? Что-то с ним?» — думала она и с нетерпеньем ждала отца, чтоб уйти поскорей от Дорониных и замкнуться в своей горенке с Аграфеной Петровной.

Только что уехал Веденеев, Лиза с Наташей по́звали Дуню в свою комнату. Перекинувшись двумя-тремя словами с женой, Зиновий Алексеич сказал ей, чтобы и она шла к дочерям, Смолокуров-де скоро придет, а с ним надо ему один на один побеседовать.

Марко Данилыч не замедлил. Как ни в чем не бывало, вошел он к приятелю, дружески поздоровался и даже повел о чем-то шутливый разговор. Когда Зиновий Алексеич велел закуску подать, он ел и пил как следует.

— Ну что? Как на Гребновской дела? — спросил Доронин.

— Ничего. Полегоньку стали расторговываться,— отвечает Марко Данилыч, разрезывая окорочо́к белоснежного московского поросенка.— Сушь почти всю продали, цены подходящие, двинулась и коренная. На нее цены так себе. Икра будет дорога, Орошин почти всю скупил, а он охулки на̀ руку не положит, такую цену заворотит, что на масленице по всей России ешь блины без икры. Бедовый!..

— А насчет тюленя́ как? — спросил Доронин, прищурив левый глаз и облокотясь щекой на правую руку.

— Цен еще не обнаружилось,— преспокойно ответил Марко Данилыч, уписывая за обе щеки поросенка под хреном и сметаной.— Надо полагать, маленько поднимутся. Теперь могу тебе рубль восемь гривен дать... По-

жалуй, еще гривенку накину. Денег половина сейчас на стол, останная к Рождеству. По рукам, что ли?

И протянул руку.

— А по два рубля по шести гривен желаешь? — усмехнулся Доронин, наливая другу стакан красного кахетинского.

— Успел, видно, покалякать с Веденеевым? — тоже усмехнулся Марко Данилыч.

— Успел,— подвигая гостю стакан, сказал Зиновий Алексеич.

— Значит, тюленя́ мне у тебя не купить?

— Видно, что так,— шутливо промолвил Доронин.

— Дело,— сказал Марко Данилыч.— Важный у тебя поросенок, Зиновий Алексеич!.. Неужто здесь поён?

— Московский,— сказал Зиновий Алексеич.— Где, опричь Москвы, таких поросят найти?.. И в Москве-то не везде такого найдешь — в Новотроицком да в Патрикеевском, у Гурина да в Эрмитаже, а по другим местам лучше и не спрашивай.

— Верно,— согласился Марко Данилыч.— И селедка у тебя важная... Почем покупал?

— Три целковых бочонок. Цена известная,— ответил Зиновий Алексеич.

— Ведь вот поди ж ты тут. У нас в Волге этой селедки видимо-невидимо, а такой, как голландская, не водится,— молвил Марко Данилыч.

И пошел разговор об разных разностях. Пересыпался он веселыми шутками, ясным искренним смехом, сердечностью. Лишь под конец беседы с рюмками мадеры в руках, пожелав друг другу здоровья, всякого благополучия, опять вспомнили про тюленя́.

— А больно тебе хотелось поддеть нас с Меркуловым? — усмехнулся Зиновий Алексеич.

— Еще бы! — смеясь, отвечал Марко Данилыч.— На плохой бы конец тысяч сорок в карман положил. На улице не поднимешь!

— Ан вот тебе и шиш,— добродушно захохотал Доронин, подняв палец перед приятелем.

— Ничего! — отшутился Марко Данилыч.— Дней у господа много впереди: один карась сорвется, другой сорвется, третий, бог даст, и попадется.

— А за что ж бы ты Меркулова-то обездолил? — спросил Зиновий Алексеич.

— Беды б ему от того не было...— сказал Марко Данилыч.— Убытки ум дают. А Меркулов человек молодой, ему надо ума набираться.

Потом други-приятели повернули беседу на иные дела и долго разлюбезно беседовали.

* * *

Узнав, что Дмитрий Петрович дружен с Никитушкой, Татьяна Андревна считала и его близким к своей семье человеком. Та ее догадка, что пришла на ум после Наташиной выходки против Смолокурова, с каждым днем казалась сбыточнее. Зоркий материнский глаз по взглядам Веденеева и Наташи замечал, что было у них на̀ сердце. По совету мужа, положилась она во всем на волю господню и ни малейшего виду не подавала дочери, что догадывается о ее чувствах к Веденееву. Однако, каждый день молясь богу о Наташе, не забывала поминать на молитве и раба божия Димитрия. Оттого-то, когда узнала она о дружбе Дмитрия Петровича с нареченным ее зятем, то́тчас она и спросила, не в родстве ли они. То было у Татьяны Андревны на разуме, что, ежели они сродни, тогда, пожалуй, нельзя будет обе свадьбы-то венчать.

Когда Наташа узнала о дружбе Веденеева с Меркуловым, стало ей весело и радостно, а вместе с тем почувствовала она невольный страх и какую-то робость.

Когда же у отца зашел разговор с Дмитрием Петровичем про цены на тюлений жир и вспомнила она, как Марко Данилыч хотел обмануть и Меркулова и Зиновья Алексеича и какие обидные слова говорил он тогда про Веденеева, глаза у ней загорелись полымем, лицо багрецом подернулось, двинулась она, будто хотела встать и вмешаться в разговор, но, взглянув на Дуню, опустила глаза, осталась на месте и только кидала полные счастья взоры то на отца, то на мать, то на сестру. А когда Дмитрий Петрович, перед тем как ехать на почту, подошел к ней и взглянул на нее так ясно и радостно, Наташа поняла его, пуще прежнего зарделась она, и лучезарные очи ее ослепили не вспомнившего себя от восторга Веденеева. Хотел он что-то сказать, но не мог, и быстро вышел, почти бегом побежал вон из комнаты.

Пока Зиновий Алексеич дружелюбно разговаривал про тюленя́ с Марком Данилычем, а потом благодушно беседовал с ним за закусочкой, обе его дочери с Дуней сидели. Лишь изредка красавицы перекидывались отрывочными словами, но больше молчали,— каждая про свое дело раздумывала. Лиза сгорала нетерпеньем увидеться, наконец, с женихом и радовалась, что не попался он в сети, расставленные старым плутоватым рыбником; не дни, а часы считала она, что оставались до желанного свиданья... В золотых мечтах она воображала первую встречу, радость, слезы счастья, крепкие объятья, горячие поцелуи... А Наташа думала: «Когда ж мой Митенька скажет словами то, что так ясно очами говорит...» Было бы скучно сидеть с ними Дунюшке, но сама она потонула в думах. Думы тяжкие, думы мрачные, не такие, как у счастливых подруг ее. Только и было теперь у ней на уме: «Скоро ли, скоро ль тятенька кончит свои разговоры?». Насилу дождалась.

Только что ушли Марко Данилыч с Дуней от Дорониных, воротился с почты Дмитрий Петрович. Прочитали письмо меркуловское и разочли, что ему надо быть дня через три, через четыре. Такой срок Лизавете Зиновьевне показался чересчур длинным, и навернулись у ней на глазах слезы. Заметил это отец и шутливо спросил:

— Али не рада?

— Долго,— чуть слышно ответила Лиза.

— Ну, матушка, четыре месяца ждала, четырех дней не хочешь подождать,— с доброй улыбкой сказал дочери Зиновий Алексеич, да тут и вспомнил, что выдал перед чужим семейную тайну.

А Татьяна Андревна и не заметила того. Совсем уж своим считала она Дмитрия Петровича.

Догадаться Веденееву было нетрудно. «Эх, как бы нам с Сокровенным быть своя́ками!..— подумал он,— то-то бы хорошо было!» И взглянул он на Наташу и видит — сияет она пышной красой и ясной радостью.

— Старуха! — молвил жене Зиновий Алексеич.— Никак я обмолвился?.. Никак проболтался?.. Наш-от гость дорогой, пожалуй, теперь догадался. Не сказать ли уж ему всю правду, всю истинную? Друг ведь он, приятель Никитушке-то. Почитай-ка, что пишет он про

него... Все едино, что братья... Ась?.. Как, супруга ты моя благоверная, в таком разе мне присоветуешь?

— Чего еще рассказывать-то? — добродушно улыбаясь, отвечала Татьяна Андревна.— Без того, батька, все рассказал, как размазал... Вот невеста вашего приятеля, Дмитрий Петрович,— промолвила она, показав Веденееву на старшую дочь.

С радостным чувством поздравил Веденеев невесту, сказал ей, что теперь они будут свои, что ежели Никита Федорыч ему за брата, так она будет ему за сестру. И взяв невестину руку, крепко поцеловал ее.

«Не надо бы так, не водится,— подумала Татьяна Андревна,— ну да он человек столичный, с новым обхожденьем. То же, что Никитушка... Опять же не при́ людях». И ни слова су́против не молвила.

Поздравил Веденеев и Татьяну Андревну и у нее поцеловал руку.

— Чтой-то ты, батька, с ума, что ли, спятил? — вскликнула она.— Нешто я поп?.. Опричь дочерей, никто у меня сроду рук не целовывал...

— На радостях, Татьяна Андревна, ей-богу на радостях,— сказал Дмитрий Петрович и, если бы можно было, козлом проскакал бы по комнате.

К Наташе подошел. Как стрелой пронзило его сердце, когда прикоснулся он к нежной, стройной руке ее. Опустила глаза Наташа и замлела вся... Вздохнула Татьяна Андревна, глядя на них... А Наташа?.. Не забыть ей той минуты до бе́ла савана, не забыть ее до гробовой доски!..

Трижды, со щеки на щеку, расцеловался с Дмитрием Петровичем Зиновий Алексеич. Весел старик был и радошен. Ни с того ни с сего стал «куманьком» да «сватушкой» звать Веденеева, а посматривая, как он и Наташа друг на дружку поглядывают, такие мысли раскидывал на разуме: «Чего еще тянуть-то? По рукам бы — и дело с концом».

Весело, незаметно летело время в задушевных разговорах. Про жениха больше речи велись. Рассказывал Веденеев про их петербургское житье-бытье, про разные случаи, встречи, знакомства; каждый рассказ его милым и дорогим казался всей семье доронинской. Кончит Дмитрий Петрович, примолкнет, а им бы еще и еще его слушать, еще бы что-нибудь хорошее узнать про Ники-

тушку. Так время вплоть до обеда прошло. Сколько ни отговаривался Веденеев, какие доводы ни приводил о крайней надобности побывать там и сям, Зиновий Алексеич не пустил его, а Татьяна Андревна, лишних речей не разводя, спрятала его картуз в своей комнате.

— Теперь, сватушка, ты у нас под караулом,— молвил Зиновий Алексеич.— Выпустим на волю, когда захочем.— И залился веселым, добродушным смехом.

Тихо, мирно пообедали и весело провели остаток дня. Сбирались было ехать на ярманку, но небо стало заволакивать, и свежий ветер потянул. Волга заволновалась, по оконным стеклам застучали крупные капли дождя. Остались, и рад был тому Дмитрий Петрович. Так легко, так отрадно было ему. Век бы гостить у Дорониных.

— Когда же, Татьяна Андревна, думаете вы окрутить друга моего любезного? —спросил он.

— Поскорей хотелось бы, Дмитрий Петрович, да не знаю, управимся ли,— отвечала Татьяна Андревна.— Захария и Елизаветы — Лизины именины в середу будут, а жениховы в первое после того воскресенье. Не в те, так в другие именины желательно было бы их повенчать. Да навряд ли управимся к тому времени. Все готово, все припасено, хоть сейчас ступай под венец, да не знаем, дела как порешатся. Домой придется сплыть, и нá то время надо... Как ни думай, как ни гадай, к ихним именинам не поспеть. Видно, Покров девке голову покроет.

— Больше месяца, значит, придется ждать,— молвил Веденеев.

— Что ж делать, батюшка,— сказала Татьяна Андревна.— Долго ждали, маленько-то подождут. Да вот еще бог знает, скоро ли Никитушка со своим тюленем покончит...

— Скоро покончит, Татьяна Андревна, скоро,— молвил Дмитрий Петрович.— Орошин хочет скупать, охота ему все, что ни есть в привозе тюленя́, к своим рукам подобрать. Статья обозначилась выгодная. Недели две назад про тюленя и слушать никто не хотел, теперь с руками оторвут.

— Стало быть, как приедет Никитушка, так и покончит? — спросила Татьяна Андревна.

— На другой же день,— сказал Веденеев.— Я его сведу с покупателями. А мой бы совет не торопиться. Дольше повыдержит, больше барыша возьмет.

— Долго-то ждать неохота бы. И то наши князь со княгиней стосковались совсем,— молвила, улыбаясь, Татьяна Андревна.

— До Покрова ведь решились же отложить?..— сказал Веденеев.

— Ох, уж и не знаю, как сказать вам, Дмитрий Петрович! — со вздохом промолвила Татьяна Андревна.— Как господь устроит.

А Дмитрий Петрович держит свое на уме: «Авось и мое дело до Покрова выгорит. Скорей бы Никита Сокровенный приезжал. Я ему тюленя сосватаю, а он Наташу мне сватай...»

Взглянул он тут на нее. Облокотясь на правую руку, склонив головку, тихим взором смотрела она на него. И показалось ему, что целое небо любви сияет в лучезарных очах девушки. Хотел что-то сказать — не может, не смеет.

Поздно вечером пришлось ему оставить приятную, милую семью, где блаженство он ощущал, где испытал высшую степень наслажденья души. И когда вышел он из доронинской квартиры, тоска напала на него, тяжело, ровно свинец, пало на́ душу одиночество... Мнилось ему, что из светлого рая вдруг попал он на трудную землю, полную бед, горя, печали, лишений...

Выйдя из гостиницы, стал на крыльце. Дождь так и хлещет, тьма стоит непроглядная, едва светятся уличные фонари, с шумом и звоном стучат крупные дождевые капли о железные листы наддверного зонта.

Сам не зная зачем, ровно вкопанный стоит на крыльце Веденеев. Все еще видится ему милый лик дорогой девушки, все еще слышатся сладкие, тихие речи ее. Задумался и не может сообразить, где он, зачем тут стоит, что ему надобно делать... С громом подкатил к крыльцу извозчик в крытой пролетке.

— Извозчика вашей чести требуется?

— Да,— бессознательно молвил Дмитрий Петрович и, не торгуясь, быстро вскочил в пролетку. Застегнув кожаный за́пон и сев на козлы, извозчик спросил:

— Куда прикажете?

— Туда,— махнув рукой к ярманке, сказал Веденеев и тотчас же погрузился в сладкие думы.

С хитрой улыбкой извозчик кивнул головой и, не

молвив ни полслова, поехал к мосту, а потом повернул налево вдоль по шоссе.

Едут, едут... Приехали в какую-то песчаную немощеную улицу... Своротили. Еще повернули, остановились перед большим, ярко освещенным домом.

— Приехали...— весело осклабясь, молвил извозчик.— Подождать вашу честь прикажете?

Занес было ноги вон из пролетки Дмитрий Петрович... но вдруг огляделся. Видит растворенные настежь двери, ведут они в грязный коридор, тускло освещенный лампой с закопченным стеклом. Едва держась на ногах, пьяным шагом пробирается там вдоль стенки широкоплечий купчина с маслянистым лицом. Осторожно поддерживает его по́д руку молодой человек, надо думать, приказчик, взятый хозяином ради сохранности. Заботливо, почтительно старому кутиле он приговаривает: «Полегче, батюшка Алексей Сампсоныч, не оступитесь —тут ступенька». А батюшка Алексей Сампсоныч, в награду за такую заботливость, хриплым голосом ругает приказчика на чем свет стоит.

Огляделся Дмитрий Петрович и ровно проснулся.

— Куда ты завез меня? — напустился он на извозчика.

— Куда приказывали,— бойко тот отвечал.

— Когда я приказывал? Что ты городишь? — закричал Веденеев.

— Изволили сказать: «Пошел туда», я и поехал,— оправдывался извозчик.— Дело ночное, непогода... «Туда» известно, значит, куда...

Стоявшая у подъезда толпа извозчиков во все горло расхохоталась. Залился смехом даже сам городовой, приставленный к дверям на всякий случай.

А из раскрытых окон слышатся звуки разбитого фортепиано, топот танцующих, звон стаканов, дикие крики и то хриплый, то звонкий хохот не одного десятка молодых женщин, сопровождаемый их визгом и руганью.

— На Театральную площадь, к Ермолаеву,— крикнул раздраженный Дмитрий Петрович.

— Так бы и говорили,— ворчал извозчик.—А то: «туда». Ночь, ярманка — известно, куда в этакую пору ездят купцы.

— Без разговоров! — крикнул Веденеев.

И всю дорогу отплевывался.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Когда Меркулов доплыл до Казани, там на Бакалде [1] застал он небольшой пароход. Пароход совсем был готов к отвалу, бежал вверх по Волге к Нижнему. Тогда еще мало ходило пароходов, и Никите Федорычу такая нечаянность показалась особенным, неожиданным счастьем. На плохой конец двумя сутками раньше увидит он теперь невесту.

Сдав баржи надежному, испытанному приказчику, взял он место на пароходе и в самом веселом расположении духа ступил на палубу. Все ему казалось так хорошо, так красиво — и борты́, и машины, и убранство кают, хоть в самом-то деле тут ничего особенного не было. Угрюмый капитан показался Никите Федорычу таким прекрасным, таким душевным человеком, что, познакомившись с ним, он с первого же слова едва не бросился обнимать его. Капитан, не говоря ни слова, с ног до головы мрачно оглядел восторженного купчика и подумал: «Должно быть, здорово хлебнул на про́водах». Рабочий, что перетаскивал на богатырских своих плечах грузный чемодан Меркулова, показался ему таким хорошим и добрым, что он об этом высказал ему напрямик и подарил рубль серебром. Рабочий выпучил удивленные глаза на Меркулова, но, опомнившись, крепко сжал в увесистом кулаке бумажку и, наскоро отвесив низкий поклон щедрому купчику, бегом пустился вдоль по палубе, думая про себя: «Подгулял, сердечный!.. Уйти от греха, а то, пожалуй, опомнится да назад потребует». И все пассажиры показались Никите Федорычу такими хорошими и добрыми, а речи их такими разумными, что он то́тчас же со всеми перезнакомился и до такой степени стал весел и разговорчив, что и пассажиры про него то же самое подумали, что и капитан с богатырем рабочим. Грязная, плохими лачугами обстроенная Бакалда восторженным глазам Меркулова представлялась прекрасно устроенной пристанью; самое небо с нависшими свинцовыми тучами — ясным, лучезарным, как будто итальянским. Одно лишь было ему не по мысли — очень уж долго, по его мнению, медлили сборами, долго не отваливали.

---

[1] *Бакалда* — казанская пристань на Волге. Иначе называется Устьем (реки Казанки).

Подняли, наконец, сходни [1], и пароход, заворотив кверху, быстро побежал, извергая из железных уст клубы густого черного дыма и снопы огненных искр... Мерно бьет он крылами многоводное лоно русских рек и ручьев, кипит по бокам его мощно рассекаемая влага, а он летит все быстрей, все вперед. Берега так и мелькают. На широких, белых как снег, парусах и то́пселях [2] одни за другими вылетают длинные расшивы с высокими носами, с узкими кормами, с бортами, огороженными низкими перильцами; вдогонку за ними бегут большие, грузные, но легкие на ходу гусянки с небольшой оснасткой и с низкими, открытыми бортами; дальше черепашьим шагом плетутся нагруженные пермскою солью уемистые, неуклюжие ладьи, бархоты, шитики и проконопаченные мочалом межеумки, вдали сверкают белизной ветлужские сплавные беляны, чернеют густо осмоленные кладнушки. Всех далеко́ за собою оставляя, вольной птицей летит по реке пароход, а Меркулову кажется, что он чуть ли не на мель сел... Ох, если бы крылья — так бы вот и ринулся он вперед соколиным полетом...

Не сидится Никите Федорычу в тесной, душной каюте, вышел он на палубу освежиться. С левого берега подувало холодным ветром, то и дело начинался косой дождик, но, только что припустит хорошенько, тотчас притихнет, а потом опять и опять. Быстро тучи несутся по́ небу, берега и река вечерним сумраком кроются... Пассажиры, укрываясь от непогоды, все сидят по каютам, один Меркулов остается на кормовой палубе. Походил он, походил взад и вперед, к паровику подошел и долго, пристально глядел, как ровно, мерно, почти беззвучно поднимаются и опускаются рычаги машины. Долго стоял он тут, защищенный от ветра и дождя каютками капитана и лоцмана, что построены над колесными кожухами. Насмотревшись вдоволь на машину, Никита Федорыч подошел к перильцам, отделявшим палубу третьего класса, и окинул глазами там бывших. Одно лицо показалось ему знакомым. Русый, лет сорока, невысокого роста, в теплой суконной сибирке, только что потрапезовал он на сон грядущий и, сбираясь улечься на боковую, обратил-

---

[1] *Сходня* или *сходни* — доска с набитыми на ней брусками для схода с судна на берег.

[2] *Топсель* — верхний парус; он поменьше нижнего — *коренного*, или *ходового*.

ся лицом к востоку, снял картуз и стал на молитву, крестясь по старине двуперстно. Стоял он прямехонько перед Меркуловым. Вглядываясь в лицо его, Никита Федорыч больше и больше убеждался, что где-то видал он этого человека... Усильно старается он вспомнить, где и когда встречался с этим русым, но, как нарочно, совсем захлестнуло у него в памяти... А любопытство меж тем возбудилось до крайности, и, только что русый кончил молитву, Меркулов подошел и спросил:

— Кажется, мы где-то с вами видались?

Пристально поглядел русый на Меркулова.

— Ах, батюшки! — вскликнул он.— Никак господин Меркулов будете?

— Он самый,— молвил Никита Федорыч, радуясь, что русый признал его.— Скажите, однако, где мы с вами видались? У меня что-то из памяти вон.

— В Питере, сударь, в Питере,— весело отвечал русый.— В Питере, у Дмитрия Петровича Веденеева. В приказчиках у его милости служу, Флор Гаврилов, ежели припомните...

— Ах, Флор Гаврилыч! Как я рад, что встретился с вами! — говорил с увлеченьем Меркулов.— Где теперь Дмитрий Петрович?

— У Макарья в ярманке,— отвечал Флор Гаврилов.— Еду к нему с отчетами из Саратова.

— Как я рад, как я рад такой приятной встрече,— говорил Никита Федорыч, обнимая и крепко целуя Флора Гаврилова, к немалому изумлению веденеевского приказчика. «Что за светло воскресенье нашло на него»,— думает Флор Гаврилов. И вспало ему на ум то же самое, что подумалось и капитану, и рабочему с богатырскими плечами, и пассажирам: «Хлебнул, должно быть, ради сырой погоды».

— Давно ли Митенька в ярманке? — спросил Меркулов у Флора Гаврилова.

— Дмитрий-от Петрович? Да как вам доложить — дня за три либо за четыре до первого спаса туда прибыли. Теперь вот уж без малого месяц,— сказал Флор Гаврилов.

— Где пристал? На Гребновской, что ли; на барже? — спрашивал Никита Федорыч.

— Как возможно!..— молвил Флор Гаврилов.— И далеко́ там и грязно, а уж вонь такая, что не приведи

господи. Теперь на самой ярманке много гостиниц понастроили, хозяевам по пристаням не след теперь проживать.

— Где ж остановился он?

Флор Гаврилов сказал, где остановился Веденеев. Никита Федорыч ног под собой не слышал от радости скорого свиданья не только с невестой, но и с самым близким другом-приятелем... «Кстати, очень кстати приехал Митенька к Макарью,— думает он про себя,— теперь он мою эстафету, значит, уж получил. Пособит моему горю, развяжет меня с тюленем». И крепко жал Меркулов руку Флору Гаврилову, звал его в рубку [1] чайку напиться, поужинать, побеседовать. Надивиться не может приказчик таким ласкам хозяйского приятеля. «Пьян, беспременно пьян»,— он думает.

— Покорнейше благодарим, Никита Федорыч, только увольте, пожалуйста,— отвечает он на приглашенья Меркулова.— Нам ведь нет туда ходу, мы ведь третьего класса — на то порядок. Вы вот в первом сели, так вам везде чистый путь, а нашему брату за эту перегородку пройти нельзя.

— Ничего, я скажу там,— перебил Меркулов.

— Нет, уж увольте,— на своем стоял Флор Гаврилов.— Я же... Оченно благодарны за ваши ласки... Я уж, признаться, и чайку попил, и чем бог послал поужинал, спать надо теперь. Пора. Наши за Волгой давно уж спят [2].

— Где ж вы ляжете? — заботливо спросил Меркулов.

— А вот тут же на палубе.

— На ветру, на дожде? Как это можно! — воскликнул Никита Федорыч.

— Не сахарные, не растаем,— с улыбкой ответил Флор Гаврилов.

— А постель-то где же у вас?

— Постель-то! — усмехнулся Флор Гаврилов.— Один кулак в головы, другой по́д бок — вот и постель.

— Как это возможно! — воскликнул Меркулов.

---

[1] Светлая каюта, поставленная у кормы на пароходной палубе над сходом в каюты.

[2] Поговорка, употребляемая на Горах, она значит: поздно. На левом берегу Волги, в Лесах, эта поговорка не употребляется.

— Дело, сударь, привычное,— отозвался Флор Гаврилов.— Наше вам наиглубочайшее, и вам тоже пора, чать, на боковую.

И не хотелось, а пошел Меркулов на кормовую палубу.

Темнело. Один за другим пассажиры стали укладываться на опочив. В третьем классе невзыскательные мужики, бабы, солдаты, татары, поужинав здоровыми ломтями черного хлеба с огурцами и незрелыми яблоками, развалились по палубе. Зипун по́д голову, постель — дощатый, ру́бчатый помост, одеяло — синее небо, хоть в тот вечер было оно вовсе не синее, а ровно смоль черное. Ни единой звездочки, ни одного клочка светлого небесного свода... Нет, нет, а дождичек и почнет накрапывать, а потом и припустит и зачастит, а те спят себе во славу божию, только лишь изредка который-нибудь с холоду да от сырости маленько пожмется... Поужинали и в первом классе. Долго тут бегала пароходная прислуга с мисками, с тарелками, с блюдами. Там не то, что на носу в третьем классе: ели дольше и больше, не огурцы с решетным хлебом, а только что изловленных стерлядей, вкусные казанские котлеты, цыплят и молодую дичь из Кокшайских лесов. Наконец, все поужинали, все по местам разлеглись. Ходит сон по́ людям, спят все, ровно маковой воды напились.

Меркулов взял особую каюту, чтоб быть одному, чтобы ночным думам его не мешали соседи... Лег на койку — не спится: то невеста мерещится, то тюлень. Пароход бежал и ночью — паводок тогда стоял высокий, погода была мокрая, татинцовский [1] лоцман Волгу знает, как ладонь свою,— значит, перекатов да мелей бояться нечего. Мерный шум колес, мерные всплески воды о стены парохода, мерные звуки дождя, бившего в окно каюты, звон стакана, оставленного на столе рядом с графином и от дрожанья парохода певшего свою нескончаемую унылую песню, храп и носовой свист во всю сласть спавших по каютам и в общей зале пассажиров — все наводило на Меркулова тоску невыносимую. Лампа в общей зале погасла, и стала повсюду тьма непроглядная.

И вдруг голоса. Будто издали несутся они.

[1] Лучшие волжские лоцмана̀ из села Татинца, что немного повыше Лыскова.

— Пять!

Тише колеса шумят, малым ходом пошел пароход.

— Пять!

Еще меньше шума, еще медленней идет пароход.

— Четыре с половиной!

— Бери на́лево,— отозвался другой голос немножко поближе.

— Есть на́лево! — раздается третий голос вдали.

— Пять!

— Пять!

Знакомы Меркулову волжские клики «Мель, — подумал он.— Неужто мы Козловку пробежали, неужто в Ани́шенском затоне теперь? [1]. Со́лнышко уж совсем почти село, когда мы отваливали от Бакалды. Неужто пятьдесят верст выбежали?..» Хотел было на часы взглянуть, но лампы нет, спичек нет, наверх сходить — одеваться неохота. Под хлест дождя, под шум колес, под мерные всплески волны так хорошо пригрелся он под теплой шинелью, что раскрыться было бы ему теперь немалым лишеньем... Да и как взойти наверх?.. Темь страшная, ходы незнакомые, ощупью идти, чего доброго — в люк угодишь... Пой тогда «вечную память». Зачем же теперь умирать?.. И невеста ждет и приятель, да и тюленя́, даст бог, хоть с маленькой выгодой можно будет продать.

— Пять с четвертью!

— Шесть!

— Шесть!

«Что ж это они? С ума, никак, спятили? — думает, лежа в темноте, Меркулов.— Пять с четвертью, шесть, наконец, а промерщик все еще не кладет шеста, все меряет да кричит. Морской глубины, что ли, надо ему? А пароход все тише да тише... не случилось ли чего? И вдруг шум... Секунда — он удвоился, еще секунды две — утроился, учетверился... Блеснул в окно каюты яркий кроваво-красный свет и тотчас исчез. Страшная громада несется мимо парохода... Какой-то исполинский зверь странной осанки плывет навстречу всего в трех-

---

[1] *Козловка* — село Чебоксарского уезда и пристань на правом берегу Волги в 45 верстах выше Казани. Выше Козловки, верстах в четырех с левой стороны, впадает в Волгу река Илеть, напротив ее устья — Анишенская мель и затон (речной залив) того же названия.

четырех саженях... Вот другой огонь загорелся, зеленый, под тем огнем громадные крылья мелко воду дробят... Быстро, неудержимо несется чудовище... Вот оно миновало — и опять блеснуло красным огнем... Живей заходили колеса, быстрей побежал пароход... И не может понять Меркулов: во сне он видел все это иль наяву ему померещилось.

«Значит, мы в узком месте. Речной стержень чудищу отдали, а сами к бочку. Оттого-то, видно, и мерили по пяти да по шести... А если б нельзя было уйти, если бы чудище столкнулось с нами!.. Что скорлупу, раздавило бы наш пароход... Принимай тогда смерть неминучую, о спасенье тут и думать нечего!.. Намедни в Царицыне чумак собачонку фурой переехал — не взвизгнула даже, сердечная... Так бы и с нами было — пошел бы я ко дну и был бы таков».

И напал на него страх смерти, и одолела его тоска. «Утонуть!.. Утонуть накануне свиданья с Лизой... Помилуй господи и сохрани от напрасныя смерти!.. Мне что... Захлебнулся — и дело с концом, а ей-то, бедняжке, каково будет?.. Станет убиваться, изноет вся, истоскуется... А впрочем, молода еще — поплачет, потоскует, по времени забудет и утешится... Молода еще — другого найдет... А ты лежи себе в могиле... Холодно, сыро, темно̀!.. Вот и здесь и холодно, и сыро, и тёмно... Господи! не в могиле ли я?.. Вот и шевельнуться не могу, холодно и сыро. Когда это чудище сверкнуло кроваво-огненными глазами, оно, может быть, ударилось об наш пароход и затопило его... От удара я не вспомнился, обеспамятел, а теперь очнулся в могиле... Да нет — у меня мысли в голове, значит я жив, в могиле мыслей не бывает... Сидели мы раз с Митенькой у Брайтона в Петербурге... Чай пили... Англичанин из Америки был тут — как бишь его?.. Нет, не вспомню!.. Еще так хорошо по-нашему говорит. Какой-то особенной веры — в Америке много ведь вер, что ни город — то вера... Какой бишь он веры?.. Не могу вспомнить... У нас в России нет такой... Так он говорил тогда... что бишь он говорил?.. Тогда я много думал над тем, что он сказывал, и поверил и теперь верю; если женюсь, и Лизе велю верить, дети родятся — им велю верить... Что же он говорил?.. Не могу вспомнить... Ах да... Человек не умирает, в минуту смерти он только что забудется, тотчас

очнется — и увидит себя на страшном суде... И все тут с ним, все — от Адама до последнего человека, и всем кажется, что они забылись мертвенным сном на одну лишь секунду... Тысячи лет прошли, а каждому они секундой показались... И всем так, всем — от Адама до самого последнего человека... Ведь у бога, что миг, что тысяча лет — все одно... Значит, я еще не умер, а то бы стоял теперь на страшном суде... А хорошо говорил тот американец — так бы все и слушал его... Если я думаю, значит живу, он говорил, стало быть я не умер... А как темно, как холодно и сыро... Господи! да когда ж это кончится, скоро ли свету нам дашь?.. А, вот и свет!.. Рассветает!.. Отчего ж это сегодня рассвет так быстро идет!.. Не успела заря заняться, а уж совсем светло... Это что-то особенное, что-то невозможное... Живу ли я?.. Нет, нет, вспомнил — у нас в Коммерческой академии физике учили... Оптические явления... Нет, не в физике, а в физической географии... Ну да, конечно, в физической географии — еще учитель такой был рябенькой, приземистый, как бишь его звали — забыл... Он это рассказывал, а физике учил высокий учитель, гладкий такой, с рыжими баками. А ведь Флор Гаврилов ничего не знает об оптических явлениях, и, как я думаю, он теперь удивляется такому скорому рассвету... И все удивляются... Даже боятся... Народ суеверен, ничего не знает он про оптические явления... Сходить разве к Флору Гаврилову, объяснить ему?.. Да нет, холодно, сыро; кажется, сними только шинель, тотчас замерзнешь... А! пристаем... Скоренько же доехали.. Как не хочется одеваться... А надо... Ну ничего, оденемся... Ничего, теперь тепло, не сыро... Что это за колокольчик?.. В городах ведь запрещено ездить с колокольчиками... Звенит, и не простой колокольчик, а ровно серебряный, либо стеклянный... Что ж это такое?.. Это не Макарий... А!.. Устье Иргиза... Должно быть, лоцман впросонках давеча назад повернул... Прошу покорно! И по Иргизу бежит пароход... Какие нынче, однако, стали у нас хорошие пароходы строить — по песку ходят... Приехали!.. Доронинская мельница!.. Ишь как шумит, ишь как плещут волны... Десять поставов!.. Кому-то отдаст ее Зиновий Алексеич? Лизе или Наташе?.. Я бы тут иное завел — тюленя бы стал молоть... Славный у них дом на мельнице... И зачем было им в Вольск

переезжать, понапрасну только тратились?.. Цветы-то какие!.. Осень на дворе, а у них розаны в полном цвету... А розаны-то какие... Без малого аршин поперек... Яблоки-то!.. Котлы пивные. И как это они сучьев не обломят?.. А! это оттого, что Лиза садами занимается, она все может... А!.. На крыльцо Татьяна Андревна вышла... С чулком. Чулок вяжет, а спицы в руках так и вертятся... Зиновья Алексеича, должно быть, дома нет... Ну конечно, нет дома — ведь он в Астрахань уехал, там у него белугу поймали — двадцать сажень длины... Икры-то сколько должно быть!.. Чуть не на целую баржу... А Лизы нет... Что ж это такое?.. А!.. Колокольчик!.. Едут... Таратайка подъехала — Наташа с Веденеевым... А Лизы нет... Спросить бы — да нет, не могу, силы нет... А!.. Мчится чудовище, и все тонет в кровавом блеске страшных глаз его... Жив ли я?.. Нет, думаю — значит, живу... Американец так говорил... Опять же я не на страшном суде, стало быть не умирал!.. Что ж это?.. А, догадался... Давеча на Бакалде хотел я рубашку сменить, да позабыл... Это теперь не я думаю, а рубашка... Ну да, да... Экая скверная!.. Вот я же тебя... В клочки изорву!..»

И только что поднял руку, как рубашка его в зубы. Проснулся Никита Федорыч с синяком на скуле: с вечера положил он на верхнюю койку тяжелую суковатую козмодемьянскую палку — свалилась она и прямо ему на лицо...

Оделся, вышел на палубу. Последние тучи минувшей непогоды виднелись еще на западе, а солнце уж довольно высо̀ко стояло. Посмотрел на часы — восемь. На палубе уж сидело несколько человек. Никита Федорыч прошел в третий класс, но не нашел там Флора Гаврилова.

Поднялся наверх к самому рулю, там сидели капитан, лоцман и еще два-три человека. Хоть по правилам вход наверх запрещен, но первоклассных пассажиров пускают. Ласково поздоровался Меркулов с капитаном и спросил у него:

— Что это ночью случилось?

— Ничего не случилось,— отвечал капитан.

— Как ничего! Делали промеры до шести футов. И потом что-то такое чудно̀е, странное.

— «Сампсон» навстречу нам попался. Место было узенько, пришлось принять в сторону,— сказал капитан.

— «Сампсон»? — спросил Меркулов.

— Да, «Сампсон» — первенец наших больших пароходов,— отвечал капитан.— Без малого пятьсот сил. Такому богатырю поневоле дашь дорогу!

— Слыхать-то слыхал я про «Сампсона», но до сих пор не видывал,— молвил Меркулов.— А сколько баржей он водит?

— Как случится,— отвечал капитан.— По пяти, по шести.

— Шесть барж! — удивился Меркулов и пошел к Флору Гаврилову.

Его все-таки не было видно. Думая, что сошел он вниз за кипятком для чая, Никита Федорыч стал у перегородки. Рядом стояло человек десять молодых парней, внимательно слушали они россказни пожилого бывалого человека. Одет он был в полушубок и рассказывал про волжские были и отжитые времена.

— А вот на этой на самой горе разбойник Галаня в старые годы живал. На своих на косны́х с молодцами уда̀лыми разъезживал Галанюшка от Саратова до Нижнего и много на Волге бед натворил. Держался больше в Жигулях, а только что зачнется торг у Старого Макарья, переберется сюда. Тут у него в горе выходы вырыты были, и каких богатств тут не было схоронено. Окопов наделал Галаня, валы насыпал на случай обороны,— и теперь их знать. Пушки на окопах у него стояли. Сколько раз солдат на него высылали,— каждый раз либо отобьется, либо на Низ, в Жигули уплывет. Обиды были от него великие, никому спуску не бывало, одну только Хмелевку не трогал; там ему бабы хлебы пекли и всякий харч его артели доставляли. Оттого и не трогал, оттого и было хмелевцам житье повольное, хорошее, вдоволь нажились они тогда от Галани... Вон она, Хмелевка-то! — прибавил рассказчик, указывая на выглянувшую из-за нагорного мыса слободу, что раскинулась в полугоре вдоль по течению Волги.

— Хмелевка! — с удивлением сказал Меркулов. — Неужто в самом деле? Значит, к Васильсурску подходим.

— Еще один мысок обогнем, будем на Суре,— заметил рассказчик.

— Скоро же идем,— сказал Меркулов, взглянув на часы.— Десяти еще нет, а мы больше половины пути пробежали.

— Гораздо бежим,— молвил рассказчик.—Солнышко не закатится, будем на месте.— И, маленько помолчав, снова повел рассказы про старинных волжских разбойников.

Бежит, стрелой летит пароход. Берега то и дело меняются. Вот они крытые густой изумрудной зеленью, вот они обнаженные давними оползнями, разукрашенные белыми, зеленоватыми, бурыми и ясно-красными лентами опоки. Впереди желтеют пески левого берега и пески отмелей; видится, будто бы водный путь прегражден, будто не будет выхода ни направо, ни нàлево. Но вот выдвинулся крутой мыс, снизу доверху облепленный деревянными домиками, а под ним широкая, синеводная Сура, славная своими жирными, янтарными стерлядями.

Пароход стал на стрежне, к пристани не причалил. Дров до Исад [1] было достаточно, надо было только свезти на берег пассажиров, ехавших до Василя, и принять оттуда новых, если случатся. Несколько лодок окружили пароход. Приплывшие бабы протягивали вверх третье-классным пассажирам колобà пшеничного хлеба, сайки, крендели, яблоки, огурцы, печеные яйца, пироги с рыбой. Зазыванья торговок, их перебранки и звонкие крики разносились по всему плесу. Напрасно водолив и рабочие во все горло кричали на баб, чтоб не лезли они к пароходу,— лодчонки кругом его облапили. Наконец, привезли новых пассажиров, пароход слегка двинулся и минут через пять летел уж по реке, меж пологих песчаных берегов... Суры не видно уж было, стала из виду теряться и высокая крутая гора Васильсурская.

Новых пассажиров всего только двое было: тучный купчина с масленым смуглым лицом, в суконном, тоже замасленном сюртуке и с подобным горе животом. Вошел он на палубу, сел на скамейку и ни с места. Сначала молчал, потом вполголоса стал молитву творить. Икота одолевала купчину.

Села еще на пароход какая-то странная женщина. По виду и одежде ее трудно было догадаться, кто она та-

[1] Пристань Исады в 68 верстах от Васильсурска и в 88 верстах от Нижнего.

кая. Была не молода, но и не стара, следы редкой красоты сохранялись в чертах лица ее. Одета была она в черное шелковое платье, подпоясана черным шагреневым поясом, на голову надет в роспуск большой черный кашемировый платок. Ни по платью, ни по осанке не походила она ни на скитских матерей, ни на монахинь, что шатаются по белу свету за сборами, ни на странниц-богомолок. Все было на ней чисто, опрятно, даже изящно. Стройный стан, скромно опущенный взор и какой-то особенный блеск кротких голубых глаз невольно остановили на ней вниманье Меркулова. «Не из простых»,— подумал он, глядя на прекрасные ее руки и присматриваясь к приемам странной женщины.

— Воды бы выкушали,— сказала она, обращаясь к тучному купчине.

— Не годится, матушка! Не поможет,— едва мог ответить тот.

— Отчего ж не поможет? Попробуйте.

— Не годится, матушка... Потому это от ботвинья... Отдышусь, бог милостив.

Через несколько минут купчина в самом деле отдышался, а отдохнувши, вступил в разговор:

— Из Талызина, матушка, изволите ехать?

— Из Талызина.

— На сдаточных до Василья-то ехали?

— На сдаточных.

— Дорогонько, чать, дали? — молвил купчина и, не дождавшись ответа, продолжал: — Нонича, сударыня, эти ямщики, пес их возьми, и с живого и с мертвого дерут, что захотят. Страху не стало на них. Знают, собаки, что пешком не пойдешь, ну и ломят, сколько им в дурацкую башку забредет... На ярманку, что ли, собрались, Марья Ивановна?

— Придется денька два либо три и на ярманке пробыть,— отвечала Марья Ивановна.

— А после того опять в Талызино?

— Нет, в Муроме надобно мне побывать. Поблизости от него деревушка есть у меня, Родяково прозывается. Давненько я там не бывала — поглядеть хочется... А из Родякова к своим проберусь в Рязанскую губернию.

— А в Талызино-то когда же?

— И сама не знаю, Василий Петрович. Разве после Рождества, а то, пожалуй, и всю зиму не приеду. В Рязани-то у меня довольно дел накопилось, надо их покончить.

— Эх-ма! А я было думал опять к вашей милости побывать... Насчет леску-то,— сказал Василий Петрович.

— Да ведь у нас с вами об этом лесе не один раз было толковано, Василий Петрович,— отвечала Марья Ивановна.— За бесценок не отдам, а настоящей цены вы не даете. Стало быть, нечего больше и говорить.

— Растащут же ведь его у вас, матушка. Сами знаете: что ни год, то порубка,— сказал Василий Петрович.

— Ежели три-четыре дубочка, да десяток-другой осиннику срубят, беда еще не велика́,— заметила Марья Ивановна.— Опять же лес у меня не без призору.

— Караулы-то ваши не больно чтобы крепки были, сударыня,— сказал Василий Петрович.

— Нет,— молвила Марья Ивановна.— Сергеюшкой я очень довольна и другими, кто живет с ним. Берегут они лесок мой пуще глаза.

— Уж больно велики́ хоромы-то вы им в лесу поставили. Что твой господский дом!

— Пущай живут просторнее,— с кроткой улыбкой сказала Марья Ивановна.— Что ж? Лес свой, мох свой, кирпич свой, плотники и пильщики тоже свои. За железо только деньги плачены... И отчего ж не успокоить мне стариков?.. Они заслужили. Сергеюшка теперь больше тридцати годов и́з лесу шагу почти не делает.

— Намолвка не больно хороша про него,— прищурясь, молвил Василий Петрович.

— Что такое? — вскинув глазами и пристально поглядевши на тучного купчину, спросила Марья Ивановна.

— Кудесничает, слышь, колдует в лесу-то,— промолвил Василий Петрович...

Едва заметный румянец мгновенно пробежал по лицу Марьи Ивановны, но тотчас же исчез бесследно. Лежавшая вдоль бо́ртового по́ручня рука ее чуть-чуть вздрогнула. Но голос ее был совершенно спокоен.

— Какой вздор! — улыбнувшись, она молвила.— Мало ли каких глупостей народ ни наскажет. Нельзя же всякому глупому толку веру давать.

— Оно, конечно, может, и врут,— согласился Василий Петрович.— Однако ж вот это я и сам замечал, что Сергей почти совсем отстал от божьей церкви, да и те, что с ним в лесу живут, тоже редко в храм господень заглядывают.

— Церковь-то от них далеконько, Василий Петрович,— сказала Марья Ивановна.— А зимой ину пору в лесу-то из сугробов и не выдерешься. А не случалось ли вам когда-нибудь говорить про Сергеюшку с нашим батюшкой, с отцом Никифором? Знаете ли, что Сергеюшка-то не меньше четырех раз в году у него исповедуется да приобщается... Вот какой он колдун! Вот как бегает он святой церкви. И не один Сергеюшка, а и все, что в лесу у меня живут, и мужчины и женщины, точно так же. Усердны они к церкви, очень усердны.

— Это я точно слыхал и не один даже раз разговаривал про них с отцом Никифором,— молвил Василий Петрович.— В том только у меня сумнительство на их-ний счет, что ведь с чего-нибудь взял же народ про Сергея так рассказывать. Без огня дыма, матушка, не бывает.

— Людских речей, Василий Петрович, не переслушаешь,— сухо ответила ему Марья Ивановна.— Однако же что-то холодно стало. Сойти было в каюту да чаю хоть, что ли, спросить. Согреться надобно.

И медленной, величавой походкой пошла.

— Кто такая? — спросил Меркулов у Василья Петровича.

— Алымова, помещица,— отвечал Василий Петрович.— Соседка нам будет. Мы и сами прежде алымовские были, да я еще от ее родителя откупился, вольную, значит, получил.

— Зачем же это она так рядится? — спросил Никита Федорыч.— Старица не старица, а бог знает на кого похожа. В дорогу, что ли, она так одевается?

— Завсегда так: и дома, и в гостях, и в дороге,— сказал Василий Петрович.

— Что за чудиха!

— Кто ее знает... Теперь вот уж более пятнадцати лет, как этакую дурь на себя напустила,— сказал Василий Петрович.— Теперь уж ей без малого сорок лет... Постарела, а посмотреть бы на нее, как была молоденькой. Что за красота была. Просто сказать — ангел небесный. И умная она барыня и добрая.

— А много ли крестьян у нее? — полюбопытствовал Меркулов.

— Сот шесть, пожалуй и больше наберется,— молвил Василий Петрович.— В нашей вотчине три ста́ душ, во Владимирской двести да в Рязанской с чем-то сотня. У барина, у покойника, дом богатейший был... Сады какие были, а в садах всякие древа и цветы заморские... Опять же ранжереи, псарня, лошади... Дворни видимо-невидимо — ста полтора. Широко́ жил, нечего сказать.

— А все Марье Ивановне досталось?

— До последней капельки. Одна ведь только она была. При ней пошло не то житье. Известно, ежели некому добрым хозяйством путем распорядиться, не то что вотчина, царство пропадает. А ее дело девичье. Куда же ей? Опять же и чудит без меры. Ну и пошло все врознь, пошло да и поехало. А вы, смею спросить, тоже из господ будете?

— Нет, я саратовский купец Никита Федоров Меркулов.

— Так-с. Хорошее дело, подходящее, значит можно с вашей милостью про господ повольготней маленько говорить... Я и сам, государь мой, алатырский купец Василий Петров Морковников. Масла́ми торгуем да земля́ми заимствуемся помаленьку, берем у господ в кортому, в годы. Заводишки тоже кой-какие имеем,— живем благодаря бога, управляемся всевышней милостью. Теперича для нашего брата купца времена подошли хорошие: господа почитай все до единого поистратились, кармашки-то у них поизо́рвались, деньжонкам не вод,— нам, значит, и можно свой интерес соблюдать. Вот теперь про волю толки пошли — дай-ка, господи, пошли свое совершение. Тогда, сударь, помаленьку да потихоньку все дойдет до наших рук,— и зѐмли и господские дома́, все. Заверяю вас. Одно только нашему брату теперича надо в помышленье держать: «не зевай»... Смекалку, значит, имей в голове. А вы, государь мой, чем торгуете?

— Рыбой да тюленем,— отвечал Меркулов.— Ловим по волжским низовьям да в море, а продаем у Макарья.

— Вот господь-от свел! — весело молвил Морковников.— Не имеется ль у вас, Никита Федорыч, тюленька у Макарья-то?

— Теперь нет, а дня через два либо через три бу-

дет довольно,— ответил Меркулов.— Я сам от Царицына ехал при тюлене, только в Казани сел на пароход, чтоб упредить караван, оглядеться до него у Макарья, ну и к ценам приноровиться.

— Так-с! Дело это хорошее,— поглаживая бороду и улыбаясь, сказал Морковников.— Может, и сойдемся... Поставил я, изволите видеть, заводец мыловаренный. Поташных у меня два давненько-таки заведены, а с Покрова имею намерение мыловарню пустить в ход. По нашим местам добротного мыла не надо, нашим чупахам, особливо мордовкам, не яичным рожи-то мыть, им годит и тюленье. А рубахи да портки стирать и тюлень будет им на удивленье,— все-таки лучше мылóвки али волнянки [1]. Советовался я кое с кем... Свел меня однажды господь этак же вот, как и с вами, на пароходе с одним барином. Из Петербурга его от вышнего начальства посылали осматривать да описывать здешние заводы и фабрики. Свиделся я еще после того с ним у одного нашего помещика. Ну и побеседовали. Ума, сударь, палата, а к настоящему делу речи не подходящи. Надо, говорит, варить мыло из оленки [2] да из соды. Про тюленя да про поташ и слышать барин не хочет. А кажись бы, человек хороший, душевный, хитрости в нем не видать ни на капельку... Ну, я его не послушался,— на поташе с тюленем хочу испробовать. Куда нашим мордовкам соду да оленку! Толстоногие чупахи [3], пожалуй, заместо пряников хорошее-то мыло сожрут. Не можно ль у вас, Никита Федорыч, тюленька мне получить? Только мне потребуется не мало. Найдется ли столько у вас?

— А сколько? — спросил Меркулов.

— Да тысяч восемь пудов потребуется,— с важным видом молвил Морковников.

— Найдется,— сказал Никита Федорыч.— В десять не в десять раз, а в восемь раз больше того удовлетворить вас могу.

---

[1] *Мылóвка*—ископаемое, мыловатое на ощупь, из породы талька, вещество, употребляемое при валянье сукон. *Волнянка* — растение Diantus superbus. И мыловка и волнянка употребляются по захолустьям вместо мыла.

[2] Олеин.

[3] Мордовки навивают на ноги множество портянок и полотенец, так что ноги у них, ровно бревно. Это почитается большой красой и щегольством. Оттого мордовок и зовут *толстоногими* либо *толстопятыми*.

«Э! Да это, видно, из коренных рыбников»,— подумал Василий Петрович и со сладкой улыбкой масленого лица обратился к Меркулову, прищурив левый глаз.

— А как ваша цена будет?

— Не знаю еще. Завтра, ежели вам угодно, повидайтесь со мной, тогда скажу,— ответил Никита Федорыч.

— Не в пример бы лучше теперь же здесь на досуге нам порешить это дельце,— с заискивающей улыбкой молвил Морковников.— Вот бы мы сейчас с вами пошли в общу каюту да ушицу бы стерляжью али московскую соляночку заказали, осетринки бы хорошенькой, у них, поди, и белорыбицы елабужской можно доспеть. Середа ведь сегодня — мясного не подобает, а пожелаете, что же делать? Можем для вас и согрешить — оскоромиться. Бутылочку бы холодненького роспили,— все бы как следует.

— Ежели хотите, пожалуй, позавтракаем вместе, теперь же и время,— сказал Меркулов.— Только наперед уговор: ни вы меня, ни я вас не угощаем — все расходы пополам. Еще другой уговор: цена на тюлень та, что будет завтра на бирже у Макарья, а теперь про нее и речей не заводить.

Маленько нахмурился Василий Петрович.

— Два бы рублика за пуд положили, и по рукам бы,— сказал он.

«Два рубля! — подумал Меркулов.— Вот оно что! А писали про рубль да про рубль с гривной... Не порешить ли?» Однако не решился. Сказал Морковникову:

— Через сутки, даже раньше узнаете мою цену. А чтоб доказать вам мое к вам уважение, наперед согласен десять копеек с рубля уступить вам против цены, что завтра будет на бирже у Макарья... Идет, что ли? — прибавил он, протягивая руку Морковникову.

— Идет,— радостно и самодовольно улыбаясь, вскликнул Василий Петрович.— А не в пример бы лучше здесь же, на пароходе, покончить. Два бы рублика взяли, десять процентов, по вашему слову, скидки, По рублю бы по восьми гривен и порешили... Подумайте, Никита Федорыч, сообразитесь,— ей-богу, не останетесь в обиде. Уверяю вас честным словом вот перед

самим господом богом. Деньги бы все сполна сейчас же на стол...

— Нет, нет, оставим до завтра,— решительно сказал Никита Федорыч.— Пойдемте лучше завтракать.

— Пожалуй,— лениво и маленько призадумавшись, проговорил Морковников и затем тяжело привстал со скамьи.

— Эй ты, любезный! — крикнул он наскоро проходившему каютному половому.

— Что требуется вашей милости? — спросил тот, укорачивая шаг, но не останавливаясь.

— Уху из самолучших стерлядей, что есть на пароходе, с налимьими печенками, на двоих,— сказал Морковников.— Да чтобы стерлядь была сурская, да не мелюзга какая, а мерная, от глаза до пера вершков тринадцать, четырнадцать.

Половой приостановился.

— Телячьи котлеты с трюфелями,— в свою очередь приказал Меркулов.

Половой еще ближе подошел к ним.

— Холодненького бутылочку,— приказал Василий Петрович.

— Заморозить хорошенько,— прибавил Никита Федорыч.

— Редеру прикажете али клико?

— Клику давай,— сказал Василий Петрович.— Оно, слышь, забористее,— обратился он к Никите Федорычу.

— Слушаю-с,— проговорил половой, почтительно стоя перед Меркуловым и Морковниковым.

— Зернистой икры подай к водке да еще балыка, да чтоб все было самое наилучшее. Слышишь? — говорил Морковников.

— Слушаю-с. Все будет в настоящей готовности для вашей милости.

— Рейнвейн хороший есть? — спросил Меркулов.

— Есть-с.

— Бутылку. Да лущеного гороха со сливочным маслом. Понимаешь?

— Можем понимать-с,— утвердительно кивнув головой, сказал каютный.

— Можно бы, я полагаю, и осетринки прихватить,— будто нехотя проговорил Морковников.— Давеча в Василе ботвиньи я с осетриной похлебал — расчудесная, а

у них на пароходе еще, пожалуй, отменнее. Такая, я вам доложу, Никита Федорыч, на этих пароходах бывает осетрина, что в ином месте ни за какие деньги такой не получишь...— Так говорил Василий Петрович, забыв, каково пришлось ему после васильсурской ботвиньи.

— Осетрины холодной с провансалем,— приказал Никита Федорыч.— Вы любите провансаль?..— обратился он к Василию Петровичу.

— А это что за штука такая? — с недоуменьем спросил Морковников.— Мне подай, братец, с хренком да с уксусцо́м,— промолвил он, обращаясь к половому.

В это самое время из окна рубки, что над каютами, высунулся тощий, болезненный, с редкими прилизанными беловатыми волосами и с желто-зеленым отливом в лице, бедно́ одетый молодой человек. Задыхаясь от кашля, кричал он на полового:

— Телячьи ножки тебе приказаны, а ты ни с места!.. Что ж это такое? На что похоже? Что у вас за дикие порядки?

И, страшно закашлявшись, оперся обеими руками о подоконник.

— Сейчас-с,— небрежно отвечал ему половой, видимо предпочитавший новый заказ заказу чахоточного.

«Медной копейки на чай с тебя не получишь,— думал он,— а с этих по малости перепадет два двугривенных».

— Обличить вас надо!.. В газетах пропечатать!.. Погодите!.. Узнаете вы меня!..— задыхаясь от злобы и кашля, неистово кричал чахоточный.— Капитана мне подай!.. Это ни на что не похоже!

Капитана не подали, а ножки тотча́с принесли. С жадностью накинулся на них чахоточный, успев перед тем опорожнить три, либо четыре уемистых рюмки очищенного.

— Из кутейников, должно быть,— тихонько заметил Морковников.— Теперь ведь очень много из поповичей такого народа разводится.

Завтракать подали в рубку. Расправившись с телячьими ножками, попович куда-то скрылся, должно быть на боковую отправился; а может быть, писать обличительную статью насчет пароходных телячьих ножек. В рубке остался Меркулов один на один с новым знакомцем. Морковников опять было стал приставать к

Никите Федорычу насчет тюленя, но Меркулов устоял и наотрез сказал ему, что до приезда на ярманку ни слова не скажет ему по этому делу. Нечего было делать Морковникову, пришлось уступить. Зато уж и позавтракал же он. Ни васильсурской ботвиньи, ни мучительной икоты ровно и не бывало, ел, будто ему сказано было, что вперед трое суток у него во рту маковой росинки не будет. И закуска, и уха, и котлеты, и осетрина исчезли ровно в бездне. Умел Василий Петрович покушать. Когда завтрак был покончен, он с довольной улыбкой сказал Меркулову:

— Обедать-то, видно, поздненько придется, часика этак через три.

— Ох, уж, право, не знаю,— отвечал Никита Федорыч.— Я сытехонек.

— Как так? Да нешто можно без обеда? — с удивленьем вскликнул Морковников.— Сам господь указал человеку четырежды во дню пищу вкушать и питие принимать: поутру́ завтракать, потом полудничать, как вот мы теперь, после того обедать, а вечером на сон грядущий ужинать... Закон, батюшка... Супро̀тив господня повеленья идти не годится. Мы вот что сделаем: теперича отдохнем, а вставши, тотчас и за обед... Насчет ужина здесь, на пароходе, не стану говорить, придется ужинать у Макарья... Вы где пристанете?

— У Ермолаева, если там найдется свободный номер,— сказал Никита Федорыч.

— И разлюбезное дело,— молвил Морковников.— Я сам завсегда у Федора Яковлича пристаю. Хорошо у него, ото всего близко, опять же спокойно, а главное дело всякое кушанье знатно готовят.

— Скажите, пожалуйста, Василий Петрович, зачем эта барышня, Марья-то Ивановна, чудит при таком состоянии? — спросил Меркулов, перед тем как им пришлось расходиться по каютам.

А спросил о том Меркулов так, спросту, не то чтоб из любопытства, не то чтоб очень занимала его Марья Ивановна; молвил так, чтобы сказать что-нибудь на прощанье Василью Петровичу.

— Должно быть, по ихней вере так надо,— тихо промолвил Василий Петрович.

— По какой вере? — спросил с удивленьем Меркулов.

— По ихней.

— А что ж у них за вера такая?

— А шут их знает,— молвил Василий Петрович.— Фармазонами зовут их. А в чем ихняя вера состоит, доподлинно никто не знает, потому что у них все по тайности... И говорить-то много про них не след.

— А много у вас таких? — спросил Меркулов.

— Есть,— ответил Василий Петрович.— Довольно-таки... Носятся слухи, что и дом-от в лесу Марья Ивановна ради фармазонства поставила. Сергей-от лесник за попа, слышь, у них!..

— Значит, есть и господа в той вере? — спросил Никита Федорыч.

— И господ не мало,— ответил Морковников.— В роду Марьи Ивановны довольно было фармазонов. А род алымовский, хороший род, старинный, столбовой... Да что Алымовы!.. Из самых, слышь, важных, из самых сильных людей в Петербурге есть фармазоны.

И, зевнув во весь рот, протянул руку Никите Федорычу:

— Приятного сна... Наше вам наиглубочайшее!

И сонным шагом в каюту пошел.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Номер Никите Федорычу у Ермолаева нашелся. Номер хороший, удобный, по возможности чистый, но главное — в одном коридоре с номером Веденеева. По правде сказать, несмотря на все усердие чистивших номер чуть ли не двое суток сряду, не вышли из него ни смрад, ни вонь от живших перед тем астраханских армян и других восточных человеков. Заплеванные обои, испакощенный пол, порядочное во всей мебели количество клопов достаточно свидетельствовали о свинстве прежних обитателей. Никите Федорычу, как ни привык он к лучшим удобствам жизни, это было нипочем. Главное — рядом с Митенькой. Тотчас же, как приехал он в гостиницу, прямо к нему. Заперт номер Дмитрия Петровича, и никто не знает, куда он уехал. Наскоро переодевшись, поскакал Меркулов к Дорониным. И там нет никого; куда уехали, тоже не знают. В досаде и волненье вышел Меркулов на улицу. «Немного погодя

опять заверну»,— подумал он и пошел пешком по мосту на свою квартиру.

Темнело. И на мосту и по улицам зажигали фонари; один за другим загорались огни и на пароходах, что стройными рядами стояли на Оке и на Волге. Неспешным шагом, оглядываясь по сторонам, идет Никита Федорыч. То разглядывает он баржи, подошедшие к мосту в ожиданье его разводки, то смотрит на пламенные столбы стальных заводов, на множество ярмарочных огней и на отражавшийся в воде полный месяц, нырявший среди останных туч минувшего ненастья. Перейдя мост, Меркулов прямо пошел к номерам Ермолаева, но и тут все еще смотрел по сторонам, только бы чем время скоротать. Пришел на квартиру. Веденеева нет еще. Тут только пришло на ум Меркулову, что не мешает записочку приятелю написать, чтобы он, воротившись без него, подождал бы его. Написавши, вспомнил, что не худо такую же записку и у Дорониных оставить. И вот, сунув рублевку коридорному, сказал ему, чтоб отдал он записку Веденееву, как только он воротится, а сам к Дорониным поехал. Чтоб затянуть еще как-нибудь время, слез он с извозчичьей пролетки и пошел через мост пешком. Шел медленнее прежнего и опять то и дело останавливался либо, облокотясь на мостовые перила, пристально оглядывал проходящих. Разъезжавшие по мосту казаки подозрительно стали на него посматривать.

Только что перешел мост, издали стали доноситься мерные удары колокола. Часы били. Раз, два, три... Семь... ну еще! — восемь... ну еще! нет, больше не бьют, такая досада. И так озлобился на часы Никита Федорыч, что, попадись тут ему под руку несносный колокол, он в куски бы его раздробил... «Верны ли городские часы? Дай погляжу на свои, они всегда верны». А до тех пор он нарочно не смотрел на часы, чтобы как-нибудь затянуть время, не знать его... Хвать — нет часов, видно забыл надеть, в номере оставил их... Нет... Выходя от Дорониных, вынимал он часы, хотел посмотреть, но не смотрел и назад в карман положил — тоже чтобы не знать, который час... Тут вспомнил Никита Федорыч, что, не застав Дорониных, он, перейдя мост, встретил страшную грязь от выпавшего накануне дождя. У железного дома биржи стал он пробираться сторонкой, а тут толпа серого люда, тут и ловкие «вольные промыш-

ленники»[1]. Вспомнил Никита Федорыч, что двое молодцов, в грязных, истасканных польтах, с очень короткими рукавами, сжимали его с обеих сторон, а третий сильно напирал сзади... Так и есть. Улыбнулись часики, достались московским жуликам либо петербургским мазурикам, ведь их множество ездит на Макарьевскую для своей коммерции... А жаль, очень жаль часов... Были они подаренье Брайтона... Опустя голову, медленными шагами идет Никита Федорыч, вспоминая об украденных часах, а сердце так и занывает... На часах был треугольник из голубой эмали, в нем круг, по ободку какая-то надпись; сначала он ее не мог разобрать. Даря часы, добрый англичанин что-то много говорил о бесконечном времени, о бесконечном пространстве и о том, что дух превыше и бесконечного времени и бесконечного пространства. И показал на треугольник и надпись... «Очень любил меня Брайтон,— думает Никита Федорыч,— даря часы, сказал он мне: «С ними проникнете туда, куда немногие проникают»... Долго спустя после отъезда его на родину, надо было Меркулову по одному порученью часы купить. Приходит к часовщику-немцу, выбирает доро́гой хронометр и вынимает свои часы сверить их... Часовщик так и впился в них глазами. «Давайте, говорит, на промен».— Не хочу.— «Два хронометра даю».— Не хочу.— «Три хронометра и пятьсот рублей придачи». Не согласился Меркулов и ушел поскорей от соблазна. И с той поры считал он брайтоновы часы своим талисманом... И вдруг пропали... И когда же?.. Только что приехал к невесте после долгой разлуки. Всегда думал он, что, как скоро у него тех часов не станет, беды и напасти найдут на него... «Господи! да что ж это такое?..— думает он теперь.— Счастье свое потерял!.. Нужно же было пешком идти, нужно же было в толпу черни входить!.. Ах, Лиза, Лиза! Что-то будет нам с тобой впереди?»

И тут только опознался на месте. С версту прошел он дальше квартиры Дорониных. Взойдя на Ивановскую гору, Меркулов стоял почти перед самым кремлем. Тут по ночам место не чисто. Один так называемый Переплетчиковский дом чего стоит. Петербургского Вяземского да московского Шипова с Хитровым рынком на

[1] Карманные воры.

придачу мало дать за этот дом. Да, кроме его, тут же по соседству дом Махотина, больше зовут его «полициймейстерским». Тот, пожалуй, еще будет получше... Слыхал Никита Федорыч о нравах и обычаях тех домов и бегом пустился от них пòд гору. За ним раздàлись клики — ловить ли его хотели, грабить ли, бог их знает, но, благодаря резвости молодых ног, он успел сбежать к устью Зеленского съезда. Тут безопаснее. Едва переводя дух, сел он на тротуарную надолбу и стал раздумывать о покраденных часах. Ровно половина души с теми часами пропала у него... Вспоминал и о таинственной надписи. После, долго после того, как Брайтон подарил ему эти часы, один магистр-протопоп сказал ему, что писано на них по-гречески: «éос тис синтелиас ту эóнос» [1], что в этой надписи таится великий смысл и что по-русски она значит: «до скончания века», а треугольник с кольцом — знак масонов... Знак масонов!.. А тут встреча с фармазонкой и тотчас после встречи пропажа заветных часов!.. «Что же все это значит?» — думает Никита Федорыч и, совсем истомленный духом и телом, опустил голову нà руки, сидя на столбе.

— Чего ты тут,— крикнул городовой.— Проваливай... Мошенники этакие!.. Спокою с вами нет! Хочешь к господину квартальному?

Как холодной водой обдало Меркулова. Встал он, и тотчàс же раздался часовой бой... Девять... Только-то!.. И когда бой перестал и начали играть куранты, в их звуках чудилось ему: «éос тис синтелиас ту эóнос».

Наняв ехавшего шажком порожняка, сел Никита Федорыч в пролетку и поехал вдоль по Нижнему базару к гостинице Бубнова, где жили Доронины.

Пробежав наверх, свернул направо.

— Дома?

— Никак нет-с, не приезжали,— отвечал коридорный.

— Записочку напишу. Дайте, пожалуйста, бумажки да карандашик.

Отдав записку с приложеньем рублевки, Меркулов пошел назад. Проходя коридором, в полурастворенной

---

[1] «Ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» — до скончания века. Надпись, употреблявшаяся как у масонов, так и у русских хлыстов образованного общества.

двери одного номера увидал он высокую женщину в черном платье. Она звала прислугу.

— Четыре раза звонила, все-таки нет никого,— кротко она говорила.— Самовар дайте мне, пожалуйста, да чайный прибор.

Взглянул на нее мимоходом Никита Федорыч — «фармазонка»!

Воротясь домой, еще на лестнице осведомился Меркулов, не воротился ли Дмитрий Петрович. Нет, не приезжал еще Досада стала разбирать Меркулова, горячился он, сердился, а на кого — и сам не знал. Надобно ж было в один день случиться стольким неудачам!.. «Дурной знак, нехорошая примета!..» — думал он, бросая картуз и пальто на первый попавшийся стул. В сильном волненье прошелся раза три по комнате, заглянул за ширмы, где ему приготовлена была постель... Глядь, на ночном столике часы.. Как так?.. Как они туда попали?.. Часы те самые, что Брайтон ему подарил, вот и круг, вот и треугольник и надпись... Появленье часов на столике объяснялось очень просто: воротясь в первый раз в номер, Меркулов бессознательно снял их и положил у постели, а потом и забыл. Но теперь это казалось ему делом необычайным, непостижимым, сверхъестественным. «Добрый знак, хорошая примета»,— решил он и вдруг рассвистался. За несколько минут перед тем дразнили и сердили его слышные издалека крики цыганской песни и звуки роговой музыки. Теперь и роговая музыка показалась приятной, даже чрезвычайно изящной, а песни цыган просто восхитительными... Даже в звуках турецкого барабана, что без умолку бухал в каком-то сколоченном из барочных досок комедиантском балагане, Никита Федорыч находил что-то прелестное, что-то необычайно гармоничное... Взглянул на часы — десять... Ну теперь Митенька скоро воротится, может быть и от Дорониных пришлют, может быть сам Зиновий Алексеич приедет... Чем бы до тех пор заняться?. Позвонил, спросил каких-нибудь газет. Подали «Ярмарочный листок», и он углубился в его чтение Читает, сколько ржи на пристанях, сколько овса, пшена, муки — все цифры, цифры и цифры... Глядит он на эти цифры внимательно, но ничего в них не видит и вовсе не об них думает... Думает про невесту, думает про Веденеева, про тюленя́, про Морковникова,

про Брайтона и про Марью Ивановну, но ни над чем не может остановиться, ни над каким предметом не может сосредоточиться... Больше все Брайтон да Брайтон да его подаренье... С год прошло, как не вспоминал англичанина, а сегодня он у него беспрестанно на уме... «Это от того сна,— думает Меркулов.— Как, однако, я живо видел его, как есть наяву... Так же точно и после смерти — тогда ведь все равно, что день, что тысяча, миллион лет... Американец тогда у Брайтона правду говорил... А у нас мытарства!.. Нет, так лучше, как американец говорил: только что умрешь, тотчас тебе и суд, тотчас тебе и место, где господь присудит... Как он милосерд, как он премудр, как это хорошо он устроил! Что час, что тысяча лет — ему все одно... А что это за вера фармазонская?.. Тайная... Как бы узнать?.. Морковников не знает ли?.. Разве с Марьей Ивановной познакомиться, ее расспросить?.. Не скажет, пожалуй... тайности ведь у них».

Дверь с шумом растворилась.

— Наконец-то! — вскликнул Никита Федорыч и кинулся было обнимать Веденеева.

Но это был не Веденеев.

— Давеча, в обеденну пору, стучал я, к вам стучал в каюту, государь мой, так-таки не мог добудиться. Нечего делать — один пообедал... теперь уж не уйдете от меня. Пойдемте-ка ужинать... Одиннадцатый уж час...

Так говорил Василий Петрович, растопыря врозь руки, будто в самом деле хотел изловить Меркулова, ежели тот вздумает лыжи от него навострить.

— Я ведь не ужинаю, Василий Петрович. Да и есть-то вовсе не хочется,— сказал Меркулов.

— Как так?..— с удивлением вскрикнул Морковников.— Не обедал, да и ужинать не хочет!.. На что это похоже?.. Смирять, что ли, себя вздумали?.. Нет, батюшка, этого я не позволю. Покончим с тюленём, тогда хоть совсем от еды откинься, хоть с голоду помри — тогда мне все равно... А до тех пор не позволю, ни под каким видом не позволю. Извольте-ка, сударь, идти со мной в общую залу. У Федора Яковлича рыба отменная, по всей ярманке лучше нет. Куда до него Барбатенке, да хоша б и самому модному вашему Никите Егорову... У них насчет рыбного тех же щей да пожиже влей. Подают красиво, любо-дорого посмотреть, да еда-то нам по

брюху не приходится, не по русскому скусу она... Идем же, идем, нечего попусту лясы точить.

И схватил Меркулова за руку.

— Хоша и силком, а уж стащу друга поужинать,— говорил он.— Сердись, не сердись, по мне, брат, все едино... А на своем уж беспременно поставлю!.. Как это можно без ужина?.. Помилуйте!

— Да ей-богу же в горло кусок не пройдет. Я так с вами давеча назавтракался, что, кажется, и завтрашний день есть не захочу.

— Нельзя, голубчик, нельзя,— стоял на своем Морковников.— Ты продавец, я покупатель,— без того нельзя, чтобы не угоститься... я тебя угощаю... И перечить ты мне не моги, не моги... Нечего тут — расходы пополам... Это, батюшка, штуки немецкие, нашему брату, русскому человеку, они не под стать... я угощаю — перечить мне не моги... Ну, поцелуй меня, душа ты моя Никита Федорыч, да пойдем скорей. Больно уж я возлюбил тебя.

И, не дождавшись ответа, купчина облапил Меркулова и стал целовать его со щеки на щеку.

— Какие бы цены на тюленя завтра ни стали, тотчас сполна чистоганом плачу,— говорил Василий Петрович.— Слова не вымолвлю, разом на стол все до последней копейки. Помни только давешний уговорец — гривну с рубля скостить... Уговор пуще денег... Да ну же, пойдем!.. Чего еще корячиться-то?.. Зовут не на беду, а на еду, а ты еще упираешься!.. Еда, любезный ты мой, во всяком разе первеющее дело!.. Чтоб мы были без еды?.. Опостылел бы тогда весь белый свет. А я и на предбудущую ярманку и навсегда твой покупатель. Коли хорошо пойдет завод, втрое, вчетверо больше буду брать у тебя... Только того из памяти не выкидывай — гривна скидки... Да ну же пойдем... Нечего тут еще кочевряжиться!.. Пойдем, говорю,— больно уж я возлюбил тебя.

И потащил Меркулова за руку.

* * *

А Митеньки все нет как нет. Что станешь делать? Пошел Никита Федорыч с безотвязным Морковниковым, хоть и больно ему того не хотелось. «Все равно,—

подумал,— не даст же покоя с своим хлебосольством. Теперь его ни крестом, ни пестом не отгонишь». И наказал коридорному, как только воротится Веденеев либо другой кто станет Меркулова спрашивать, тотчас бы повестил его.

Никита Федорыч с Морковниковым едва отыскали порожний столик,— общая зала была полным-полнехонька. За всеми столами ужинали молодые купчики и приказчики. Особенно армян много было. Сладострастные сыны Арарата уселись поближе к помосту, где пели и танцевали смазливые дщери остзейцев. За одним столиком сидели сибиряки, перед ними стояло с полдюжины порожних белоголовых бутылок, а на других столах более виднелись скромные бутылки с пивом местного завода Барбатенки. Очищенная всюду стояла.

Подлетел половой в синей канаусовой рубахе, отороченной тоненькими серебряными позументами. Ловко перекинув на левое плечо салфетку и низко нагнувшись перед Морковниковым, спросил у него:

— Что потребуется вашему почтению?

— Сперва-наперво, милый ты мой, поставь нам водочки да порцию икорки хорошенькой,— сказал Василий Петрович.

— Зернистой прикажете али паюсной? — почтительно опуская глаза, спросил половой.

— Знамо, зернистой,— паюсну сам ешь,— ответил Морковников.— Самой наилучшей зернистой подавай.

— Стерляжьей не прикажете ли? Сейчас только вынули,— осклабясь во весь рот, сказал половой.

— Тащи порцию. Да балыка еще подай. Семга есть?

— Есть-с, только для вашей чести не совсем будет хороша,— ответил половой.

— Так ну ее ко псам. Икры подай да балыка, огурчиков свежепросольных,— приказывал Василий Петрович.— Нехорошее подашь — назад отдам и денег не заплачу, Федору Яковличу пожалуюсь. Слышишь?

— Слушаю-с,— с лукавой улыбкой молвил половой.— Еще чего не пожелается ли вашей милости?

— Расписанье подай,— сказал Василий Петрович.

— Какое расписанье? — в недоуменье спросил половой.

— Роспись кушаньям, какие у вас готовят,— повыся голос, крикнул на него с досадой Морковников.

— Карточку, значит? Сию минуту-с,— сказал половой и подал ее Василию Петровичу.

— «Закуски,— по складам почти читает Морковников.— Икра паюсная конторская...» Мимо,— закуску мы уж заказали. «Мясное: лангет а ланглез, рулет де филе де фёб, ескалоп о трюф». Пес их знает, что такое тут нагорожено!.. Кобылятина еще, пожалуй, али собачье мясо... Слышишь? — строго обратился он к улыбавшемуся половому.

— Другой карточки не имеется-с,— ответил половой.

— Отчего же не имеется? — вскрикнул Василий Петрович.— Не одна же, чать, нехристь к вам в гостиницу ходит, бывают и росейские люди — значит, православные христиане. Носом бы тыкать вот сюда Федора-то Яковлича, чтобы порядки знал,— прибавил Морковников, тыкая пальцем в непонятные для него слова на карточке.

— Зачем же-с? Помилуйте,— вступился за хозяина половой.— Осетринки не прикажете ли, стерляди отличные есть, поросенок под хреном — московскому не уступит, цыплята, молодые тетерева.

— Слушай, давай ты нам ракову похлебку да пироги подовые с рыбой... Имеется?

— Раковый суп? Имеется-с.

— Стерлядку разварную.

— Слушаю-с.

— Осетрины хорошей с хренком.

— Слушаю-с.

— Поросенка под хреном. Это я для тебя,— обратился Морковников к Никите Федорычу.— Мне-то не следует — середа.

Меркулов не отвечал. Далеко́ в то время носились его думы.

— Слушаю-с,— отвечал между тем половой Морковникову.

— Цыплят жареных можно?

— Можно-с.

— Цыплят порцию да леща жареного на подсолнечном масле.

— Слушаю-с.

— Чего бы еще-то спросить? — обратился Морковников к задумавшемуся Никите Федорычу.

— Помилуйте, Василий Петрович, да и того, что заказали, невозможно съесть,— сказал Меркулов.

— Коли бог грехам потерпит,— всё, голубчик, сжуем во славу господню, все без остаточка,— молвил Морковников.— Тебе особенного чего не в охотку ли? Так говори.

— Я уж сказал, что вовсе есть не хочу,— отвечал Меркулов.

— Это ты шалишь-мамонишь. Подадут, так станешь есть... Как это можно без ужина?.. Помилосердуй, ради господа! — И, обращаясь к половому, сказал: — Шампанского в ледок поставь да мадерки бутылочку давай сюда, самой наилучшей. Слышишь?

— Слушаю-с,— ответил половой.

— С богом. Ступай. Готовь живее.

Лётом вылетел половой вон из залы.

А на помосте меж тем бренчит арфа, звучат расстроенные фортепьяны, визжит неистово скрипка, и дюжина арфисток с тремя-четырьмя молодцами, не то жидами, не то сынами германского отечества, наяривают песенки, чуждые русскому уху. Но когда которая-нибудь из толстомясых дщерей Liv- Est- und Kur-ланда выходила на середку, чтоб танцевать, и, подняв подол, начинала повертывать дебелыми плечами и обнаженною грудью, громкое *браво*, даже *ура* раздавалось по всей зале. Полупьяные купчики и молодые приказчики неистовыми кликами дружно встречали самый бесцеремонный, настоящий ярманочный канкан, а гайканский народ [1] даже с места вскакивал, страстно губами причмокивая.

— Экая гадость! — отплюнувшись брезгливо и тряхнув седой головой, молвил Василий Петрович.— Сколько ноне у Макарья этих Иродиад расплодилось!.. Беда!.. Пообедать негде стало как следует, по-христиански, лба перед едой перекрестить невозможно... Ты с крестом да с молитвой, а эта треклятая не́жить [2] с пляской да с песнями срамны́ми! Ровно в какой бусурманской земле!

---

[1] Армяне.

[2] *Не́жить*—все, что живет без души и без плоти, но в виде человека. Это не дьявол, не мертвец и не привиденье, но особые существа. По народным понятиям, к не́жити относятся: домовой, леший, водяной, кикимора, шишига, лоба́ста, русалка и пр.

— Хорошего тут, конечно, немного, однако ж...— начал было Никита Федорыч.

— Чего тут «однако ж»? — вскинулся вдруг на него Василий Петрович.— Обойди ты теперь всю здешнюю ярманку, загляни в любой трактир, в любую гостиницу— везде вопль содомский и гоморрский, везде вавилонское смешение языков... В прежние времена такого нечестия здесь и в духах не бывало. На последних только годах развелось... Купечество того не желает, непотребство ему противно, потому хоша мы люди и грешные, однако ж по силе возможности кобей [1] бесовских бегаем... И ведь нигде, опричь Макарья, ни на единой ярманке нет такой мерзости... Гляди-ка, гляди, высыпал полк сатанин, расселись по стульям на помосте скверные еретицы, целая дюжина, никак... И у каждой некóшной [2] руки, плечи и грудь наголó ради соблазна слабых, а ежели плясать пойдет которая, сейчас подол кверху,— это, по-ихнему, значит капкан [3]. И подлинно капкан молодым купцам, особливо приказчикам... Распаляются, разжигаются и пойдут с этими немецкими девками пьянством да всяким срамным делом займоваться... И где прокудят бесу в честь эти лобасты окаянные [4], там же и крещеные трапезуют... Глянь-ка, в углу-то что... Догадлив Федор Яковлич, и богу и черту заодно угодить хочет — на помост-от ораву немецкой нечисти нагнал, а над помостом богородичен образ в золоченой ризе поставил, лампаду перед ним негасимую теплит... Под святыней-то у него богомерзкие шутовки [5] своему царю сатане служат бесовские молебны... У неверных, не знающих бога калмыков, доводилось мне на ярманках бывать, и у них такой срамоты я не видывал как здесь под кровом преподобного Макария, желтоводского чудотворца!.. Первостатейные купцы не один раз приговоры писали — прекратить бы это бесчинство, однако ж ихние хлопоты завсегда втуне остаются... С крестом да с молитвой по-

---

[1] *Кобь* — погань, скверность, также волхвование.

[2] *Некóшный* — нечистый, дьявольский, сатанинский.

[3] Канкан.

[4] *Лобаста* — род русалки, живущей в камышах. Это некрещеные младенцы и проклятые родителями дети, нетерпеливо ожидающие конца мира, а до тех пор забавляющиеся разными проказами над людьми.

[5] *Шут, шутовка* — в смысле нечистой силы. *Шут* — черт, *шутовка* — русалка и всякая другая нежить женского пола.

обедать места не сыщешь, а шутовкам ширь да простор. Начальство!..

Под это слово подлетел быстроногий, чистотелый любимовец и ловко поставил закуску на стол.

— А вот и икорка с балычком, вот и водочка целительная,— сказал Василий Петрович.— Милости просим, Никита Федорыч... Не обессудьте на угощенье — не домашнее дело, что хозяин дал, то и бог послал... А ты, любезный, постой-погоди,— прибавил он, обращаясь к любимовцу.

Половой как вкопанный стал в ожиданье заказа.

— Вот что я скажу тебе, милый человек,— молвил Морковников.— Заказали мы тебе осетринку. Помнишь?

— Как можно забыть, ваше степенство? Готовят-с...

— Подай-ка ты нам ее с ботвиньей. Можно?

— Можно-с.

— А коли можно, так, значит, ты хороший человек. Тури-ка, поди, да потуривай.

Половой ушел... За водочкой да закусочкой Василий Петрович продолжал роптать и плакаться на новые порядки и худые нравы на ярманке.

— Я еще к Старому Макарью на ярманку езжал,— рассказывал он Меркулову,— так и знаю, какие там порядки бывали. Не то что в госпожинки, в середу аль в пятницу, опричь татарских харчевен, ни в одном трактире скоромятины ни за какие деньги, бывало, не найдешь, а здесь, погляди-ка, что... Захочешь попостничать, голодным насидишься... У Старого Макарья, бывало, целый день в монастыре колокольный звон, а колокола-то были чудные, звон-от серебристый, малиновый — сердце, бывало, не нарадуется... А здесь бубны да гусли, свирели да эти окаянные пискульки, что с утра до̀ ночи спокою не дают христианам!.. Кажись бы, не ради скоморохов люди ездят сюда, а ради доброго торга, а тут тебе и волынщики, и гудочники, и гусляры, и свирельщики, и всякий другой неподобный клич... Слаб ноне стал народ. Последни времена!.. Ох ты, господи милостивый.

И при этом так громко зевнул, что все на него оглянулись.

Принес половой ботвинью и, перекинув салфетку через плечо, ожидал новых приказов.

— Значит, ты, милый мой человек, из места родима, из города Любима? — спросил у него Василий Петрович, разливая ботвинью по тарелкам.

— Так точно-с, любимовские будем,— тряхнув светло-русыми кудрями, с ужимкой ответил половой.

— Козу пряником, значит, кормил? — улыбаясь, примолвил Василий Петрович.

— Должно быть, что так-с...— кругом поводя голубыми глазами, с усмешкой отозвался половой.

— Ведь у вас в Любиме не учи козу — сама стянет с возу, а рука пречиста все причистит...[1] Так, что ли? — прищурясь, продолжал шутить Морковников.

— Кажинному городу своя поговорка есть,— молвил любимовец, перекинув салфетку с одного плеча на другое.— Еще что вашей милости потребуется?

— А вот бы что мне знать требовалось, какое у тебя имя крещеное? — спросил Василий Петрович.

— Поп Васильем крестил, Васильем с того часу и пошел я называться...— отвечал половой.

— Тезка, значит, мне будешь. И меня поп Васильем крестил,— шутливо примолвил Морковников.— А по батюшке-то как тебя величать?

— Петровым.

— Ну, брат, как есть в меня. И я ведь Василий Петров. А прозванье-то есть ли какое?

— Как же прозванью не быть? — тряхнув кудрями, молвил половой.— Мы ведь ярославцы — не чувашска лопатка[2] какая-нибудь. У нас всяк человек с прозвищем век свой живет.

— Как же тебя прозывают?

— Полушкины пишемся.

— Ну вот прозванье-то у тебя, тезка, не из хороших,— сказал Василий Петрович.— Тебе бы, братец ты мой, Рублевым прозываться, а не Полушкиным.

— Капиталов на то не хватает, ваше степенство,— подхватил разбитной половой, лукаво поводя глазами то на Морковникова, то на Меркулова.— Удостойте хотя маленьким каким капитальцем — Червонцевым бы стал прозываться, оно б и сходней было с настоящим-то нашим прозваньем.

---

[1] Про любимовцев все эти поговорки издавна сложены народом.

[2] Чувашей зовут «чувашска лопатка»; у них все Васильи Иванычи, а прозваний нет.

— Нешто у тебя два прозванья-то? — спросил Морковников.

— А то как же-с? Полушкины пишемся, а Червецовы прозываемся,— отвечал любимовец.— По нашей стороне все так... Исстари так ведется... Как же насчет капитальцу-то, ваше степенство?.. Прикажете в надежде оставаться? — немного помолчав, бойко обратился половой к Василью Петровичу.

— Надейся, тезка, надейся. Молод еще, бог даст и до денег доживешь. Дождешься времени, к тебе на двор солнышко взойдет,— сказал Василий Петрович.

— Эх, ваше степенство, ждать-то неохота бы. Пожаловали бы теперь же тысчонку другую — и делу бы конец,— закинув назад руки и склонившись перед Морковниковым, говорил половой.

— Малого захотел! — засмеялся Василий Петрович.— Пожалуй, не снесешь такую кучу.

— На этот счет не извольте беспокоиться. Постарались бы, понатужились,— сказал половой.

— Ну, ладно, ладно,— молвил Морковников.— А ты слетай-ка к буфетчику да спроси у него еще другую бутылочку мадерцы, да смотри, такой, которую сам Федор Яковлич по большим праздникам пьет... Самой наилучшей!

Схватя порожние тарелки, Полушкин-Червецов опрометью кинулся вон из залы.

Поужинали и бутылочку с белой головкой роспили да мадеры две бутылки. Разговорился словоохотный Морковников, хоть Меркулов почти вовсе не слушал его. Только и было у него на умѐ: «Не воротился ли Веденеев, да как-то завтра бог приведет с невестой встретиться, да еще какие цены на тюлѐнй означатся?» То и дело поглядывал он нá дверь,— «Авось Митенька не подойдет ли»,— думал он. Оттого и редко отвечал он на докучные вопросы Морковникова.

— Чего молчишь? Тебя спрашиваю,— сказал, наконец, Василий Петрович, тронув Меркулова за коленку.

— Что такое? — ровно ото сна очнувшись, спросил Никита Федорыч.

— Чего нос-от повесил?..

— Спать хочется,— молвил Меркулов и зевнул во весь рот.

— И впрямь, брательник, на боковую пора,— согласился Василий Петрович.— Выпьем еще по калишке [1], да и спать.

Взявшись за рюмку мадеры, Никита Федорыч сказал Морковникову:

— А я давеча на Нижнем базаре в гостинице знакомых разыскивал. Ту барыню встретил...

— Какую барыню? — спросил, зевая, Морковников.

— А что на пароходе-то с нами ехала,— сказал Никита Федорыч.

— Марью Ивановну? Ну вот, сударь! —молвил Василий Петрович.— Так впрямь она в гостинице пристала? Надо думать, что из своих никого здесь не отыскала... Не любят ведь они на многолюдстве жить, им бы все покой да затишье. И говорят все больше шепотком да втихомолку; громкого слова никто от них не слыхивал.

— Отчего ж это? — спросил Меркулов.

— Такое уж у них поведенье,— сказал Морковников.— По уставу, видно, по ихнему так требуется, а, впрочем, леший их знает, прости господи.

— Да что это за фармазоны такие, Василий Петрович?.. Растолкуйте мне, пожалуйста,— с любопытством спрашивал Никита Федорыч.

— Вера такая. Потаенная, значит,— молвил Василий Петрович, отирая лицо платком и разглаживая бороду.

— Что ж это за вера? В чем она состоит? — с возрастающим любопытством спрашивал Меркулов.

— Кто их знает, в чем она состоит... Все ведь по тайности,— сказал Морковников.— У них, слышь, ежели какой человек приступает к ихней вере, так они с него берут присягу, заклинают его самыми страшными клятвами, чтобы никаких ихних тайностей никому не смел открывать: ни отцу с матерью, ни роду, ни племени, ни попу на духу, ни судье на суде. Кнут и плаху, топор и огонь, холод и голод претерпи, а ихнего дела не выдай и тайностей их никому не открой. И еще у них, слышь, такой устав — неженатый не женись, а женатый разженись... Хмельного в рот не берут, ни пива, ни вина, ни браги, ни даже сыченого квасу. На пиры, на братчины,

---

[1] *Калишка* — стакан, рюмка. От латинского calix. В великорусский народный язык перешло из Белоруссии еще в XVII столетии.

на свадьбы и на крестины не ходят, песен не поют, ни на игрища, ни в хороводы, ни на другие деревенски гулянки ни за что на свете. Мясного в рот не берут, а молочное есть и в велику пятницу не ставят во грех... А впрочем, народ смирный, кроткий, обиды от них никому нет и до церкви божьей усердны... Худого за ними не видится.

— И между крестьян есть такие? —спросил Никита Федорыч.

— А то как же! — отозвался Морковников.— Сергей-то лесник, про коего вечор на пароходе у меня с Марьей Ивановной разговор был — за попа у них, святым его почитают...

— А из господ много в этой вере?

— Всякого там есть сословия: и господ, и купцов, и мужиков,— отвечал Василий Петрович.—У Марьи Ивановны вся родня, говорят, в этой самой фармазонской вере состоит... Дядя ей родной, богатый барин, Луповицким прозывается, по этой вере у них, слышь, самым набольшим был, ровно бы архиерей... Так его в монастырь услали, в Соловках так и помер... У него Марья-то Ивановна по смерти родителей и проживала, да там этого духа и набралась... Да что Марья Ивановна, что господин Луповицкий! Толкуют, будто из самых что ни на есть важнеющих людей, из енералов да из сенаторов по той фармазонской вере немало есть... А все по тайности.. Иному и хотелось бы, пожалуй, из той веры вон как-нибудь, да нельзя — в одночасье помрешь.

— Как так, Василий Петрович? — спросил Меркулов.

И сон у него прошел, про Веденеева, про невесту, про тюленя перестал думать.

— Сам я того не знаю,— отвечал Морковников,— а по людям в нашей стороне идет такая намолвка: ежели кто в ихню веру переходит, прощается он со всем светом и ото всего отрекается. «Ты прости-прощай, говорит, небо ясное, ты прости-прощай, солнце красное, вы прощайте, месяц и звезды небесные, вы прощайте, моря, озера и реки, вы прощайте, леса, поля и горы, ты прости-прощай, мать-сыра-земля, вы простите, ангелы, архангелы, серафимы, херувимы и вся сила небесная». Ото всего, значит, отрекается, со всем прощается... И после того с него пишут портрет, а ежели некому портрета на-

писать, берут рукописанье — и тут бывает волхвованье... Ежель кто потом в ихней вере станет не крепок, либо тайность какую чужому откроет, на портрете лицо потускнеет, и с рукописанья слова пропадут. По тому и узнают они неверных... И тогда в тот портрет стреляют, а рукописание жгут на огне. И оттого человек тотчас помирает, хоша бы на другом конце света был... От того от самого фармазонам и нельзя из ихней веры выйти...

— Как же вы-то об этом узнали, Василий Петрович? — спросил увлекаемый любопытством Меркулов.

— Слухом земля полнится, Никита Федорыч,— отвечал Морковников.— С чего-нибудь говорят же люди... Вон за Волгой в низовых степях таких фармазонов довольно есть. Только там с чего-то их монтанами называют. А все те же фармазоны. А то еще «вертячками» их там прозывают. Года три назад довелось мне за Самару съездить, баранов в степи на вытопку сала закупал. Прожил тогда я в одном селе больше двух недель и довольно-таки наслушался про этих монтанов. Старых девок больше всего в той вере, бывают, однако, и молодые. А живут те девки от своих семейных отдельно, кельи у них на задворках особые поставлены. Про себя говорят: «Хлеба не сеем, работы не работа́ем, потому что сеем слово господне и работаем на бога, по вся дни живота своего в трудах и в молитве пребываем». А по вечерам, особливо под праздники, сходятся они в келью, котора попросторней, и там сначала божественные книги читают, а потом зачнут петь свои фармазонские песни. И под те песни скачут они и пляшут да вертя́тся по избе, оттого «вертячками» их и прозвали. А ходят завсегда в черном, когда же сойдутся на беседы, надевают белы рубахи, длинные, до самого полу... И мужчины ихнего согласу на тех беседах в таких же белых рубахах бывают—такое, значит, у них заведенье. По уставу, что ли, по какому, пес их знает...

— Странно все это, Василий Петрович,— в раздумье молвил Меркулов.— А мне бы, признаться, хотелось узнать хорошенько, что это за вера такая...

— Узнавать-то нечего, не стоит того,— ответил Морковников.— Хоша ни попов, ни церкви божьей они не чуждаются и, как служба в церкви начнется, приходят первыми, а отойдет — уйдут последними; хоша раза по три или по четыре в году к попу на дух ходят и прича-

стье принимают, а все же ихняя вера не от бога. От врага наваждение, потому что, ежели б ихняя вера была прямая, богоугодная, зачем бы таить ее? Опять же тут и волхвования, и пляска, и верченье, и скаканье. Божеско ли это дело, сам посуди...

— Странное дело! — молвил Меркулов.

— Чудное, как есть чудное,— сказал Василий Петрович.— А никак невозможно понять, потому тайность... Опять же вот еще что у них есть. Раз у хозяина, где приставал я в степях-то, с сестрой с его, с девкой, разговорился, с монтанкой тоже. Многого-то она мне не открыла, а сказала, что, по-ихнему, бог человека не всего сотворил, от бога, слышь только одна душа, а плоть от дьявола. Душа-де, как в темнице, заперта в дьявольской плоти, страдает в ней, и мучится, и тоскует, на волю-то, вишь, ей хочется вырваться. И для того-де следует плоть свою ненавидеть, потому что она — сам дьявол.

— А попы что говорят про них? — спросил Никита Федорыч.

— Что попы? Попам от них хорошо,— ответил Василий Петрович.— Говорил ведь я, что монтане по три да по четыре раза нá дух ходят; попу, значит, доход. Да, окроме того, кто холстика попадье, кто овощей со своего огорода, работа какая у попа случится, без зова придут и медной копейки с него не возьмут. Оттого попы и берегут их, оттого и говорят, что они по всему приходу самые усердные... Однако ж закалякались мы с тобой, Никита Федорыч. Глянь-ка, последни остались — даже и еретицы-то спать захотели, разбрелись по своим мурьям. Выпьем-ка еще по калишке, покончим бутылку-то, да и спать айда.

Покончили бутылку и пошли. Прощаясь с Меркуловым у дверей его номера, Василий Петрович сказал:

— Так уж завтра, пожалуйста, порешим с тюленем-то. Я на тебя в полной надежде. Встанем пораньше, я схожу на Гребновскую, поразузнаю там про последние цены, и ты узнай, а там, бог даст, и покончим... Пожалуйста, не задержи. Мне бы ко дворам поскорей — завод пора в ход пускать. Если бы завтра с тобой мы покончили, послезавтра бы отправился, а товар принять приказчика оставил бы. Завтрашнего числа он должен беспременно сюда приехать.

Меркулов обещал.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Маленько под хмельком воротился Меркулов в свою комнату. Было уж за полночь, а Веденеева нет как нет. Придумать не может Меркулов, куда он запропастился; а еще пуще его тревожится Флор Гаврилов. В том же доме Ермолаева, в нижнем жилье, на постоялом дворе, устроенном для серого люда, нанял он крошечную каморку. Ни сон, ни еда нейдут на ум заботному приказчику, то и дело ходит он наверх проведать, не воротился ли хозяин. Чем позже становилось, тем чаще он наведывался, и каждый раз заглядывал в комнату Меркулова, не там ли хозяин. «Куда б мог деваться он?» Напрасно Меркулов успокоивал приказчика, напрасно уверял его, что Дмитрий Петрович где-нибудь в гостях засиделся, Флор Гаврилов на те речи только с досады рукой махнет, головой тряхнет да потом и примолвит:

— Ярманка, сударь, место бойкое, недобрых людей в ней довольно, всякого званья народу у Макарья не перечтешь... Все едут сюда, кто торговать, а кто и воровать... А за нашим хозяином нехорошая привычка водится: деньги да векселя завсегда при себе носит... Долго ль до греха?.. Подсмотрит какой-нибудь жулик да в недобром месте и оберет дочиста, а не то и уходит еще пожалуй... Зачастую у Макарья бывают такие дела. Редкая ярманка без того проходит.

Напрасно Меркулов успокоивал Флора Гаврилова, напрасно говорил он, что его хозяин не такой человек, чтобы ночью по недобрым местам шататься. Головой только покачивал приказчик.

— Бес-от силен, Никита Федорыч,— сказал он Меркулову.— Особливо силен он на этаком многолюдстве при таком нечестии, как здесь. И со старыми людьми

у Макарья бывают прорухи, а Дмитрий Петрович человек еще молодой... Мало ли что может случиться!..

Когда Морковников утащил Меркулова ужинать, Флор Гаврилов вышел вон из гостиницы и сел на ступеньках входного крыльца рядом с караульным татарином [1].

Заволокло месяц тучками, и темно-синяя ночь раскинула свою пелену над сонной землей. С каждой минутой один за другим тухнут огни на земле и стихает городской шум, реже и реже стучат где-нибудь в отдаленье пролетки с запоздалыми седоками, слышней и слышнее раздаются тоскливые напевы караульных татар и глухие удары их дубинок о мостовую. С реки долетают сдержанные клики, скрип дерева, лязг железных цепей — то разводят мост на Оке для пропуска судов. С городской горы порой раздаются редкие, заунывные удары колоколов — то церковные сторожа повещают попа с прихожанами, что не даром с них деньги берут, исправно караулят от воров церковь божию.

Грустно склонив голову, сидит Флор Гаврилов на ступеньке крыльца. С каждой минутой растет его беспокойство, и думы мрачнее и мрачнее...

— А что, знако́м?.. Как нонешный год на ярманке? Ночным временем пошаливают? — немного помолчав, спросил он у татарина.

Помолчал немного и татарин, а потом сквозь зубы лениво промолвил отрывисто:

— Иок! [2].

— Не слышно, чтобы кого ограбили?.. аль в канаве утопили?..— продолжал Флор Гаврилов спрашивать татарина.

— Иок,— ответил, зевая, татарин.

— Хозяин мой где-то запропастился... Не попал ли на лихих людей.

— Молода́ хозяин? — спросил татарин.

— Молодой еще... Дмитрий Петрович Веденеев. У вас тут в номере наверху стоит,— сказал Флор Гаврилов.

— Во́лгам шатал, Кунавин гулял,— осклабляясь,

---

[1] На ярмарке обыкновенно в караульщики нанимают сергачских и васильских татар. Это народ честный и трезвый. Чернорабочие, крючники, перевозчики — тоже больше из татар.

[2] Нет.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Глава VII

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Глава VIII

молвил татарин.— Гулят... Кунавин... Карашо!..— прибавил он, прищуря маленькие глазки и выказав зубы, белее слоновьей кости.

Вздохнул Флор Гаврилов. И ему давно уж вспало на ум, что Дмитрий Петрович «гулят». «А как ограбят, укокошат да в воду?..» — думает и телом и душой преданный ему приказчик.

Между тем и татарин призадумался. Разговор про то, что купец «гулят», раздражил его азиатское воображенье. Ежели бы только деньги,— и он бы, Разметулла, гулял! «Много,— думает он,— здесь красавиц, только без хороших денег к ним не пускают!..» Вздохнул, плюнул и, мерно постукивая кузьмодемьянкой [1] о каменные плиты крыльца, завел вполголоса песенку про черноокую красавицу. Пел он о том, как всесильный аллах сотворил ее красным яхонтом, наградил лицом краше луны, алыми ланитами, что горят рубинами, бровью ночи черней, взором огненным [2]. Не понимал смысла татарской песни Флор Гаврилов, но от тоскливого, однозвучного напева ее стало ему еще тошней прежнего.

— А что́, князь [3], не слыхать в самом деле, чтоб нынешней ярманкой дурманом кого-нибудь опоили да ограбили? — спросил он, когда татарин кончил песню свою.

Тот опять процедил сквозь зубы неизменное «иок». И, немного помолчав, снова завел песню про какую-то Зюльму, тоже награжденную аллахом и лицом краше полной луны, и рубиновыми щеками, и черными очами... А Флор Гаврилов, сидя рядом с татарским певцом, думает сам про себя: «Господи!.. Да что ж это такое?.. Что с ним поделалось?.. Этак совсем истоскуешься!» И только что кончил песню татарин, опять стал расспрашивать его насчет «шалостей» на ярманке. Надоел он караульщику. Сердито промолвив новое «иок» и схватив свой халат, он ушел на другое крыльцо и там завел новую песню про какую-то иную красавицу.

И час и два сидит на крыльце приказчик Дмитрия Петровича... Пусто на ярманке, ни езды, ни ходу, все стихло, угомонилось. Ни на площади, ни по соседним

---

[1] Толстая палка с сучками из можжевельника. Их делают около приволжского города Козьмодемьянска, отчего и зовутся они «кузьмодемьянками».

[2] Перевод одной татарской песни.

[3] Татар зовут «князьями», особенно казанских. Зовут их также «знако́м», хоть и в первый раз видят человека.

улицам, ни по берегу Обводного канала ни души, опричь одних караульных. Заря еще не занималась, но небосклон становился светлее... Чу!.. Кто-то по грязи шлепает... Вглядывается Флор Гаврилов — ровно бы хозяин... Вот кто-то, медленно и тяжело ступая, пробирается вдоль стенки... Подошел под фонарь... Тут узнал Флор Гаврилов Дмитрия Петровича... «Он!.. зато весь в грязи... Никогда такого за ним не водилось!.. Шибко, значит, загулял!.. Деньги-то целы ли?.. Сам-от здоров ли?»

— Дмитрий Петрович! Вы ль это, батюшка? — воскликнул Флор Гаврилов.— Что это с вами, сударь, случилось?..

— Ничего,— спокойно ответил Веденеев.— Давно ли ты приехал?

— Перед сумерками, батюшка... Перед сумерками... Да что это с вами?

— Ничего. В грязь попал,— ответил Дмитрий Петрович.

— Стосковался я, вас дожидаючись. Чего только не передумал! — говорил Флор Гаврилов.— Глядите-ка, как перепачкались,— как есть все в глине... Что это с вами случилось?

— В гостях был на той стороне, засиделся, мост развели, я нанял лодку. На перевозе тёмно, грязно, скользко, поскользнулся, упал, выпачкался... Вот и вся недолга,— сказал Дмитрий Петрович.

— Пальто-то просушить бы надо, да и брюки тоже... Пойдемте-ка, я вас раздену. Ишь как изгрязнились.

— Не надо. Я сам,— ответил Дмитрий Петрович.— Ты где пристал?

— Да здесь же, внизу, на постоялом. Нарочно здесь остановился, к вам поближе.

— Ну, и прекрасно,— молвил Веденеев.— Завтра, как встану, тотча́с ко мне приходи. Счета̀ принеси и все. Ты на пароходе, видно, приехал?

— Так точно.

— Где сел?

— В Богородском [1].

— А баржа?

— Дня через два станет на Гребновской, я ее на буксир пароходу сдал. Мартын Семенов при ней остался, а рабочих я расчел,— ответил Флор Гаврилов.

---

[1] Село и пристань против устья Камы.

— Дельно,— сказал Веденеев.— Сушь и коренная на ярманке в ход пошли... Долго не стану тянуть — скорей бы с рук долой... Приходи же поутру.

— Слушаю-с,— молвил Флор Гаврилов.— Ай, забыл вам сказать: в Казани знакомый ваш на пароход к нам подсел, прибыли сюда вместе. И пристал он в здешней гостинице, с вами рядом почти — семнадцатый нумер. Все вас поджидал и тоже оченно по вас беспокоился...

— Кто такой?— спросил Дмитрий Петрович, входя уже в дверь гостиницы.

— Меркулов, Никита Федорыч,— сказал приказчик.

— Меркулов! — радостно вскликнул Веденеев и бегом пустился по лестнице.— Семнадцатый, говоришь? — крикнул он оставшемуся внизу Флору Гаврилову.

— Так точно. Семнадцатый. Только теперь, надо полагать, спать уж легли.

* * *

Долго взад и вперед сновал Никита Федорыч по комнате. Волненье не утихало в нем. От вина, выпитого с Морковниковым, оно еще увеличилось, и чем дольше шло время, тем волненье сильней становилось. Разделся Меркулов, в постель было лег, но ни сон, ни дрема его не берут. Роятся думы, путаются одни с другими. Мысль о невесте сменяется докучным беспокойством о запропавшем куда-то приятеле... А он ведь получил уж письмо из Царицына, был, конечно, у Дорониных, виделся с Лизой, знает, здорова ли она, если еще больше чего-нибудь не знает... Задумается над этим, и вдруг нападет забота о тюлене. И опять: «Куда Митенька запропастился? он бы настоящую цену сказал. Барыш ли, убыток ли — только бы узнать поскорей... Убыток так убыток... А не должно бы, кажется, быть убыткам — вон какую цену Морковников дает...» Про Морковникова задумает Меркулов, и вспомнятся ему фармазоны. «Что за чу́дные люди? Что за тайная вера?.. И в кого это они веруют и как они веруют?.. Зачем у них клятвы и прощанье с землей, с небом, с людьми, с ангелами? Зачем они отрекаются от отца с матерью, от жены с детьми, от всех людей?.. И что это за волшебные пор-

треты?.. С чего-нибудь пошла же об них молва... Было же что-нибудь... Неженатый не женись, а женатый разженись!.. Эк что выдумали!.. Я бы в такую веру ни за что не пошел.. На Лизе не жениться!.. Да разве это можно?..» И опять начинает думать про невесту, но вдруг ни с того ни с сего восстанет пред ним величавый образ Марьи Ивановны... И чувствует он невольное влеченье к этой женщине и к ее таинственной вере.

Вдруг распахнулась дверь, и весь облепленный грязью и глиной влетел Дмитрий Петрович.

— Никита Сокровенный! — вскричал он и кинулся обнимать поднявшегося с постели Меркулова.

— Откуда это ты? — с удивленьем спросил у него Меркулов.

И он, как Флор Гаврилов, при взгляде на приятеля, сначала подумал, что он шибко где-нибудь «загулял».

— Ты-то откуда? По твоему письму к воскресенью надобно было тебя ждать. А ты вон какой прыткий! — не слушая Меркулова, говорил Веденеев и снова принялся обнимать и целовать приятеля...

— Да не грязни же меня!..— закричал Никита Федорыч.— Скинь пальто да сюртук... Посмотри на себя, полюбуйся, весь в глине... мокрый, грязный — юша юшей [1]. Где это тебя угораздило?

— Да вон там,— махнув рукой в сторону, ответил Дмитрий Петрович и, подсев к Меркулову на кровать, всю ее перепачкал...

— Господи! Да что ж это такое? — вскрикнул Никита Федорыч, толкая его с постели.— Теперь надо все белье сменить. Скинешь ли ты грязное платье?..

— Сейчас, сию минуту! — быстро молвил Дмитрий Петрович.

А сам ни с места. В разговоры пустился.

— Зачем обманул? Обещался к концу недели, а сам как снег на голову... Тут хлопочут, стараются, как бы получше встретить его, подарки готовят, время рассчитывают по минутам, а он — прошу покорно!.. Невестины подарки ведь только к субботе поспеют.

---

[1] *Юша* — то же, что зюзя: насквозь мокрый от дождя или грязи. Слово «юша» употребляется в Москве, во Владимирской, Тамбовской, Нижегородской губерниях и далее вниз по Волге до Сызрани. Ниже Сызрани его не слыхать.

— Какие подарки? Что за невеста? — вскликнул Меркулов, а сам весь покраснел.

— Как «что за невеста»?.. Отлынивать вздумал, отрекаться?.. Нет, брат, шалишь — этого нельзя,— весело смеясь, говорил Дмитрий Петрович.— По нем тоскуют, убиваются, ждут его не дождутся, а он: «Что за невеста?» Завтра же нажалуюсь на тебя Лизавете Зиновьевне.

— Да с чего ты?.. Кто тебе сказал?..— в изумленье спрашивает Никита Федорыч, а сам думает: «Как же это так? Никому ведь не хотел говорить, и вдруг Митенька все знает».

— Кто сказал? — молвил ему в ответ Веденеев.— Первый сказал мне Зиновéй Алексеич, потом Татьяна Андревна, потом сама Лизавета Зиновьевна, и... Я ведь с ними еще до письма твоего познакомился. В лодке катались, рыбачили... Сегодня в театре вместе были... Ну молодец же ты, Никита Сокровенный!.. Сумел невесту сыскать!.. Это бог тебе за доброту... Право!

И снова принялся́ обнимать приятеля и тут совсем уж его перепачкал и вдобавок чуть не задушил в медвежьих своих объятиях.

— Да ты стой!.. Стой, говорят тебе!.. Все кости переломал,— изо всей мочи кричит Меркулов, не понимая, с чего это Веденеев вздумал на нем пробовать непомерную свою силу.— Разденешься ли ты?.. Посмотри, как меня всего перепачкал... Ступай в ту комнату, переоденься... На вот тебе халат, да и мне по твоей милости надо белье переменить.

И, вынув чистое белье, Меркулов стал переодеваться и приводить в порядок постель.

— Где ты до сей поры пропадал? — спросил он между тем Веденеева.

— Говорят тебе, в театре был с Дорониными,— кидая на пол грязное платье, отвечал Дмитрий Петрович.— На-ка вот спрячь под замок, Никита Сокровенный,— прибавил он, надевая халат и подавая Меркулову толстый бумажник.

— Театр-от в первом часу еще кончился, а теперь четвертый скоро,— принимая бумажник, молвил Меркулов.

— Из театра со всей твоей нареченной родней к тезке к твоему поехали, к Никите Егорову,— сказал

Дмитрий Петрович.— Поужинали там, потолковали... Час второй уж был... Проводил я невесту твою до́ дому, зашел к ним, и пошли тут у нас тары да бары да трехгодовалы; ну и заболтались. Не разгони нас Татьяна Андревна, и до сих пор из пустого в порожнее переливали.

— Стой!..— перебил Меркулов.— Разве не знали там, что я приехал?

— Да как же было узнать-то? Святым духом, что ли? — молвил Дмитрий Петрович.

— Да ведь я два раза там был, записку оставил,— сказал Меркулов.— Наказывал коридорному, как только воротится Зиновий Алексеич, тотчас бы подал ему записку. Еще на чай дал ему.

— Никакой записки не подавали, и никто про тебя не сказывал,— молвил Веденеев.— Воротились мы позднёнько, в гостинице уж все почти улеглись, один швейцар не спал, да и тот ворчал за то, что разбудили. А коридорных ни единого не было. Утром, видно, подадут твою записку.

— Ах он, скотина, скотина! — заочно принялся бранить Никита Федорыч коридорного, быстро хо́дя крупными шагами из угла в угол по номеру.

— А ты слушай, что дальше-то со мной было,— продолжал Дмитрий Петрович.— Поехал я домой — хвать, на мосту рогатки, разводят, значит... Пешком было хотел идти—не пускают. «Один, говорят, плашкот уж совсем выведен». Нечего делать, я на перевоз... Насилу докликался князей [1], пошел к лодке, поскользнулся да по глине, что по масленичной горе, до самой воды прокатился... Оттого и хорош стал, оттого тебя и перепачкал... А знаешь ли что, Никита Сокровенный?..

— Что?

— Хорошо бы теперь холодненького. Поздравить бы надо тебя с нареченной... Как думаешь?..

— Где ж теперь взять его? — отозвался Меркулов.

— Мое дело. Всех перебужу, а надо будет, до самого хозяина доберусь.

— Оставим до завтра... Теперь все заперто.

— Экая важность, что заперто!..— вскликнул Дмитрий Петрович.— Были бы деньги, и в полночь и запол-

---

[1] *Князь* — татарин. В Нижнем все почти перевозчики из татар.

ночь из земли выкопают, со дна морского достанут... Схожу распоряжусь... Нельзя же не поздравить.

И, не слушая Меркулова, пошел вон из номера. Исходил он все коридоры, перебудил много народа, но, чего искал, того не достал. И бранился с половыми, и лаской говорил им, и денег давал — ничего не мог поделать. Вспомнил, что в номере у него едва початая бутылка рейнвейна. И то хорошо, на безрыбье и рак рыба.

— Видишь! — вскликнул он, входя к Меркулову и поднимая кверху бутылку.— Стоит только захотеть, все можно доспеть!.. Холодненького не достал — так вот хоть этой немецкой кислятиной поздравлю друга любезного... Ай, батюшки!.. Как же это?.. Посудины-то нет... Из чего пить-то станем?.. А!.. нашел!..

Схватил стакан, что возле графина с водой стоял, сполоснул другой, что на чайном приборе был, и налил оба до краев.

— Здоровье жениха с невестой!.. Ура!..— во всю мочь закричал Веденеев.

С обеих сторон в соседних номерах послышалось ворчанье, но Веденеев не унялся... У соседей послышалась брань... Кто-то, наконец, в дверь кулаком стал колотить.

— Безобразники!.. Пьяницы, черт бы вас пóбрал!.. Ночи на вас нет!.. Ишь разоралились, беспутные!.. Проспаться не дадут!..— неистово охрипшим голосом кричал спросонья какой-то сильно, должно быть, подгулявший купчина.

— Ай вай мир!.. Да это зе никак невозмозно!.. Да это зе ни на цто не похозе! — резким, гортанным голосом, судорожно кашляя и тоже колотя в дверь рукой с другой стороны, кричал какой-то жидок. А за ним подняли «гевалт» и другие сыны Авраама, ровно сельди в бочонке набитые в соседнем номере.

— Не кричи,— сказал Меркулов Дмитрию Петровичу.— Слышишь, всех перебудил...

— Не стану, не стану! — вполголоса заговорил Веденеев.— Это я ведь с радости... Поцелуемся, Никита Сокровенный!

И опять принялся тискать в объятиях Никиту Федорыча. Тот насилу освободился от его восторгов.

— Да что ты такой? — спросил Меркулов.— Никогда таким я тебя не видывал... О деле даже спросить его нельзя.

— Дела завтра... Или нет — послезавтра... Просить буду, в землю поклонюсь, ручки, ножки у тебя расцелую!.. Ты ведь друг, так смотри же выручай меня... Выручай, Никита Сокровенный!.. Вся надежда на тебя.

И, крепко обняв Меркулова, закричал:

— Удружи, не дай с тоски помереть. По гроб жизни не забуду!.. Голубчик!

Снова раздалась хриплая брань подкутившего купчины, снова завизжали горластые чада Израиля.

— Передо́хнуть бы вам! — плюнув на жидовскую сторону, вскликнул Дмитрий Петрович.— Дай ты мне, Никита Сокровенный, честное слово, что безо всяких отговорок исполнишь мою просьбу.

— Какую? — спросил Меркулов.

— Завтра скажу, а еще лучше — послезавтра,— волнуясь, говорил Веденеев.— А теперь вот что — слушай: не пособишь — петлю на шею, удавлюсь!.. Да!..

— Ты пьян, Митенька?

— И вовсе не пьян. И нисколько даже не выпивши... После скажу, после... Дай только слово, что исполнишь просьбу... Эх, Никита Сокровенный!.. Такое дело, такое... Ну да пока помолчим... А теперь покончим бутылочку.

И, разлив по стаканам оставшееся вино, Веденеев вскликнул восторженно:

— За благополучный конец нашего дела!

— Про тюленя говоришь? — спросил у него Меркулов.

— Сам ты тюлень! Я ему, как другу, про всю свою участь, а он про тюленя!..— вспыльчиво вскликнул Дмитрий Петрович. И плюнул даже с досады.

— Да говори толком, что за дело такое? — сказал Никита Федорыч.

— Завтра скажу,— ответил Веденеев и сильно нахмурился.

— Хорошо,— молвил Меркулов.— А теперь скажи насчет тюленя. Как цена?.. Завтра поу́тру придется мне одно дельце покончить...

— Два рубля шесть гривен,— недовольным голосом сквозь зубы процедил Дмитрий Петрович.

— Как? — с места даже вскочив, вскликнул Меркулов.— Два шесть гривен?.. Быть не может?..

— Врать, что ли, я стану тебе?.. Вчера начались продажи малыми па́ртиями. Седов продал тысячи пол-

торы, Сусалин тысячу. Брали по два по шести гривен. сроки двенадцать месяцев, уплата на предбудущей Макарьевской... За наличные — гривна скидки. Только мало наличных-то предвидится... Разве Орошин вздумает скупать. Только ежели с ним захочешь дело вести, так гляди в оба, а ухо держи востро.

«Два рубля шесть гривен! — думал Меркулов.— Слава тебе, господи!.. С барышом, значит, на Лизино счастье... Пошли только, господи, доброе совершенье!.. Тогда всем заботам конец!»

— Спасибо, Митенька,— сказал он, крепко сжимая руку приятеля.— Такое спасибо, что и сказать тебе не смогу... Мне ведь чуть не вовсе пропадать приходилось. Больше рубля с гривной не давали, меньше рубля даже предлагали... Сидя в Царицыне, не имел никаких известий, как идут дела у Макарья, не знал... Чуть было не решился. Сказывал тебе Зиновéй Алексеич?

— Говорил,— промолвил Дмитрий Петрович.— Сколько у тебя тюленя-то?

— Тысяч шестьдесят пудов.

— Значит, тысяч восемьдесят целковых у тебя слизнули бы... Ловок!.. Умел подъехать!.. Хорошо, что остерегся Зиновий Алексеич... Не то быть бы тебе, голубчик, у праздника.

— Да кто торговал-то? — спросил Меркулов.

— Смолокуров,— сказал Дмитрий Петрович.— Марко Данилыч Смолокуров... Я ж ему и сказал, что цены на тюлень должны повыситься... Это еще было в начале ярманки... Орошин вздумал было поддеть его, цен тогда еще никаких не было; а Орошину хотелось всего тюленя́, что ни есть его на Гребновской, в одни свои руки прибрать. Два рубля тридцать давал.

— Два рубля тридцать!.. В начале-то ярманки! — вскликнул Меркулов.

— Около первого спаса. В рыбном трактире тогда собрáлись все Гребновские, и я тут случился... Досадно мне стало на Орошина, я и покажи всей честной компании письмо, что накануне из Петербурга получил. Видят — цены в гору должны пойти... И озлобился же на меня с тех пор Орошин... До сей поры злится... А Смолокуров стал к себе зазывать, чествовать меня всячески... Катанье затеял в лодках, меня позвал, тут я с семейством Зиновья Алексеича и познакомился... А потом, как

пришли твои письма из Царицына, Зиновий Алексеич и открылся мне, что Смолокуров, узнавши про твою доверенность, ровно с ножом к горлу стал к нему приставать, продай да продай тюленя́. Цен, уверял, нет и не будет, в воду кидать доведется... По рублю с гривной, однако, давал... Хорошо, что укрепился Зиновий Алексеич... Не то бы Марко Данилыч твоим добром зашиб себе барыши, каких сроду не видывал.

— Знаком разве Смолокуров с Зиновьем Алексеичем?

— Старинные знакомые и друзья закадычные,— отвечал Веденеев.— Смолоду слыли приятелями.

— А теперь как? — спросил Меркулов.

— Так же все...— сказал Дмитрий Петрович.

— Как?.. После того, что он хотел нас обмануть?.. После того, как вздумал меня обобрать кругом?..

— Дело торговое, милый ты мой,— усмехнулся Дмитрий Петрович.— Они ведь не нашего поля ягода. Старого леса ко̀черги... Ни тот, ни другой даже не поморщились, когда все раскрылось... Шутят только да посмеиваются, когда про тюленя́ речь заведут... По ихнему старому завету, на торгу ни отца с матерью нет, ни брата с сестрой, родной сын подвернется — и того объегорь... Исстари уж так повелось. Нам с тобой их не переделать.

— Будет же когда-нибудь конец этому безобразию? — молвил Меркулов.

— Мы с тобой не доживем, хоть бы писано на роду нам было по сотне годов прожить... Сразу старых порядков не сломаешь... Поломать сильной руке, пожалуй, и можно, да толку-то из того не выйдет... Да хотя бы и завелись новые порядки, так разве Орошины да Смолокуровы так вдруг и переведутся?.. Станут только потоньше плутовать, зато и пошире.

— Пойдет правильная торговля — не будет обманов,— молвил Меркулов.

— Правильная торговля! Правильная торговля! Из книжек ты знаешь ее, Никита Сокровенный, а мы своими глазами ее видали,— перебил Дмитрий Петрович.— Немало, брат, покатался я за границей, всю Европу исколесил вдоль и поперек.. И знаю ее, правильную-то торговлю... И там, брат, те же Смолокуровы да Орошины, только почище да поглаже... И там весь торг на об-

мане стоит,— где деньги замешались, там правды не жди... И за границей,— что и у нас ладят с тобой дело, так спереди целуют, а сзади царапают... Один громко о чести кричит, другой ловко молчит про нее, а у всех одно на разуме: как бы половчей бы тебя за́ нос провести.

— Помилуй!.. Да ведь там и правильный кредит, и банки, и банкиры везде.

— Распервейшие мошенники,— молвил Веденеев и стал сбираться в свой номер.— Знаешь, когда пойдет честная, правильная торговля?

— Когда?

— Когда из десяти господних заповедей пять только останется,— сказал Дмитрий Петрович.— Когда люди до того дорастут, что не будет ни кражи, ни прелюбодейства, ни убийств, ни обид, ни лжи, ни клеветы, ни зависти... Одним словом, когда настанет Христово царство... А до тех пор?.. Прощай, однако, спать пора...

И в меркуловском бухарском халате, в запачканной фуражке на голове, с грязным платьем под мышкой, со свечкой в руках пошел он вдоль по коридору. Немного не доходя до своего номера, увидал Дмитрий Петрович — кто-то совсем раздетый поперек коридора лежит... Пришлось шагать через него, но, едва Веденеев занес ногу, тот проснулся, вскочил и, сидя на истрепанном войлоке. закричал:

— Что ты тут делаешь? — и схватил Веденеева за́ полу.

— Видишь, иду,— отвечал Дмитрий Петрович.

— А это что?

— Платье.

— Чье?

— Мое.

— Так, любезный, не водится...— вскочил и, заступая дорогу Веденееву, закричал тот.— По чужим номерам ночью шляться да платье таскать!.. За это вашего брата по головке не гладят.

— С ума ты сошел? — вскинулся на него Веденеев.— Как ты смеешь?

— Нечего тут: «как смеешь»!.. Куда идешь? — грубо ухватив Дмитрия Петровича за руку, с угрожающим видом кричал коридорный.

— В девятый.

— Откуда?

— Из семнадцатого.

— Там спят теперь!

— Нет, не спят, пойдем, коли хочешь, туда.

— Пойдем.

И, схватив под руку Дмитрия Петровича, потащил его к Меркулову.

— Ишь какой народец проявился!.. Из Москвы, должно быть!..— громко дорогой ворчал коридорный.— Не проснись я во-время, и концы бы в воду... Пойдем брат, пойдем, а поутру расправа... Перестанешь чужое платье таскать...

Дверь у Меркулова была уж заперта. Веденеев подал голос. Дело тотчас разъяснилось. Новый коридорный, еще не знавший в лицо жившего с самого начала ярманки Дмитрия Петровича, растерялся, струсил и чуть не в ногах валялся, прося прощенья. Со смеху помирали Меркулов с Веденеевым.

— Однако ж ты, Митенька, целую ночь с приключеньями,— весело смеясь, шутил Никита Федорыч.— То в грязи вываляешься, то воровать пойдешь. Хорош, нечего сказать!

— Как же ты не узнал меня? — спрашивал коридорного Веденеев.— Ведь я три недели уж здесь живу. Мог бы, кажется, приглядеться.

— Сегодня только поступил, ваше степенство,— отвечал коридорный.— Внове еще. Простите Христа ради.

— Ничего, братец, ничего. Ты молодец, увижу завтра Федора Яковлича, похвалю тебя,— говорил Веденеев.— Как тебя звать?

— Парменом,— тихо промолвил коридорный.

— По батюшке?

— Сергеев.

— Вот тебе, Пармен Сергеич, рублевка за то, что исправно караулишь. А теперь возьми-ка ты мое платье да утром пораньше почисти его хорошенько... Прощай, Никита Сокровенный!.. Покойной ночи, приятного сна.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Не вдруг забылся сном Никита Федорыч, хоть и было теперь у него много полегче на душе... «Лиза здорова, подарки готовит, ждет не дождется,— думает он.— Что за встреча будет завтра!.. Истосковалась, говорит Ми-

тенька... Голубушка!.. Зато это уж в последний раз — не будем больше разлучаться... Дела, слава богу, поправились, да еще как поправились-то, не чаял... Два рубля шесть гривен!.. Это почем же Морковникову придется?.. Двадцать шесть вон. Два рубля тридцать четыре... Так... Остальное Смолокуров либо Орошин не купят ли?.. Любят они товарец к одним рукам прибирать!.. С такими, как мой объедало Василий Петрович, не в пример лучше водиться!.. А все-таки и он норовит хоть чем-нибудь поприжать. Ничего не́ видя и сам еще цены не зная, десять копеек успел-таки выторговать... Лесом тоже промышляет... У той, как бишь ее... у Марьи Ивановны у этой... Что это за вера такая?.. От неба, от земли, от людей отрекаются!.. Зачем?.. Кому служат?.. Во что веруют?.. А Митенька-то как перепачкался!.. Умора!.. Везде обман, говорит... Спросить его про фармазонов... Не знает ли, зачем они отрекаются?..»

И, думая о фармазонах, крепко заснул.

Дмитрий Петрович весел был, радостен. Один в номере, а то и дело смеется. Вспомнит, как его за вора сочли,— хохочет, вспоминая, как по глине катился,— хохочет, вспомня, как Меркулова всего выгрязнил,— еще пуще хохочет. Вечер, проведенный в театре, весело настроил его. Показалось ему, что и Наташа как-то особенно на него поглядывала, и у него при каждом ее взгляде сердце билось и чаще и сильнее... Плясать бы, скакать бы — да в театре нельзя, такая досада... За ужином рядом с Наташей сидел. Марко Данилыч с Зиновьем Алексеичем все про дела толковали, а Татьяна Андревна с Дуней да с Лизой разговаривала, он с Наташей словами перекидывался. Говорили о пустяках, но пустой разговор казался ему и умным, и острым, и занимательным — так было ему весело... Когда входили в гостиницу, ночник догорал, на лестнице было темно̀. Идя сзади всех, взял он ее за руку, взял выше локтя, чтобы не оступилась впотьмах, и, когда почувствовал теплоту ее тела, невыразимо сладостное чувство разлилось по всему существу его... Дома она тотча́с же ушла в свою комнату, долго и напрасно он дожидался, чтобы хоть разок еще взглянуть на нее... Не вышла... Сидя в лодке, потом пробираясь пешком к гостинице, все рассчитывал, скоро ли приедет Меркулов... Все хотел рассказать ему, все до последней капельки и потом просить

его, высватал бы ему Наташу. «Ему теперь можно,— думал Дмитрий Петрович,— он теперь у них свой человек...» Оттого так и обрадовался он, когда узнал от Флора Гаврилова о нежданном приезде приятеля... Сейчас же, как только встретился с ним, хотел высказаться, но отдумал, решил до другого дня оставить... А тут Меркулов с тюленем да с торговыми порядками...

Не скоро забылся он. И в мечтах наяву и во сне виделись ему маленький ротик, тоненький носик, алые щечки да ясные глазки.

* * *

Несмотря на плотный ужин и на две бутылки мадеры, целиком почти оставшиеся за одним Васильем Петровичем, он встал еще задолго до ранней обедни и тотчас пошел пешком на Гребновскую. Толкнулся на тот, на другой караван, везде в одно слово: третьего дня началась продажа тюленя́; прежде цен вовсе не было, а теперь поднялись до двух рублей шесть гривен. Дён через пяток, говорили ему на Гребновской, до трех целковых, пожалуй, дойдет... Поморщился Морковников, не ожидал он таких цен... «Хоть бы маленько дешевле купить у Меркулова,— думает он.— Опричь обещанной гривны, еще бы две, три, а не то и четыре с костей долой... Парень он, кажется, простой, нетертый, в переделах, видится, еще не бывал, кажись бы можно его обойти... Попробую!»

Походив по Пескам, Василий Петрович и на обратный путь извозчика не взял. Зачем лошадей гонять, коли свои ноги носят?.. Устанешь — так можно отдохнуть... В белую харчевню зашел чайку испить. На горах городской стороны раздался в это время звон с пятидесяти колоколен — обедня, значит, девять часов. Посмотрел Василий Петрович на старинные серебряные, луковицей, часы, что висели у него на перекинутой через шею голубой бисерной цепочке. Верны — и на них девять часов. «Авось проснулся Меркулов»,— подумал Морковников и пошел в гостиницу Ермолаева, но у Меркулова, как говорится, и конь еще не валялся. В свой номер прошел Василий Петрович, от нечего делать самовар потребовал и в другой раз напился чаю. Опять понаведался к Меркулову — спит... «Эх, его с дороги-то

как разваляло,— подумал Василий Петрович,— десять часов скоро, а он, ровно барин, почивать изволит; немного, видно, заботушки в молодой головушке. А у нашего брата забот да хлопот не оберешься, оттого и сон воробьиный». Что же, однако, делать? Не сидеть же сложа руки. И вздумалось Василью Петровичу в мыльные ряды сходить, они же рядом почти. «Товар посмотрю,— думает он,— с кем-нибудь из мыльников потолкую, может статься на пользу себе узнаю что-нибудь».

Обширные лавки мыльных рядов с полу до потолка завалены горами разного мыла, ящиками со стеариновыми и сальными свечами и бочками с олеином. Позадь лавок по широким дворам едва можно пройти — бунты с мылом и свечами, укрытые от дождей плотными циновками, навалены там в громадном количестве. Подошел Василий Петрович к угловой лавке. В дверях стоит казанский татарин — ростом невелик, зато в плечах широк, с продолговатым лицом, с узенькими выразительными глазками и с редкой бородкой клином. Был одет татарин в коричневый кафтан особого покроя, на крючках, с ситцевыми отложными воротничками и в блестящей, золотом расшитой тюбетейке на гладко выбритой голове. Видя, что Морковников внимательно присматривается к стоявшим на прилавках золотом и яркими красками испещренным коробочкам, счел он его за городового [1] и тотчас зазвал к себе.

— Мыла надо, знаком? — скороговоркой начал татарин.— Гляди, розова мыла, яична мыла, первый сорт, сама лучша мыла... Купи — карошим девкам мыть... Нюхай... Нюхай, знаком, ничего.

И ткнул прямехонько в нос Василью Петровичу коробочкой с розовым мылом.

— Бергамотова надо?.. Бери бергамота. Вот она сама лучша бергамотова мыла — нюхай!.. Гвоздична надо? Вот гвоздична сама перва сорт — нюхай... Миндална хочешь, вот миндална — сама лучша, бальши гаспада миндална мыла моют — нюхай... Бела ядра хочешь? Бери бела ядра, вот сама лучша бела ядра: в бане болна караша.

Перенюхал Морковников и розовое мыло, и бергамотовое, и гвоздичное, и миндальное, а в глыбу белого

[1] Городовыми на Макарьевской ярманке называются все не московские купцы. Нижегородские тоже зовутся городовыми.

ядра пальцем ткнул, попробовал, насколько крепко и плотно сварено.

— Не такого мне надо...— сказал.— Покажь ты мне, князь, самого простого.

— Желта мыла хочешь? Вот желта мыла, гляди,— говорил татарин, подводя его к простому мылу.

— Не этого, а того, что из рыбьего жира. Тюлень... Знаешь, тюлень?

Мотнул татарин головой, сказал, что нет у него такого нехорошего мыла, и, отвернувшись, не стал больше разговаривать с Васильем Петровичем.

Нашел, наконец, Морковников такое мыло, что задумал варить. Но русский мыловар из одного маленького городка не был разговорчив. Сколько ни расспрашивал его Морковников, как идет у него на заводе варка, ничего не узнал от него. Еще походил Василий Петрович по мыльным рядам, но, нигде не добившись толка, стал на месте и начал раздумывать, куда бы теперь идти, что бы теперь делать, пока не проснется Дмитрий Петрович.

Идет навстречу в потертой синей сибирке молодой парень, плотный, высокий, здоровый, с красным лицом и подслеповатыми глазами. Несет баклагу со сбитнем, а сам резким голосом покрикивает:

— Эй, сбитень горячий, медовый, самый горячий, с гвоздичкой, с коричкой, с лимонной корочкой! Сбитень горячий — пьют его подьячи, сбитень-сбитенёк — пьет его щеголек, пьет-попивает, сам похваливает... Наливать, что ли-с?

— Налей стакашек от нечего делать,— молвил сбитенщику Василий Петрович.

Хоть сейчас он в два приема не одну дюжину чашек чаю опростал, но принялся прихлебывать горячий сбитень, чтобы только чем-нибудь время убить. Потом подошел к горам арбузов, наваленных на разостланные по мостовой рогожки. Тоже от нечего делать стал арбузы выбирать, перерыл едва не все кучи, каждый арбуз и на ладонях-то подбрасывал, и жал изо всей силы руками, и прикладывал к нему ухо, слушая, каково трещит, а когда торговаться зачал, так продавец хоть бы бежать от такого покупателя. Купил-таки Василий Петрович пару арбузов и отправился с ними в гостиницу... Одиннадцать было, и сказали ему, что Меркулов за чаем си-

дит.. Очень обрадовался тому Василий Петрович и тотчас пошел к нему. У Меркулова сидел Веденеев. Досадно было это Морковникову — при стороннем человеке как-то неловко было ему дела по тюленю кончать, но не вон же идти — остался.

— Ходил на Гребновску,— начал Василий Петрович, отирая синим бумажным платком раскрасневшееся и вспотелое лицо.— Со вчерашнего, слышь, только дня торговля у них маленько зашевелилась. Про цены спрашивал — сказали, по два рубля по сороку продают.

— По два рубля по сороку? — с улыбкой спросил Меркулов, переглядываясь с Дмитрием Петровичем.— Неужели только, Василий Петрович?

— По два рубля по сороку,— нимало не смущаясь, повторил Морковников.— Все, почитай, караваны обошел — везде в одно слово: два рубля сорок.

На то рассчитывал Морковников, что Меркулову не от кого еще было настоящих цен узнать.

— А я полагал, Василий Петрович, что цены-то маленько повыше,— сказал Меркулов.— Неужли в самом деле только два рубля сорок копеек?..

— Врать, что ли, стану? Говорят тебе, все караваны обошел,— отвечал Морковников.

Не ответил ни слова Меркулов и о чем-то постороннем спросил Веденеева. Маленько обождав, молвил Василий Петрович:

— По вечорошнему уговору, надо, значит, с меня по два рубля по шестнадцати копеек получать. Бери задаток!.. Останные то́тчас, как только у маклера покончим...

— Зачем торопиться, Василий Петрович?.. Баржи мои еще дня через два либо через три прибегут. Успеем,— сказал Меркулов.

— Теперь бы лучше решить. По рукам бы и шабаш,— заметил Морковников.

— Нет уж, лучше подождем денька-то три,— молвил Никита Федорыч.— Дело ведь не убежит, а я меж тем на Гребновской и сам побываю.

— Напрасно,— с недовольным видом сказал Морковников.— Право, напрасно. Лучше бы теперь покончить. Я бы, пожалуй, все деньги сейчас же на стол положил.

— Дня через три все покончим. Потерпите немножко,— стоял на своем Никита Федорыч.

— А это как же у нас будет? — спросил Морковников.— Вечор уговорились мы по той цене продать, какая будет сегодня стоять... Так али нет?

— Так,— подтвердил Меркулов.

— А ежели через три-то дня цены поднимутся? — спросил Морковников.

— Не отрекусь от слова, по уговору отдам, по той цене, что сегодня будет,— ответил Меркулов.— Мы вот как сделаем, Василий Петрович. Ужо часа в три будьте дома, я зайду за вами и вместе поедем на биржу. Там узнаем настоящую цену, там, пожалуй, и условие напишем.

— Напрасно,— вздохнувши, молвил Морковников.— Теперь бы не в пример лучше было покончить... Ей-богу!.. Ну, а ежели к трем-то часам цены поднимутся?..

— По биржевой цене решим — так везде водится,— сказал Меркулов.

— Это уж будет маленько обидно... Вы уж сделайте такую милость, из двух рублей из сорока копеек расчетец со мной учините.

— Послушайте, Василий Петрович, вы ведь знаете, что цена на тюленя́ каждый день поднимается? — сказал Меркулов.

— Потому и прошу,— ответил Морковников.— А тебе еще на три дня вздумалось откладывать. Ну как в три-то дня до трех рублей добежит?.. Тогда уж мне больно накладно будет, Никита Федорыч. Я был в надежде на твое слово... Больше всякого векселя верю ему. Так уж и ты не обидь меня. Всего бы лучше сейчас же по рукам из двух рублей сорока... Условийцо бы написали, маклерская отсель недалече, и было б у нас с тобой дело в шляпе...

— Нет, мы вот как сделаем,— с места вставая, решительно молвил Меркулов.— На бирже по вчерашней цене расчет сделаем. Согласны?

Делать было нечего. Извернуться Морковникову уж никак нельзя. Замолчал он и в досаде, глухо, сквозь зубы промолвил:

— Ладно.

— Так я в исходе третьего буду вас ждать,— сказал Никита Федорыч.

— Ладно... Будем,— отвечал Морковников и, сумрачный, тихо пошел вон из номера.

— Ловчак же у тебя этот Василий Петрович!.. Провор! [1] — молвил Веденеев по уходе Морковникова.— Где это ты этакого выкопал?

— От Василя на пароходе вместе бежали,— ответил Меркулов...— От скуки разговорились; он мыловарню заводит, ну и стал у меня тюленя торговать...

— А ты сейчас и расщедрился. Не говоря худого слова, тотчас ему десять процентов и спустил! — с усмешкой молвил Дмитрий Петрович.

— Побыть бы тебе в моей шкуре, так не стал бы подшучивать,— сказал на то Меркулов.— Пишут: нет никаких цен, весь товар хоть в воду кидай... Посоветоваться не с кем... Тут не то что гривну, полтину с рубля спустишь, только хоть бы малость какую выручить... Однако ж мне пора... Где сегодня свидимся?

— Право, не знаю — отвечал Дмитрий Петрович.— Я бы и сам к Зиновью Алексеичу поехал, да теперь както неловко.

— Что ж тут неловкого-то? — спросил Меркулов.

— Как же?.. Ты приедешь... встреча... тут не до сторонних... Стеснишь... Совестно как-то...

— Э, полно! Там ведь знают, что мы с тобою приятели...

— Знать-то знают. Только мне уж лучше в иное время у них побывать... А сегодня бы мне поговорить с тобой надо.

— Говори, покамест одеваюсь,— сказал Меркулов.

— Нет, так нельзя... После...— немножко заминаясь в речах, говорил Дмитрий Петрович.— Ужо как-нибудь... Вечерком, что ли, когда от невесты воротишься... Ты ведь к ней на весь день?..

— А на биржу-то с Морковниковым? — молвил Меркулов.

— А потом?

— Потом... Потом опять к ним...

— То-то же. Нет уж лучше вечером об моем деле потолкуем,— сказал Веденеев и пошел от Меркулова.

«Что бы это значило? — мелькнуло в уме Никиты Федорыча.— Что за дело такое?.. Отчего это он такой?..»

---

[1] *Ловчак и провор* — ловкий, расторопный, а также и плут.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Спешно Меркулов катит на свиданье. Сверкая копытами, резво вдоль по мосту несется запряженная в щегольские легкие дрожки казанка[1]. Горя нетерпеньем увидеть невесту, чуть не на каждом шагу Меркулов сердито кричит лихачу, ехал бы шибче, мчался бы вскачь, во весь опор... То бранится, то щедро на водку сулит, но ухарский лихач, сколько ему ни усердствует, разгонять иноходца больше не может — не ломать же возà, не давить же народ — недаром нагайки подняв, шажком разъезжают по мосту взад и вперед казаки. Досада берет жениха, что мешкотно едет извозчик, так бы взял и махнул за Оку да как лист пред травой стал бы перед милой невестой.

«Как обрадуется! — думает он, представляя любящее, правдой и девственной чистотой сияющее личико Лизы...— Кинется навстречу, крепко обнимет!.. Какой поцелуй после долгой разлуки!.. Тоскует, ждет не дождется, говорил вчера Веденеев... Ах, милая, милая!.. А может быть, он только так сказал, выдумал!.. Не такая она, чтобы сторонним открывать свои думы и чувства. Матери и сестре не скажет, а не то что Митеньке — такой уж скрытный, таимный[2] нрав у нее. Это он из дружбы ко мне говорил, порадовать хотел... Слово зря сорвалось у него... Целых пять месяцев не виделись мы... Сколько в эти месяцы она передумала, сколько перевидала людей... Может, стала уж не та, как прежде была?.. Может, узнала кого-нибудь лучше меня, и умнее, и красивее...»

И от одной мысли об этом сердце скорбной грустью у него заныло и нá душу пала тревога.

«А ежели разлюбила?.. Прямо спрошу у нее, как только увижусь... не по ответу — а по лицу правду узнаю. На словах она не признáется — такой уж нрав... Из гордости слова не вымолвит, побоится, не сочли б ее легкоумной, не назвали бы ветреницей... Смолчит, все на душе затаит... Сторонние про сватовство знают. Если Митеньке сказано, отчего и другим было не сказать?..

---

[1] *Казанка*, иначе *татарка*,— лошадь казанской породы, малорослая, плотная, долгогривая, саврасой или бурой масти; часто из казанок бывают иноходцы.

[2] *Таимный* — скрытый, неоткровенный.

Хоть бы этому Смолокурову?.. Давний приятель Зиновью Алексеичу... Нет ли сына у него?..»

Колеблемый невесть отколе налетевшим сомненьем, смущаясь перед им же самим созданными страхами, тихо поднимался Меркулов по ступеням лестницы в гостинице Бубнова... «Как-то встретит, каково-то приветит?» — вертится у него на уме.

Шуршит тяжелое, плотное шелковое платье. Поднял Никита Федорыч голову... Вся в черном, стройная станом величавой, осанистой походкой медленно навстречу ему сходит с лестницы Марья Ивановна... Поверставшись, окинула его быстрым, пристальным взором... Что-то таинственное, что-то чарующее было в том взоре... Узнала, должно быть, пароходного спутника,— улыбнулась строгой, холодной улыбкой... И затем медленно мимо прошла.

«Фармазонка!.. Перед добром ли?» — подумалось Меркулову, и томительным чувством сжалось его сердце.

Подошел к номеру Зиновья Алексеича. «Господи помилуй!» — прошептал он, робкой рукой растворяя входную дверь...

Вся в белом Лиза стоит у окна, склонясь над связкой поставленных в воду ярких цветов. Заслышав шаги, быстро она обернулась:

— Как это ты?.. Как же вы?.. Так скоро! Мы вас ждали к воскресенью!..

Смутилась и смолкла. Стыдливым румянцем подернулось оживленное радостью личико, восторгом вспыхнули очи, но вдруг застенчиво поникли... Пять месяцев назад, чуть не накануне отъезда Меркулова из Москвы, она дала ему слово. Не успели еще тогда жених с невестой договориться до сердечного «ты». Под впечатленьем нежданной встречи, полная любовью и счастьем, забыв заведенные обычаи, Лиза «ты» сказала желанному гостю. Так привыкла она его называть в своих думах... Но только что успела выронить задушевное слово, стало ей совестно и стыдно... И потупила она заблиставшие счастьем глаза... Меркулов понял иначе... Захолонуло у него сердце, омрачилось, побледнело лицо. Подошел он к Лизе, чинно протянул руку и холодно молвил:

— Здравствуйте, Лизавета Зиновьевна!

Сбежал румянец с ее лица. Широко раскрыв испу-

ганные глаза, в изумленье глядит она на своего Никитушку... Чинно поцеловал он протянутую руку, и вздрогнула Лиза от его холодного поцелуя... Чуть сдерживая слезы, усиленно подавляя вздохи, отступила она шага на два... Влажные глаза и легкое вздрагиванье всего тела ясно выражали, каково ей было. «Разлюбил... Раздумал!» — сверкнуло в мыслях, и будто стальными тисками кто-то сдавил ей голову. «Господи боже мой! Что ж это будет?» — подумала она и не могла больше сдерживать слез... Мелкими струйками полились хрусталики по бледным ланитам.

Таково вышло первое свиданье после долгой разлуки... И бог знает, чем бы оно кончилось, если б сидевшей в смежной комнате Татьяне Андревне не послышался тихий, сдержанный голос Никитушки. Распахнув быстро двери, вбежала она и, сияя весельем и радостью, обняла голову Меркулова, горячо целовала его и кропила слезами омрачившееся его лицо.

— Никитушка!.. Родной ты мой! — воскликнула она.— Насилу-то!.. Дождаться тебя не могли!.. Голубчик ты мой!.. Погляди на нее, извелась ведь вся — ночей не спит, не ест ничего почти, слова не добьешься от нее. Исстрадалась, измучилась... Шутка сказать — без малого пять месяцев!..

Зиновий Алексеич вышел на говор и крепко обнял нареченного зятя. С веселым смеющимся лицом вбежала Наташа. Меркулов подал ей руку.

— Прошу покорно! Ровно с чужой здоровается!..— хлопнув Меркулова по руке, засмеялась Наташа и потом, обняв «братца Никитушку», крепко поцеловала его.

— А мы по твоему последнему письму раньше воскресенья тебя не ждали,— молвил Зиновий Алексеич.— Как это удалось тебе таково скоро выплыть из Царицына?

— В Казани сел на пароход,— ответил Никита Федорыч.

— Сегодня приехал?

— Да... сегодня... то бишь вчера... Перед вечером — часов этак в семь, должно быть,— рассеянно и как-то невпопад говорил Меркулов, то взглядывая на Лизу, то, видимо, избегая ее огорченных взоров.

— Отчего ж до сих пор глаз не показал?.. А еще жених! — попрекнула его Татьяна Андревна.

— Вчера вечером два раза к вам приезжал, записку даже оставил. Долго зà полночь ждал, не пришлете ли за мною,— говорил Меркулов.

— Как так? Никакой записки от тебя не было,— сказал Зиновий Алексеич. И позвонил.

Пришел на зов коридорный и разъяснил все дело. Вчерашний дежурный, получив от Меркулова рублевку, делом не волоча, тотчас же выпил за его здоровье. А во хмелю бывал он нехорош, накричал, набуянил, из постояльцев кого-то обругал, хозяина заушил и с меркуловской запиской в части ночевал.

— А вы вчера веселились, были в театре, у Никиты ужинали?..— говорил Меркулов Зиновью Алексеичу, чуть взглядывая на безмолвно стоявшую одаль невесту.

— Успел, значит, с приятелем повидаться! — отозвался Доронин.— Какой славный твой Дмитрий Петрович!.. Редкостный человек, неописанный... Про цены-то сказывал тебе?

— Сказал,— ответил Меркулов.— Ужо на бирже частицу продам.

— Экой провор! — ласково ударив по плечу нареченного зятя, молвил Зиновий Алексеич.— Молодцом, Никитушка! Не успел приехать, и товар к нему еще не пришел, а он уж и сбыл его... Дело! Да что ж мы стоим да пустые лясы-балясы ведем? — вдруг спохватился Доронин.— Лизавета Зиновьевна, твое, сударыня, дело!.. Что не потчуешь жениха?.. Прикажь самоварчик собрать да насчет закусочки похлопочи...

Рада была Лиза отцову приказу. Тяжко и скорбно было у ней на душе, выплакаться хотелось... Выйдя в другую комнату, распорядилась она и чаем и завтраком, а потом ринулась на диван и болезненно зарыдала. «За что это? — скорбно шептала она.— Господи, за что это?.. Что я такое сделала, чем провинилась? Разлюбил!.. Раздумал!.. Другую нашел?..» И, только что мелькнула у ней ревнивая мысль, как раненая львица, вскочила она с дивана, гневным огнем вспыхнули очи ее, руки стиснулись, и вся она затрепетала... Но ни слез, ни жалоб, ни стенаний...

Села в уголок, призадумалась. Не об нем кручинные мысли, о самой себе Лиза размышляет. До тех пор злоба еще никогда не мутила души ее, никогда еще не

бывало в ней того внутреннего разлада, что теперь так мучил ее. Всегда, сколько ни помнила себя Лиза, жила она по добру и по правде, никогда ее сердце не бывало причастно ни вражде, ни злой ненависти, и вдруг в ту самую минуту, что обещала ей столько счастья и радостей, лукавый дух сомненья тлетворным дыханьем возмутил ее мысли, распалил душу злобой, поработил ее и чувства, и волю, и разум. Содрогнулась при мысли, что подчинилась врагу, что дух неприязни осе́тил ее... Пала ниц перед иконами...

А Зиновий Алексеич осыпа́л меж тем нареченного зятя расспросами о делах его. С добродушной усмешкой рассказывал он, как подъезжал к тюленю Смолокуров, как подольщался и хитрил, ища барышей... Перебивая чуть не на каждом слове мужа, Татьяна Андревна расспрашивала Никитушку, каково было его здоровье, тужила о пережитых невзгодах, соболезновала неудачам и, наконец, совсем перебив мужнины расспросы, повела речь о самом нужном, по мнению ее, деле — о приданом. Подробно рассказала, с каким именно «божиим милосердием» отпустят Лизу из дома, сколько будет за ней икон, в каких ризах и окладах, затем перечислила все платья, белье, обувь, посуду, серебро, дорогие наряды и, наконец, объявила, сколько они назначают ей при жизни своей капиталу... Затем спешно было пошла из комнаты за рядною записью[1]. Напрасно Меркулов уговаривал ее не беспокоиться, напрасно говорил, что он и знать не хочет о приданом, а на рядную запись даже не взглянет.

— Нельзя, батька, нельзя без того,— говорила Татьяна Андревна.— Как же это возможно жениху наперед не знать, чем награждают невесту родители?.. Так, мой голубчик, в добрых людях не водится... А ты вот денька два либо три отдохни с дороги-то и, когда оглядишься, я тебе по описи все приданое покажу, какое здесь с нами, а остальное покажу, когда домой воротимся. Тогда и рядную подпишем. Без того, сударь, нельзя... Старых обычаев, что от дедов, от прадедов ведутся, рушить, голубчик, нельзя; особливо на свадьбах. И перед богом грех и перед людьми будет стыдно. Не нами, сударь, повелось, не нами и кончится.

---

[1] Письменное условие по случаю брака с росписью приданого.

И все-таки пошла за рядною записью.

Увидев Лизу в слезах, руками только всплеснула Татьяна Андревна.

— Что это с тобой, Лизанька? — в тревожном удивленье она спросила ее.— В кои-то веки жениха дождалась, чем бы радоваться да веселиться, шагу от него не отходить, а она, поди-ка вот, забилась в угол да плачет... Поди, поди, бесстыдница! Ступай к жениху... Я ему рядную сейчас стану показывать... Тебе надо быть при этом беспременно.

— Не по себе мне что-то, маменька... нездоровится...— тихо промолвила Лиза.

— А ты подь туда да сядь рядком с женихом-то. Всяку болесть как рукой снимет,— говорила Татьяна Андревна.— Поди же, поди, Лизавета, ступай, говорят тебе, ступай к нему поскорее — твое место там, а не здесь. На что это похоже?.. Приехал жених, а она хорониться от него вздумала. Ступай же, ступай!

И, взяв за́ руку, вывела Лизу в ту комнату, где оставался Меркулов. А у самой рядная запись в руках.

Посадив возле себя за стол с одной стороны Меркулова, а с другой Лизу, Татьяна Андревна медленно стала вычитывать:

— Образ всемилостивого спаса в серебряной ризе позолоченной, с таковыми ж венцом и цатою, да образ пречистые богородицы Тихвинские, риза и убрус жемчужные, звезда на убрусе двенадцать камней бриллиантовых да камень рубин красный. Образ преподобных Захария и Елизаветы, риза серебряная позолочена с таковыми ж венцами; да образ Николы Святителя, риза серебряная позолочена, да образ Гурия, Симона и Авива в серебряной ризе позолоченной; да образ великомученицы Варвары, оклад серебрян позолочен. А всего четыре образа в серебряных позолоченных ризах, да один низан жемчугом с каменьями, да один в серебряном золоченом окладе. Да приданого ж: серьги бриллиантовые трои, ожерелье бриллиантовое на шею да же́мчуга кафимского пять фунтов крупного, низан на двенадцать ниток...

Больше четверти часа Татьяна Андревна читала рядную. Лиза сидела, потупя глаза и поникнув головою, а жених, облокотясь о стол, казалось, внимательно слу-

шал. Но чтение о бархатных салопах, о шелковых платьях, о белье голландского полотна, о серебряной посуде и всяком другом домашнем скарбе, заготовленном заботливой матерью ради первого житья-бытья молодых, скользили мимо ушей его; о другом были думы Меркулова... «Неужель она в самом деле променяла меня на другого?» Так думалось Меркулову, и сердце не так уж кипело у него, как в первые минуты свиданья... Взглядывая на Лизу, замечал он теперь в лице ее выраженье тяжелой, но напрасной обиды, и стало ему ее жалко, заговорила в нем совесть... Кончила Татьяна Андревна, чай стали пить, завтракать, а жених понемножку словами с невестой начал перекидываться. «Нет,— думал он,— нет, таким голосом с постылыми не говорят... Напрасно я... Это все фармазонка!.. Нужно ж было ей навстречу попасться. Как встретил ее, так и утвердился в тех мыслях!..»

После завтрака Татьяна Андревна, догадавшись по говору материнского сердца, что меж женихом и невестой проскочило что-то неладное, приказала Наташе что-то по хозяйству и сама вышла, сказав мужу, что надо ей с ним о чем-то неотложном посоветоваться, остался Меркулов с Лизой один на один. Уйти нельзя, молчать тоже нельзя. «Дай расспрошу»,— подумал он и повел речь издалека.

— Кажется, вы не очень мне рады,— с трудом промолвил он, подойдя ко вставшей с места невесте.

Она зарыдала и страстно припала к плечу жениха...

Получа́са не прошло, а они уж весело смеялись, искали, кто виноват, и никак не могли отыскать... Забыты все тревожные думы, нет больше места подозреньям, исчезли мрачные мысли. В восторге блаженства не могут наглядеться друг на́ друга, наговориться друг с другом. И не заметил Меркулов, как пролетело время. Половина третьего, пора на биржу ехать с Васильем Петровичем. Нечего делать — пришлось расстаться.

Наскоро покончив с Морковниковым, Никита Федорыч поспешил к невесте. Встреча была иная. Таким поцелуем, о каком он во время разлуки мечтал, встретила теперь его Лиза... В самозабвенном наслажденье душевным блаженством оба они утопали...

Долго за́ полночь просидели... пока Татьяна Андревна, зевая и крестя рот, не сказала:

— Не время ль невесте держать опочив, не пора ль жениху со двора съезжать?

* * *

Наверстал же Никита Федорыч Веденееву за прошлую ночь. Сидит у невесты, а приятель жди-пожди.

— Наконец-то! — воскликнул Дмитрий Петрович, встречая приятеля.—Куда это до сей поры запропастился? Третий уж час.

— Известно, где был,— позевывая, ответил ему Меркулов.— А ты что не приезжал? Спрашивали про тебя.

— Кто спрашивал? — с живостью спросил Веденеев.

— Все спрашивали: и Зиновий Алексеич, и Татьяна Андревна, и Наташа,— отвечал Меркулов.

— И она? — с живостью быстро спросил у него Веденеев.

— Кто она?

— Да Ната... Наталья-то Зиновьевна,— слегка смешавшись, молвил Дмитрий Петрович.

Зорко взглянул на него Меркулов, а потом проговорил:

— Кажется, и она спрашивала... Да, точно, спрашивала. Вспомнил теперь...

Быстро вскочил Веденеев со стула, взъерошил волосы и, раза три пройдясь взад и вперед по комнате, стал перед приятелем... Взволнованным голосом он сказал ему:

— Слушай. Я ведь, брат, люблю все сразу, я ведь без лишних разговоров. Люблю решать дела без проволочек... Слушай, Никита Сокровенный...

И вдруг речь его оборвáлась...

— Что же замолчал? — улыбаясь и пристально глядя в глаза приятелю, спросил Меркулов.— Говори, слушаю.

— Вот что я хотел сказать тебе...— снова начал Дмитрий Петрович.— Так как, значит, мы с тобой приятели... Не знаю, как у тебя, а у меня вот перед богом, опричь тебя, другого близкого человека нет в целом свете... И люблю я тебя, Никита, ото всей души.

И опять замолчал. Слов не находил.

— Дальше что еще будет? — усмехнулся Меркулов.

— Да ты не смейся,— вскричал Веденеев.— Нечего сказать, хорош приятель. Ты ему про дело, а он на смех.

— А ты говори толком,— сказал Меркулов.— «Люблю сразу, люблю без лишних слов», а сам тянет околесицу, слушать даже тошно... Ну, распрастывайся!..

— Видишь ли что, Никита Сокровенный,— собравшись с духом, начал опять Веденеев.— Так как я очень тебя люблю, а еще более уважаю, так и захотелось мне еще поближе быть к тебе.

— Как же это?

— Породниться.

— Как же нам с тобой родниться? — добродушно улыбаясь, спросил Меркулов.

— Высватай мне Наташу. Славно будет...— сказал Веденеев.

— Вот тебе на! — весело засмеялся Никита Федорыч.— Значит, мне свахой быть, говорить Татьяне Андревне: «У вас, мол, товар, а у меня купец, за нашу куницу дайте красную девицу, очень мол, мы про нее много наслышаны: сама-де умнешенька, прядет тонешенько, точит чистешенько, белит белешенько...»

— Полно дурить-то. Ах ты, Никита, Никита!.. Время нашел! — с досадой сказал Веденеев.— Не шутя говорю тебе: ежели б она согласна была, да если бы ее отдали за меня, кажется, счастливее меня человека на всем белом свете не было бы... Сделай дружбу, Никита Сокровенный, богом прошу тебя... Самому сказать — язык не поворотится... Как бы знал ты, как я тебя дожидался!.. В полной надежде был, что ты устроишь мое счастье.

— Пожалуй, закину словечко. Хоть завтра же,— молвил Меркулов.— Татьяне Андревне сказать? Нет — вот как лучше будет: Лизе скажу, а она уж там все уладит.

— Пожалуйста, яви милость! — вскрикнул Веденеев и по-вчерашнему чуть не задушил приятеля в медвежьих своих объятьях.

На другой день вечером у Дорониных по уголкам две парочки сидели: два жениха, две невесты. А третья пара, Зиновий Алексеич с Татьяной Андревной, глядя на них, не нарадовались.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Чуть брезжится сырое, холодное утро. Темно-серыми тучами кроется небо, кругом к непогоде его замолаживает [1]. Белым туманом дымятся поля, луга и болота, ровно сквозь пáдымок [2] тускло виднеется лес вдали. Намокшие трàвы низко склонились к земле, примолкло все живое, притихло, лишь изредка на роняющей желтые листья березе закаркает отчаянно мокрая ворона, либо серый, летом отъевшийся русак, весь осклизлый от мокрети, высунет, прядая ушами, головку из растрепанного ветром, полузасохшего бурьяна и, заслышав вдали топот лошадиных копыт, стремглав метнется в сторону и с быстротой вольного ветра клýбом покатится по полю, направляя пугливый свой бег к перелеску.

По грязному, скользкому проселку медленно катятся густо облипшие глиной колеса небольшой тележки, запряженной парой доброезжих, но сильно притомленных и припотелых конèй. В той тележке, плотно укутавшись в синий суконный, забрызганный грязью чекмень [3], дрожа всем телом от сырости и студеного ветра, ежился и покачивался дремавший Самоквасов. При каждом встречном толчке Петр Степаныч пробуждался из забытья, но, оглянувшись по сторонам, опять закрывал глаза, еще больше нахлобучивал шапку и, склоняя ниже и ниже сонную голову, снова погружался в дремоту. Истомила его холодная, бессонная, многодумная ночь.

Заутреню допевали в моленных и часовнях скита комаровского, когда Петр Степаныч подъезжал к Каменному Вражку.

— В кою обитель въезжать? — спросил у него полусонный, тоже продрогший ямщик, поворачиваясь спиной против ветра и лениво помахивая коротеньким кнутовищем над приусталыми лошадками.

Вопрос ямщика застал врасплох Петра Степаныча. До тех пор еще не подумал он, у кого бы ему пристать

---

[1] *Замолаживать* — заволакивать тучами, клониться к ненастью (говоря о небе).

[2] *Пáдым, пáдымок* — мгла, сухой туман, дым, занесенный с дальних лесных пожаров.

[3] *Чекмень* — короткий полукафтан, обычная осенняя, а иной раз и зимняя верхняя одежда зажиточных молодых людей в Поволжье и восточных губерниях. На Дону, на Урале и по линейным станицам чекменем зовут казацкий кафтан.

в Комарове... Не то на мыслях у него носилось — Фленушка, одна Фленушка всю дорогу у него с ума не сходила. Теперь стал он рассуждать сам с собою: «У Бояркиных пристать без матери Таисеи не годится,— праздного, лишнего говору много пойдет. К Манефиным въехать никак невозможно,— кто их знает, что там творится, о чем говорится, почем знать, как встретит Манефа? Прежде чем свидеться с ней, надобно осторожно, с оглядкой, кое-что стороной разузнать... У кривой Измарагды пристать аль у толстухи Евтропии, у Глафириных, у Московкиных? Так все они теперь из-за этих списков не в добрых ладах с Манефиными,— истинной правды там не добьешься... Другие обители скудны, в тягость им будешь... И то надо взять, что Рассохины, Напольная, Марфина, Заречная из Манефиной воли не выходят, правды не скажут и там... Лучше из «сирот» у кого-нибудь... У кого бы?.. А!.. Совсем было вон из ума!.. Иконник-от на что? Ермил-от Матвеич?.. Дом у него большой, поместительный, и хоть обедать он самшестнадцать садится, а местечко для меня найдет, отведет каморочку не хуже обительской светелки».

— Куда ж везти-то, господин честной? — громко повторил вопрос свой продрогший ямщик, расталкивая Петра Степаныча.

Выпрямился Самоквасов, зевнул, слегка потянулся и спросил у извозчика:

— Сурми́на иконника знаешь?

— Ермилу-то Матвеича?

— Да.

— Как же не знать Ермилу Матвеича? Достаточно известны.

— К нему.

— Ладно,— молвил ямщик и, обо́дрясь, хлестнул по лошадкам, прикрикнув: «Эх вы, сердечные!» Своротил он налево и кривыми закоулками доехал до построенного на скитский лад большого дома с раскрашенными ставня́ми с узорчатой резьбой над окнами. Перед тем домом длинным рядом стояли пустые кадки и пересеки [1]. Хоть рань была еще на дворе, но коренастый, седовласый Сурмин и пятеро сыновей его, с бочарными тесла-

[1] *Пересек, перерез, обрез, переруб, полубочье* — кадка из распиленной пополам бочки.

ми[1] в руках, дружно работали, набивая обручи на рассохшиеся кадки. Матери, не зная доподлинно, разгонят их до зимы аль не разгонят, помнили, что на Сергиев день[2], по старым обычаям, непременно надо капусту рубить. Кроме того, от благодетелей с ярманки рыбки они ожидали про зимний запас, стало быть и под капусту и для рыбного посола надо исправить пересеки. А по всему Комарову набивать обручи только один Сурми́н умел. Был он в том многолюдном скиту не только бондарем, но и мастером на все руки. В обычном деревенском обиходе досужество его было бы, пожалуй, излишне, но для быта обительских стариц необходимо. Икону ли написать, поветшалую ли поновить, кацею иль другую медную вещь спаять, книгу переписать, стенные часы починить, а по надобности и новые собрать, самовар вылудить, стекла вставить, резьбу по дереву вырезать и даже позолотить ее, постолярничать, башмаки, коты, черевики поправить — на все горазды были сам Ермил и сыновья его. И кузнечили они, ежели надобность бывала,— возле самой верхотины Каменного Вражка кузница у них стояла. Сам родом с Гор, лет уж тридцать живет Сурмин «сиротой»[3] в Комарове. Жена у него, трое сынов женатых да двое холостых, дочерей три невесты да трое внучат. Семья не малая, но советная, любовная, завсегда в ней тишь да крышь, мир, да лад, да божья благодать. И любовно и грозно держал свою семью Ермило Матвеич, с разумом правил хозяйством.

— Здорово, Ермило Матвеич! — крикнул Самоквасов, поровнявшись с Сурминым.

— Ваше степенство!.. Петр Степаныч!.. Какими судьбами опять в наши палестины? — ласково, радостно даже отозвался ему Ермило Матвеич.

— Делишки тогда не совсем с матерями покончил,— сказал Самоквасов.— Доделать заехал.

— Доброе дело,— молвил Сурмин.— Всяко дело концом красно́. Дело без конца — что кобыла без хвоста... К кому из матерей-то?

— Да я, признаться, не к ним нынешний раз думал взъехать,— сказал Самоквасов.— Генерала они ждут,

---

[1] *Тесло́* (от тесать) — топор с лазом поперек топорища, как у мотыги или у кирки. Бочарное тесло — маленькое и желобковатое.

[2] 25 сентября.

[3] В скитах все живущие своим хозяйством вне обители, и нищие и богачи, одинаково зовутся «сиротами».

что едет скиты поверять. Ежель застанет он меня в которой обители, и сам в беду попадешь и на матерей наведешь лишнюю обиду...

— Верно,— согласился Сурмин и, положив тесло́ на дно опрокинутой кадки, примолвил,— к нам милости просим, место найдется, ежели не побрезгуете.

— О том просить хотел тебя, Ермило Матвеич,— сделай милость, пусти не на долгое время,— сказал Петр Степаныч.

— Милости просим, милости просим! Хоть всю осень гости́, хоть зимы прихвати — будем радехоньки,— говорил Сурмин вылезавшему из тележки Самоквасову.— Андрей,— обратился он к старшему сыну,— вели своей хозяйке светелку для гостя прибрать а Наталье молви, самовар бы ставила да чай в мастерской собрала бы. Милости просим, Петр Степаныч, пожалуйте, ваше степенство, а ты, Сережа, тащи в светелку чемодан,— приказывал другому сыну Ермило Матвеич.

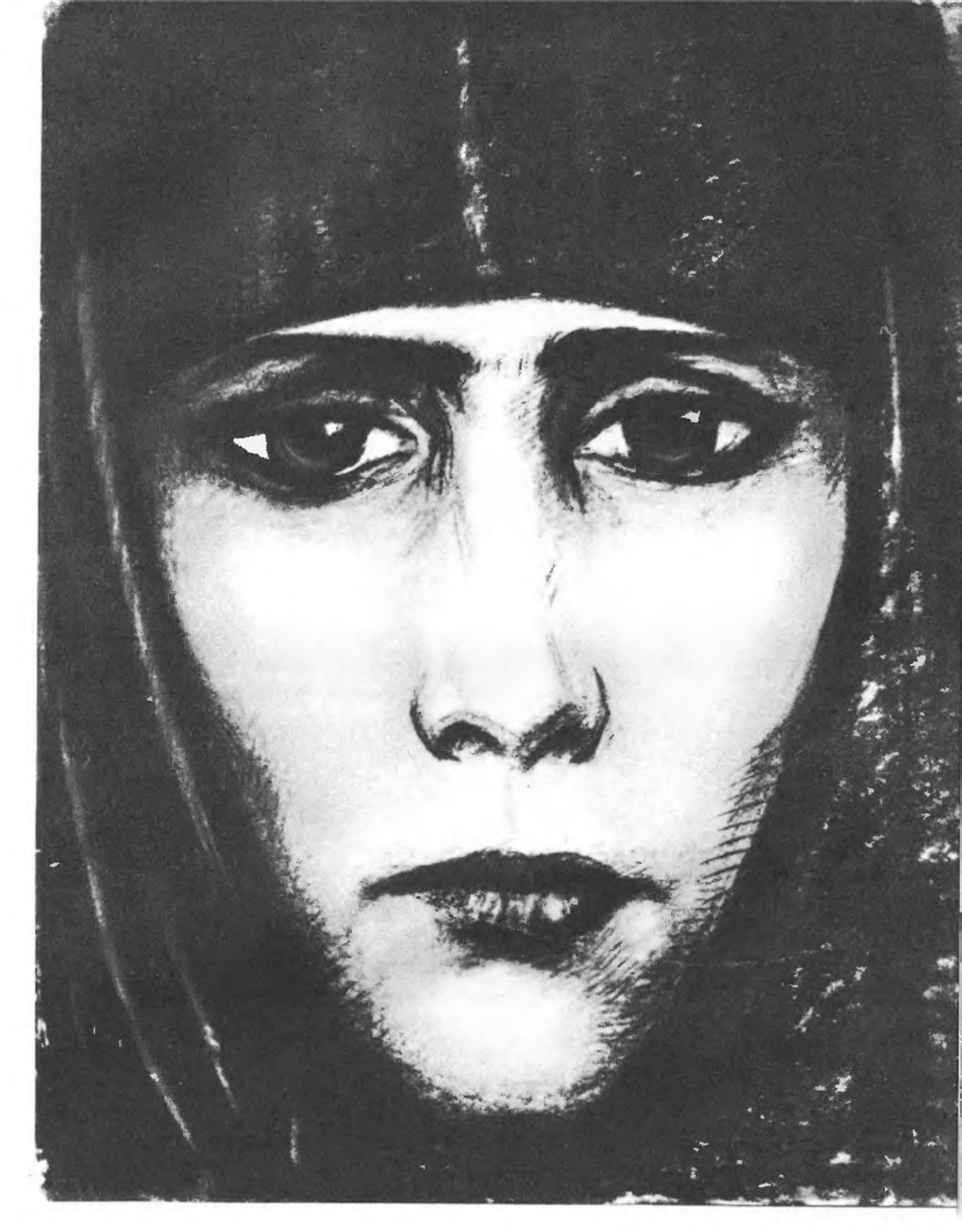
Дом у него был построен по-скитски — со светлицами, с боковушами, со множеством чуланов и со́лнышей, со светлыми и темными переходами и проходами, с подклетной теплой волокушей и с холодным летником на чердаке — как есть обительская стая [1]. Мастерская, пристроенная к жилой стае лицом в огород, была обширна и отделялась от большой избы и горницы невеликими сенцами. Та мастерская была также по-скитски построена — ни дать ни взять обительская келарня, только без столов, без скамей и без налоя перед божницей. Стоял в ней столярный станок, возле него с одной стороны стол со слесарными снарядами, с другой — столярный верстак; в углу, у окна кожей обитый поло́к [2] для чинки и сборки часов, к печи приставлен небольшой горн с раздувальным мехом для плавки, литья, паянья и для полуды; у другого окна стоят на свету два пристолья [3] для

---

[1] В северо-восточной части России *со́лнышем, шолнышем, шолмышем* зовут «бабий угол», «стряпной кут» — комнату в избе за перегородкой, возле устья печи; но в скитах солнышем зовут всякую комнату окнами на́ полдень. *Волокуша* — подклеть с печкой под жилыми покоями, *летник* — то же, что светлица — комната для летнего только житья, без печи. *Стая* — несколько изб, поставленных одна возле другой и соединенных между собой сенями и переходами (коридорами).

[2] Покатый стол.

[3] *Пристолье* — стол равной с подоконником вышины, приставленный к нему.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Глава IX

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Глава XII

резьбы и золоченья, а по полкам расставлены заготовленные иконы и разная утварь, дожидавшая очереди для починки или переделки. В ту мастерскую всякого рода ремесл ввел гостя Сурмин. Скинув загрязненный чекмень и умывшись, Петр Степаныч, сидя у окна в ожиданье самовара, стал беседовать с радушным хозяином.

— Ведь это, кажется, Манефина обитель? — спросил он, указывая на строенья, что возвышались над забором обширного сурми́нского огорода.

— Ее,— ответил Ермило Матвеич.— Да вот ломать сбирается. В городе накупила местов, за́годя хочет до выгонки переехать туда... Сказывают, выгонки нам никоим образом не избыть. Такое горе!..

— Тебе-то, Ермило Матвеич, какое тут горе? — сказал Самоквасов.— Ты не старец, дом твой не обитель, тебя не тронут.

— Тронуть-то не тронут, это верно,— сумрачно отвечал Сурмин.— А придется и мне покинуть насиженное место, в город, что ль, перебираться. Ежели разгонят матерей, какая мне будет здесь работа? С голоду помрешь на безлюдье... Признаться, и я, как Манефа же, местечко в городу себе приискал.

— Что ж,— молвил Самоквасов.— В городе больше будет работы.

— Бог ее знает, больше ли будет,— отвечал Сурмин.— Часовщик там есть, заправский часовщик, не то, что мы с Андрюхой, и карманные чинит да сбирает, не только что стенные; слесарей там четверо, серебряник есть, столяров трое, иконописцев, правда, что нет, да ведь на одних иконах далеко́ не уедешь, особенно ежели теперь часовни везде порешат. Опять же здесь у меня промысел вольный, а там в цех записывайся, да пошлины плати, да опричь того поземельные. Тяжеленько будет, ваше степенство, Петр Степаныч, ох, как тяжеленько!

— Да,— согласился Самоквасов,— расходов прибудет.

— Да так, сударь, прибудет, что не знаю, как и справлюсь при такой семьище,— сказал Сурмин.— Здесь под боком у матерей, надо правду говорить, житье нам приволье, а там еще господь ведает, каково оно будет... Не к добру, сударь, вздумали эту выгонку. Матерям что! У матерей по кубышкам довольно. Станет на

что век доживать... То бы, кажись, надо было принять в расчет. что вокруг каждого скита по скольку деревень кормится... Зѐмли здесь, знаете, каковы, без промыслов мужику дохнуть нельзя, а промыслы-то все по скитам. Разгонят матерей, чем тогда мужикам будет кормиться? За новы промысла приниматься?.. Так к новым-то промыслам ведь не легко привыкать. В пять лет не устроишь нового хозяйства, а в пять-то годов можно и до сумы дойти... Хоша теперь и много окольных крестьян в хороших достатках живет, а залежных денег почитай ни у единого нет... Крутые, сударь, времена подходят... Крутые времена!..

И призадумался Ермило Сурмин.

— Что̀ матушка Манефа? — после недолгого молчанья, смотря в окно на ее обитель, спросил Петр Степаныч.— Слышал я, что все хворает.

— Не богата здоровьем,— молвил Ермило Матвеич.— А впрочем, старица тверда. По мо̀ему рассужденью, какие бы ей беды впереди ни были, все-таки до ста годов проскрипит... Плотию хоша немощна́, зато духом ух какая крепкая! Кремень старица, как есть железная!..

— Фленушка, слышь, у нее тоже не больно здорова? — спросил Петр Степаныч, отвернувшись от хозяина и глядя в окошко.— Таисѐю Бояркиных видел я на днях у Макарья, она сказывала.

— Кажись бы, ничего,— ответил Ермило Матвеич.-- Вечор к моим девкам Манефины белицы забегали, ничего про ее болести не сказывали.

Чуть-чуть отлегло от сердца у Петра Степаныча, но не совсем успокоили его слова Сурмина. Знал он, что Фленушка, если захочет, на̀ людях будет одна, дома другая.

— У них, слышь, тут приключенья разные были? — сказал Самоквасов, по-прежнему глядя в окошко.

— Уж именно приключения,— ответил с улыбкой Ермило Матвеич.— Зараз двух невест снарядила иноческая обитель: Марья Гавриловна сама уехала да замуж вышла, матушкину племянницу силком выкрали да с архиерейским послом повенчали... Того и гляди, чтоб и Фленушка с Марьей головщицей с кем-нибудь не улепетнули.

— Уж будто и Фленушка? — быстро оборотясь к хозяину, сказал Самоквасов.

— Девка озорь, от нее всего можно ждать,— молвил Ермило Матвеич.— Бедовая! Я так полагаю, что ежель они в город переедут, она беспременно там замуж выскочит. Не черницей девка глядит, не на иночество смотрит.

И сколько ни расспрашивал Сурмина Петр Степаныч про Фленушку, нового ничего не узнал от него. «Не врет ли Таисея? — подумал он.— Ведь это матери судачить да суторить мастерицы. Того навыдумают, чего никто и во снах не видал».

— А как матушка Манефа насчет этих свадеб? — спросил Петр Степаныч.

— Что же ей? Не обительские сбежали,— отвечал Ермило Матвеич.— Одна своим домом жила, другая гостила, обе мирские... Да хоша б и обительские?.. Где, в каком скиту, в какой обители того не случалось? А у них, в Манефиной то есть обители, и такие дела бывали, что сами игуменьи замуж сбегивали. Перед Манефой-то у них мать Екатерина в игуменьях сидела, а перед ней Вера Иевлевна. Обителью целый год правила, да и сбежала с игуменства, а после того дошли слухи, что повенчалась... И то сказать, чем белицам сегодня с одним, завтра с другим баловаться, не в пример им лучше замуж выходить... Тут по крайней мере закон. А то чего-то, чего не бывает у них... Особливо когда вашей братьи, молодых благодетелей, понаедет. Тут уж только знай да прималчивай, гляди да не разглядывай...— усмехнувшись, примолвил Сурмин.

Ни слова на то не ответил Самоквасов.

— А знаете ли что, Петр Степаныч? — немного погодя сказал Ермило Матвеич.— Как племянницу-то у Манефы умчали, так ведь мы на вас было спервоначалу-то думали. Да уж после, дней этак через пяток, узнаем, что это дело архиерейский посланник состряпал, а потом слышим, что сам невестин родитель ту свадьбу устроил. Недели две тому назад в Городце на базаре я с ним виделся — хохочет над Манефой, помирает со смеху... А как подумать — зачем бы, кажется, ему на такие дела подыматься? Выдал бы дочку честью, как водится,— так нет, на вот поди ты с ним... Озорной, даром что голову-то инеем уж побило. Тогда, как на Петров-от день вы у Манефы гостили, он, слышь, все эти дела и подстро-

ил... И лошади-то, слышь, его на подхват невесты были высланы... Потешный!..

— А как у вас про Фленушку говорят? Причастна к тому делу была али нет? — спросил Петр Степаныч.

— Говорить-то все говорят, что она тут была ни при чем, да я что-то мало веры тому даю... Не такая девка, чтобы в тако дело не впутаться. Добра, а уж такая озорная, такая баламутка, что нигде другой такой не сыскать,— отвечал на то Сурмин.

Напившись чаю, Ермило Матвеич проводил гостя в приготовленную светелку, что была над мастерской, и, наказав старшей снохе сготовить хороший обед, пошел бондарничать. Петр Степаныч, оставшись один, долго стоял у окна, долго глядел на Манефину обитель. Фленушкина горница прямо перед ним была, ставни были уж растворены, но внутри горниц через белые занавески ничего не видно было. На обительском дворе было пустехонько, лишь у крыльца келарни две дебелые, здоровенные белицы перемывали кадки, да на конном дворе копошился над дорожной кибиткой конюх Дементий... Моросил дождик — везде пусто, везде тихо, только удары бондарей слышались. «Может быть, это все вздор, одни только выдумки матери Таисеи,— подумал Петр Степаныч и прилег на высоко взбитый пуховик.— Немножко погодя схожу я к Бояркиным, там с Ираидой либо с матерью Арсенией повидаюсь, авось от них разузнаю что-нибудь»

Но сон сломил усталого с дороги, и проспал Петр Степаныч до самого полудня, проспал бы и дольше, да Сурмин пришел гостя обедать звать.

Тотчас после обеда Самоквасов спешно собрался в обитель Бояркиных. Там за отлучкой Таисеи правила казначея мать Ираида. Обрадовалась она и с тем вместе изумилась неожиданному появленью Самоквасова. Узнавши, что остановился он у иконника, начала пенять ему:

— Мы-то чем перед вами провинились, благодетель наш Петр Степаныч? — заговорила она.— До сих пор завсегда в нашей обители приставали, и завсегда мы были рады вам ото всей души, а тут вдруг за что-то прогневались. В те поры, как поехали вы от нас, на казанскую-то, сказывали вы матушке, что всего на недельку от нас отъезжаете. Уж мы ждали вас, ждали, а потом и

ждать перестали — теперь вот уж восьмая неделя после казанской пошла, а вас все нет да нет. А приехали, так и тут нас обидели — мимо объехали. За что же такая немилость? Чем мы, убогие, прогневали вас, чем вас на̀ сердце навели?

— Дела, матушка, дела подошли такие, что никак было невозможно по скорости опять к вам приехать,— сказал Петр Степаныч,— ездил в Москву, ездил в Питер, у Макарья без малого две недели жил... А не остановился я у вас для того, чтобы на вас же лишней беды не накликать. Ну как наедет тот генерал из Питера да найдет меня у вас?.. Пойдут спросы да расспросы, кто, да откуда, да зачем в женской обители проживаешь... И вам бы из-за меня неприятность вышла... Потому и пристал в сиротском дому.

— У Ермила Матвеича? Так, сударь, так,— промолвила мать Ираида.— А все ж нам обидно, что нас миновали. Сами посудите, сколько годов у нас приставали, а тут вдруг и объехали... А что ж? Нешто тот генерал скоро наедет? Тогда на Петров день матушка Манефа весточку из Питера получила, на днях бы ждали его, да вот восемь недель прошло, а бог нас миловал.

— Скоро, говорят, приедет, а в какой день, того никому неизвестно,— сказал Петр Степаныч.

— Поскорей бы наша-то матушка приезжала...— подгорюнясь и печально вздыхая, молвила мать Ираида.— Ну как вдруг да без ее бытности накатит незваный гость... Что без нее я стану делать?

— Вечор виделся я с вашей матушкой,— сказал Петр Степаныч.

— Что, как она, сердечная? Здорова ли? — с живостью спросила мать Ираида.

— Ничего, здорова, все хлопочет,— ответил Петр Степаныч.

— Домой-то скоро ли сряжается? — спросила мать казначея.

— О том, матушка, у меня речей с ней не было,— отвечал Самоквасов.— Мельком виделись-то мы, в людях. Когда я говорил с ней, не думал еще тогда так скоро у вас быть, полагал даже, что вряд ли нынешним годом и удастся мне в Комаров-от попасть. Повидавшись с матушкой Таисеей, воротился на квартиру, гляжу — письмо меня ждет, прочитал, вижу, то дело, по коему у

Макарья я проживал, отложено. Других особенных делов у меня нет, подумал я, подумал, да и поехал к вам. Тогда, как vезжал на казанскую-то, матушка Манефа в отлучке была, а мне еще следовало немножко деньжонок ей на раздачу додать — поэтому теперь нарочно и приехал. Ну что, как она, матушка-то Манефа, теперь?

— Да все в беспокойствах, все в хлопотах,— участливо промолвила Ираида.— В город на житье сбирается, до выгонки хочет там устроиться... А тут еще эти неприятности одна вслед за другой: Марья Гавриловна замуж вышла, Прасковья Патаповна...

— А еще-то что? — спросил Самоквасов.

— Больше-то ничего,— несколько даже удивившись такому вопросу, отвечала мать Ираида.— Что же еще-то?.. И того вдоволь... Слава теперь пошла на их-нюю обитель, праздная молва... Разве легко это матушке?

— Что ж ей очень-то печалиться? — успокоившись несколько насчет Фленушки, молвил Петр Степаныч. «Видно, мать Таисея ради красного словца пустяков наплела»,— подумал он и продолжал свои речи, обращаясь к Ираиде: — Марья Гавриловна была не из обительских, не под матушкиным началом жила. Прасковьи Патаповны свадьбу отец устроил...

— Так-то оно так, благодетель, а все же нелегко перенести это матушке,— сказала на то Ираида.— Хоша бы насчет племянненки — конечно, не жила она в обители, погостить лишь на краткое время приехала, и выкрали ее не из кельи, а на гулянке, опять же и всю эту самокрутку сам родитель для дурацкой, прости господи, потехи своей состряпал... Да на Москве-то не так посудили... Оскорбляются... «Мы,— пишут,— посла к вам по духовному делу послали, а вы его оженили, да еще у церковного попа повенчали!» Такую остуду от первейших благодетелей принять большой расчет, особливо при надлежащей нужде. От того от самого матушка Манефа и к Макарью не поехала «Глаза, говорит, стыдно показать перед московскими...» Марья Гавриловна замуж ушла — матушке убыток, да какой еще убыток-от. Пришла ведь она к ней на неисходное житие. У нас в скиту так полагали, да и сама матушка Манефа так думала, что, когда скончалась бы Марья Гавриловна, все бы,

что после нее ни осталось — пошло в обитель. Она же и в город с матушкой обещалась переехать... Тут, благодетель, такой убыток, что сразу-то и не сосчитаешь... Да еще что выходит теперь!.. Муженек-от ее присылал сюда, чтобы домик-от Марьи Гавриловны на своз продать али чтоб матушка Манефа деньги за него уплатила... Вот какого гуся подхватила себе наша вдовушка... Ни стыда нет в глазах, ни совести... Да не что взял — никаких бумаг на то, что домик Марьи Гавриловнин, нет... Поверенный-от его, не солоно хлебавши, подобру-поздорову и отъехал. Судом беспутный грозит... Пожалуй, еще бы матушке хлопот не нажить...

— А Фленушка что? — немножко помолчав и зорко глядя на Ираиду, спросил Петр Степаныч.— Матушка Таисея такие мне страсти про нее рассказала, что не знаю, как и верить. Постричься, слышь, хотела, потом руки на себя наложить вздумала...

— Это точно, что на пòстриг совсем было она согласилась. Матушка-то Манефа давно ведь склоняет ее надеть иночество,— сказала мать Ираида.— Ну согласилась было, а там через сколько-то дней опять: «Не хочу да не хочу...» Ну и пошумела, опечалила матушку... Девица ведь неразумная! — примолвила Ираида.— Ведь, ежели она примет иночество, матушка-то Манефа при своем животе благословит ее на игуменство, и никто из обительских слòва против того не молвит. А пошлет господь пò душу матушки, а Фленушка в белицах будет — ну тогда и отошли ее красные дни. Кого б ни избрали тогда во игуменьи, никто уж такой воли, как теперь, ей не даст. Всего натерпится, со всяким горем спознается. Пока матушка Манефа жива, ей во всем воля, а преставится матушка, из чужих рук придется глядеть. Матушка Манефа старица мудрая, все это хорошо понимает, оттого и желательно ей поскорее Фленушку присовокупить к ангельскому чину. А она ровно бешеная, пользы своей не познает — только и слов, что «не хочу» да «не хочу».

— А руки-то как же хотела на себя поднять? — спросил Петр Степаныч.

— Чудила! — добродушно улыбаясь, молвила мать Ираида.— Она ведь из всего скиту у нас самая затейная, самая потешная... Ножик схватила: «Зарежусь,

кричит, а иночества[1] не вздену». Ну, и пошумела в келарне, а не то чтобы вправду думала руки на себя наложить. Наши девицы были притом, они сказывали. А мать Виринея, знаете ее, испужалась да к матушке Манефе побегла... и наделала пуще шуму еще... Тем все и покончилось. Раздосадовали очень тогда Флену-то Васильевну, оттого так и расходилась. А перед тем, надо полагать, зубки пополоскала, под тура́хом[2] маленько была.

Схватившись за локотник кресла, Самоквасов тихо промолвил:

— Неужто вправду?

— Правда, благодетель, истинная правда. Что же мне хвастать?.. Из-за чего?.. Не сама она творила да пустяшные слова говорила — бальзамчик говорил...— равнодушно промолвила мать Ираида.

— Неужто вправду? — еще тише повторил Петр Степаныч.

— Что ж делать, благодетель? Скука, тоска, дела никакого нет,— молвила мать Ираида.— До кого ни доведись. Она же не то, чтоб очень молоденькая,— двадцать седьмой, никак, весной-то пошел...

Головой только покачал Петр Степаныч. «И я тому виной...— подумал он.— Ах ты, Фленушка, Фленушка!» И лицо его потускнело.

— До кого, батюшка, ни доведись, до кого ни доведись, сударик ты мой!..— продолжала между тем мать Ираида.— Соблазн, искушение, а враг-от силен... Ох! — вздохнула мать казначея.— Про себя как вспомянуть, что со мной было перед по́стригом-то!.. Вот уж теперь без году тридцать лет прошло, как вздела я иночество, а была тогда еще моложе Флены Васильевны — на двадцать втором годике ангельского чина сподобилась я, многогрешная. Тетенька была у меня, в здешней обители жила, старица была умная, рассудительная, все ее почитали — уставщицей при моленной была. Родом мы, сударь, дальние, из-под Москвы, гуслицкие. Родитель помер, осталась я круглой сиротой, матушку-то взял го-

---

[1] Здесь под словом «иночество» разумеется коротенькая манатейка вроде пелеринки, носимая старообрядскими иноками и инокинями.

[2] *Тура̀х* — состояние немного пьяного; *под турахом* — то же, что навеселе — быть пьяну слегка.

сподь, как еще я махонькой была; брат женатый поскорости после батюшки тоже покончился, другой братец в солдаты ушел. Опричь снохи да ее ребятишек, племянников, значит, моих, на родине у меня ни души не осталось из сродников. Ну, известно, каковы снохи живут — богоданны-то сестрицы,— крапива жгучая. Нет ни нýжды, ни заботы ей, что золовка не ела — сохни, издохни — ей все нипочем... И бывала я, сударь, по целым дням не пиваючи, не едаючи. А мне всего только семнадцатый годок в тý пору пошел. Была я перед снохой как есть безответная. В то кручинное, горькое безвременье много я бед приняла, много слез пролила. Больше года со сношенькой маялась, дольше стерпеть не могла, уехала к тетеньке горе размыкать, да вот и осталась здесь... У тетеньки под крылышком жизнь была мне хорошая, а все-таки хотелось, грешнице, вольной волюшки, не могла я мира забыть... Всего на уме тогда перебродило... А тетенька меж тем захирела — годы брали свое: на восьмой десяток тогда она поступила. Стало слезно меня уговаривать, надела б я на себя иночество, прочное бы место получила в обители. Не то ведь я гостья, не обительская белица, «убирайся, скажут матери, на все на четыре стороны». Знала я это, и то знала, что негде будет мне головы приклонить. А мир смущает да смущает, вольной волюшки хочется... А тетеньке все хуже да хуже, молит, просит меня ангельский образ принять... Игуменья, мать Феонилла была тогда у нас, тоже уговаривает меня. Бывало, поучает, поучает от святого писания, да иной раз, как не слушаюсь, и пригрозит. Нечего было мне делать, хоть виляй, хоть ковыляй, а черной рясы не избудешь... Дала согласие, девять недель только сроку попросила.. Дали .. И что я в те девять недель претерпела, что перенесла, рассказать тебе, благодетель, невозможно... Тоска со всего света вольного!.. Господи, думаю, хоть бы за пастушонка какого, хоть бы за старика-калеку богаделенного выйти!.. Своим бы домком только пожить, свое бы хозяйство держать, ни из чьих рук бы не смотреть!.. Тоже в колодце хотела топиться, тоже проклятым винищем пытала тоску залить... Голосá даже слышались мне: «Пей, гласят, пей — пройдет тоска...» А те голоса и та тоска и винное забытье — все от врага. Обидно ведь ему, супротивному, ежели человек, особливо в молодых годах — ангельский

чин восприемлет... Всячески действует он, окаянный, тогда. Так и Флены Васильевны дело — идет она, голубушка, к тихому невлаемому[1] пристанищу, ну враг-от ее и смущает... Пострижется, легче будет,— знаю по себе. Хоть тоже станет враг искушать,— он ведь не дремлет,— а все-таки не в пример легче будет ей, голубушке... Ох, уж этот враг рода человеческого!.. Денно и нощно стреляет он демонским своим стрелянием, денно и нощно смущает нас, многогрешных!.. Особливо нас, ангельский чин восприимших!.. К мирскому-то человеку по одному ведь только бесу сатана приставляет; а к приявшему ангельский образ — по десяти. Так и в писании святых отец говорится... Ох, жизнь наша, жизнь!.. Думаешь, легко житие-то наше иноческое?.. Ох, как тяжело оно, благодетель ты наш!.. Так тяжело, так тяжело, что тяжеле его и на свете нет ничего!..

И половины речей многоглаголивой Ираиды не слыхал Петр Степаныч. Теперь как день стало ему ясно, что Фленушка дошла до отчаянья ввиду неизбежной черной рясы.

«Хоть теперь она и не мирская девица,— думает он,— но как любимица властной игуменьи, живет на всей своей воле, а надевши манатейку, уж нельзя ей будет по-прежнему скакать, песни петь да проказничать... Тогда хочешь, не хочешь, смиренницей будь... А это ей хуже всего!.. Как переломить себя, как на другую стать себя переделать?.. Нет, надо, во что бы ни стало, надо вырвать ее из обители, пока совсем она не погибла... Пойду уговаривать!.. В Казань увезу, женюсь!.. Пой, веселись тогда, Фленушка!.. То-то будет житье, то-то будет счастье!..»

Так раздумывает сам с собой, идучи из обители Бояркиных, Петр Степаныч... Старая любовь долго помнится, крепче новой на́ сердце она держится: побледнел в его памяти кроткий миловидный образ Дуни Смолокуровой, а Фленушки, бойкой, пылкой, веселой Фленушки с мыслей согнать нельзя... Вспоминаются ночные беседы в перелеске, вспоминаются горячие ее поцелуи, вспоминаются жаркие ее объятья!.. «Ох, было, было времечко!..» — думает он.

---

[1] От старого глагола *влаяться* — колебаться.

«Какими бы речами уговорить упрямую, несговорчивую, чтобы бежала со мной сегодня же и не куколем, а брачным венцом покрыла победную свою голову?.. Упряма — и в малом и в большом любит она на своем поставить!..»

Так думает, стоя перед задним крыльцом Манефиной кельи, Петр Степаныч. А сердце так и замирает, так и трепещет...

ГЛАВА ПЯТАЯ

В то самое время, когда, утомленный путем, Самоквасов отдыхал в светелке Ермила Матвеича, Фленушка у Манефы в келье сидела. Печально поникши головой и облокотясь на стол, недвижна была она: на ресницах слезы, лицо бледнехонько, порывистые вздохи трепетно поднимают высокую грудь. Сложив руки на коленях и склонясь немного станом, Манефа нежно, но строго смотрела на нее.

— Ради тебя, ради твоей же пользы прошу и молю я тебя,— говорила игуменья.— Помнишь ли тогда на тихвинскую, как воротились вы с богомолья из Китежа, о том же я с тобой беседовала? Что ты сказала в ту́ пору? Помнишь?..

— Помню, матушка,— чуть слышно промолвила Фленушка.

— Сказала ты мне: «Дай сроку два месяца хорошенько одуматься». Помнишь?

— Помню,— прошептала Фленушка.

— Исполнились те месяцы,— немного помолчав, продолжала Манефа.— Что́ теперь скажешь?

Молчит Фленушка.

— В эти два месяца сколько раз соглашалась ты приять ангельский чин? — продолжала Манефа.— Шесть раз решалась, шесть раз отдумывала... Так али нет?

— Так,— едва могла промолвить Фленушка, подавляя душившие ее слезы.

— Решись, Фленушка, поспеши,— ласково продолжала свои речи Манефа.— Не видишь разве, каково мое здоровье?.. Помру, куда пойдешь, где голову приклонишь? А тогда бы властной хозяйкой надо всем была, и никто бы из твоей воли не вышел.

— Ох, матушка, матушка! Что мне воля? На что мне власть? — вскликнула Фленушка.— Что за жизнь без тебя? Нищей ли стану, игуменьей ли, не все ль мне одно? Без тебя мне и жизнь не в жизнь... Помрешь, и я не замедлю.

Так отчаянным, надорванным голосом говорила, горько плача, Фленушка.

— Един бог властен в животе и смерти,— молвила на то Манефа.— Без его воли влас с головы не падет... Премудро сокрыл он день и час кончины нашей. Как же ты говоришь, что следом за мной отойдешь? Опричь бога, о том никто не ведает.

— Не снести мне такого горя, матушка! — тихо промолвила Фленушка.

— Хорошо...— сказала Манефа.— Так не все ли ж тебе равно будет, что в белицах, что в черницах дожидаться моего скончания?.. Примешь постриг, и тогда тебе будет такая же жизнь, как теперь... Одежда только будет иная... Что бы с тобой ни случилось, все покрою любовью, все, все... Не знаешь ведь ты, сколь дорога ты мне, Фленушка!.. А если бы еще при моей жизни-то, под моей-то рукой начала бы ты править обителью!.. Все бы стало твоим... Нешто в мир захотела? — прибавила, помолчав немного, Манефа, зорким, проницательным взором поглядевши на Фленушку.

Та, закрыв лицо руками, не дала ответа.

Мало повременив, опять к ней с вопросом Манефа:

— Может, страсти обуревают душу? Мир смущает?

По-прежнему молчит Фленушка, а дыханье ее с каждой минутой становится порывистей.

— Может, враг смутил сердце твое? Полюбила кого? — понизив голос, спросила Манефа.

Молчит Фленушка. Но вскоре прервала молчанье глухими рыданьями.

— Что ж? — покачав печально головою, сказала Манефа.— Не раз я тебе говорила втайне — воли с тебя не снимаю... Втайне!.. Нет, не то я хотела сказать — из любви к тебе, какой и понять ты не можешь,— буду, пожалуй, и на разлуку согласна... Иди... Но тогда уж нам с тобой в здешнем мире не видеться...

— Матушка, матушка!— вскрикнула Фленушка и кинулась к ногам ее.

— Встань, моя ластушка, встань, родная моя,— нежным голосом стала говорить ей Манефа.— Сядь-ка рядком, потолкуем хорошенько,— прибавила она, усаживая Фленушку и обняв рукой ее шею...— Так что же? Говорю тебе: дай ответ... Скажу и теперь, что прежде не раз говаривала: «На зазорную жизнь нет моего благословенья, а выйдешь замуж по закону, то хоть я тебя и не увижу, но любовь моя навсегда пребудет с тобой. Воли твоей я не связываю».

— Как же мне покинуть тебя, матушка, при тяжких твоих болезнях? Как мне с тобой разлучиться?..— с плачем говорила Фленушка, склоня голову на грудь Манефы.— Хоша б и полюбила я кого, как же я могу покинуть тебя? Нет, матушка, нет!.. Царство сули мне, горы золотые, не покину я тебя, пока жизнь во мне держится.

— Ах ты, Фленушка, Фленушка! — взволнованным голосом сказала Манефа.— Вижу, что у тебя на душе теперь... Две любви в ней борются... Знаю, как это тяжело. Ох, как тяжело!.. Бедная ты моя!.. Бедная!

И не стерпела всегда сдержанная в своих порывах Манефа... Крепко прижала она к сердцу Фленушку и сама зарыдала над ней.

— Скажи ты мне,— шептала она. — Скажи, не утай.

Молчит Фленушка.

— Скажи, богом тебя прошу... Полюбила кого?..— продолжала Манефа.

— Да что ж это такое, матушка?! Зачем ты меня об этом спрашиваешь? — совсем упавшим голосом промолвила Фленушка.— Игуменское ли то дело?..

Ровно в сердце кольнуло то слово Манефу. Побледнела она, и глаза у ней засверкали. Быстро поднялась она с места и, закинув руки за спину, крупными, твердыми шагами стала ходить взад и вперед по келье. Душевная борьба виделась в каждом ее слове, в каждом ее движенье.

Вдруг остановилась она перед Фленушкой.

— Призовешь ли ты мне бога во свидетели, что до самой своей кончины никогда никому не откроешь того, что я скажу тебе... По евангельской заповеди еже есть, ей-ей и ни-ни?..

Изумилась Фленушка. Никогда не видала она такою Манефу... И следа нет той величавости, что при всяких

житейских невзгодах ни на минуту ее не покидала... Движенья порывисты, голос дрожит, глаза слезами наполнены, а протянутые к Фленушке руки трясутся, как осиновый лист.

— Призовешь ли передо мной имя господа? — чуть слышно она проговорила.

— Призываю господне имя! Ей-ей, никому не поведаю твоей тайны,— сказала Фленушка, с изумлением смотря на Манефу.

— Слушай же! — в сильном волненье стала игуменья с трудом говорить.— «Игуменское-ли то дело» — сказала ты... Да, точно, не игуменьино дело с белицей так говорить... Ты правду молвила, но... слушай, а ты слушай!.. Хотела было я, чтобы нашу тайну узнала ты после моей смерти. Не чаяла, чтобы таким словом ты меня попрекнула...

— Матушка! Что ты? Сказала я неразумное слово без умысла, без хитрости, не думала огорчить тебя... Прости меня, ежели ..— начала было Фленушка, но Манефа прервала ее.

— Не перебивай, слушай, что я говорю,— сказала она — Вот икона владычицы Корсунской пресвятой богородицы...— продолжала она, показывая на божницу.— Не раз я тебе и другим говаривала, что устроила сию святую икону тебе на благословенье. И хотела было я благословить тебя тою иконой на смертном моем одре... Но не так, видно, угодно господу. Возьми ее теперь же... Сама возьми... Не коснусь я теперь... В затыле тайничок. Возьми-же царицу небесную, узнаешь тогда: «игуменьино-ли то дело».

И спешным шагом пошла вон из кельи.

Недвижима стоит Фленушка. Изумили ее Манефины речи, не знает. что и думать о них. Голова кружится, в очах померкло, тяжело опустилась она на скамейку.

Две либо три минуты прошло, и она немножко оправилась... Тихими стопами подошла к божнице, положила семипоклонный нача́л, приложилась к иконе Корсунской богородицы и дрожащими руками взяла ее.

Открыла тайничок — там бумажка, та самая, что писала Манефа тогда, как Фленушка, избавясь от огненной смерти в Поломском лесу, воротилась жива и невредима с богомолья из невидимого града Китежа,

Положив на стол икону, трепещущими руками Фленушка развернула бумажку.

Взглянула — вскрикнула. В ее клике была и радость, был и ужас.

На бумажке было написано:

«Ведай, Флена Васильевна, что ты мне не токмо дщерь о господе, но и по плоти родная дочь. Моли бога о грешной твоей матери, да покрыет он, пресвятый, своим милосердием прегрешения ея вольные и невольные, явные и тайные. Родителя твоего имени не поведаю, нет тебе в том никакой надобности. Сохрани тайну в сердце своем, никому никогда ее не повеждь. Господом богом в том заклинаю тебя. А записку сию тем же часом, как прочитаешь, огню предай».

Как только поуспокоилась Фленушка от волненья, что овладело ею по прочтенье записки, подошла она к божнице, сожгла над горевшею лампадой записку и поставила икону на прежнее место. Потом из кельи пошла. В сенях встретилась ей Марья головщица.

— Не видала ли, куда прошла матушка?

— В часовню,— ответила Марьюшка.

Бегом побежала туда Фленушка.

Отворила дверь. В часовне Манефа одна... Ниц распростерлась она перед иконами... Тихо подошла к ней Фленушка, стала за нею и сама склонилась до земли.

Когда обе воротились из часовни, Фленушка села у ног матери, крепко обняла ее колена и, радостно глядя ей в очи, все про себя рассказала. Поведала родной свое горе сердечное, свою кручину великую, свою любовь к Петру Степанычу.

— Сначала я над ним тешилась да подсмеивалась,— говорила она,— шутила, резвилась, баламутила. Любо мне было дурачить его, насмех поднимать, надо всяким его словом подтрунивать... Зачнет он, бывало, мне про любовь свою рассказывать, зачнет меня уговаривать, бежала бы я с ним, повенчалась бы, а я будто согласье даю, а сама потом в глаза ему насмеюсь. Припечалится он, бедненький, повесит голову, слезы иной раз из глаз побегут, а мне то и любо — смеюсь над ним, издеваюсь... Вечера да ночки темные в перелеске мы с ним просиживали, тайные, любовные речи говаривали, крепко обнимались, сладко целовались, но воли над собой ему не да-

вала я... В чистоте соблюла я себя, матушка... Как перед богом тебе говорю...

Замолкла на минуту и потом, прижав голову к коленам матери, тихо продолжала сердечную исповедь.

— Третье лето так прошло у нас, каждое лето пуще и пуще он ко мне приставал, бежала бы я с ним и уходом повенчалася, а я каждый раз злее да злее насмехалась над ним. Только в нынешнем году, вот как в петровки он был здесь у нас, стало мне его жалко... Стала я тогда думать: видно, вправду он сильно меня полюбил... Больно, больно стала жалеть его — и тут-то познала я, что сама-то люблю его паче всего на свете.

И зарыдала, прижавшись к Манефе.

Ласкает, нежит Манефа дочку свою, гладит ее по волосикам, целует в головку, а у самой слезы ручьем.

— И раздумалась тут я, матушка,— всхлипывая, продолжает Фленушка.— Уехать, выйти за него замуж, в богатом доме быть полной хозяйкой, жить с ним неразлучно!.. Раем казалась такая мне жизнь!.. Но как только, бывало, вспомню я про тебя — сердце так и захолонет, и тогда нападет на меня тоска лютая... Жаль было мне тебя, матушка, не смогла я на побег согласья дать, видно чуяло сердце, что ты родная мне матушка, а я тебе милое детище!.. Переломила себя... Распрощались мы с ним на́веки, и дорога ему сюда мною заказана. Не видаться мне с ним, не говаривать.

И зарыдала, прижавшись к Манефе.

— Полно-ка, полно, моя доченька!.. Не надрывай сердечушка, родная моя!..— Так говорила Манефа, сама обливаясь слезами и поднимая Фленушку.— Успокой ты себя, касатушка, уйми свое горе, моя девонька, сердечное ты мое дитятко!..

Встала Фленушка, отерла слезы и, выпрямившись станом, твердым, резким голосом сказала матери:

— Все я открыла тебе. Все тебе поведала... Во всем созналась... И больше никогда о том ни единого слова ты от меня не услышишь... Теперь для меня все одно, что помер он... Вот еще что скажу... Нудила ты меня, много раз уговаривала принять иночество... Смущала тогда меня суета, с ума он у меня не сходил, хоть мы и расстались навеки... Отказалась я от него ради тебя, матушка, жаль мне было расстаться с тобой... А теперь, когда знаю, что я твое рожденье, когда знаю, какова у тебя

власть надо мной, вот тебе, родная, речи мои: положим начал перед иконами, благослови меня принять пострижение.

Крепко обняла Манефа Фленушку, и, ни слова не молвив в ответ, стала с нею на молитву. Сотворив начал, положила игуменья обе руки на Фленушкину голову и сказала:

— Добр извол твой о господе! Благослови тебя господь и пресвятая богородица на житие иноческое, а мое грешное благословение навсегда да пребудет с тобою. Поди теперь, успокойся!..

Поклонилась Фленушка в ноги Манефе, испросила у ней прощения и благословения.

— Бог простит, бог благословит! — сказала игуменья, и Фленушка медленно пошла вон из кельи.

Воротясь в свою комнату, остановилась она посередке ее. Ровно застыла вся, ровно окаменела. Унылый, неподвижный взор обращен в окно, руки опущены, лицо бледно, как полотно, поблекшие губы чуть заметно вздрагивают.

«Клонит ветер деревья,— думает она, глядя на рощицу, что росла за часовней.— Летят с них красные и желтые поблекшие листья. Такова и моя жизнь, такова и участь моя бесталанная... Пришлось куколем голову крыть, довелось надевать рясу черную!.. Иначе нельзя!.. Родная мать велит — надо покориться!.. А он-то, мой милый, желанный... Чует ли твое сердце, Петенька, что со мной теперь деется?.. Где уж тут?.. И думать, чать, забыл... Хоть бы разок еще на него взглянуть!.. Да где уж тут!.. Ты прости, прощай, мой сердечный друг, ты прости, прощай, голубчик мой Петенька!.. Не видаться нам с тобой, не просиживать ночки темные!.. Ах ты, жизнь моя, жизнь горе-горькая, сокрушила ты победную мою голову, иссушила ретиво сердце!.. Хоть бы размыкать чем кручину».

Пошла в спальню и там, отворивши шкафчик, протянула руку к бутылке с бальзамом.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Посидевши у Бояркиных, побеседовавши с Ираидой, направил Петр Степаныч свой путь в Манефину обитель. Отворил дверь с заднего крыльца, Марьюшка по сеням бежит. Удивилась, стала на месте как вкопанная.

— Какими судьбами? — черные брови нахмурив и глазами сверкнув, спросила она у Петра Степаныча.

— Ну, что? — вокруг себя озираясь, шепотом спросил у нее Самоквасов.

— Насчет чего? Насчет казанской-то, что ли?—тоже шепотом, тоже чуть слышно промолвила Марьюшка.

— Ну, да. Знает матушка?

— Не знает, не ведает,— ответила Марьюшка.— На Патапа Максимыча поворочено. Спервоначалу-то на моего пострела у них дума была, знают, что сызмальства с Васькой приятелем был. Опять же видели его Бояркины, как он с Васькой пешком куда-то пошел. Потом говорила матушка, ровно бы его, непутного, в городу видела — у Феклиста трактирщика под окном, слышь, сидел... А тут поскорости, как стал Патап Максимыч свои басни плести, будто по его хотенью то дело состряпалось, про Сеньку и толковать перестали. Где он, непутный?.. Что не привез с собой?

— Со старыми хозяевами дела он кончает, нельзя ему теперь отлучиться,— ответил Петр Степаныч.— А Фленушка что?

— Ничего,— спокойно промолвила Марьюшка.— Постригаться собирается, и я, глядя на нее,— прибавила головщица.

— Тоскует, слышь?

— Еще бы не тосковать!.. До кого ни доведись... При этакой-то жизни? Тут не то что встосковаться, сбеситься можно,— сердито заворчала Марьюшка.— Хуже тюрьмы!.. Прежде, бывало, хоть на беседы сбегаешь, а теперь и туда след запал... Перепутал всех этот Васька, московский посланник, из-за каких-то там шутов архиереев... Матери ссорятся, грызутся, друг с дружкой не видаются и нам не велят. Удавиться — так впору!..

— Фленушка и то, слышь, руки на себя...— начал было Петр Степаныч.

— Дурила,— перебила его головщица.— Хлебнула маленько, ну и пошумела.

— Неужто в самом деле пить начала? — тоскливо спросил Петр Степаныч.

— А что же не пить-то? — на ответ ему Марьюшка.— С этакой-то тоски, с этакой муки как иной раз не хлебнуть?.. Тебя бы посадить на наше место... И ты не стерпел бы... И тебе не под силу бы стало!

— Можно к матушке? — помолчав немножко, спросил Петр Степаныч.

— Спит,— отвечала Марьюшка.— К нам покамест пойдем, краля-то твоя дома...

И, взяв Самоквасова за руку, повела его по темным переходам. Распахнув дверь во Фленушкины горницы, втолкнула туда его, а сама тихим, смиренным шагом пошла в сторону.

Фленушка сидела у стола, какое-то рукоделье лежало перед ней, но она до него не дотрогивалась. Взглянул Петр Степаныч и едва узнал свою ненаглядную — похудела, побледнела, глаза до красноты наплаканы...

— Здравствуй, Фленушка! — радостно вскликнул он. В голосе его слышались и любовь, и тревога, и смущенье, и душевная скорбь.

Руками всплеснула Фленушка, стремительно вскочила со стула, но вдруг, неподвижно став середи комнаты, засверкала очами и гневно вскрикнула:

— Ты зачем?.. Тебя кто звал?.. Смущать?.. Покоя не давать?.. Забыл разве, что навек мы с тобой распрощались?..

— Фленушка! — нежно молвил ей Петр Степаныч, тихо взяв ее за руку.

Гневно выдернула она руку.

— Зачем, я тебя спрашиваю, зачем ты приехал сюда? — в сильном раздраженье она говорила.— Баловаться по-прежнему?.. Куролесить?.. Не стану, не хочу... Будет с тебя!.. Зачем же ты кажешь бесстыжие глаза свои мне?

— Истомился по тебе я, Фленушка,— со слезами в голосе заговорил Петр Степаныч.— А как услышал, что и ты зачала тосковать, да к тому еще прихварывать, таково мне кручинно стало, что не мог я стерпеть — наспех собрался, лишь бы глазком взглянуть на тебя.

— Ну, что же?.. Взглянул? Видел меня?..—прищурясь и надменно улыбаясь, молвила Фленушка.— Ну, и будет с тебя!.. Убирайся!..

— Да что ж это, Фленушка? Что с тобою? — в изумленье спрашивал ее Петр Степаныч и протянул было руки, чтобы охватить стройный, гибкий стан ее.

— С глаз долой! — увернувшись и топнув ногой, вскрикнула Фленушка.— Прочь!.. Чтобы я никогда тебя не видала.

— Что ты, что ты, Фленушка? — начал было Самоквасов.

Но ее уж не было. Стремительно кинулась она в спальню боковушу. Не успел опомниться Петр Степаныч, как она и на ключ заперлась. Раз-другой то́ркнулся, ответа нет.

— Фленушка, Фленушка!.. Выдь на минуточку!.. Пусти меня!

Но как ни молил, как ни просил, дверь не отворилась.

Маленько погодя, Марьюшка вошла.

— Встала матушка, можно теперь к ней,— сказала она.

— Что это с Фленушкой-то? Убежала, заперлась, говорить не хочет со мной,— спрашивал у головщицы Петр Степаныч.

— Нешто не знаешь ее? — брюзгливым голосом она ответила.— Чудит.

«Не выпила ль?» — мелькнуло в мыслях Самоквасова. Недовольный и сумрачный пошел он к Манефе.

— С чего это она зачудила? — доро́гой спросил головщицу.

— Как с чего? — досадливо и насмешливо ответила Марьюшка.— Да на такую жизнь ангел с неба сойди, и тот, прости господи, взбесится... Тоска!.. Слова не с кем молвить, не с кем ни о чем посоветоваться!.. Ни потужить, ни порадоваться!.. Опять же нудят ее в иночество... Каждый божий день уговоры, да слезы, да ворчанья... Как тут с ума не сойти?.. Посадить бы тебя на ее место, петлю бы на шею накинул. Не тебе бы, Петр Степаныч, попреки ей делать!.. Да. Кто на такую печаль да на горе навел ее? Кто напустил на нее такую кручину? Подумай-ка хорошенько, на чьей душе лежит ее горькая жизнь?..

— Нешто на моей? — сказал Самоквасов, останавливаясь перед кельей игуменьи.

— А то на чьей же? На куричьей, что ли? — вскинув кверху голову, задорно промолвила Марьюшка, указывая на наседку, что с дюжиной цыплят забрела в сени игуменьиной кельи.— Шишь, боговы! — тотчас же накинулась она на курячье племя, то в ладоши похлопывая, то с шумом вширь передник распуская.

— Расскажи ты мне, Марьюшка, все, что знаешь ты, до тонкости... Улучи минуточку, сделай дружбу — приходи куда-нибудь потолковать со мной... Хоть на самое короткое время...— Так молил головщицу взволнованный речами ее Петр Степаныч.

— Ишь что вздумал!.. — с досадой ответила Марьюшка.— Теперь не прежня пора: разом подстерегут... Началить-то не тебя станут!..

И взялась было за скобку игуменьиной двери.

— Ступай к матушке, дожидается,— молвила она Самоквасову.

— Постой! — удерживая ее руку, сказал он.— Шерстяной сарафан, батистовы рукава, шелковый алый платок на голову хочешь?

— Ну тебя, с платками-то! — огрызнулась Марьюшка.

— Через неделю пришлю, а хочешь деньгами — сейчас же получай,— продолжал он.

— А много ли деньгами-то? — опустив глаза, тихо промолвила Марьюшка.

— Двадцать рублев.

— Маловато, парень. Накинь еще красненькую,— сказала Марьюшка, бойко взглянув в глаза Самоквасову.

— Ладно,— сказал Петр Степаныч и, вынув деньги, подал их Марьюшке.

Поспешно спрятала она подарок под передником.

— Теперь бáловать с тобой мне некогда, да и нельзя. Неравно матушка выйдет,— сказала головщица.— Ты где пристал? У Бояркиных, что ли?

— У иконника,— ответил Петр Степаныч.

— Ну, парень, туда мне ходу нет,— молвила Марьюшка.— Вот что: зачнет темнеть, приходи в перелесок... Туда, где в прежни годá со своей прынцессой соловьев слушал... Ждать тебя буду и все расскажу. А теперь ступай поскорее к матушке.

И растворила дверь в ее келью.

Во всей обрядной одежде, величаво и сумрачно встретила Манефа Самоквасова. Только что положил он перед иконами семипоклонный начал и затем испросил у нее прощения и благословения, она, не поднимаясь с места, молча, пытливо на него поглядела.

— Как ваше здравие и спасение, матушка? — спросил Петр Степаныч, присев по указанию Манефы на скамейку, крытую цветным суконным полавошником.

— Здоровье плохо, а о спасении един господь ведает,— слегка поникая головой и медленно опуская креповую наметку, молвила Манефа.

И настало затем молчанье. Только маятник стенных часов в тиши мерно постукивает.

— Из Казани, что ли, бог принес? — спросила, наконец, Манефа.

— Нет, матушка. В Казани я с весны не бывал, с весны не видал дома родительского... Да и что смотреть-то на него после дедушки?.. Сами изволите знать, каковы у нас с дядей дела пошли,— отвечал Петр Степаныч.— В Петербург да в Москву ездил, а после того без малого месяц у Макарья жить довелось.

— Слышала, что у Макарья давненько живешь,— молвила Манефа.— В Петербурге-то бывши, не слыхал ли чего полезного про наши обстоятельства?

— Ничего полезного не слыхал я, матушка. Нового нет ничего. Одно только сказывают, не в дальнем, дескать, времени безотменно выйдет полное решенье скитам,— сказал Петр Степаныч.

— Знаем,— спокойно ответила Манефа.— Знаем и то, что конечного решенья покамест не будет. Зато впереди благополучия не предвидится. Из наших кого не видал ли в Питере?

— С Дрябиными виделся, у Громова, у Василья Федулыча, раз-другой побывал,— отвечал Самоквасов.

— Что они? — спросила Манефа.

— Славу богу, здоровы,— ответил Петр Степаныч.

— Рада слышать, что здоровы,— молвила Манефа.— Разговоров об наших трудных обстоятельствах у тебя с ними не было ли?

— С Дрябиными раза два говаривал, очень жалеют. и, по ихним словам, невозможно беды отвести. Милостыней обещались не покинуть вас, матушка...— сказал Петр Степаныч.

— Спаси их Христос, а что Громовы?

— Не удосужился поговорить со мной Василий Федулыч. Не время ему было.

— Что же так?

— Гости на ту пору у него случились,— отвечал Петр Степаныч.— Съезд большой был: министры, сенато́ры, генералы. В карты с ними играл, невозможно ему было со мной говорить!

— Гм! Спасительное дело в картах себе поставляет!..— с презрительной улыбкой, досадливо промолвила Манефа.— А дедовский завет не его дело помнить!.. Дураки, дескать, были у нас старики-то, мы люди умные, ученые! Дедушка-то Василья Федулыча гуслицким мужиком ведь был, капиталы под Москвой скопил немалые и завещал своим детям, внукам и правнукам всячески и безотложно на вечные времена помогать нашим керженским обителям. Не по дедушке Василий Федулыч пошел, иного стал духу, иссякло в нем древлее благочестие!.. Уты, утолсте, ушире, забы бога и честныя обители, во славу его сограждённые.

И, как будто непосильным трудом истомленная, низко наклонила она голову.

— Нельзя было ему, матушка, никак невозможно заняться со мной,— вступился было Петр Степаныч за Громова после короткого молчанья.

— Знаю, что некогда,— быстро подняв голову и сверкая гневными очами, воскликнула Манефа.— Знаю, что беса надо было ему картами тешить,— в порыве горячей запальчивости говорила она.— В евангельские времена Иуда за сребреники Христа продал; петербургские благодетели наши радехоньки в карты его проиграть, только бы потешиться с министрами да с игемонами, сиречь с проконсулами да с Каиафами... Что им бог? В чести бы да в славе пожить, а бог и душа — наплевать им!.. Не постави им, господи, во грех,— помолчав и немного успокоившись, тихим голосом прибавила разгневанная игуменья.— Покрой, господи, великим своим милосердием их прегрешения... Сохрани их, господи, в вере своей праведной, святоотеческой!..

И набожно возвела очи на иконы.

— Василий Федулыч в древлем благочестии тверд, матушка. И сам и домашние... За верное могу вам доложить! — сказал Самоквасов.

— Злобин еще тверже был,— тихо склоняя голову и оправляя креповую наметку, ответила Манефа.— Им одним держался Иргиз... Какую часовню-то в Вольске поставил он!.. Как разукрасил ее!.. Внес плащаницу дней

царя Константина и матери его Елены [1]. Ни богатству его счету, ни щедротам его не было сметы... А как сдружился он со знатными людьми, с министрами да с сенаторами — погряз в греховных суетах — исчез. И все прахом пошло, и с шумом погибла память Злобина... Приказчик был у него, Сапожниковым прозывался, отца его за пугачевский бунт в Малыковке [2] повесили. Разжился и он вкруг Злобина. Правдами и неправдами таково туго набил мошну, что подобных ему богачей нет и не бывало. Велико и громко повсюду было имя его, а достаткам счету не было... А когда и его отуманила мирская слава, когда и он охладел к святоотеческой вере и поступил на неправду в торговых делах, тогда хоть и с самыми великими людьми мира сего водился, но исчезе, яко дым, и богатства его, как песок, бурей вздымаемый, рассеялись... Так за льщения суетных господь полагает им злая!.. Так он, всесильный, низлагает человека, егда возгордится!.. Исчезоша и погибоша за беззакония!.. Всегда бывает так, любезный мой Петр Степаныч, ежели кто веру отцов на славу мира сменяет... Верь ты мне, что ключ к богатству в старой вере, отступникам же от нее нищета и стыдение... Твердо помни это, Петр Степаныч.. Скоро станешь ты своим капиталом владать, скоро будешь на всей своей воле, большого над тобой не будет — не забывай же слов моих... Забудешь — до тяжких дней доживешь, бдит бо и не коснит господь, ненавидяй беззакония.. Злобиным, Сапожни-

---

[1] В поповщинской часовне, построенной в Вольске Злобиным (теперь единоверческая церковь), есть старинная плащаница, купленная в прошлом столетии в Киеве женой Злобина, большой ревнительницей раскола. На той плащанице (XVI века) есть греческая надпись ямбическими стихами, не вполне сохранившаяся. Старообрядцы говорят, будто она устроена святым Митрофаном, первым цареградским патриархом, современником Константину Великому. Но при внимательном рассмотрении поврежденной и наклеенной на новый бархат надписи, оказывается, что слова πατριαρχσς нет, вместо его стоит γρηαρχοζ (начальник старцев, игумен какого-либо греческого монастыря). Во дни Константина, Елены и патриарха константинопольского Митрофана не было еще ни плащаниц, ни службы в великую субботу над плащаницей, ни такого шитья. В надписи вместо Μιτροφαγεζ стоит только Μιτρσφα, слова γεζ нет и не было. В Византии был один патриарх Митрофан, современник Константину, но почему ж плащаница не могла быть у патриарха александрийского или иерусалимского, носившего имя Митрофана, в XVI столетии.

[2] Слобода Малыковка, ныне уездный город Вольск.

ковым, Громовым не уподобься!.. Не ходи по широкой стезе, ими проложенной,— во тьму кромешную она ведет... Там, в вечной жизни, геенна огненная, здесь, на земле, посмеяние твоей памяти — вот что себе уготоваешь!.. Помни же слово мое.

— Матушка, да разве нет пользы древлему благочестию от того, что почтенные наши люди с сильными мира знаются?..— возразил Петр Степаныч.— Сами же вы не раз мне говаривали, что христианство ими ото многих бед охраняется...

— Господь пречистыми устами своими повелел верным иметь не только чистоту голубину, но и мудрость змеину,—сказала на то Манефа.—Ну и пусть их, наши рекомые столпы правоверия, носят мудрость змеину — то на пользу христианства... Да сами-то змиями-губителями зачем делаются?.. Пребывали бы в незлобии и чистоте голубиной... Так нет!.. Вникни, друг, в слова мои, мудрость в них. Не моя мудрость, а господня и отец святых завещание. Ими заповеданное слово говорю тебе. Не мне верь, святых отцов послушай.

И низко опустила на лицо наметку.

Замолчал Самоквасов. Немного повременя спросила у него Манефа:

— Как теперь с дядюшкой-то, с Тимофеем-то Гордеичем?

— По судам дело наше пошло,— отвечал Петр Степаныч.— Обнадеживают, что скоро покончат. По осени надо будет свое получить.

— Дай тебе господи! — молвила Манефа.— Будешь богат — не забудь сира, нища и убога, делись со Христом своим богатством... Неимущему подашь — самому Христу подашь. А паче всего в суету не вдавайся, не поклонничай перед игемонами да проконсулами.

— Я, матушка, завсегда рад по силе помощь подать неимущему,— сказал Петр Степаныч.— И на святые обители тоже... Извольте на раздачу принять.

И подал ей две сотенных.

— Это, матушка, от самого от меня,— примолвил он.— Досель из чужих рук глядел, жертвовал вам не свое, а дядино. Теперь собственную мою жертву не отриньте.

— Спаси тебя Христос. Благодарна за усердие,— сказала Манефа и, вставши с лавки, положила перед

иконами семипоклонный начал.— Чайку не покушаешь ли? — спросила она, кончив обряд. И, не дождавшись ответа, ударила в стоявшую возле нее кандию.

Келейная девица вошла... То была Евдокеюшка, племянница добродушной Виринеи, что прежде помогала тетке келарничать. Теперь в игуменьиных комнатах она прислуживала. Манефа велела ей самовар собрать и приготовить что следует к чаю.

— Пали до нас и о тебе, друг мой, недобрые вести, будто и ты мирской славой стал соблазняться,— начала Манефа, только что успела выйти келейница.— Потому-то я тебе по духовной любви и говорила так насчет Громова да Злобина. Мирская слава до добра не доводит, любезный мой Петр Степаныч. Верь слову — добра желая говорю.

— Чем же соблазняюсь я, матушка? Помилуйте!..— с удивлением спросил Самоквасов.

— Говорят, сборы какие-то там были у Макарья на ярманке. Сбирали, слышь, на какое-то никонианское училище,— строго и властно говорила Манефа.— Детским приютом, что ли, зовут. И кто, сказывали мне, больше денег дает, тому больше и почестей мирских. Медали, слышь, раздают... А ты, друг, и поревновал прелестной славе мира... Сказывали мне... Много ль пожертвовал на нечестие?

— Сто целковых,— тихо, приниженным голосом ответил Петр Степаныч.

— Сто целковых! Деньги порядочные! — молвила Манефа.— И на другое на что можно б было их пожертвовать. На полезное душе, на доброе, благочестивое дело.. А тебе медали захотелось?

— Разве худое дело, матушка, на бедных сирот подать? — возразил Петр Степаныч, пристально глядя на строгую игуменью.

Еще ниже спустила она на лицо наметку, еще ниже склонила голову и чуть слышным голосом учительно проговорила:

— В писании. друг, сказано: «Аще добро твориши, разумей, кому твориши, и будет благодать благам твоим. Добро сотвори благочестиву и обрящеши воздаяние аще не от него, то от вышнего. Даждь благочестиву и не заступай грешника, добро сотвори смиренному и не

даждь нечестивому, возбрани хлебы твоя и не даждь ему» [1]. Понял?

— Сиротки ведь они, матушка, пить-есть тоже хотят, одним подаяньем только и живут,— промолвил на то Петр Степаныч.

— То прежде всего помни, что они — никониане, что от них благодать отнята... Безблагодатны они,— резко возвысила голос Манефа.— Разве ты ихнего стада? Свою крышу, друг мой, чини, а сквозь чужую тебя не замочит. О своих потужи, своим помощь яви, и будет то угодно перед господом, пойдет твоей душе во спасенье. Оглянись-ка вокруг себя, посмотри, сколь много сирых и нищих из наших древлеправославных христиан... Есть кому подать, есть кому милость явить... Ну, будет началить тебя, довольно... Долго ль у нас прогостишь?

— Не знаю, как вам сказать, матушка,— отвечал Самоквасов.— Признаться, долго-то заживаться мне некогда, в Казань дела призывают.

— Лучше бы вам миролюбно как-нибудь с дядей-то покончить,— думчиво промолвила Манефа.— Что хорошего под иноверный суд идти? Выбрать бы обоим когонибудь из наших христиан и положиться бы во всем на его решенье. Дело-то было бы гораздо праведнее.

— Самому мне, матушка, так хотелось сделать, да что же я могу? — сказал Самоквасов.— Дядя никаких моих слов не принимает. Одно себе заладил: «Не дам ни гроша» — и не внимает ничьим советам, ничьих разговоров не слушает...

— Сам-от ты говорил с ним? — помолчавши маленько, спросила Манефа.

— На глаза не пущает меня,— ответил Петр Степаныч.— Признаться, оттого больше и уехал я из Казани; в тягость стало жить в одном с ним дому... А на квартиру съехать, роду нашему будет зазорно. Оттого странствую — в Петербурге пожил, в Москве погостил, у Макарья, теперь вот ваши места посетить вздумал.

— Злобность и вражда ближних господу противны,— учительно сказала Манефа.— Устами царя Давыда он вещает: «Се что добро иль что красно, но еже жити братии вкупе». Очень-то дяде не противься: «Пред лицом седого восстани и почти лицо старче...» Он ведь

[1] Сираха, XII, 1—5.

тебе кровный, дядя родной. Что-нибудь попусти, в чем-нибудь уступи.

— На все я был согласен, матушка, на все,— молвил на те слова Самоквасов.— Все, что мог, уступал, чужие дивились даже... А ему все хочется без рубашки меня со двора долой. Сами посудите, матушка, капитал-от ведь у нас нераздельный; он один брат, от другого брата я один... А он что предлагает?.. Изо всего именья отдай ему половину, а другую дели поровну девяти его сыновьям да дочерям, десятому мне... На что ж это похоже?.. Что это за татарский закон?.. Двадцатую долю дает, да и тут, наверное можно сказать, обсчитает. Шел я вот на какую мировую — бери себе половину, а другую дели пополам, одну часть мне, другую его детям. Так нет, не хочет... Все ему мало. Еще меня же неподобными словами обзывает. Каково же мне терпеть это?.. Хочется дяде ободрать меня, ровно липочку.

— Мудреные дела, мудреные!..— покачивая головой, проговорила Манефа и, выславши вошедшую было Евдокею келейницу, стала сама угощать Самоквасова чаем, а перед тем, как водится, водочкой, мадерцей и всякого рода солеными и сладкими закусками.

— Патап Максимыч как в своем здоровье? — спросил Самоквасов после короткого молчанья.

— Здоров,— сухо и нехотя ответила Манефа.

Как ни старался Петр Степаныч свести речь на семейство Чапурина, не удалось ему. Видимо, уклонялась Манефа от неприятного разговора и все расспрашивала про свою казначею Таифу, видел ли он ее у Макарья, исправилась ли она делами, не говорила ль, когда домой собирается. Завел Петр Степаныч про Фленушку речь, спросил у Манефы, отчего ее не видно и правду ли ему сказывали, будто здоровьем она стала не богата. Быстрым взором окинула игуменья Петра Степаныча, сжала губы и, торопливо поправив наметку, медленно, тихо сказала:

— В своем месте, надо думать, сидит, не то в иную обитель ушла... На здоровье точно что стала почасту жаловаться... Да это минет.

И то́тчас свела разговор на предстоящее переселенье в город.

— Места́ куплены, лес заготовлен, стройка началась, под крышу вывели, скоро зачнут и тесом крыть,— гово-

рила Манефа.— Думала осенью перебраться, да хлопоты задержали, дела. Бог даст, видно, уж по весне придется перевозиться, ежели господь веку продлит. А тем временем и решенье насчет наших обстоятельств повернее узнаем.

Не мало время сидел Петр Степаныч у Манефы. Прежде, бывало, в ее келье то Фленушка с Марьюшкой, то из матерей кто-нибудь сидит — теперь никого. Даже Евдокея келейница, поставивши на стол самовар, хоть бы раз потом заглянула. Никогда так прежде не важивалось.

На прощанье Манефа еще раз поблагодарила Самоквасова за его приношенье, но в гости не звала, как бывало прежде... Простилась сухо, холодно, тоже не попрежнему.

Зашел было снова к Фленушке Петр Степаныч, но ее горницы были за́перты, даже оконные ставни закрыты.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Седьмой час после полудня настал, заката́лось в сизую тучу красное солнышко, разливалась по вскраю небесному заря алая, выплывал кверху светел месяц. Забелились туманы над болотами, свежим холодком повеяло и в Каменном Вражке и в укромном перелеске, когда пришел туда Петр Степаныч на свиданье с Марьей головщицею... На урочном месте еще никого не было. Кругом тишь. Лишь изредка на вечернем перелете протрещит в кустах боровой кулик[1], лишь изредка в древесных ветвях проворчит ве́тютень[2], лишь изредка там либо сям раздадутся отрывистые голоса лежанок, барашков, подкопытников[3]. Не заметно ни малейшего признака, чтобы кто-нибудь из людей перед тем приходил в перелесок, трава нигде не примята. Переждав несколько времени, раз, другой аукну́л Самоквасов, но не было ни отзыва, ни отклика. «Обманула Марьюшка! — ему

[1] Иначе «слука» — Scolopax rusticola. У охотников и поваров эта дичь известна под названием вальдшнепа.

[2] Columba palumbus.

[3] *Лежанка* — Scolopax major, охотники дупелем ее зовут. *Барашек* — Scolopax media — по-охотничьи и по-поварски бекас. *Подкопытник*, иначе *крошка, стучик* — Scolopax minor, самая маленькая из породы Scolopax птичка, у охотников зовется *гаршнепом*.

подумалось.— Деньги в руках — больше ей не надо ничего!..»

О Фленушке раздумался?.. «Отчего это она слова со мной не хотела сказать?.. Зачем заперлась, ставни даже закрыла? За какую провинность мою так осерчала?.. Кажется, я на все был готов — третье лето согласья добиваюсь, а она все со своей сухою любовью... Надоел, видно, ей, прискучил... или обнесли меня чем-нибудь?.. По обителям это как раз... На что на другое, а на сплетни да напраслину матери с белицами куда как досужи!..»

Так, раскинувшись на сочной, зеленой траве, размышлял сам с собою Петр Степаныч. Стали ему вспоминаться веселые вечера, что бывало, проводил он с Фленушкой в этом самом перелеске. Роем носятся в памяти его воспоминанья об игривых, затейных забавах резвой, бойкой скитянки... Перед душевными его очами во всем блеске пышной, цветущей красы восстает образ Фленушки... Вспоминается мельком и нежная, скромная Дуня Смолокурова, но бледнеет ее образ в сравнении с полной жизни и огня, с бойкой, шаловливой Фленушкой. Тихая, робкая, задумчивая и уж вовсе неразговорчивая Дуня представляется ему каким-то жалким, бедным ребенком... А у той баловницы, у Фленушки, и острый разум, и в речах быстрота, и нескончаемые веселые разговоры. «Из Дуни что-то еще выйдет,— думает Самоквасов,— а Фленушка и теперь краса неописанная, а душой-то какая добрая, какая сердечная, задушевная!..»

Где-то вдали хрустнул сушник. Хрустнул в другой раз и в третий. Чутким ухом прислушивается Петр Степаныч. Привстал,— хруст не смолкает под чьей-то легкой на поступь ногой. Зорче и зорче вглядывается в даль Петр Степаныч: что-то мелькнуло меж кустов и тотчас же скрылось. Вот в вечернем сумраке забелелись чьи-то рукава, вот стали видимы и пестрый широкий передник и шелковый рудожелтый [1] платочек на голове. Лица не видно — закрыто оно полотняным платком. «Нет, это не Марьюшка!» — подумал Петр Степаныч.

Побежал навстречу... Силы небесные!.. Наяву это или в сонном мечтанье?.. Фленушка.

От радости и удивленья вскрикнул он.

— Тише!..— руку подняв, шепотом молвила Фленушка.— Следят!.. Тише, как можно тише!.. Дальше

[1] Оранжевый.

пойдем, туда, где кустарник погуще, к Елфимову. Там место укромное, там никто не увидит.

— Пойдем!.. Пойдем, моя милая, дорогая моя,— начал было Петр Степаныч, в жарком волненье схватив Фленушку за руку.

Отдернула она руку и чуть слышно прошептала ему:

— Словечка не смей молвить, лишний раз не вздохни! услышать могут... Накроют...

— Да я, Фленушка...— зачал было Самоквасов.

— Потерпи же!.. Потерпи, голубчик!.. Желанный ты мой, ненаглядный!.. До верхотины Вражка не даль какая.— Так нежно и страстно шептала Фленушка, ступая быстрыми шагами и склоняясь на плечо Самоквасова.— Там досыта наговоримся...— ровно дитя, продолжала она лепетать.— Ох, как сердце у меня по тебе изболело!.. Исстрадалась я без тебя, Петенька, измучилась! Не брани меня. Марьюшка мне говорила... знаешь ты от кого-то... что с тоски да с горя я пить зачала...

И закрыла руками побледневшее лицо.

— Фленушка! — вскликнул Самоквасов.— Неужель это правда?

— А ты пока молчи... Громко не говори!.. Потерпи маленько,— прервала его Фленушка, открывая лицо.— Там никто не услышит, там никто ничего не увидит. Там до́сыта наговоримся, там в последний разок я на тебя налюбуюсь!.. Там... я... Ой, была не была!.. Исстрадалась совсем!.. Хоть на часок, хоть на одну минуточку счастья мне дай и радости!.. Было бы чем потом жизнь помянуть!..— Так страстно и нежно шептала Фленушка, спеша с Самоквасовым к верхотине Каменного Вражка.

Давно уж село солнышко. Вечерний подосенний сумрак небо крыл, землю темни́л. Белей и белей становились болота от вздымавшегося над ними тумана, широкими реками, безбрежными озерами казались они. Смолкли осенние птички, разве изредка вдали дергач прокричит, сова ребенком заплачет, филин ухнет в бору.

Пришли. Быстрым, порывистым движеньем сдернула Фленушка драповый плат, что несла на руке. Раскинула его по траве, сама села и, страстно горевшим взором нежно на друга взглянув, сказала ему:

— Садись рядком, как прежде... Посидим, голубчик, по-прежнему... В останышки с тобой посидим.

— Фленушка!— вскрикнул Петр Степаныч, садясь возле нее и обняв дрожащей рукой стан ее. Сам себя он не помнил и только одно мог выговорить: — Ах ты, Фленушка моя, Фленушка!..

Выскользнула она из его объятий и, слегка притронувшись ладонью к пылавшей щеке его, с лукавой улыбкой пальцем ему погрозила.

Припал он к высокой груди, и грустно склонилась над ним головою Фленушка.

— Ах ты, Петенька, мой Петенька! Ах ты, бедненький мой! — тихо, в порыве безотрадного горя, безнадежного отчаянья заговорила она, прижимая к груди голову Петра Степаныча.— Кто-то тебя после меня приласкает, кто-то тебя приголубит, кто-то другом тебя назовет?

Не частóй дробный дождичек кропит ей лицо белое, мочит она личико горючьми слезми... Тужит, плачет девушка по милóм дружке, скорбит, что пришло время расставаться с ним нáвеки... Где былые затеи, где проказы, игры и смехи?.. Где веселые шутки? Плачет навзрыд и рыдает Фленушка, слова не может промолвить в слезах.

— Фленушка. Фленушка!.. Что с тобой? — кротко, нежно лаская ее, говорил Самоквасов.

Миновал первый порыв — перестала рыдать, только тихие слезы льются из глаз.

— Давеча я к тебе приходил... С глаз долой прогнала ты меня... Заперлась...— с нежным укором стал говорить ей Петр Степаныч.— Видеть меня не хотела...

Опустила низко голову Фленушка и, закрыв лицо передником, тихо и грустно промолвила:

— Стыдно мне было... Дело еще непривычное... Не хотелось, чтобы ты видел меня такой!.. Выпила ведь я перед твоим приходом.

— Зачем это? — с горьким участьем чуть слышно сказал Петр Степаныч.— Что тут хорошего?..

Тихо, бережно взял он ее за руку. Опустив передник, она взглянула на него робким, печальным взором... Слезу заметила на реснице друга.

И полились у ней у самой из очей слезы. Горлицей, чуть слышно, воркует она, припав к плечу Самоквасова.

— А я думала... а я думала... бранить меня станешь!.. Корить, насмехаться!

— Насмехаться!.. Бранить!..— горько улыбнувшись, заговорил Петр Степаныч.— Какое слово ты молвила?.. Да могу ли я над тобой насмехаться!

Крепко прижалась к нему безмолвная Фленушка.

— Не я, Петя, пью,— заговорила она с отчаяньем в голосе.— Горе мое пьет!.. Тоска тоскучая напала на меня, нашла со всего света вольного... Эх ты, Петя мой, Петенька!.. Беды меня поро́дили, горе горенское выкормило, злая кручинушка вырастила... Ничего-то ты не знаешь, мил сердечный друг!

И надорванным голосом тихо и грустно запела:

Ноет сердце мое, ноет,
Ноет, занывает —
Злодейки кручинушки
Вдвое прибывает.
Ах ты, молодость моя, молодость,
Чем тебя мне помянути?
Тоской да кручиной,
Печалью великой.
Доля уж такая мне,
На роду так писано,
И печатью запечатано —
Не знавать мне счастья, радости,
С милым другом в разлученье быть!
Ах, туманы ль вы, туманушки,
Вы часты дожди осенние.
Уж не полно ль вам, туманушки,
По синю морю гулять,
Не пора ли вам, туманушки,
Со синя моря долой?
На мое ли на сердечушко,
На мое ли ретиво́
Налегала грусть, кручинушка,
Ровно каменна гора...
Не пора ль тебе, кручинушка,
С ретива́ сердца долой?
Аль не видывать, не знать мне
Радошных, веселых дней?..

Упал голос. Смолкла Фленушка.

— Нет, не видывать!.. Не видывать!..— чрез малое время, чуть слышно она промолвила, грустно наклонив голову и отирая слезы передником.

И снова запела. Громче и громче раздавалась по перелеску ее печальная песня:

Родила меня кручина,
Горе выкормило,
Беды вырастили,

И спозналась я, несчастная,
С тоскою да с печалью...
С ними век мне вековать,
Счастья в жизни не видать.

— Эх ты, Петенька, мой Петенька!.. Ох ты, сердечный мой! — вскликнула она, страстно бросаясь в объятья Самоквасова.— Хоть бы выпить чего!

— Что ты, Фленушка? Помилуй! — сказал Петр Степаныч.— Нешто тебе не жаль себя?

— Чего мне жалеть-то себя?..— с каким-то злорадством, глазами сверкнув, вскликнула Фленушка.— Ради кого?.. Нѐ для кого... И меня-то жалеть некому, опричь разве матушки... Кому я нужна?.. Ради кого мне беречь себя?.. Лишняя, ненужная на свет я уродилась!.. Что я, что сорная трава в огороде — все едино!.. Полют ее, Петенька... Понимаешь ли? полют... С корнем вон... Так и меня... Вот что!.. Чуешь ли ты все это, милый мой?.. Понимаешь ли, какова участь моя горькая?.. Никому я не нужна, никому и не жаль меня...

— Про меня-то, видно, забыла,— с нежным укором сказал Самоквасов.— Нешто я не жалею тебя?.. Нешто я не люблю тебя всей душой?..

— Поди ты, голубчик! — с горькой усмешкой молвила Фленушка.— Не знаешь ты, как надо любить... Тебе бы все мимоходом, только бы поба́ловать...

— Да сколько ж раз я молил тебя, уговаривал женой моей быть?.. Сколько раз богом тебя заклинал, что стану любить тебя до гробовой доски, стану век свой беречь тебя...— дрожащим голосом говорил Петр Степаныч.

— Говорить-то ты, точно, это говаривал, и я таковые твои речи слыхивала, да веры у меня что-то неймется им,— с усмешкой молвила Фленушка.— Те речи у тебя ведь облыжные... Не раз я тебе говаривала, что любовь твоя, ровно вешний лед — не крепка, не надежна... Жиденек сердцем ты, Петенька!.. Любви такой девки, как я,— тебе не снести... По себе поищи, потише да посмирнее. Что, с Дуней-то Смолокуровой ладится, что ли, у тебя?

— Что она!.. Ровно неживая... Рыба как есть,— с неудовольствием ответил Петр Степаныч.

— И рыбка, парень, вкусненька живет, коль ее хорошенько сготовишь...— с усмешкой молвила Фленушка

и вдруг разразилась громким, резким, будто безумным хохотом.— Мой бы совет — попробовать ее... Авось по вкусу придется...— лукаво прищурив глаза, она примолвила.

Прежняя Фленушка сидит с ним: бойкая речь, насмешливый взор, хитрая улыбка, по-бывалому трунит, издевается.

— Тиха уж больно, не ручна...— сквозь зубы процедил в ответ Петр Степаныч.

— А тебе бы все бойких да ручных,— подхватила Фленушка.— Ишь какой ты сахар медóвич!.. Полно-ка, дружок, перестань,— примолвила она, положив одну руку на плечо Самоквасову, а другою лаская темно-русые кудри его.— Тихая-то много будет лучше тебе, Петруша, меньше сплеток про вас будет... Вот мы с тобой проказничали ведь только, бáловались, до греха не доходили, а поди-ка, уверь кого... А все от того, что я бойковата... Нет, ты не покидай Дунюшки... Не ручна, говоришь,— сумей сделать ее ручною... Настолько-то у тебя умишка хватит, дурачок ты мой глупенький,— говорила она, а сама крепко прижималась разалевшейся щекой к горящей щеке Самоквасова.

— Ну ее! И думать не хочу... Ты одна моя радость... Ты одна мне всего на свете дороже! — со страстным увлеченьем говорил Петр Степаныч и, крепко прижав к груди Фленушку, осыпáл ее поцелуями...

— А ты не кипятись... воли-то рукам покамест не давай,— вырываясь из объятий его, со смехом промолвила Фленушка.— Тихая речь не в пример лучше слушается.

— Ах, Фленушка, Фленушка!.. Да бросишь ли ты, наконец, эти скиты, чтоб им и на свете-то не стоять!..— стал говорить Петр Степаныч.— Собирайся скорее, уедем в Казань, повенчаемся, заживем в любви да в совете. Стал я богат теперь, у дяди из рук не гляжу.

Вспыхнула Фленушка и, раскрыв пурпурные губки, страстным взором его облила... Но вдруг, как злым стрельцом подстреленная пташка, поникла головкой, и алмазная слеза блеснула в ее черных, как смоль, и длинных ресницах...

— Молви же словечко, моя дорогая, реши судьбу мою, ненаглядная! — молил Самоквасов.

Крепко прижав к лицу ладони, ровно дитя, чуть слышно она зарыдала.

— Матушка-то... Матушка-то как же?

— Что ж? Матушке свое, а нам свое...— резко ответил Петр Степаныч.— Сама говоришь, что не долго ей жить... Ну и кончено дело — она помрет, а наша жизнь еще впереди...

— Молчи! — властно вскрикнула Фленушка, быстро и гневно подняв голову.

Слез как не бывало. Исчезли на лице и страстность и нежность. Холодная строгость сменила бурные порывы палившей страсти. Быстро с лужайки вскочив, резким голосом она вскрикнула:

— Уйду!.. И никогда тебе не видать меня больше... Сейчас же уйду, если слово одно молвишь мне про матушку! Не смей ничего про нее говорить!.. Люблю тебя, всей душой люблю, ото всего сердца, жизнь за тебя готова отдать, а матушки трогать не смей. Не знаешь, каково дорога́ она мне!..

— Ну не стану, не стану,— уговаривал ее Петр Степаныч и снова привлек ее в объятья.

Безмолвна, недвижима Фленушка. Млеет в страстной истоме.

— Чего жалеть себя?.. Кому блюсти?.. Ох, эта страсть!..— чуть слышно шепчет она.— Зачем мне девство мое? К чему оно? Бери его, мой желанный, бери! Ах, Петенька, мой Петенька!..

Почти до свету оставались они в перелеске. Пала роса, поднялись едва проглядные туманы...

Возвращаясь домой, всегда веселая, всегда боевая Фленушка шла тихо, склонивши голову на плечо Самоквасова. Дрожали ее губы, на опущенных в землю глазах искрились слезы. Тяжело переводила она порывистое дыханье... А он высоко и гордо нес голову.

— Как же после этого ты со мной не поедешь? — говорил он властным голосом.— Надо же это венцом покрыть?

— Ох, уж я и сама не знаю, Петенька!..— покорно молвила Фленушка.— Уезжай ты, голубчик мой милый, уезжай отсюда дня на три... Дружочек, прошу тебя, мой миленький!.. Богом тебя прошу...

— А когда через три дня ворочусь — поедешь ли в Казань? Выйдешь за меня замуж?

Немного подумавши, она отвечала:

— Поеду... Тем временем я в путь соберусь... Так уедешь?.. Сегодня же, сейчас...

— Уеду,— сказал Петр Степаныч.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Не великая охота была Самоквасову выполнять теперь причуды Фленушкины. Прихотью считал он внезапное ее требованье, чтоб уехал он на три дня из Комарова. «Спешным делом ступай, не знай куда, не знай зачем! — думалось ему, когда он возвращался в светелку Ермилы Матвеича...— Что за блажь такая забрела ей в голову? Чем помешал я сборам ее?.. Чудна́я, как есть чудна́я!.. А досталась же мне!.. Заживу теперь с молодой женой — не стыд будет в люди ее показать, такую красавицу, такую разумницу!.. Три дня — не сколь много времени, зато после-то, после!.. А ехать все-таки охоты нет. Просидеть разве в светелке три дня и три ночи, никому на глаза не показываясь, а иконнику наказать строго-на́строго — говорил бы всем, что я наспех срядился и уехал куда-то?.. Нельзя — от келейниц ничего не укроется, пойдут толки да пересуды, дойдут до Фленушки, тогда и не подступайся к ней, на глаза не пустит, станет по-прежнему дело затягивать... Нет, уж, видно, ехать, выполнить, что велела,— отговорок чтобы после у ней не было».

Наскоро уложив в чемодан скарб свой, разбудил он Ермила Матвеича и упросил его тотчас же везти его до Язвицкой станции. Уверял Сурмина, что нежданно-негаданно спешное дело ему выпало, что к полдням непременно ему надо в соседний город поспеть. Подивился иконник, но ни слова не вымолвил. Покачал только седой головой, медленно вышел из избы и велел сыновьям лошадей закладывать. Не совсем еще обутрело, как Андрей, старший сын Ермилы Матвеича, скакал уж во весь опор с Самоквасовым по торной, широкой почтовой дороге.

В Язвицах, только что въехали они в деревенскую околицу, встретился Петру Степанычу старый знакомый—ухарский, разудалый ямщик Федор Афанасьевич. На водопой ко́ней он вел и, как только завидел Самоквасова, радостно вскликнул ему:

— А! Ваше степенство! По добру ль, по здорову ль? Давно не видались!

— Здравствуй, Федор Афанасьич!— вылезая из телеги, отвечал на привет его Самоквасов.— Каково поживаешь? Лошадок бы мне.

— Можно,— молвил ямщик.— Лошади у нас всегда наготове. Много ль потребуется?

— Пару,— сказал Петр Степаныч, отходя с ямщиком в сторону от тележки иконниковой.

— Что мало? — подмигнув Самоквасову с хитрой улыбкой, молвил ямщик.— Я было думал троек пять либо шесть вашему степенству потребуется, думал, что опять скитскую девку задумано красть...

— А ты потише... Зря-то не болтай... Нешто забыл уговор?..— понизив голос, сказал Петр Степаныч, оглянувшись на Ермилова сына.

Но коренастый, дюжий Андрей, откладывая усталых лошадей, ни на что не обращал вниманья.

— Зачем нам, ваше степенство, твой уговор забывать? Много тогда довольны остались вашей милостью. Потому и держим крепко заказ,— бойко ответил ямщик.— Ежели когда лишняя муха летает, и тогда насчет того дела молчок... Это я тебе только молвил, а другому кому ни-ни, ни гу-гу. Будь надежен, в жизни от нас никто не узнает.

— То-то, смотри,— молвил ему Петр Степаныч, ставши возле колодца у водопойной колоды.— Ненароком проболтаешься — беда.

— Кажись бы, теперича и беды-то опасаться нечего,— сказал Федор Афанасьев.— Тогда мы с тобой от Чапурина удирали, а теперь он на себя все дело принял — я-де сам наперед знал про ту самокрутку, я-де сам и коней-то им наймовал... Ну, он, так он. Пущай его бахвáлится, убытку от него нам нет никакого... А прималчивать все-таки станем, как ты велел... В этом будь благонадежен...

— Ладно, хорошо,— молвил Петр Степаныч.— Пой же скорей лошадей да закладывай. К полдням мне надо в городе быть безотменно.

— К Феклисту Митричу? — с усмешкой спросил Афанасьев.

— К нему,— сказал Петр Степаныч, а сам подумал: «В самом деле к Феклисту зайти... Квартирку ему за-

казать... Пристанем на перепутье, как покатим в Казань».

— Опять келейную хочешь красть,— усмехнулся Федор ямщик.— Что же? В добрый час... Расхорошее дело! Со всяким удовольствием послужим на том.

— Придет время, тогда повещу,— молвил Самоквасов.

— А много ль троек потребуется?. Сколь народу на отбой погони готовить? — тряхнув кудрями, спросил разудалый ямщик.

— Не такое дело. Больше тройки не надо будет,— сказал Петр Степаныч.

— Значит, сироту красть? Погони не чаешь... Дело!.. Можем и в том постараться... Останетесь много довольны... Кони — угар. Стрижена девка косы не поспеет заплесть, как мы с тобой на край света угоним... Закладывать, что ли, а может, перекусить чего не в угоду ли? Молочка похлебать с ситненьким не в охотку ли?.. Яичницу глазунью не велеть ли бабам состряпать? Солнышко вон уж куда поднялось — мы-то давно уж позавтракали.

— Нет, нет,— торопил его Петр Степаныч.— Скорей готовь лошадей — еду наспех, боюсь опоздать.

Десяти минут не прошло, как ухарский Федор Афанасьев во весь опор мчал Самоквасова по хрящевой дороге.

Подъехав к дому Феклистову, Петр Степаныч вошел к нему в белую харчевню. Были будни, день не базарный, в харчевне нет никого, только в задней горнице какие-то двое приказных шарами на биллиарде постукивали. Едва успел Петр Степаныч заказать селянку из почек да подовый пирог, как влетел в харчевню сам хозяин и с радостным видом кинулся навстречу к богатому казанцу.

— Какими это судьбами? — заговорил он, крепко сжимая руку Петра Степаныча.— Каким ветром опять принесло вашу милость в наш городишко?.. Да зачем же это вы в харчевню... Прямо бы ко мне в горницы!.. Дорога-то, чать, известна вашему степенству?.. Люди мы с вами маленько знакомые... Пожалуйте, сударь, кверху, сделайте такое ваше одолжение... Никитин,— обратился он к отставному солдату, бывшему в харчевне за пова-

ра,— отставь селянку с пирогом, что их милость тебе заказали... Уважим дорогого гостя чем-нибудь послаще... Пожалуйте, сударь Петр Степаныч, пожалуйте-с...

— Да ведь я дня на три сюда, не больше,— сказал Самоквасов.— Думал на постоялом дворе пристать, а у вас в харчевне перекусить только маленько.

— Пущу я вас на постоялый!..— сказал Феклист Митрич.— Как бы не так. Те самые горницы, что тогда занимали, готовы, сударь, для вас... Пожалуйте... Просим покорно!

— Да право же, мне совестно стеснять вас, Феклист Митрич,— говорил Самоквасов.— Тогда было дело другое — не стать же новобрачной на постоялом дворе ночевать; мое одиночное дело иное.

— Как вам угодно, а уж я вас не отпущу,— настаивал Феклист и силком почти утащил Петра Степаныча в свои покои...

Как водится, сейчас же самовар на стол. Перед чаем целительной настоечки по рюмочке. Авдотья Федоровна, Феклистова жена, сидя за самоваром, пустилась было в расспросы, каково молодые поживают, и очень удивилась, что Самоквасов с самой свадьбы их в глаза не видал, даже ничего про них и не слыхивал.

— Как же это так? — изумилась Авдотья Федоровна.— Как же вы у своих «моложан» до сей поры не бывали? И за горны́м столом не сидели, и на княжо́м пиру ни пива, ни вина не отведали [1]. Хоть свадьбу-то и уходом сыграли, да ведь Чапурин покончил ее как надо быть следует — «честью» [2]. Гостей к нему тогда понаехало и не ведомо что, а заправских-то дружек, ни вас, ни Семена Петровича, и не было. Куда же это вы отлучились от ихней радости?

— По разным местам разъезжал,— сказал Петр Степаныч.— В Москве проживал, в Петербурге, у Макарья побывал на ярманке. К тому же недосуги у меня разные случились, дела накопились... А вы, однако, не

---

[1] На север и северо-восток от Москвы *моложанами*, а на юге *молодожанами* называют новобрачных целый год. В Поволжье, особенно за Волгой, «моложанами» считаются только до первой после брака пасхальной субботы. *Горно́й стол* и *княжо́й пир* — обеды у новобрачных или у их родителей на другой и третий день после венчания.

[2] То есть со всеми обрядами.

сказали ли кому, что свадьбу Прасковьи Патаповны мы с Сеней состряпали?

— Полноте! . Как это возможно! — вступился Феклист.— Ни вашего приказанья, ни ваших милостей мы не забыли и в жизнь свою не забудем... А другое дело и опасаться-то теперь Чапурина нечего — славит везде, что сам эту свадебку состряпал... Потеха, да и только!..

— С чего ж это он? — спросил Самоквасов.

— Потому что гордáн [1]. Уж больно высокó себя держит, никого себе в версту не ставит. Оттого и не хочется ему, чтобы сказали: родную, дескать, дочь прозевал. Оттого на себя и принял...— с насмешливой улыбкой сказал Феклист Митрич.— А с зятем-то у них, слышь, в самом деле наперед было слажено и насчет приданого и насчет иного прочего. Мы уж и сами немало дивились, каких ради причин вздумалось вам уходом их венчать.

— Так было надо,— отвечал Самоквасов.— А вы все-таки никому не сказывайте, что это дело мы с Семеном обработали... Хоть до зимы помолчите...

— Слушаем, сударь, слушаем. Лишнего слова от нас и после зимы не проскочит,— молвил Феклист.— Да не пора ли гостю и за стол?.. Федоровна! Готово ли все у тебя?

— Милости просим, гость дорогой, мало жданный да много желанный! Пожалуйте нашей хлеба-соли откушать,— низко кланяясь, сказала Феклистова хозяйка.

Сели за стол. Никитину строго-настрого приказано было состряпать такой обед, какой только у исправника в его именины он готовит. И Никитин в грязь лицом себя не ударил. Воздáл Петр Степаныч честь стряпне его. Куриный взварец [2], подовые пироги, солонина под хреном и сметаной, печеная репа со сливочным маслом, жареные рябчики и какой-то вкусный сладкий пирог с голодухи очень понравились Самоквасову. И много тем довольны остались Феклист с хозяюшкой и сам Никитин, получивший от гостя рублевку.

— Ежели бы теперича рыба была у нас свежая, стерлядки бы, к примеру сказать, да ежели бы у нас по всему городу в погребах лед не растаял, мог бы я, сударь, и стерлядь в разваре самым отличным манером

[1] *Гордан, гордиян* — то же, что гордец.

[2] Суп из курицы.

сготовить, мог бы свертеть и мороженое. Такой бы обедец состряпал вам, каким разве только господина губернатора чествуют, когда его превосходительство на ревизию к нам в город изволит наезжать... А при теперешних наших запасах поневоле, ваше степенство, репу да солонину подашь. В эвтом разе уж не взыщите...— Так говорил осчастливленный рублевкой Никитин.

— Ладно, ладно. Спасибо и за то, что сготовил,— сказал Феклист Митрич.— Спасибо, ступай себе с богом!..

Но Никитин, маленько хлебнувший ради лучшего успеха в стряпне, не сразу послушался хозяина, не пошел по первому его слову из комнаты.

— Когда еще, ваше степенство, находился я в службе его императорского величества,— не слушая хозяина, говорил он Петру Степанычу,— в Малороссийском гренадерском генерал-фельдмаршала графа Румянцева Задунайского полку в денщиках у ротного командира находился. Бывало, как только приедет начальство на инспекторский смотр: бригадный ли, дивизионный ли, либо сам корпусный, тотчас меня к полковому на кухню прикомандируют. Потому что я из ученых — до солдатства дворовым человеком у господина Калягина был и в клубе поварскому делу обучался, оттого и умею самым отличным манером какие вам угодно кушанья сготовить, особенно силён я насчет паштетов. Майонезы опять, провансали по моей части. Генералы кушали и с похвалой относились... А здесь только над селянкой да над подовыми и сидишь... Распоганый нá этот счет городишко! И есть-то путем не умеют.

— А ты ступай к своему месту,— крикнул, наконец, Феклист Митрич на захмелевшего повара.— Гостю отдохнуть пора, а ты лезешь с разговорами. Ступай же, ступай!

И едва мог выжить из комнаты не в меру разговорившегося Никитина.

Здóрово соснул Петр Степаныч после бессонной ночи, тряской дороги и плотного обеда. Пóд вечер от нечего делать пошел по городу бродить. Захолустный городок был невелик — с конца на другой поля видны. Местоположение неважное — с трех сторон болота, с четвертой косогор. Широкие прямые улицы и обширные не-

обстроенные площади поросли сочной травой. Кроме немногих обитаемых чиновниками домов, все ставлены на подклетах,— дома обширные, высокие, из толстого сосняка да ельника. Сторона лесная, есть из чего хорошо и прочно построиться. Все ворота затворены, иные даже заперты, а на притолоке у каждых почти прибит на белой бумажке медный крест, и, кроме того, записочка с полууставною надписью: «Христос с нами уставися, той же вчера и днесь и во веки веков. Аминь». Значит, хозяева старой вере последуют... Там и сям середь улицы вырыты колодцы, над ними стоят деревянные шатры на толстых столбах. Тихо, чуть не безлюдно повсюду — нет звуков в сонном городке. Разве где-нибудь прогудит струна шерстобита, зашурчит станок ложкаря. Из иных домов глухо доносится тихое, гнусливое пение женских голосов — всенощную там староверы справляют. Строго, сурово повсюду—ни вольной, как птица небесная, песни, ни веселого задушевного говора, ни бойких, спорливых разговоров. Куры, что копаются на улицах в песке, свиньи, что усердно разрывают на соборной площади луговину, и те делают свое дело тихо, смирно. Пустыня не пустыня, а похоже на то.

Почти весь город обошел Петр Степаныч, а повстречал либо пять, либо шесть человек. И каждый встречный с удивленьем останавливался, с любопытством глядел на незнаемого человека и потом еще долго смотрел ему вслед, узнать бы, куда и к кому держит он путь. Тоска напала на Самоквасова, и сильно он обрадовался, когда на всполье у казенных, давным-давно запустелых соляных анбаров, охраняемых, однако, приличною стражей из инвалидной команды, увидал он Феклиста Митрича. Тотчас к нему подошел.

— Гуляете? — с радушной улыбкой спросил у него Феклист.

— Да, вышел было немножко пройтись. Исходил весь город и живой души не встретил,— отвечал ему Самоквасов.

— Будни,— со сладкой потяготой зевая и набожно крестя разинутый рот, лениво промолвил Феклист Митрич.— Кому теперь у нас по улицам шляться?.. Всяк при своем деле — кто работает, кто отдыхает... Хоша и до меня доведись — нешто стал бы я теперь по улицам

шманяться, ежели б не нужное дело... Не праздник се́дни, чтобы слоны-то продавать [1].

— Разве у вас не гуляют после работы? — спросил Петр Степаныч.

— Гуляют, да только по воскресеньям и по праздникам,— отвечал Феклист Митрич,— по четвергам еще гуляют, потому что базар, а в будние дни по́что народу гулять? День-то деньской над работой умаются, зашабашат — то́тчас ко щам, а после щей на боковую... Город наш благочестивый, не бездельный какой-нибудь, все при деле. Маленький мальчишка и тот с утра до́ ночи ложки ковыряет. Встал, умылся, оделся, богу помолился, хлебца перекусил, и за теслнчку [2]. Вон те так никоим путным делом не займутся,— примолвил Феклист, указывая на большой двухъярусный дом со множеством пристроек, со всех сторон его облепивших, и с закрытыми наполовину окнами.— Вон эти чернохвостые не орут, не сеют, а слаще да больше нашего едят. От нечего делать и пошли бы они, может быть, прогуляться, да ходу им на улицу нет, опричь того, что разве по самому нужному делу. Нельзя же черницам по улицам слоняться — не водится...

— А чей это дом? — полюбопытствовал Петр Степаныч.

— Келейницы живут,— ответил Феклист.— Мать Серафима оленевская. После дяди достался ей дом-от, она его летошний год и обрядила по-скитскому. Ишь сколь боковуш да светелок приляпала... Старицы к ней набрались и белицы; всего человек с пятнадцать теперь тут у нее живет. Как есть заправская обитель... Теперь у нас в городу много таких развелось и еще больше того разведется, потому что выгонка, слышь, скоро, матерей-то поразгонят. За́годя стали у нас селиться... Вишь, какие хоромы Манефа комаровская городит. Тетенька вашей-то моложаны будет, сестра родная Чапурину.— Так говорил Феклист желчно и досадливо, указывая на недостроенные и еще не покрытые кровлями дома́ возле соляных анбаров на самом всполье.

---

[1] *Слоняться, слоны продавать*, а также *шманяться, шмо́нить, шмо́ничать* — шататься без дела, бродить от безделья, отбывать от дела.

[2] *Тесличка* (тесло́) — железное орудие, употребляемое для выделки деревянных ложек.

— Три дома! — молвил Самоквасов, поглядев на Манефины постройки.

— Четыре,— перебил Феклист.— Четвертой-эт позади. С руки тут им будет — потаенного ли кого привезти, другое ли дельцо спроворить по ихнему секту [1], чего лучше как на всполье. И овраг рядом, и лес неподалеку — все как нарочно про них уготовано... Нашему брату, церковнику, смотреть на них, так с души воротит... Зачем они это живут... К чему?.. Только небо коптят. А пошарь-ка в сундуках — деньжищ-то что? Гибель!..

— Зачем же мать Манефа так широко́ строится? — спросил Самоквасов.— Незаконных вещей ведь она не творит...

— Широко́, значит, жить захотелось,— с усмешкой ответил Феклист Митрич.— Навезет с собой целый табор келейниц. Все заведет, как надо быть скиту. Вон и скотный двор ставит, и конный!.. Часовни особной только нельзя, так внутри келий моленну заведет... Что ей, Манефе-то?.. Денег не займовать... И у самой непочатая куча и у брата достаточно.

— С братом-то, слыщь, повздорила,— сказал Петр Степаныч.

— Что ж из того, что повздорила? Не важность! — молвил Феклист.— Ихни побранки подолгу не живут. А точно, что была у них драна грамота. А все из-за вашей самокрутки. Как принял все на себя Чапурин, Манефа и пошла ругаться. «Зачем, говорит, ославил ты мою обитель? Зачем, говорит, не от себя из дому, а от меня из скита девку крал?» А он хохочет да пуще сестрицу-то подзадоривает... Шальной ведь он!..

— А что у вас в городе про ту свадьбу говорят? — немного помолчав, спросил Самоквасов.

— Чего говорить-то? Ничего не говорят,— молвил Феклист.— Спервоначалу, правда, толков было достаточно, а теперь и поминать перестали.

— А много было толков?

— Довольно,— ответил Феклист.— Наши-то, церковники то есть, да и староверы, которые за матерей не больно гораздо стоят, помирают, бывало, со́ смеху, а их-

[1] В православном простонародье вместо *секта* иногда говорят *сект*.

ней статьи люди, особливо келейные, те на стены лезут, бранятся... Не икалось нешто вам, как они тогда поминки вам загибали?

— Разве узнали про меня? — с живостью спросил Петр Степаныч.

— По имени не называли, потому что не знали, а безыменно вдоволь честили и того вам сулили, что ежели б на самую малость сталось по ихним речам, сидеть бы вам теперь на самом дне кромешной тьмы... Всем тогда от них доставалось, и я не ушел, зачем, видишь, я у себя в дому моложан приютил. А я им, шмотницам, на то: «деньги плачены были за то, а от вас я сроду пятака не видывал... Дело торговое...» Унялись, перестали ругаться.

— А не доходило ли до вас про мать Манефу? — спросил Петр Степаныч.— Не было ли у ней на нас подозренья?

— Какое ж могло быть у ней подозренье? — отвечал Феклист Митрич.— За́ день до Успенья в городу она здесь была, на стройку желалось самой поглядеть. Тогда насчет этого дела с матерью Серафимой у ней речи велись. Мать Манефа так говорила: «На беду о ту пору благодетели-то наши Петр Степаныч с Семеном Петровичем из скита выехали — при ихней бытности ни за что бы не сталось такой беды, не дали бы они, благодетели, такому делу случиться».

— Это хорошо,— молвил Самоквасов, входя в дом Феклиста. А там Федоровна, сидя за самоваром, давно уж ждала и мужа и гостя.

На другой день воскресенье приходилось. Поутру́ зычно раздался звон большого соборного колокола. Вторя ему, глухо задребезжал надтреснутый напольный [1], и резко забряцал маленький серебристый колокол единоверческой церкви. День выдался красный, в небе ни облачка; ветер не шелохнет, пряди паутины недвижно висят в чистом, прозрачном воздухе, клонящееся к осени солнышко приветно пригревает вы́сыпавшие на улицу толпы горожан. Чинно, степенно одетые в темно-синие кафтаны и сибирки с борами назади, ходом неспеш-

---

[1] *Напольная церковь* — кладбищенская.

ным идут старики и пожилые люди. С удалью во взорах, с отвагой в движеньях, особыми кучками выступают люди молодые, все до единого в ситцевых рубахах с накинутыми поверх суконными чуйками. Старухи все в синем, с темными матерчатыми[1], затканными золотом головными платками; молодицы в ситцевых и шелковых сарафанах с яркими головками[2], а заневестившиеся девицы в московских сарафанах с белоснежными рукавами и с цветными платочками на головах. Все идут, все спешат, а ребятишки и девчонки давным уж давно снуют по улицам. Все глядят весело, празднично. Не много народа в собор прошло; меньше того в напольную, чуть-чуть побольше в единоверческую, зато густыми толпами повалил народ в дома келейниц. Всюду тихо — все молятся, каждый по-своему.

Чинно, степенно, без шума, без говора после молитвы по домам разошлись. Опустели улицы, и стар и мал за столом сидят, трапезуют чем кому бог послал. Пообедавши, старые люди на спокой пошли, кто помоложе — на улицу. Тут чуть-чуть оживился, тут едва развернулся мертвенный в обычное время городок. В лучших нарядах девушки и молодицы расселись под окнами. Рядышком по три да по четыре сидят безмолвные красавицы, ровно в землю врытые. Ни хоровода, ни песен, ни бойких веселых речей. Оборони господи молодицу, а пуще того девицу на выданье — громкое слово сказать. Засмеют вольницу, ославят, что смела нарушить давний обычай. И станут за то ее женихи обегать, а мужнюю жену сожитель зачнет поколачивать... Особыми кучками, также под оконья к кому-нибудь, старики попозже сбираются и до позднего вечера толкуют про свои дела. Тут и громкий говор и споры, иной раз до ссоры даже дойдет, но и бранятся чинно, степенно. Холостым много вольнее — с увесистыми палками в руках заводят они середь улицы любимую свою игру в городки. Расставив рядами деревянные чурки, мечут в них издали палками; кто больше сшиб, тот и выиграл. Тут смех, даже гром-

---

[1] *Матерчатый* — из шелковой ткани.

[2] *Головка*—головная повязка замужних горожанок из шелкового платка или косынки преимущественно яркого цвета. Встречаются головки и по деревням в зажиточных семействах. В последнее время они стали выходить из употребления, заменяясь шелковыми платками в роспуск.

кие крики, но чинность, степенность блюдется и середь молодежи.

Так веселятся в городке, окруженном скитами. Тот же дух в нем царит, что и в обителях, те же нравы, те же преданья, те ж обиходные, житейские порядки... Но ведь и по соседству с тем городком есть вражки, уютные полянки и темные перелески. И там летней порой чуть не каждый день бывают грибовные гулянки да ходьба по ягоды, и там до петухов слушает молодежь, как в кустиках ракитовых соловушки распевают, и там... Словом, и там, что в скитах, многое втайне творится...

Все улицы с переулками и со всеми заулками исходил Петр Степаныч. Людно везде, но столь строго и чинно, что ему, заезжему человеку, безжизненным, мертвым все показалось. Скучно стало ему — кругом незнакомые люди, не с кем речь повести, не с кем в разговор вступить. Пробовал, и не один раз пробовал, но ему отвечали сухо, нехотя, поглядывая на него недобрыми глазами. Тоска напала на Петра Степаныча середь чужих людей. Томимый скукой одиночества, вплоть до ночи пробродил он по городу, а на ночлеге другая беда — словоохотный Феклист подсел с докучными рассказнями, нисколько для гостя не любопытными. Рад бы не слушать, да хозяину рта не зашьешь. Стал отмалчиваться, и то не помогает, рассказни Феклиста о городских пользах и выгодах были нескончаемы. На головную боль стал жаловаться Самоквасов, думая, что хоть больному-то дадут покой. Не тут-то было — Феклист, а пуще его дородная и сильно к вечеру под влиянием настоечки разговорившаяся Федоровна, перебивая друг друга, стали ему предлагать разные снадобья, клятвенно заверяя, что от них всякую болезнь с него как рукой снимет. Чтоб избавиться от надоевшей болтовни, Петр Степаныч хотел было спать идти, но радушные хозяева его не пустили. «Как можно,— с изумленьем они говорили,— как возможно без ужина гостю держать опочив?..» Насилу отделался Самоквасов от докучного хлебосольства.. Радостно, свободно вздохнул он, запершись в отведенной ему комнате.

Жарко, душно. Воздух сперся, а освежить его невозможно. Перед тем как приехать Петру Степанычу, завернули было дожди с холодами, и домовитый Феклист закупорил окна по-зимнему... Невыносимо стало

Самоквасову — дела нет, сон нейдет... Пуще прежнего и грусть и тоска... Хоть плакать, так в ту же пору...

А Фленушка с ума нейдет. Только и мыслей, только и дум, что об ней да об ней. Жалко ее. Клянет и корит себя Самоквасов, что прежде законной поры до конца исканья свои довел... Но тут же и правит себя...[1] «Как же было стерпеть, как воздержаться?»... и тем старается успокоить свою совесть. А меж тем жалостью растопляется его сердце, любовь растет и объемлет все существо его... «Что-то теперь она, моя ластовка, что-то теперь, моя лебедь белая? К отъезду ли тихонько сбирается или с Манефой на последышках беседует?.. Ох, скорей бы, скорее проходили эти дни! Обнять бы ее скорей, увезти бы из скучного скита на новую жизнь, на счастье, на радость, на любовь бесконечную!.. Целый день еще остается!.. И зачем она так упорно домогалась, чтоб уехал я на то время, как станет она сряжаться?.. Чем помешал бы я ей?.. Прихоть, причуда!.. Такой уж нрав — ни с того ни с сего заберет что-нибудь себе в голову. Тут вынь да положь — тешь девичий обычай!..»

Не сходит с ума Фленушка, не сходит она и со взоров духовных очей у Петра Степаныча. Наяву стала чудиться, ровно живая...

Раскидался в сонном бреду Петр Степаныч на высоко взбитой пуховой перине. Призраки стали являться ему... И все Фленушка, одна только Фленушка. Но не такова, какою прежде обычно бывала. Не затейница веселых проказ, не бойкая, насмешливая причудница. Иная Фленушка теперь видится, какою под конец последнего свиданья была: тихая, безмолвная, в робком смятенье девичьей стыдливости, во всей красоте своей, во всей прелести. Закинулась назад миловидная головка, слезой наслажденья подернулись томные очи, горят ланиты, трепещут уста пурпуровые... Распахнулась белоснежная сорочка, и откинулась наотлет, будто резцом художника из мрамора иссеченная, стройная рука... Не звонкий хохот, не резкая речь слышится в мертвой тиши темной ночи Петру Степанычу; слышится ему робко слетающий с трепетных уст страстный лепет, чудится дрожащий шепот, мечтаются порывистые, замирающие вздохи...

---

[1] Оправдывает.

На другой день Петр Степаныч придумать не мог, куда бы деваться, что бы делать с собой. После бессонной ночи в душной горнице, после дум беспокойных, после страстных горячих мечтаний едва мог он с постели подняться. Увидав его, бледного, истомленного,— Феклист Митрич не на шутку перепугался. Не тертый картофель, не кочан капусты к голове стал теперь ему предлагать, но спрашивал, не сбегать ли за лекарем. Петр Степаныч наотрез отказался. Пуще всего тому дивился Феклист, что, выпив две чашки чаю, Петр Степаныч не согласился позавтракать. Ни жаренные в сметане белые грибы, ни копченая семга, ни сочный уральский балык, ни сделанный самой Федоровной на славу жирный варенец, ни стряпня того повара, что лакомил когда-то командиров, не соблазнили его. Много Феклист за гостем ухаживал, много его потчевал, но не принял приветно и ласково речей его Петр Степаныч... А много было Феклист хлопотал, потому что думал, ежель побольше да слаще поест казанский наследник, щедрее заплатит ему за постой. Отказ от завтрака за убыток себе он почел.

Вышел Самоквасов на улицу. День ясный. Яркими, но не знойными лучами обливало землю осеннее солнце, в небе ни облачка, в воздухе тишь. Замер городок по-будничному — пусто, беззвучно... В поле пошел Петр Степаныч.

Без цели, без намеренья, выйдя за городскую околицу, зашел он на кладбище. Долго бродил меж поросших густою травой надмогильных насыпей, меж старых и новых крестов и голубцов. Повидней да побогаче памятников было немного — ставлены они были только вкруг церкви над почетными горожанами, больше над чиновниками. Из дворян во всем захолустном уезде никого не живет, а купечество почти сплошь старинки держится и хоронится в особом участке отдельно от церковников, оттого и нет возле церкви очень богатых памятников. Походил Самоквасов по кладбищу, бессознательно перечитал все надгробия. Было немало смешных и забавных. Вот на чугунном столбике без знаков препинания начертано: «Господи! в селениях твоих подаждь ему успокоение от супруги его Ольги Ивановны». Вот на каменной плите иссечено произведение доморощенного стихотворца и в нем завещание в бозе усопшей болярыни

ни Анны супругу ее, оставшемуся в земной плачевной юдоли:

«Помяни ты мое слово — на другой ты не женись».

Вот на кирпичном, ржавой жестью обитом мавзолее возвещается «прохожему», что тут погребен «верный, усердный раб церкви — удельный крестьянин такой-то, в двух жалованных из кабинета его императорского величества кафтанах, один кафтан с позументами, а другой с золотым шитьем и таковыми ж кистями». Бессознательно читает Петр Степаныч кладбищенские сказанья, читает, а сам ничего не понимает. Далеко его думы — там на Каменном Вражке, в уютных горенках милой, ненаглядной Фленушки.

Всюду тихо, лишь кузнечики неустанно трещат в намогильной траве и в спелой яри на несжатых еще яровых полях. Изредка в поднебесье резко пропищит ястреб, направляя бойкий полет к чьему-нибудь огороду полакомиться отставшим от наседки цыпленком. В немой тиши один с заветной думой бродит Петр Степаныч по божьей ниве... Весь мир им забыт, одна Фленушка только на мыслях. «Завтра, завтра, только что стемнеет, мы с ней в Казань. В людном, большом городе, в шумной жизни забудет она Манефу и скит... К новой жизни скоро привыкнет... Разряжу ее на зависть всем, на удивленье... Игры, смехи, потехи любит она,— на жизнь веселую ее приведу...»

С поля ветер пахнул, далекие голоса послышались: «Воистину суета всяческая! Житие бо се — сон и сень, и всуе мятется всяк земнородный...» [1].

Ровно ножом полоснуло по́ сердцу Петра Степаныча... «Что это?.. Надгробная песня?.. Песня слез и печали!..— тревожно замутилось у него на мыслях.— Не веселую, не счастливую жизнь они напевают мне, горе, печаль и могилу!.. Ей ли умирать?.. Жизни веселой, богатой ей надо. И я дам ей такую жизнь, дам полное довольство, дам ей богатство, почет!..»

«Аще и весь мир приобрящем и тогда в гроб вселимся, иде же купно цари же и убозии...» — доносится пение келейниц...

— О будь вы прокляты!..— вскрикнул Петр Степаныч...

---

[1] Седален 6 гласа в «Службе усопшим». Текст по Филаретскому «Потребнику» 1623 года. Лист 660.

И, смущенный, в тревожном смятенье медленным шагом пошел он на те голоса... Нехотя идет, будто тайной, непонятной силой тянет его туда... «Суета!.. Сон и сень!.. Во гроб вселимся!..» — раздается в ушах его. Страх осетил рассудок и все помышленья его... Не венчальных же ликов, не удалых, веселых песен ждать ему на могилах, но это и в голову ему не приходит Идет на голоса и вот видит — на дальнем староверском участке, над свежей, дерном еще не покрытой могилой скитские черницы стоят... На могиле чайная чашка с медом, кацей с дымящимся ладаном. Справляют канон... «По ком бы это?» — подумал Петр Степаныч и слышит:

«Рабе божией преставльшейся сестре нашей иноке Филагрии вечная память!..»

«Что за Филагрия такая?» — думает Самоквасов...

Кончили матери «службу об усопшей». А Петр Степаныч все на том же месте в раздумье стоит... «Сон и сень!.. Сон и сень!.. Всуе мятется всяк земнородный!.. Что это за Филагрия?..» Никакой Филагрии до той поры он не знал. Даже имени такого не слыхивал, а теперь с ума оно не сходит. Черные думы вконец обуяли его...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Едва мог дождаться вечера Петр Степаныч. Чтобы в точности выполнить Фленушкино желанье, надо бы ему было приехать в Комаров поутру. Но не в силах он был медлить так долго. Только что смерклось, поскакал он из города к Каменному Вражку, помчал стороной от большой дороги, по узкому, едва проездному проселку. Скачет то по горелому, то по срубленному лесу, ни мостов там нет через речки, ни гатей по болотам, зато много короче. Доставалось бокам Самоквасова от пней, от корневищ, от водороин, но не чувствует он ни толчков, ни ударов, торопит ямщика то и дело. Заря еще не занималась, как подскакал он к дому Ермилы Матвеича.

Спрашивает:

— Что в скиту? Нет ли каких новостей? Все ли живы-здоровы?

— Все слава богу живы-здоровы,— отвечает Ермило Матвеич.— А новостей никаких не предвидится. С

ярманки кое-кто воротились: мать Таифа Манефиных, мать Таисея Бояркиных. Больше того нет никаких новостей.

— Слава богу,— молвил Петр Степаныч и вздохнул глубоко и легко.

Подивился на гостя Сурмин, но не молвил ни слова.

Один остался в светелке Петр Степаныч. Прилег на кровать, но, как и в прошлую ночь, сон не берет его... Разгорелась голова, руки, ноги дрожат, в ушах трезвон, в глазах появились красные кру́ги и зеленые... Душно... Распахнул он миткалёвые занавески, оконце открыл. Потянул в светлицу ночной холодный воздух, но не освежил Самоквасова. Сел у окна Петр Степаныч и, глаз не спуская, стал глядеть в непроглядную темь. Замирает, заныкает, ровно пойманный голубь трепещет его сердце. «Не добро вещует»,— подумал Петр Степаныч.

Забрезжилось. На восточном вскрае неба забелелся рассвет; стали из тьмы выделяться очерки скитских строений. Тихо и глухо везде... По обителям не видать огоньков. Только в Манефиной стае тускло мерцают лампады перед божницами... Глядит Петр Степаныч, неустанно глядит на окна Фленушкиных горниц, и сладкие мечты опять распаляют его воображенье... Ту ночку вспоминает, забыть ее не может... «А моя-то красотка разметалась теперь в постельке своей,— мечтает он,— обо мне мечтает... Волной поднимается грудь, и жарко дыханье ее... От сонной истомы раскрыты алые губки, и в сладкой дремоте шепчут они любовные речи, имя мое поминают...»

Свет в окне показался... «Неужели встает?.. Что это так рано поднялась моя ясынька?.. Видно, сряжается... Но всего еще только четыре часа... О милая моя, о сердце мое!.. День один пролетит, и нас никто больше не разлу́чит с тобой... Скоро ли, скоро ль пройдет этот день?..»

Погас свет во Фленушкиных горницах, только лампада перед иконами теплится... В било ударили... Редкие, резкие его звуки вширь и вдаль разносятся в рассветной тиши; по другим обителям пока еще тихо и сонно. «Праздник, должно быть, какой-нибудь у Манефиных,— думает Петр Степаныч.— Спозаранку поднялись к заутрени... Она не пойдет — не великая она богомольница... Не пойти ли теперь к ней? Пусть там поют да читают,— мы свою песню споем...»

Схватил картуз, побежал, но то́тчас одумался. «Увидят, как раз на кого-нибудь навернешься... Еще ночь не минула... Огласка пойдет — лучше остаться».

Поют у Манефы заутреню По другим обителям тоже стали раздаваться удары в било. Резче и резче носятся они в сыром, влажном воздухе. . А у Манефы в часовне поют да поют.

Совсем рассвело, но ровно свинцовые тучи висят над землей. В воздухе белая мгла, кругом над сырыми местами туманы... Пышет север холодом, завернул студеный утренник, побелели тесо́вые крыши. Ровно прикованный к раскрытому оконцу, стоит в раздумье Самоквасов.

Кончилась служба. С высокого крутого крыльца часовенной паперти старицы с белицами попарно идут. Различает их, узнает иных Петр Степаныч — вот мать Таифа, приехала, значит, от Макарья, вот уставщица Аркадия, мать Лариса, мать Никанора, самой Манефы не видно. Перед старицами певчие белицы, впереди их, склонив голову, медленным шагом выступает Марья головщица. Заунывное пение их раздается:

«Послушай Христа, что вопиет, о дево!»

«Что́ поют, зачем поют?» — думает, слушает необычное пение Петр Степаныч. Пристально смотрит он на шествие келейниц, внимая никогда дотоле не слыханной песне:

«Иди, отвержися земных, да не привлечет тебя страсть...»

К Манефиной келье идут. «Что ж это такое? Что они делают?» — в недоуменье рассуждает Петр Степаныч и с напряженным вниманьем ловит каждое слово, каждый звук долетающего пения... Все прошли, все до одной скрылись в Манефиной келье.

Ермило Матвеич, увидав из огорода, что гость его стоит у раскрытого окна, то́тчас пошел навестить его.

— Раненько, сударь, поднялись — ни свет, ни заря!.. Каково после дороги спали-почивали? Отдохнули ли? — спрашивал он, входя в светелку.

Не ответил ни слова ему Самоквасов. Сам с вопросом к нему.

— Что это такое у Манефиных? После заутрени всей обителью к игуменье в келью пошли, с пением! Что за праздник такой?

— По́стриг,— молвил Ермило Матвеич.— По́стриг сегодня у них .. Не знавали ль вы, сударь, мать Софию, что прежде в ключах у Манефы ходила? Тогда, великим постом как болела матушка, в чем-то она провинилась. Великий образ теперь принимает... Девки мои на днях у Виринеи в келарне на посидках сидели. Они сказывали, что мать София к постриженью в большой образ готовится. Вечор из Городца черного попа[1] привезли.

— Так это по̀стриг? — в раздумье проговорил Петр Степаныч.

— По́стриг,— молвил Сурмин.— Мои девицы и обе снохи давно уж туда побежали... Самоварчик не поставить ли, чайку не собрать ли? Совсем уж обутрело. Молвлю хоть старухе — молодые-то все убежали на по́стриг глядеть...

— Можно этот постриг посмотреть? — спросил Петр Степаныч.

— Нет, никаким образом нельзя,— ответил Сурмин.— Мужчинам теперь вход в часовню возбранен. Раздевают ведь там постриже́ницу чуть не до́нага, в рубахе одной оставляют... Игуменья ноги ей моет, обувает ее... Нельзя тут мужчине быть, нельзя видеть ему тело черницы.

Ни слова на то не сказал Самоквасов.

— Как же насчет самоварчика-то? — снова спрашивал у него Ермило Матвеич.— Чайку бы теперь хорошо было выпить... И я бы не прочь.

— Пожалуй,— бессознательно ответил Петр Степаныч.

Скоро старушка, жена Ермила Матвеича, самовар и чайный прибор принесла. Чай пили только вдвоем Самоквасов с хозяином.

— Про Софию много тогда нехорошего шушукали,— сидя за чаем, говорил Ермило Матвеич.— Правда ли, нет ли, а намолвка в ту пору была, что деньги будто тогда она припрятала, не чая, что Манефа с одра болезни встанет .. Марья Гавриловна тогда распорядилась, все отобрала у Софии. А как поднял господь матушку, ей все и рассказали. Она от ключей Софию и отстави-

---

[1] *Черный поп* — священник-инок, иеромонах. По правилам, он только имеет право постригать в монашество, но «нужды ради», за недостатком черных попов, у раскольников нередко и без них дело обходится.

ю. Вот теперь постригом в великий образ хочет оправиться.. А пуще всего — желается ей с Манефой в городу поселиться, келью бы свою там иметь, оттого больше и принимает великий постриг... Вон в часовню идут,— прибавил Сурмин.

Двинулось по обительскому двору новое шествие. Впереди попарно идут матери и белицы обеих певчих стай. Марьюшка всех впереди. За певицами метери в соборных мантиях и черный поп, низенький, старенький, седой, во всем иночестве и в епитрахили. Сзади его величавым шагом выступает Манефа. Она тоже в соборной мантии, игуменский посох в руке. Поднята голова, на небо смотрит она. За ней две старицы под руки ведут с ног до головы укрытую Софию. Идет она с поникшей головой, чуть не на каждом шагу оступаясь... По сторонам много чужих женщин. Мужчин ни одного, кроме попа. Пристально смотрит на всех Петр Степаныч, ищет глазами Фленушку — не видит ее. «Не любит она постригов,— думает он,— осталась одна на спокое в своих горенках... Что ей до Софии? Вечер придет — вольной птицей со мной полетит...»

Прошли в часовню, затворили двери на паперть, заперли их

— Начинается теперь,— молвил Ермило Матвеич, допивая шестую чашку чая.

Тихо, ничего не слышно. Но скоро раздалось в часовенной паперти пение:

«Последуем, сестры, благому владыце, увядим мирския похоти, бежим лестьца и мирдержателя, будем чисти и совершенны ..»

— Это они теперь раздевают Софию,— сказал Сурмин. И, сотворив крестное знаменье, примолвил:

— Подай, господи, рабе твоей страстей умирение, подай ей, святый, достойно прияти ангельский чин.

Опять послышалось пение:

«Умый ми нозе, честная мати, обуй мя сапогом целомудрия, да не пришед враг обрящет пяты моя наги и запнет стопы моя...»

— Это значит, Манефа теперь умывает ей ноги... А вот теперь,— объяснял Сурмин,— калиги [1] на ноги ей надевает.

---

[1] *Калиги* — иноческая обувь.

Ни слова Петр Степаныч. Свои у него думы, свои пожеланья. Безмолвно глядит он на окна своей ненаглядной, каждый вздох ее вспоминая, каждое движенье в ту сладкую незабвенную ночь.

«Объятия отча отверсти ми потщися»,— поют там. Громче всех раздается голос Марьюшки. Слезы звучат в нем.

«Пускай поют, пускай постригают!.. Нет нам до них дела!.. А как она, моя голубка, покорна была и нежна!.. Как вдруг задрожала, как прижалась потом ко мне!..»

«Блудне мое изживше житие...» — доносится из часовни.

А он, все мечтая, на окна глядит, со страстным замираньем сердца помышляя: вот, вот колыхнется в окне занавеска, вот появится милый образ, вот увидит он цветущую красой невесту... «А как хороша была она тогда! — продолжает мечтать Петр Степаныч.— Горячие лобзанья! Пыл страстной любви!.. И потом... такая тихая, безответная, безмолвная... Краса-то какая в разгоревшихся ланитах...»

«Где есть мирская красота? Где есть временных мечтание? Не же ли видим землю и пепел? Что убо тружаемся всуе? Что же не отвержемся мира?» — поют в часовне.

— Антифоны запели,— молвил Сурмин.— Настоящий постриг теперь только начинается. Сейчас припадет София перед святыми, сейчас подадут ей ножницы добровольного ради стрижения влас.

Что Самоквасову до стриженья влас? Что ему до Софии? Одна Фленушка на мыслях. Иное все чуждо ему.

— Вот теперь ее черный поп вопрошает: «Имаши ли хранитися в девстве и целомудрии? Сохраниши ли даже до смерти послушание?» — говорит Сурмин.

Не слушает слов его Петр Степаныч, не сводит он глаз со Фленушкиных окон...

Распахнулась там занавеска... «Проснулась, встает моя дорогая...— думает Петр Степаныч.— Спроважу Ермила, к ней пойду... Пущай их там постригают!.. А мы?.. Насладимся любовью и все в мире забудем. Пускай их в часовне поют! Мы с нею в блаженстве утонем... Какая ножка у нее, какая...»

— Долго еще пройдет это постриженье? — спросил Петр Степаныч Сурмина.

— Не очень скоро еще до конца,— ответил Ермило Матвеич.— А после пострига в келарню новую мать поведут.

Хотел было идти Петр Степаныч, но, вглядевшись, увидал, что у окна стоит не Фленушка... Кто такова, не может распознать, только никак не она... Эта приземиста, толста, несуразна, не то что высокая, стройная, гибкая Фленушка. «Нельзя теперь идти к ней,— подумал Самоквасов,— маленько обожду, покамест она одна не останется в горницах...»

И стал продолжать беседу с Сурминым. Мало сам говорил, больше с думами носился; зато словоохотен и говорлив был Ермило Матвеич. О постригах все рассказал до самых последних мелочей.

Кончилась служба. Чинно, стройно, с горящими свечами в руках старицы и белицы в келарню попарно идут. Сзади всех перед самой Манефой новая мать. Высока̀ и стройна, видно, что молодая. «Это не Софья», — подумал Петр Степаныч. Пытается рассмотреть, но креповая наметка плотно закрывает лицо. Мать Виринея с приспешницами на келарном крыльце встречает новую сестру, а белицы поют громогласно:

«Господи, господи, призри с небеси и виждь и посети винограда своего» [1].

На частые удары била стекаются в келарню работные матери и белицы, те, что, будучи на послушаниях, не удосужились быть на постриге... Вот и та приземистая белица, что сейчас была во Фленушкиных горницах, а самой Фленушки все нет как нет... «Дома, значит, осталась. Теперь самое лучшее время идти к ней...» — думает Петр Степаныч.

Пошел, но только что вступил в обительскую ограду, глядит — расходятся все из келарни. Вот и Манефа, рядом с ней идет Марья головщица, еще две белицы, казначея Таифа, сзади всех новая мать.

«Они теперь у Манефы все будут сидеть, а я к ней, к моей невесте!..» — подумал Петр Степаныч и бойко по-

---

[1] Все эти песни, употребляемые старообрядцами при пострижении инокинь, дословно взяты из Филаретовского «Потребника» 1631 г Теперь чин пострижения в монашество значительно сокращен и большая часть духовных песен отменена, но старообрядцы сохранили все, что делалось и пелось при первых московских патриархах.

шел к заднему крыльцу игуменьиной стаи, что ставлено возле Фленушкиных горниц.

Быстрым движеньем двери настежь он распахнул. Перед ним Таифа.

— Нельзя, благодетель, нельзя! — шепчет она, тревожно махая руками и не пуская в келью Самоквасова.— Да вам кого?.. Матушку Манефу?

— К Флене Васильевне,— молвил он.

— Нет здесь никакой Флены Васильевны,— ответила Таифа.

— Как? — спросил как снег побелевший Петр Степаныч.

— Здесь мать Филагрия пребывает,—сказала Таифа.

— Филагрия, Филагрия! — шепчет Петр Степаныч. Замутилось в очах его, и тяжело опустился он на стоявшую вдоль стены лавку.

Вдруг распахнулась дверь из боковушки. Недвижно стоит величавая, строгая мать Филагрия в черном венце и в мантии. Креповая наметка назад закинута...

Ринулся к ней Петр Степаныч...

— Фленушка! — вскрикнул он отчаянным голосом. Как стрела, выпрямилась станом мать Филагрия. Сдвинулись соболиные брови, искрометным огнем сверкнули гневные очи Как есть мать Манефа.

Медленно протянула она вперед руку и твердо, властно сказала:

— Отыди от мене, сатано!..

* * *

А на ярманке гусли гудят, у Макарья наигрывают, развеселое там житье, ни тоски нету, ни горюшка; и не знают там кручинушки!

Туда, в этот омут ринулся с отчаянья Петр Степаныч.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Ни у Дорониных, ни у Марка Данилыча о Самоквасове ни слуху ни духу. Сгинул, пропал, ровно в воду канул. В последнее время каждый день бывал он то у Дорониных, то у Марка Данилыча; все полюбили весе-

лого Петра Степаныча; свыклись с ним. Бывало, как ни войдет — на всех веселый стих нападет; такой он был затейник, такой забавник, что, кажется, покойника сумел бы рассмешить, а мало того — и плясать бы заставил... Думали теперь, передумывали, куда бы он мог запропаститься: пуще всего гребтелось о нем добродушной, заботной Татьяне Андревне. День ото́ дня больше и больше она беспокоилась. А тут как нарочно разные слухи пошли по ярманке: то говорят, что какого-то купчика в канаве нашли, то затолкуют о мертвом теле, что на Волге выплыло, потом новые толки: там ограбили; тут совсем уходили человека.. Большей частью слухи те оказывались праздной болтовней, всегда неизбежной на многолюдстве, но Татьяне Андревне в каждом утопленнике, в каждом убитом иль ограбленном мерещился Петр Степаныч. Бывало, как только услышит она про утопленника, тотчас почнет сокрушаться. «Батюшки светы! не наш ли сердечный?»

Еще до возврата Меркулова как-то вечером Дмитрий Петрович чай пил у Дорониных, были тут еще двое-трое знакомых Зиновью Алексеичу. Беседу вели, что на ярманке стали пошаливать. Татьяна Андревна, к тем речам прислушавшись, на Петра Степаныча речь навела.

— Как же это так? — говорила она.— Как же это вдруг ни с того ни с сего пропал человек, ровно клад от аминя рассыпался?.. Надо бы кому поискать его.

Дмитрий Петрович, кой что зная от Самоквасова про его дела, молвил на то:

— В Казань не уехал ли? Там он с дядей по наследству тягается, может быть понадобилось ему лично самому там быть.

Но Татьяна Андревна твердо на своем стояла. Почти со слезами говорила она, что сердечному Петру Степанычу на ярманке какая-нибудь беда приключилась.

И Лизу с Наташей припечалили те разговоры. Стали обе они просить Веденеева, поискал бы он какого-нибудь человека, чтобы весточку он дал про Самоквасова, к дяде его, что ли, бы съездил, его бы спросил, а не то разузнал бы в гостинице, где Петр Степаныч останавливался.

К просьбам дочерей и свою просьбу Татьяна Андревна приставила:

— Поезжай, Дмитрий Петрович, разузнай хоть у старика Самоквасова, у дяденьки его,— говорила она.— Хоша и суды меж ними идут, как же, однако, дяде-то родному не знать про племянника?..

Веденеев на другой же день обещал съездить и в гостиницу и к дяде Петра Степаныча, хоть и знал наперед, что от старика Самоквасова толку ему не добиться, разве что на хитрости какие-нибудь подняться.

На другой день отправился он в гостиницу, но там ничего не мог разузнать. «Съехал, говорят, а куда съехал, не знают, не ведают.— Много-де всякого звания здесь людей перебывает, где тут знать, кто куда с ярманки выехал».

Нечего делать, поехал Дмитрий Петрович к старику Самоквасову. Застал его в лавке за какими-то расчетами. Поглядев на него, тотчас смекнул Веденеев, что ежели спроста спросить его о племяннике, он и говорить не захочет, скажет «мне недосуг» и на̀ дверь покажет. Пришлось подняться на хитрости. Заявил Веденеев себя покупателем. С первого же слова узнав, что покупает он товар на чистые деньги, Тимофей Гордеич Самоквасов посмотрел на Дмитрия Петровича ласково и дружелюбно, отложил расчеты и попросил гостя наверх в палатку пожаловать. Там, наговорившись о торговых делах, Веденеев спросил угрюмого Тимофея Гордеича, не родня ли ему молодой человек, тоже Самоквасовым прозывается, а зовут его Петром Степанычем. Незадолго-де перед ярманкой на железной дороге с ним познакомился.

— Племянником доводится,— сухо и нехотя промолвил Тимофей Гордеич.

— Из Петербурга в Москву вместе ехали,— сказал Дмитрий Петрович,— в Москве тоже видались и здесь, на ярманке. Хотелось бы мне теперь его повидать, делишко маленькое есть, да не знаю, где отыскать его. Скажите, пожалуйста, почтеннейший Тимофей Гордеич, как бы мне увидать вашего племянника?

— Не знаю, сударь,— сердито насупив брови, ответил старик Самоквасов.— Пес его знает, где он шляется... Праздный человек, тунеяд, гуляка... Я его, шаталу, и на глаз к себе не пущаю...

— Какая досада! —молвил Дмитрий Петрович и с

нетерпеньем мотнул головой.— А как бы нужно мне повидать его. Просто сказать — до зарезу надо...

— Не могу ничего ответить на ваши спросы,— неласково промолвил Тимофей Гордеич.— Так что же-с?.. Как вам будет угодно насчет ваших закупок?..

— Видите ли, почтеннейший Тимофей Гордеич,— с озабоченным видом свое говорил Веденеев.— То дело от нас не уйдет, бог даст на днях хорошенько столкуемся, завтра либо послезавтра покончим его к общему удовольствию, а теперь не можете ли вы мне помочь насчет вашего племянника?.. Я и сам теперь, признаться, вижу, не надо бы мне было с ним связываться.

— Нешто дело у вас какое с ним? — с любопытством спросил старый Самоквасов, зорко глядя в глаза Веденееву.

— То-то и есть, почтеннейший Тимофей Гордеич. Нешто без дела стал бы я вас беспокоить, спрашивать об нем?..— с притворной досадой молвил Дмитрий Петрович.

— Какое же дело у вас до Петьки касается? — откашлянувшись и поглядывая искоса на Веденеева, спросил Самоквасов.— Глядя по делу и говорить станем... Ежель пу́стошное какое, лучше меня и не спрашивайте, слова не молвлю, а ежель иное что, может статься и совет вам подам.

— Должишко есть за ним маленький,— сказал Дмитрий Петрович.— А мне скоро домой отправляться. Хотелось бы покончить с ним насчет его долгу.

— По векселю? — все-таки искоса посматривая на Веденеева, отрывисто спросил старик Самоквасов.

— По сохранной расписке,— ответил Дмитрий Петрович.

— По сохранной!.. Гм!.. Так впрямь по сохранной!.. Наличными, значит, одолжался?

— Да, рублей тысячу наличными взял,— сказал Веденеев.

— Тысячу!.. Ишь его как!.. Тысячами стал швыряться!.. А давно ль это было, спрошу я вас? — спросил Тимофей Гордеич.

— Да вот через три дня месяц исполнится... Обещал непременно в ярманке расплатиться, да вот и застрял где-то. Расписка-то, впрочем, писана до востребования,— сказал Дмитрий Петрович.

— Так-с,— протянул Самоквасов.— Расплатится он! Как же!.. Держите карман шире!.. На гулянки бы только ему, по трактирам да в непотребных местах отличаться!.. А долги платить — дело не его... На беспутное что-нибудь и деньги-то у вас, поди, займовал?

— Нет,— молвил Веденеев,— на беспутство я не дал бы, он мне тогда говорил, что дело у него какое-то есть... По судам, говорил, надо ему хлопотать. Раздел какой-то поминал.

— Раздел поминал!.. Так это он у вас на раздел займовал!..— злобно захохотав, вскрикнул Самоквасов.— Охота была вам ссужать такого бездельника, шалыгана непутного... Плакали, сударь, ваши денежки, плакали!.. Это ведь он со мной тягается — выдели его из капитала, порушь отцами, дедами заведенное дело... Шиш возьмет!.. Вот что!.. Совсем надо взбеситься, чтобы сделать по его... Подлец он, мерзкий распутник!..

— Это ваше дело, Тимофей Гордеич...— сказал Веденеев.— А вот хоть и говорите вы, что пропали мои денежки, однако ж я надеюсь на доброе ваше расположение и, чтобы нам и теперь и вперед дела вести, буду вас покорнейше просить не оставить меня добрым советом насчет вашего племянника и помочь разыскать его. Потому что, как скоро отыщу его, тотчас куда следует упрячу голубчика. Предъявлю, значит, ему расписку, потребую платежа, а как, по вашим словам, он теперь не при деньгах, так я расписочку-то ко взысканию, да и упрячу друга любезного — в каменный дом за решеточку... Не отвертится, в бараний рог согну его.

— Вот это так, вот это настоящее дело,— весело потирая руки и похаживая взад и вперед по комнате, говорил Самоквасов.— Это вы как надо быть рассуждаете... Приятно даже слушать!.. Мой совет, вашего дела вдаль не откладывать. Засадите поскорей шельмеца — и дело с концом... Пожалуйста, поторопитесь, не упустите шатуна, не то он, пожалуй, туда лыжи навострит, что в пять лет на разыщешь.

— Сыскать-то где мне его, Тимофей Гордеич? — сказал Веденеев.— Знал бы я, где он скрывается, так не стал бы чиниться. Дохнуть бы не дал ему, разом скрутил бы!.. Да не могу добиться, где он теперь. Вот беда-то моя!

— Болтали намедни ребята — на другой день, слышь, либо на третий день Успенья за Волгу он удрал,— молвил старик Самоквасов.

— А он как раз через день после Успенья обещал мне деньги принесть,— молвил Веденеев.

— Извольте видеть! — злорадно вскликнул Тимофей Гордеич.— Значит, он от вашего долга тягача-то и задал... Нет, уж вы, пожалуйста, богом вас прошу, не милуйте его. Упрячьте поскорее в долговую — пущай его отведает, каково там живется... Я бы, скажу вам откровенно, сам его давно бы упек — провинностей за ним достаточно, да сами можете понять, что мне неловко... Сродство, толков не оберешься, опять же раздел. А ваше дело особая статья, человек вы сторонний, вам ничего. Закон, мол, и вся недолга... Нет уж, вы приструньте его, пожалуйста. Век не забуду вашего одолженья!.. Хотите, при вас расспрошу про него молодцов?

И крикнул какого-то Ваську. Лётом влетел вверх по лестнице парень лет двадцати, кровь с молоком, сильный, здоровый, удалый.

— Слушай, Васька,— властным голосом стал говорить Самоквасов.— Правду скажешь — кушак да шапка мерлушчатая; соврешь — ни к Рождеству, ни к святой подарков как ушей своих не увидишь... Куда Петр Степаныч уехал?

Замялся было Васька, но кушак и шапка, особенно эта заманчивая мерлушчатая шапка, до того замерещилась в глазах мо́лодца, что, несмотря на преданность свою Петру Степанычу, все, что ни знал, рассказал, пожалуй еще кой с какими прибавочками.

— Коне́й за Волгу рядили,— сказал он.— При мне была ряда, я у них тогда на квартире случился. До комаровского скита подряжали, на сдаточных.

— До Комарова? — молвил Тимофей Гордеич.— Ты ведь не то в прошлом, не то в позапрошлом году туда ездил с ним?

— Так точно-с, я самый с ним ездил,— отвечал Васька.— В прошлом году это было, четыре недели там выжили.

— Как думаешь, Васютка, зачем бы теперь ему в Комаров ехать? — ласково спросил Тимофей Гордеич.

— К Бояркиным, надо думать, поехал,— ответил Васютка.— У них завсегда ему пристанище.

— Не может быть,— молвил на то Тимофей Гордеич.— Мать Таисея вечор у меня была и сама про него спрашивала.

— Нештó к Манефиным? — молвил Васютка.— Там зазнобушка есть у него...— прибавил он, оскабляясь и тряхнув головой молодецки.

— Кто такая? — спросил Тимофей Гордеич.

— Племянницей матушки Манефы зовут ее. В приемыши, слышь, взята... В скитах настоящего дела по этой части не скоро разберешь,— с усмешкой прибавил Васютка.— Фленой Васильевной звать ее.

— Что ж у него с этой Фленой? — спросил Самоквасов.

— Известно, что,— ухмыльнулся Васютка.— Соловьев по ночам вместе слушают-с, по грибы да по ягоды по лесочкам похаживают. Были у них ахи, были и махи, надо полагать, всего бывало. На эти дела в скитах оченно просто. Житье там разлюли-малина, век бы оттоле не вышел.

— Так ты думаешь, что он к этой Флене поехал? — немного помолчав, спросил Самоквасов.

— Так надобно думать,— ответил Васютка.— Как турился он ехать и укладывался, так я ему помогал... А он нет-нет, да и вздохнет, а вздохнувши, и промолвит тихонько: «Ах ты, Фленушка, Фленушка!» Безотменно к ней собрался́.

— Ступай к своему делу,— приказал Васютке Тимофей Гордеич...— Кушак да шапка за мной. Завтра получишь.

— Чувствительнейше вас благодарим, Тимофей Гордеич,— низко кланяясь, молвил Васютка, и лицо его просияло. Шапка не простая, а мерлушчатая! Больно хотелось такой ему. «Заглядятся девки, как зимой, бог даст, с кулаками в голицах на Кабан [1] пойду,— думает он.— Держись, татарва окаянная,— любому скулу сворочу!»

— Ну вот, изволите видеть,— сказал Тимофей Гордеич Веденееву, когда, стуча изо всей мочи тяжелыми сапогами, сходил по лестнице в лавку Васютка.— Вот вам и путь его, вот и дорога. Сцапайте его, батюшка, сделайте такое ваше одолжение... По гроб жизни не забуду!.. Потрудитесь, пожалуйста... А мы завсегда ваши радетели

[1] *Кабан* — озеро в Казани. На льду его бывали, а может, и теперь бывают еще кулачные бои между русскими и татарами.

Мне что? Мне бы только очувствовался он, молод ведь еще, может статься маленько погодя и образуется... Грозы на него мало было, оттого и беда вся. Прихлопните его, сударь, прихлопните! Это не вредит, право не вредит... Его же душе во спа́сенье пойдет. Верно говорю...

До того был рад старик Самоквасов, что, как только ушел от него Веденеев, не только Васютке кушак и шапку купил, но и другим молодцам на пропив деньжонок малую толику пожаловал.

В тот же день вечером Веденеев, сидя за чайным столом у Дорониных, рассказал, как собирал он вести про Петра Степаныча. Много шутили, много смеялись над тем, как провел он старого Самоквасова, но не могли придумать, зачем понадобилось Петру Степанычу ехать в скиты за Волгу. При Лизе с Наташей Веденеев смолчал о Фленушке, но, улучив время, сказал о том и Зиновью Алексеичу и Татьяне Андревне. Зиновий Алексеич улыбнулся, а Татьяна Андревна начала ворчать.

— Вот какие вы ноне стали ветрогоны! Вот за какими делами по богомольям разъезжаете! Святые места порочите, со́блазны по людям разносите! Не чаяла я таких делов от Петра Степаныча, не ожидала... Поди вот тут каков лукавец! И подумать ведь нельзя было, что за ним такие дела водятся... Нехорошо, нехорошо, ой как нехорошо!

На другой день Дарья Сергевна за каким-то делом завернула к Дорониным, и Татьяна Андревна все рассказала ей, что накануне узнала про Самоквасова. Не забыла и Фленушку помянуть. Живя с Дуней долгое время у матери Манефы, Дарья Сергевна хорошо знала обительскую баловницу, игривый, веселый нрав ее, озорные шалости и затейные проказы. И то знала, что Фленушка чересчур уж вольно́ обходится с мужчинами, но не верила, чтоб у нее с кем-нибудь дело далеко зашло. «А впрочем,— подумала она,— чего с человеком не может случиться. Враг ведь силен, горами качает, долго ль и тут до греха!..» Аграфене Петровне сказала, но та совсем не поверила, чтоб у Фленушки было что-нибудь с Самоквасовым... А что за Волгу он уехал, о том она еще накануне знала: ихний приказчик ездил за товаром в Вихорево и вблизи Комарова повстречал Петра Степаныча.

* * *

Под Главным домом, у лавочки с уральскими камнями, часу в первом дня стоял Веденеев, и, накупив целую кучу красно-кровавых рубинов, голубых сапфиров, сине-алых аметистов, малиновых турмалинов и белых, будто алмазы блестящих, тяжеловесов, укладывал их в большую малахитовую шкатулку для первого подарка нареченной невесте. Едва отвел он глаза от игравших разноцветными переливами камней, увидал быстро с озабоченным видом проходившего мимо Петра Степаныча.

Остановил его Дмитрий Петрович и, несмотря на отговорки спешными делами, пустился в длинные расспросы. Самоквасов сказал, что он в самом деле ездил за Волгу, но вот уж четвертый день как воротился оттуда и теперь страшно завален работой и хлопотами. Сказал, что получил известие об окончании дела о разделе в его пользу и что послезавтра во что бы ни стало поедет в Казань. Дмитрий Петрович рассказал ему, как дивились у Дорониных внезапному его отъезду, как в первые дни, когда еще неизвестно было, что с ним случилось, все об нем беспокоились, особливо Татьяна Андревна... Рассказал и о том, что по его порученью разведывал об нем у дяди его и выпытал у него, что было нужно, заявивши о небывалой сохранной расписке. Самоквасов все только краем уха слушал... Сказал ему Веденеев о радости Дорониных, что дождались, наконец, жениха Лизаветы Зиновьевны. Петр Степаныч равнодушно улыбнулся и не сказал ни слова... Когда же, крепко и горячо сжимая ему руку, Дмитрий Петрович поведал и о своей радости, Петр Степаныч так равнодушно поздравил его, что счастливому жениху такое поздравленье показалось даже обидным. Звал его Веденеев к себе, звал к Зиновью Алексеичу... Самоквасов сказал, что до отъезда постарается непременно повидаться со всеми знакомыми, и тотчас своротил речь на свои недосуги. Молвил ему Дмитрий Петрович и про Дуню Смолокурову, что она жалуется на нездоровье, что очень похудела, смотрит такой грустной, задумчивой. Хоть бы словечко Петр Степаныч сказал, и, уверяя, что ему необходимо сейчас же куда-то ехать, убежал почти от Веденеева.

И день и другой каждую минуту ждали у Дорониных Петра Степаныча, но понапрасну. На третий день кто-то сказал, что он на Низ на пароходе побежал. Подивились, что он не зашел проститься. Татьяна Андревна досады не скрывала.

— Придумать не могу, чем мы ему не угодили,— обиженным голосом говорила она.— Кажись бы, опричь ласки да привета, от нас ничего он не видел, обо всякую пору были ему рады, а он хоть бы плюнул на прощанье... Вот и выходит, что своего спасиба не жалей, а чужого и ждать не смей... Вот тебе и благодарность за любовь да за ласки... Ну да господь с ним, вольному воля, ходячему путь, нам не в убыток, что ни с того ни с сего отшатился от нас. Ни сладко, ни горько, ни солоно, ни кисло... А все-таки обидно...

— Да с чего ты так к сердцу принимаешь? — говорил жене Зиновий Алексеич.— Жили без него и вперед будем жить, не тужить, никому не служить. Не бечи́ ж[1] за ним, не знай зачем. Был, провалил; ну и кончено дело. На всех, мать моя, не угодишь, на всех и солнышко не усветит... По-моему, нечего и поминать про него.

— Обидно ведь, батька... До кого ни доведись, всяк оскорбится,— продолжала брюзжать Татьяна Андревна.— Словно родного привечали, а он, видишь ли, как заплатил. На̀ речи только, видно, мягок да тих, а на̀ сердце злобен да лих... Лукавый человек!.. Никто ж ведь его силком к себе не тянул, никто ничем не заманивал; ну, не любо, не знайся, не хочешь, не водись, а этак, как он поступил, на̀ что это похоже?

— Дела у него, слышь, спешные,— заметил Меркулов.— Митенька сказывал ведь, как он торопился. Минуты, слышь, свободной у него не было.

— Захотел бы, так не минуту сыскал бы, а час и другой...—молвила Татьяна Андревна.— Нет, ты за него не заступайся. Одно ему от нас ото всех: «Забудь наше добро, да не делай нам худа». И за то спасибо скажем. Ну, будет! — утоля воркотней расходившееся сердце, промолвила Татьяна Андревна.— Перестанем про него поминать... Господь с ним!.. Был у нас Петр Степаныч да сплыл, значит, и делу аминь... Вот и все, вот и последнее мое слово.

---

[1] Бежать.

От Дорониных вести про Петра Степаныча дошли и до Марка Данилыча. Он только головой покачал, а потом на другой аль на третий день — как-то к слову пришлось, рассказал обо всем Дарье Сергевне. Когда говорил он, Дуня в смежной комнате сидела, а дверь была не притворена. От слова до̀ слова слышала она, что отец рассказывал.

Быстро встала она со стула, нетвердым шагом перешла на другую сторону комнаты, оперлась рукой на стол и стала как вкопанная. Ни кровинки в лице, но ни слез, ни вздохов, ни малейшего движенья, только сдвинула брови да устремила неподвижный взор на свою руку. Через полчаса Аграфена Петровна пришла... Дуня сказала ей про все, что узнала, но говорила так равнодушно, так безучастно, что Аграфена Петровна только подивилась... Затем больше ни слова о Самоквасове. Повидимому, Дуня стала даже веселей прежнего, и Марко Данилыч тому радовался.

Домой собра̀лась Аграфена Петровна. Накануне отъезда долго сидела она с Дуней, но сколько раз ни заводила речь о том, что теперь у нее на̀ сердце, она ни одним словом не отозвалась... Сначала не отвечала ничего, потом сказала, что все, что случилось, было одной глупостью, и она давным-давно и думать перестала о Самоквасове, и теперь надивиться не может, как это она могла так много об нем думать. «Ну,— подумала Аграфена Петровна,— теперь ничего. Все пройдет, все минет, она успокоится и забудет его».

Тяжело было Петру Степанычу на ярманочном многолюдстве. Не вытерпел, ни с кем не видевшись, дня через два он поехал в Казань.

Только что отвалил пароход от нижегородской пристани, увидал Петр Степаныч развеселого ухарского парня, маленько подгулявшего на расставанье с ярманкой. В красной кумачовой рубахе, в черных плисовых штанах и в поярковой шляпе набекрень стоит он середь палубы. Выступив вперед правой ногой и задорно всех озирая, залихватски наяривает на гармонике, то присвистывая, то взвизгивая, то подпевая:

Уж и быть ли, не быть ли беде?
Уж расти ль в огороде лебеде?

«Быть беде!..» — вспало на ум Петра Степаныча...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Когда Дуня от Дарьи Сергевны узнала об отъезде Петра Степаныча за Волгу, сердце у ней так и упало. В тоске и кручине после того целые дни она проводила. Ни отцовской ласки, ни заботливости Дарьи Сергевны будто не замечала, даже говорила с ними неохотно. Только и речей было у ней, что с Аграфеной Петровной, да и с той не по-прежнему она разговаривала, зато тихого, немого плача было довольно. Как ни уговаривала ее Аграфена Петровна, что убиваться тут не из чего, что мало ль какие могли у него дела случиться, мало ль зачем вдруг ехать ему понадобилось, Дуня речам ее не внимала, а все больше и больше тосковала и плакала. Заметив перемену в дочери, Марко Данилыч, сколько ее ни расспрашивал, ничего не мог добиться, советовался он и с Дарьей Сергевной и с Аграфеной Петровной, и они ничего не могли ему присоветовать. Старался развлечь Дунины думы забавами, гостей сзывал, в театр ее возил, ничто не помогало, ничто не могло рассеять тайной ее кручины... Исстрадался весь Марко Данилыч, замечая, что Дуня с каждым днем, ровно воск, тает. Приходило ему в голову, не пришла ли пора ее, не нашла ли она по душе человека, и подумал при этом на Петра Степаныча. Не раз и не два заговаривал он об этом с дочерью... но, опричь дочерниных слез, ничего не мог добиться.

Аграфена Петровна говорила Дуне, что поездка Петра Степаныча не долгая, что, должно быть, какие-нибудь дела с матерями у него не покончены... Может быть, дела денежные, и вот теперь, прослышав о близком скитов разоренье, поехал он туда, чтобы во-время наградить обители деньгами. Равнодушно слушала все это Дуня. Теперь ей было все равно — в скиты ли уехал Петр Степаныч, в Казань ли, в другое ли место; то ей было невыносимо, то было горько, что уехал он, не сказавшись, ни с кем не простясь. Когда же Татьяна Андревна передала Аграфене Петровне вести, принесенные Веденеевым, и помянула про Фленушку, та виду не подала и ни словечка о том Дуне не молвила. Зато говорливая мать Таисея невпопад разболталась при Дунюшке. Сбираясь домой, зашла она к Марку Данилычу еще разок покланяться, не оставил бы их обитель милостями при грозивших бедах и напастях. Тут она разговорилась о

комаровских вестях, привезенных накануне наперсницей ее, часовенной головщицей Варварушкой. Матери Таисе́и стало за великую обиду, что Петр Степаныч, пока из дядиных рук глядел, всегда в ее обители приставал, а как только стал оперяться да свой капитал получать, в сиротском дому у иконника Ермилы Матвеича остановился...

— Уж мы ли не угождали ему, уж мы ли не были рады ему, а теперь ровно плюнул он на нашу святую обитель!..— со слезами говорила мать Таисе́я.— Известно, у других жизнь веселее, а наша обитель не богатая, и пустяшных делов у меня, слава богу, не водится... Живем скромно, по закону, ну а по иным обителям и житье другое: есть там девицы веселые и податливые, поди теперь с ними ровно сыр в масле катается... А мы терпи да убытки неси. Ведь, бывало, что ни пожалует к нам погостить, меньше двух сотенных никогда не оставит... А все эта баламутница Флена Васильевна, она его от нашей обители отвадила... У ней только и есть на уме, чтобы каждого молодого паренька взбаламутить да взбудоражить... Промеж их давно замечалось. А Ермилы Матвеича дом возле самой Манефиной обители и прямехонько супротив Фленушкиных окон... Теперь им воля: матушка больным-больнешенька, а Фленушка и к винцу возымела пристрастие. Свертит она, скружит она сердечного Петра Степаныча, беспременно споит сердечного.

Зелень у Дуни в глазах заходила, когда услышала она Таисеины речи. Не то, чтобы слово промолвить, бровью не повела, пальчиком не двинула... Одна осталась — и тут не заплакала. Стала ровно каменная. Сама даже Груня стала ей противна. Одной все быть хотелось, уйти в самое себя. Вечером Марко Данилыч в театр ее повез с Дорониными. Безмолвно исполнила Дуня отцовский приказ, оделась, поехала; но лютой мукой показались ей и сиденье в ложе и сиденье за ужином у Никиты Егорова: однако все перенесла, все безропотно вытерпела.

На другой день, а это было как раз в то утро, когда Никита Федорыч впервые приехал к невесте, в грустном безмолвье, в сердечной кручине сидела, пригорюнясь, одинокая Дуня. Вдруг слышит — кто-то тревожно кричит в коридоре, кто-то бежит, хлопают двери, поднялась беготня... Не пожар ли, не горит ли гостиница?..

Нет... «Задавили, задавили!» — кричат... И все вдруг стихло.

Снова поднялся беспокойный говор, снова послышались топот бегущих и шум... Вдруг входная дверь распахнулась... Бледная, как смерть, с трудом переводя дыханье и держа за руку старшую девочку, в страшном испуге нетвердыми шагами вошла Аграфена Петровна и тяжело опустилась на первый попавшийся стул. Следом за ней вошла высокая, стройная, статная женщина, с ног до головы во всем черном, покрыта была она черною же, но дорогою кашмировою шалью. Сильными, крепкими руками внесла она меньшую дочку Аграфены Петровны — всю в пыли, с растрепанными волосами и в измятом платье... Бережно она поставила ее середь комнаты, погладила по головке и нежно поцеловала. Лицо этой женщины незнакомо было и Дуне и прибежавшей на шум Дарье Сергевне... Общими силами кое-как успокоили Аграфену Петровну.

Каждый день она перед полуднем хаживала навестить скорбную Дуню и брала с собой обеих маленьких девочек. День был ясный, и она, потихоньку пробираясь в тени по другой стороне улицы, поверсталась с гостиницей, где жили Смолокуровы. По улице взад и вперед тянутся нескончаемые обозы, по сторонам их мчатся кареты, коляски, дрожки, толпится и теснится народ; все шумят, гамят, суетятся, мечутся во все стороны, всюду сумятица и толкотня; у непривычного человека как раз голова кругом пойдет на такой сутолоке. Взяв за̀ руки девочек, Аграфена Петровна стала переходить кипевшую народом улицу и уж дошла было до подъезда гостиницы, как вдруг с шумом, с громом налетела чья-то запряженная парой бо́рзых коне́й коляска.

Раздался детский крик, обмерла Аграфена Петровна... Меньшая девочка ее лежала на мостовой у колес подъехавшей коляски. Сшибло ль ее, сама ли упала с испугу — бог ее знает... Ястребом ринулась мать, но ребенок был уж на руках черной женщины. В глазах помутилось у Аграфены Петровны, зелень пошла... Едва устояла она на ногах.

— Успокойтесь, не тревожьтесь,— ласково и тихо говорила добрая женщина.— Девочка ничем невредима... Один испуг.

В самом деле, ребенок поплатился только смятым

платьем да растрепанными волосами, но с испугу дрожал, бился и трепетал всем тельцем, ровно голубок, попавший в силки. Девочка не могла идти, а мать не в силах была поднять ее.

— Не беспокойтесь, моя милая, я донесу вашу бедную крошку,— кротко промолвила черная женщина и, охватив сильными руками девочку, бодро понесла ее вверх по ступеням...

У Смолокуровых она сказала, что живет рядом с их номером, и назвала себя помещицей села Талызина Марьей Ивановной Алымовой.

По душе пришлась скорбной Дуне Марья Ивановна. Голос тихий и кроткий, речь задушевная, нежная, добрая улыбка, скромные, но величавые приемы и проницательные ясные взоры чудным блеском сиявших голубых очей невольно, бессознательно влекли к ней разбитое сердце потерявшей земные радости девушки.

Между тем Марко Данилыч воротился с Гребновской в самом веселом расположении духа. Всю коренную рыбу, что у него ее ни было, по хорошей цене без остатка он продал. Увидавши в окно подъезжавшего хозяина, Дарья Сергевна поспешила к нему навстречу рассказать наперед, что у них без него случилось. Встревожился Марко Данилыч только за Дуню. Зная привязанность ее к Аграфене Петровне, опасался он, чтоб испуг еще пуще не повредил ей, но Дарья Сергевна его успокоила. Стал Марко Данилыч расспрашивать, что это за Марья Ивановна такая, и узнал, что какая-то она мудреная, сама из дворянского роду, а ходит черноризицей. Еще порасспросил об ней у Дарьи Сергевны и, узнав прозванье Марьи Ивановны, Марко Данилыч призадумался, а потом тихонько промолвил:

— Не дочка ли нашему?.. И та, слышь, тоже чудит... Тоже, слышь, в черном ходит и живет не по-господски... У старых девок, у келейниц, слышь, часто на беседах бывает. А добрая, говорят про нее, милосердая барышня.

Войдя в комнаты, познакомился он с Марьей Ивановной, о том о сем поговорил и потом спросил у ней:

— Не Ивана ль Григорьича дочка вы будете?

— Да,— ответила Марья Ивановна,— отца моего Иваном Григорьичем звали.

— Так деревня Родякова, что в лесу под Муромом, ваша будет?

— Да, это моя деревня,— подтвердила Марья Ивановна.

— Матушка!.. Марья Ивановна!..— радостно вскликнул Марко Данилыч...— Ведь вы нашего барина дочка!.. Мы сами родяковские родом-то.

— Как так? — с любопытством спросила Марья Ивановна.

— Мой-от родитель вашего батюшки крестьянином был, потом на волю откупился, а там и в купцы вышел... Ах вы, матушка наша Марья Ивановна!.. Вот привел господь встретиться!.. Мы вашим батюшкой завсегда довольны были... Барин милосердый был, жили мы за ним, что у Христа за пазухой.

— Вот как! — добродушно улыбаясь, молвила Марья Ивановна.— Давно ли ж то было? Я что-то не помню...

— Где ж вам помнить, матушка,— весело, радушно и почтительно говорил Марко Данилыч.— Вас и на свете тогда еще не было... Сам-от я невеличек еще был, как на волю-то мы выходили, а вот уж какой старый стал... Дарья Сергевна, да что же это вы, сударыня, сложа руки стоите?.. Что дорогую гостью не потчуете?.. Чайку бы, что ли, собрали.

— Пили уж,— ответила Дарья Сергевна.— Сейчас самовар со стола сняли...

— Так закусить прикажи́те подать,— молвил Марко Данилыч.— Да поскорее. Да получше велите подать. Такую дорогую гостью без хлеба, без соли нельзя отпустить!.. Как это возможно!..

Как ни отговаривалась Марья Ивановна, а Марко Данилыч упросил-таки ее воздать честь его хлебу-соли.

— Погляжу я на вас, сударыня, как на покойника-то, на Ивана-то Григорьича, с лица-то вы похожи,— говорил Марко Данилыч, разглядывая Марью Ивановну.— Хоша я больно малешенек был, как родитель ваш в Родяково к себе в вотчину приезжал, а как теперь на него гляжу — осанистый такой был, из себя видный, говорил так важно... А душа была у него предобреющая. Велел он тогда собрать всех нас, деревенских мальчишек и девчонок, и всех пряниками да орехами из своих рук оделил... Ласковый был барин, добрый.

— Отца я мало помню,—сказала Марья Ивановна.— После его кончины я ведь по восьмому году осталась.

— Вы ведь никак у дяденьки взросли?.. От наших

только родяковских я про то слыхивал...— молвил Марко Данилыч.

— После батюшки я круглой сиротой осталась, матери вовсе не помню,— отвечала Марья Ивановна.— У дяди Луповицкого, у Сергея Петровича, выросла я...

— Что ж это вы, сударыня, до сих пор себя не пристроили? Достатки у вас хорошие, сами из себя посмотреть только...— заговорил Смолокуров.

— Не всем замуж выходить, Марко Данилыч, надо кому-нибудь и старыми девками на свете быть,— сказала, улыбнувшись на радушные слова Смолокурова, Марья Ивановна.— Да и то сказать, в девичьей-то жизни и забот и тревог меньше.

— Все бы оно лучше,— заметил Марко Данилыч.

— Кому как,— молвила Марья Ивановна.— Я своей участью довольна... Никогда не жалею о том, что замуж не вышла.

— В Родякове-то редко бываете? — после недолгого молчанья спросил Смолокуров.

— Делать-то мне нечего там,— ответила Марья Ивановна.— Хозяйства нет, крестьяне на оброке.

— Знаем мы это, сударыня, знаем,— сказал Смолокуров.— Довольно наслышаны... Родитель ваш до крестьян был милостив, а вы и его превзошли. Так полагаю, сударыня, что, изойди теперь весь белый свет, такого малого оброка, как у вас в Родякове, нигде не найти...

— Много-то взять с родяковских и нельзя,— спокойно ответила Марья Ивановна.— Самим едва на пропитанье достает. Земля — голый песок, да и его не больно много; лесом, сердечные, только и перебиваются... Народ бедный, и малый-то оброк, по правде сказать, им тяжеленек.

— Ну это они врут, матушка,— молвил Марко Данилыч.— Слушать их в этом разе не следует — дурят. Земля точно что неродима и точно что ее маловато — это верно. А сколько они в год-от этой смолы в вашем лесу накурят, сколько дегтю насидят, сколько кадок наделают, да саней, да телег!.. А ведь за лес-от попенных вам ни копеечки они не платят... Знаю ведь я, матушка, ихнее-то житье-бытье. Нет, при таких ваших милостях бога гневить им не надо, а денно и нощно молиться должно о вашем здоровье... Не в Родяково ль отселе думаете?

— Не знаю еще, как вам сказать,— отвечала Марья Ивановна.— В Рязанскую губернию к братьям Луповицким пробираюсь. Отсюда до Мурома на пароходе думаю ехать. А оттоль до Родякова рукой подать — может быть, и заверну туда. Давно не бывала там.

— Ежели туда поедете, сделайте ваше одолжение, удостойте нас своим посещением,— встав с места и низко кланяясь, просил Марью Ивановну Смолокуров.— По дороге будет. Домишко у меня, слава богу, не тесный, найдется место, где успокоить вас. У меня ведь только и семейства что вот дочка Дунюшка да еще сродница Дарья Сергевна... Очень бы одолжили, Марья Ивановна. Мы вас завсегда за своих почитаем, потому родителем вашим оченно были довольны и много от него видали милостей. Так уж не оставьте втуне просьбы моей. Дунюшка, проси, голубка, Марью Ивановну!..

Краснея и потупив глаза, стала Дуня просить Марью Ивановну, но она ни того, ни сего в ответ не сказала. Не обещалась и не отказывала.

За обедом, как ни потчевал ее Марко Данилыч, пальцем не тронула рюмки с вином. Пивом, медом потчевал, не стала пить. Шампанского подали, и пригубить не согласилась. И до мясного не коснулась, ела рыбное да зелень, хоть день и скоромный был...

— Что ж это вы, матушка, постничаете? — спрашивал Марко Данилыч.— Обещанье, что ли, наложили, душе во спасение?

—Нет,— скромно ответила Марья Ивановна.— Мясное, признаться, мне с детства противно. Не привыкла к нему, оно ж и вредно мне. Вино и пиво тоже. Чай да вода, вот и все мое питье.

— Удивительное дело! — молвил Марко Данилыч.— Насчет питья у нас, по простому народу, говорится: «Пить воду не барскому роду». А насчет постничанья так ноне господа и во святую четыредесятницу едят что ни попало. А вы, матушка, и в мясоед таково строго поститесь. .

— Привычка,— сказала Марья Ивановна.

Марье Ивановне Дуня очень понравилась. Фармазонка говорила, что ее дела на ярмарке затянулись и ей приходится пока в Нижнем оставаться. Каждый день навещала она Дуню, а Марко Данилыч рад был тому. Льстило его самолюбию, что такая важная особа, дочь

знатного генерала, бывшего их господина, так полюбила его Дуню, что дня без нее не может пробыть. Дарья Сергевна тоже довольна была посещеньями Марьи Ивановны, еще не зная ее хорошенько, чтила как строгую постницу и молитвенницу, презирающую мир и суету его. Даже на то, что старой вере она не последует, смотрела снисходительно и, говоря с Марком Данилычем, высказывала убеждение, что хорошие люди во всякой вере бывают и что господь, видя добродетели Марьи Ивановны, не оставит ее навсегда во тьме неверия, но рано или поздно обратит ее к древлему благочестию.

Каждый день по нескольку часов Марья Ивановна проводила с Дуней в задушевных разговорах и скоро приобрела такую доверенность молодой девушки, какой она до того ни к кому не имела, даже к давнему испытанному другу Аграфене Петровне. Беседуя с Дуней, Марья Ивановна расспрашивала об ее жизни и занятиях, во все вникала до подробностей, на все давала полезные советы. Она хвалила Дуню за ее доброту, о которой знала от Дарьи Сергевны, и за то, что ведет она жизнь тихую, скромную, уединенную, не увлекается суетными мирскими забавами. Расспрашивала, какие книги Дуня читает, и, когда та называла их, одни хвалила, о других говорила, что читать их не следует, чтобы не вредить внутренней своей чистоте. Раз сказала ей Марья Ивановна:

— Жаль, что вы, милая, иностранным языкам не обучались, а то бы я прислала вам книжек, они бы очень полезны были вам. Впрочем, есть и русские хорошие книги. Читали ли вы, например, Юнга Штиллинга «Тоска по отчизне?»

— У нас нет такой книги,— ответила Дуня.

— «Правила жизни» госпожи Гион не случалось ли вам читать? — продолжала расспрашивать Марья Ивановна.

— И такой нет у нас,— сказала Дуня, и стало ей немножко стыдно, что не читала она хороших книг, даже не знает про них...

— Жаль,— промолвила Марья Ивановна.— Ежели бы эти книжки вы прочитали, новый бы свет увидали.

— Я скажу тятеньке, он купит. Позвольте, я запишу, как они называются... И еще про другие, какие полезнее, скажите,— с живостью молвила Дуня.

— Ну, этих книг Марко Данилыч вам не купит,— сказала Марья Ивановна.— Эти книги редкие, их почти вовсе нельзя достать, разве иногда по случаю. Да это не беда, я вам пришлю их, милая, читайте, и не один раз прочитайте... Сначала они вам покажутся непонятными, пожалуй даже скучными, но вы этим не смущайтесь, не бросайте их — а читайте, перечитывайте, вдумывайтесь в каждое слово, и понемножку вам все станет понятно и ясно... Тогда вам новый свет откроется, других книг тогда в руки не возьмете.

— Ах, пожалуйста, пришлите, Марья Ивановна,— говорила Дуня.— А о чем же в тех книжках говорится? — спросила она с любопытством.

— Трудно это рассказать, невозможно почти,— молвила Марья Ивановна.— Одно только могу теперь сказать вам, милая, что от этих книг будет вам большая польза. И не столько для ума, сколько для души...

— Стало быть, книги божественные? — простодушно спросила Дуня.

— Конечно, только не в том смысле, как вы, может быть, думаете,— уклончиво ответила Марья Ивановна.— Подождите, увидите, узнаете...

Дошли ли до Марьи Ивановны слухи, сама ли она догадалась по каким-нибудь словам Дуни, только она вполне поняла, что молодая ее приятельница недавно перенесла сердечную бурю. Однажды, когда снова зашел разговор о книгах, она спросила Дуню:

— Какие же книги из тех, что вы прочитали, больше всего вам понравились?

— Истории разные, путешествия,— отвечала Дуня.

— А не попадалось ли вам «Путешествие младого Костиса»? — спросила Марья Ивановна.

— Нет, такой не попадалось,— отвечала Дуня.

— Хорошая книга... я вам тоже пришлю ее,— сказала Марья Ивановна.— Не всякую, друг мой, историю, не всякое путешествие можно читать в ваши годы безнаказанно, без дурных последствий... В нынешние времена, друг мой, дух неприязни больше и сильней всего через книги разливает свой тлетворный яд по душам неопытных и еще не утвердившихся молодых людей. Чтением таких книг, писанных по злому внушению врага, он распаляет страсти, раздражает мечты и помыслы, истребляет душевную чистоту. Ах, если бы вы знали,

сколько хороших людей оттого пропадает, сколько из чистых и непорочных делается друзьями и служителями врага божия! Остерегайтесь, милая, таких книг, остерегайтесь, моя чистая, непорочная Дунюшка, храните чистоту... Легко ее потерять, но возвратить невозможно... Особенно пагубны молодым людям романы... В руки их не берите — это сети, связанные злою рукой темного противника божия. Сколько людей ежечасно уловляет он в эти сети, омрачая невинные их души нечистым пламенем страстей. Теми погибшими наполняет он свои мрачные легионы... Берегитесь, милая, берегитесь, чистая голубица моя, этих книг, храните свое сердце от непосильных искушений.

— Ни одного романа я не читала, у нас их даже и нет,— заметила Дуня.

— И не заводите их,— сказала Марья Ивановна.— Но надо вам сказать, моя дорогая, что дух злобы и неприязни не одними романами прельщает людей. Много у него разных способов к совращенью и пагубе непорочных... Не одними книгами распаляет он в их сердцах ту страсть, что от бога и от святых его ангелов отлучает... Пуще всего берегитесь этой злой, пагубной страсти...

— Что ж это за страсть, Марья Ивановна? — спросила у нее Дуня.

— Люди богохульно зовут эту греховную страсть именем того блаженства, выше и святее которого нет ничего ни на земле, ни в небесах. Пагубную страсть, порождаемую врагом божиим, называют они священным именем — любовь.

— Любовь! — тихо прошептала Дуня и глубоко задумалась.

— Никогда, мой друг, не помышляйте о земной, страстной любви к какому бы то ни было мужчине,— с жаром заговорила Марья Ивановна.— Чтоб ее никогда даже в воображении вашем не было... Дальше гоните ее от себя, как можно дальше от непорочного вашего сердца. Эта страсть одно лишь горе, одно лишь несчастье приносит людям. Счастья никогда в той любви не бывает. Сначала человек, когда в его сердце вспыхнет этот нечистый пламень, зажженный духом неприязни, чувствует будто наслажденье, думает даже, что он испытывает блаженство. Но это обман, это ложь, творимая отцом лжи. Пройдет немного времени, обман рассеется,

и вместо наслаждения останутся печаль, отчаянье да вечная боль разочарованного, разбитого сердца. Раскаянье, угрызения совести всю жизнь будут преследовать того человека, и до самой смерти он будет терпеть адские мученья... И там, за гробом, будет вечно терпеть... Это-то и есть адский пламень, это-то и есть бесконечные муки!.. Но есть иная любовь, святая, блаженная, к ней должна стремиться всякая душа непорочная.

— Какая же это? — спросила Дуня.

— Небесная, мой друг, святая, чистая, непорочная... От бога она идет, ангелами к нам на землю приносится,— восторженно говорила Марья Ивановна.— В той любви высочайшее блаженство, то самое блаженство, каким чистые души в раю наслаждаются. То любовь таинственная, любовь бесстрастная... Ни описать ее, ни рассказать об ней невозможно словами человеческими... Счастлив тот, кому она в удел достается.

— К кому же та любовь? — спросила Дуня.

— К богу и ко всему, что живет в нем,— отвечала Марья Ивановна.— А духовного супруга он сам укажет...

— Марье Ивановне наше наиглубочайшее! — входя в комнату, весело молвил Марко Данилыч.— А я сегодня, матушка, на радостях: останную рыбку, целых две баржи, продал и цену взял порядочную. Теперь еще бы полбаржи спустить с рук, совсем бы отделался и домой бы сейчас. У меня же там стройка к концу подходит... избы для работников ставлю, хозяйский глаз тут нужен беспременно. За всем самому надо присмотреть, а то народец-от у нас теплый. Чуть чего не доглядел, мигом растащут.

Молча в каком-то полузабытье сидела Дуня. Новые мысли, новые чувства!.. Властно овладели и умом и разбитым сердцем ее восторженные, таинственные слова Марьи Ивановны. Страстно захотелось Дуне дослушать ее, на этот раз разговор тем и кончился.

По уходе Марьи Ивановны Дуня села за работу и раздумалась. «Правду она говорит, истинную, сущую правду,— так размышляет Дуня.— Обман, а за ним печаль, отчаянье... Нет, такой любви я не хочу... Ни его и никого другого не хочу. Нет счастья в земной любви. Но как же той достигнуть?.. И что это значит — духовный супруг?.. Духовный супруг!.. Ах, тятенька, тятенька!.. Нужно же было тебе прийти так не во-время!..» И долго

носилась мыслями Дуня над словами Марьи Ивановны. Чудными, таинственными казались они ей, но всего чудней, всего таинственней был для нее «духовный супруг».

Долго на другой день Дуня ожидала прихода дорогой гостьи, но та что-то позамешкалась. Сгорая нетерпеньем, сама побежала к Марье Ивановне.

— Здравствуйте, моя милая,— ласково сказала Марья Ивановна, здороваясь с Дуней.— Что это вы такие бледные? Дурно ночь провели?

— Да, мне что-то не спалось,— ответила Дуня.

— Отчего ж это? — с участием спросила Марья Ивановна.

— Что это за «духовный супруг» такой? — еще больше потупляясь, тихо промолвила Дуня.

— Этого вы покамест не поймете. Это тайна... Великая тайна,— сказала Марья Ивановна.

— Над вашими словами всю ночь и раздумывала,— потупив глаза, робко и нерешительно молвила Дуня.— Много из того, что вы говорили, кажется, я поняла, а иного никак понять не могу...

— Чего же вы особенно, друг мой, не можете понять? — ласково улыбаясь, спросила Марья Ивановна.

— Что ж надо делать, чтоб узнать эту тайну? — с живостью спросила Дуня.

— Прежде всего надо постигнуть божественной любви, а это дело не легкое, моя дорогая. Во-первых, тут необходимы чистота и непорочность не только телесная, но и душевная... А главное дело — девственность. Знайте, моя милая, и навсегда сохраните в памяти слова мои: девственность сближает нас с ангелами, с самим даже богом, а земная страстная любовь, особенно брачная жизнь, равняет с бессловесными скотами. Плотская любовь — корень греха, девственность — райские врата... Но одной девственности мало еще для достижения небесной любви, того блаженного состояния, о каком вы теперь и помыслить не можете... Нужно для того умереть и воскреснуть.

— Значит, это на том свете? — спросила удивленная словами Марьи Ивановны Дуня.

— Нет, мой друг, не там, а здесь, нà этом свете, где мы теперь живем с вами,— сказала Марья Ивановна.— Надо умереть и воскреснуть раньше гроба и зарыванья

в землю, раньше того, что люди обыкновенно называют смертью... Но это вам трудно пока объяснить — не поймете...

«Как же это умереть прежде смерти? Умереть и воскреснуть!» — теряясь в мыслях, думала Дуня и потом стремительно бросилась к Марье Ивановне, стала обнимать ее, руки у ней целовать и со страстным увлеченьем молить ее:

— Голубушка, Марья Ивановна, не томите вы меня, расскажите, расскажите! Все пойму, все, что ни скажете.

— Трудно, милая, трудно,— отвечала Марья Ивановна.— В тайны сокровенные надо входить постепенно, иначе трудно понять их... Вам странными, непонятными показались мои слова, что надо умереть прежде смерти... А для меня это совершенно ясно... Ну поймете ли вы, ежели я вам скажу: не той смертью, после которой мертвого в землю зарывают, надо умереть, а совсем иною — тайною смертью.

— Как это тайною? — спрашивала Дуня.

— Слушай, горлица моя, постараюсь ясней рассказать, хоть и думаю, что слова мои будут тебе непонятны,— сказала Марья Ивановна.— Всему начало, как я сказала тебе, в девственной чистоте. Обладая этой чистотой для достижения блаженства небесной любви, надо умерщвлять в себе все помыслы, все желанья, все хотенья телесные и душевные... Трудное это дело, едва выносимое!.. Когда умертвишь таким образом в себе ветхого Адама, то есть человека греха, тогда ты достигнешь бесстрастья... Но для того надо претерпеть все беды, все напасти и скорби, надо все земное отвергнуть: и честь, и славу, и богатство, и самолюбие, и обидчивость, самый стыд отвергнуть и всякое к себе пристрастие... Все надо отвергнуть, все: и свою волю, и свои желания, и память, и разум, и все, что дотоле в тебе было... Об одном лишь имей попеченье, одного лишь желай...

И замолчала.

Едва переводя дух, раскрыв уста и содрогаясь всем телом, пылающими очами смотрит в исступлении Дуня на Марью Ивановну. Ровно огненный пламень, чудные, полупонятные слова разгорелись в сокровенных тайниках сердца девушки... Она была близка к восторженному самозабвенью, когда постигнутый им человек не сознает, в себе он или вне себя...

— Чего желать? Чего желать? — в исступлении молила Дуня.

— Воли божией, чтоб она над тобой совершилась,— торжественно сказала Марья Ивановна.

— Дальше, дальше! — задыхаясь, говорила Дуня. И в глазах у нее все закружилось.

— И тогда затмится у тебя разум и отнимется память, дыхание прекратится, и ты умрешь... Умрешь, но будешь жива... Эта смерть не тебе, а греху, смерть ветхому Адаму, он в тебе умрет. И тут-то невещественным огнем все земное в тебе попалится, и ты услышишь в самой себе глас божий и, услышавши, оживешь... То и есть таинственное воскресение... И после того таинственного воскресения ты и на земле будешь святою... Тогда уж не будет в тебе ни воли твоей, ни разума твоего, ни мыслей твоих, все твое уже попалено и умерло... будет тогда в тебе и воля, и разум, и мысли все божии... И что ты ни станешь делать — не ты будешь делать, а бог, в тебе живущий... И не будет тогда над тобой ни начала, ни власти, ни закона, ибо праведному закон не лежит... Будешь ты в семье херувимской, будешь в лике серафимском... Если бы ты во ад сошла, и там никакая сила не могла бы коснуться тебя, если б в райские светлицы вошла, и там не нашла бы бо́льших радостей и блаженства...

Как полотно побледнела Дуня, и глаза ее разгорелись... Хотела что-то сказать, но не могла... Задрожала вся и без памяти упала на руки Марьи Ивановны.

— Благ сосуд избра̀нный! — тихо прошептала Марья Ивановна и, бережно положив Дуню на свою постель, низко склонилась над ней и чуть слышно запела каким-то диким и восторженным напевом . . . .

Уж вы, птицы, мои птицы,
Души красные девицы,
Вам от матушки царицы
Дорогой убор-гостинец!
Вы во трубушку трубите,
Орла-птицу соманите,
Светильники зажигайте,
Гостя батюшку встречайте,
Небесного жениха
И духовного супруга[1].

---

[1] Хлыстовская песня.

Весь день не в себе была Дуня. Не вдруг она оправилась от нашедшего на нее исступленья... Сколько ни добивались от нее отец и Дарья Сергевна, что такое с ней случилось, не сказала она ни слова. Весь вечер ожидала с нетерпеньем Марью Ивановну, но та не приходила. На другой день зашла она к Смолокуровым и сказала, что дела ее кончились и она в тот же день собирается ехать. Как ни уговаривал ее Марко Данилыч повременить денька два-три, чтоб ехать вместе на пароходе, Марья Ивановна не согласилась. В полдень она распрощалась. Оставшись на несколько минут наедине с Дуней, советовала ей помнить, о чем она ей говорила, а главное, чистоту блюсти. С горькими слезами простилась с ней Дуня, несколько раз принимаясь целовать ее руки и кропить их сердечными слезами.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Верстах в четырех от того городка, где у Смолокурова была оседлость, вдоль суходола, бывшего когда-то речкой, раскинулась небольшая деревня. Сосновкой она прозывалась. Населена была та деревушка людьми вольными, что звались во время оно экономическими. Деды их и прадеды в старые годы за каким-то монастырем были, потом поступили в ведомство Коллегии экономии и стали писаться «экономическими», а управляться наравне с казенными крестьянами. Земли при Сосновке было немного, полевые участки самые маломерные. Глинистая почва каждый год требовала сильного удобренья, а скота у сосновских мужиков была самая малость, потому что лугов у них не было ни десятины, и навозу взять было неоткуда. При самом лучшем урожае у сосновцев своего хлеба дольше великого поста никогда не хватало, и нужда заставила их приняться за промыслà — все-таки подспорье убогому хозяйству.

От края до края Сосновки при каждом из тридцати пяти дворов стояли небольшие прядильни, там и мужчины и женщины всю зиму и часть лета сасовку [1] пряли, сбывая пряжу в соседний город канатным заводчикам,

---

[1] *Сасово* — село Тамбовской губернии, Елатомского уезда. Оттуда много идет пеньки, и ее зовут по имени села «сасовкой».

особливо Марку Данилычу. Не больно выгодный промысел, а все-таки подсоба малоземельным.

Изо всех сосновских хозяев один только был зажиточный. У него водились и синь кафтан ради праздника, и добрые кони на дворе, и дом во всем исправный. По всему околотку только у него одного каждый божий праздник мясные щи да пироги с говядиной на стол ставились, каждый год к Васильеву дню свиная голова к обеду подавалась, на Никиту-репореза — гусь, на Кузьму-Демьяна — курица, на Петра и Павла — жареная баранина[1]. Звали того крестьянина Силой Петровым, прозвали Чубаловым. Никогда бы ему не выбраться из ряда бедных однодеревенцев, если бы счастье не помогло. Был у него дядя, человек бессемейный, долго служил он в Муроме у богатого купца в приказчиках, и по смерти своей оставил племяннику с чем-то две тысячи потом и кровью нажитых денег. Такие деньги для крестьянина богатство немалое, ежели сумеет он путем да с толком в оборот их пустить. Сила Петров мужик был непьющий, толковый, расчетливый, бережливый, вел хозяйство, не разиня рот. Слыхал, что по иным местам денежные мужики от торговли бычками хорошую пользу получают, расспросил кой-кого, как они это делают, раскинул умом, раскумекал[2] разумом. С Вукола, как телятся жуколы[3], вплоть до поздней весны стал он разъезжать по ближним и дальним местам и скупал двух- и трехнедельных бычков почти за бесценок. Телятины простой народ ни за что на свете в рот не возьмет, в город возить ее из далекого захолустья накладно, а вскормить бычка тоже не барыш какой, другое дело телушка, та по времени хозяйку молоком за корм да за уход наградит. Рассчитывая так, мужики с радостью продавали Чубалову бычков, брали деньги хоть и небольшие, да все-таки годились они, коли не на соль, не на деготь, так хоть на выпивку. А Сила Петрович сбирал да сбирал бычков, откармли-

---

[1] *Васильев день* — 1 января; Никиты-репореза, иначе гусаря, гусятника — 15 сентября; Кузьмы-Демьяна — 1 ноября; Петра и Павла — 29 июня.

[2] *Раскумекать* — смекнуть, сообразить, а потом и понять, в чем дело.

[3] День св. Вукола 6 февраля. *Жуколы*—коровы, обходившиеся во время первого сгона на поле. По заволжью, особливо Костромскому, жуколами зовут также всех черных коров.

вал их бардой, а брал ее даром с городской пивоварни. После трех-четырех лет продавал раскормленных быков на бойню, либо сам развозил по деревням мясо, продавал бурлака́м на суда солонину, а кожи сырьем отвозил на заводы. Навозу было вдоволь, и вскоре надельные его полосы всем соседям стали на зависть и удивленье. Своего хлеба теперь у него не только до самой нови [1] на прожиток становилось, но оставалось и бычкам на зимний корм. Многие годы так хозяйствовал Сила Петрович и стал одним из первых мужиков по целому уезду, был он в почете не у одних крестьян, и господа им не брезговали. Жил себе да поживал Чубалов, копил денежки да всякое добро наживал, и никому в голову не приходило, чтобы его богатый дом когда-нибудь мог порушиться.

Было у Силы Петрова трое сынов, двое больших, Иван да Абрам, третий подросток, материн ба́ловник Гара́нюшка. Старшие парни были смирные, работящие; с самого раннего возраста много они отцу помогали. Гаранюшка сызмала не туда смотрел. Двенадцатый годок пошел ему, а из трех пеньковых прядей воро́вины [2] свить еще не умел, хоть отец не раз порченую веревку на спине его пробовал. К полевой работе Герасим тоже не прилагал старанья — люди пашню пахать, а он руками махать, люди на̀ поле жать, а ему бы под межой лежать... С грустью, с досадой смотрел работящий, домовитый отец на непутевое чадо, сам про себя раздумывал и хозяйке говаривал: «Не быть пути в Гараньке, станет он у́ бога даром небо коптить, у царя даром землю топтать. Будет толку от него, что в омете от гнилой соломы, станет век свой бродить да по лю́дям бобы разводить». Робко заступалась мать за своего любимца, тем его оправдывала, что он еще махонький, а вот, дескать, бог даст в разум войдет, тогда поправится. Крепко стоять за сына не смела — хозяин подчас крутенек бывал.

Вскрай Сосновки, в келье на бобыльском ряду, жил старый книжник, Нефедычем звали его. Смолоду крестьянским делом он брезговал, все бы ему на молитве стоять да над книжками сидеть. Жизни был доброй, сам великий постник, смиренник, к тому же начетчик большой.

---

[1] Новый хлеб.

[2] *Воро́вина* (от вервь) — самая простая веревка. В Оренбургском крае — аркан, в Вятском — сапожная дратва.

У окольных раскольников был он за наставника, на дух к нему много народа прихаживало, и все требы он исправлял им, опричь крестин да свадеб. По спасову согласью Нефедыч был, а в том согласии крестят и браки венчают только у церковного попа, великороссийского... Не орал Нефедыч, не сеял, а денежкам в мошне перевода у него не бывало, жил себе не тужил, у всех в любви и почете был, о чем кого ни попросит, всяк ему с радостью услужит, чем только сможет.

Полюбилась жизнь Нефедыча меньшому сыну Чубалова. Каждый божий день, бывало, к нему да к нему в келейку. «Чем тебе зря болтаться да шалопайничать,— молвил однажды старик лентяю Герасиму,— хоть бы грамоте, что ли, учился. Может, вперед пригодится, слыхал чать поди, что люди говорят про ученье? Кто грамоте горазд, тому не пропасть... Хочешь, посажу тебя за азбуку?» Герасим согласился, давно припадала ему охота учиться, но не знал, как приняться. Положил перед ним Нефедыч букварь, дал в руки указку, учить стал. Грамота далась Герасиму. Нефедыч надивиться не мог, как это скоро сумел мальчуган все понять и, что раз учил, никогда того не забывал... Недели через две Герасим читал уж по складам, через месяц по толка́м [1], часовник живо прочел... Нефедыч за псалтырь его посадил, и году не минуло, как Герасим уж двадцату кафизму [2] дочитывал.

Не по нраву пришлось это Силе Петрову. «Грамотей не пахарь,— говорил он,— а Гараньке не попить [3], ни приказным быть. Много стало ноне грамотных, да что-то мало сытых из них видится, и ему, пожалуй, придется с грамотой век свой по миру бродить». Видеть не мог сына за книгой Чубалов — тотчас, бывало, расправа. Что было дранья, что колотушек, потасовок, ничто не помогало. Побои не отвадили от книг тринадцатилетнего мальчика; чем больше его били, тем прилежней он читал их, и притом всякая работа больше да больше ему противела. Прежде, бывало, хоть дров в избу натаскает, хоть воды принесет, либо за курами да за бычками присмотрит, а теперь на все махнул рукой. Только и отрады

---

[1] *Читать по толка́м* — бегло читать, зная притом хорошо титлы и подтитлы.

[2] Конец псалтыря, состоящего из 20 кафизм.

[3] Быть за попа, исполнять поповские требы.

было у малого, что к Нефедычу за книгами бегать, а учитель в книгах ему никогда не отказывал. Налюбоваться не мог старик на ученика своего; и нередко целые вечера беседовал с ним от святого писания. Как ни был уважаем Нефедыч своими детьми духовными, как ни любил его Сила Чубалов. однако ж стал его побранивать за то, что сбивает у него парнишку с пути, что грамотой его от всякой работы отвадил. Добродушный, смиренный, незлобивый Нефедыч на брань и покоры только кланялся. Чуть не земные поклоны клал он перед Силой Петровым и тихим, смиренным голосом одно только слово ему приговаривал: «Прости Христа ради». Когда же отец грозно потребовал, чтобы он не портил больше Герасима, не давал бы ему книг, а каждый раз, как к нему забежит, палкой бы гнал от себя, Нефедыч ответил: «Нет, этого я сделать не могу». Грозился Чубалов, что ежели так, так он со всей семьей отшатнется от старой веры и уйдет в великороссийскую, но и это не подействовало на Нефедыча. «Свой разум в голове имеешь, Сила Петрович,— сказал он.— Как знаешь, так и поступай, коль о душеньке своей думать не хочешь».

Говорил, однако ж, учитель ученику, чтобы он ходил к нему пореже, не раздражал бы отца, а книги все-таки давал по-прежнему. Заберется, бывало, Гаранька на чердак и зимним временем, плотно прижавшись к чуть теплой трубе, сидит по нескольку часов над каким-нибудь «Цветником» либо «Прологом», а по воскресеньям и понедельникам уходил в не совсем еще остывшую после субботней топки баню и там до поздних сумерек просиживал над книгой. Летом ему было привольнее: на неделю, на две убегал он в лес, и там, читая книги Нефедыча, питался им же данными сухарями. Иногда спускался вниз по горе из лесу и там на берегу Оки читал ловцам жития угодников, за то они кормили чтеца ухой да жареной рыбой, а иной раз и на дорогу краюху мягкого хлеба снабжали. Пустынное житье полюбилось юному грамотею, и, под шум ветвистых, густо-зеленых дубов читая сказания о сирийских и фиваидских отшельниках. он ревновал их житию и положил в своем сердце завет провести свои дни до скончания живота в подвигах, плоть изнуряющих, дух же возвышающих.

Склоняется, бывало, день к вечеру, в лесу потемнеет, со всех сторон повеет прохладой. Стихнет шум деревьев,

и станет трава росой покрываться. Тогда сложит книгу юный отшельник и полной грудью начнет вдыхать свежий, ароматный воздух. Неподвижен, безмолвен стоит он, устремив взоры на померкающее небо, что сквозит меж высоких древесных вершин. Сладким потоком разольется тогда по душе его умиленье, и он счастливым считает себя в своем от людей отчужденье. Струятся по лицу неслышные ему слезы, и сама собой слетает с уст его пустынная песня:

Ты, пустыня, моя матушка,
Помилей мне отца с матерью,
Вы, леса мои кудрявые,
Помилей мне роду-племени,
Вы, луга, луга зеленые,
Помилее красна золота,
Вы, раздольица широкие,
Помилее чиста серебра,
Вы, кусты, кусты ракитовы,
Помилее скатна жемчугу.
Вы, залетны мелки пташечки,
Схороните мои косточки
На чужой дальной сторонушке,
Во прекрасной во пустынюшке.

Совсем, бывало, стемнеет, зелеными переливчатыми огоньками загорятся в сочной траве Ивановы червяки, и станут в тиши ночной раздаваться лесные голоса; то сова запищит, как ребенок, то дергач вдали затрещит, то в древесных ветвях птица впросонках завозится, а юный пустынник, не чуя ночного холода, в полном забытьи, стоит, долго стоит на одном месте, подняв голову и вперив очи в высокое небо, чуть-чуть видное в просветах темной листвы деревьев...

Каждый раз, когда возвращался отшельник в деревню, его встречали попреками, бранью, побоями, но все он сносил безропотно и в духовной радости любезно принимал озлобления, памятуя мучеников, за Христа когда-то еще не то потерпевших. На пятнадцатом году Герасим совсем скрылся... Не нашли его ни в лесу, ни у ловцов; сам Нефедыч не знал, куда он девался. Думали, в реке потонул, но вода нигде мертвого тела не вынесла; думали — не волки ли съели его, но сколько по лесу ни ходили — ни косточки, ни остатков Герасимовой одежды не нашли. Отец куда следует подал объявление; Герасима по всем городам и уездам будто бы разыскивали, извели на то не мало бумаги, но так как нигде не нашли,

то и завершили дело тем, что зачислили Герасима Чубалова без вести пропавшим.

Чтение книг без разбора и без разумного руководства развило в нем пытливость ума до болезненности. Еще в лесу много начитался он об антихристе, о нынешних последних временах и о том, что истинная Христова вера иссякла в людях и еще во дни патриарха Никона взята на̀ небо, на земле же сохранилась точию у малого числа людей, пребывающих в сокровенности, тех людей, про которых сам господь сказал в Евангелии: «Не бойся, малое стадо».

Но где же оно, где это малое стадо? В каких пустынях, в каких вертепах и пропастях земных сияет сие невидимое чуждым людям светило? Не знает Герасим, где оно, но к нему стремятся все помыслы молодого отшельника, и он, нося в сердце надежду быть причтенным когда-нибудь к этому малому стаду, пошел искать его по белу свету.

Из книг и рассказов Нефедыча Герасим подробно знал учение и обрядность почти всех раскольничьих толков и, думая над ними, уразумел, что истинной, правой веры Христовой ни в одном из них нет... Спасово согласие чуждается и церковников, и поповщины, и беспоповщины, а само дробится на множество толков, один другого строже, один другого нетерпимее. Всякий из них крепко стоит за каждую букву, за каждый обряд не одной церковной, но даже обиходной жизни; всяк почитает великороссийскую церковь погибельною, еретическою, ведущею широким путем в вечные муки, а между тем от нее же принимает и освящение браков и самое крещение. «Как же это так? — рассуждает Герасим.— Говорим и читаем: «Таинства ея несть таинства», а сами их принимаем... Говорим и читаем, что она погибельна, что антихрист царит в ней и что ее «крещение еретическое», и потому оно «несть крещение, но паче осквернение», а сами тем крещением крестимся... Стало быть, скверним себя и заранее души свои сатане продаем... Как же это?.. Поповщина, как и мы, зовет господствующую церковь отпавшею от истины, и все ее действия и чиновства считает безблагодатными, а сама священный чин от нее приемлет, а через него и всё освящение, все таинства... И тут что-то не так, и тут истины что-то не видится... Беспоповцы ни таинств, ни освящения не име-

ют и отрицают Христову церковь в нынешние последние времена, а ведь Христос обещал пребывать в церкви до скончания мира... Как же это?.. Где же истина, где правая вера?»

Так еще в пустынном лесу на глинистых берегах Оки по целым часам рассуждал Герасим, но, сколько ни думал, ответа на свои пытливые вопросы он не находил... Со слезными мольбами, припадая к ногам Нефедыча, и его о том спрашивал, но даже и седой наставник не мог удовлетворить пытливого юношу... Где же она, в самом деле, где та правая вера Христова, в ней же единой можно спастись? Ведь есть же она где-нибудь, ведь без нее мир не мог бы стоять. И с каждым днем распалялся он необоримым стремленьем искать на земле «малое стадо» Христово и, в нем пребывая, достигнуть вечного спасенья... Для того и оставил он отца своего и матерь свою и последовал по пути искания правой, истинной веры. В «странство» Герасим пошел.

Во все времена, во всех сторонах много бывало на Руси таких искателей правой веры. В стремлении к вечному блаженству жадно, но тщетно ищут они разрешенья вопросов, возникающих в пытливых умах их и мятущих смущенную душу. Негде, неоткуда, не от кого получить ответов на такие вопросы, и пытливый человек целую жизнь проищет их... Некому научить, некому указать на путь правый... И пойдет пытливый ум блуждать из стороны в сторону, кидаться из одной крайности в другую, а все-таки не найдет того, чего ищет, все-таки не услышит ни от кого растворенного любовью живого, разумного слова... Отсюда наши расколы, отсюда и равнодушие к вере высших слоев русского народа... Кто виноват?.. Диавол, конечно... А кроме его?..

Странствовал Герасим по разным странам ни мало, ни много пятнадцать годов с половиной. В десяти верах перебывал и в каждой вере бывал не рядовым человеком. Огромная начитанность, необычайная память, быстрое соображенье, мастерское уменье вести споры и побеждать совопросника давали ему первые места в каждой секте, в какую он ни вступал. За учительные беседы еще тогда звали его Златоустом, когда у него еще ус едва пробивался, когда же Герасим возмужал, в какой толк ни перейдет он, в каждом сразу делается наставником, учителем, большаком. А это и самолюбию его льсти-

ло и достаток умножило — щедры ведь старообрядцы к тому, кто полюбится им, кому они вверятся и вручат свою совесть и помышленья. А Герасим везде требы исправлял, везде бывал пастырем и учителем. Лучше и более знающего в делах веры никогда не могли найти раскольники. Укоряли они его, проклятьями даже осыпа́ли за переходы из веры в веру, но в совести своей Герасим был спокоен: он ищет истинную веру и правую церковь, но, куда ни придет — ее нет как нет... нигде не находит их. Сначала ревностно вдастся в учение и обрядность избранного толка, но тотчас же убедится, что в нем и не бывало никогда истины, что и в этот толк антихрист пустил тлетворную свою прелесть... После долгих размышлений, после мучительных колебаний совести отступал он, наконец, от избра́нной было веры, отрицался сатаны и всех дел его и опять уходил искать истинную, правую веру. Переходя из одного толка спасова согласия в другой, переходя потом из одной секты беспоповщины в иную, шесть раз Герасим перекрещивался и переменял имя, а поступая в Бондаревскую секту самокрещенцев [1], сам себя окрестил в дождевой воде, собранной в купель, устроенную им самим из молодых древесных побегов и обмазанную глиной, вынутой из земли на трех саженях глубины, да не осквернится та купель дыханием везде присущего антихриста, владеющего всем видимым миром, всеми морями, всеми реками и земными источниками... И тут не нашел он ни правды, ни истины... Перешел в секту «Петрова крещения» [2], где уж не надо было вновь перекрещиваться ни в речной воде, ни в небесной [3], но той креститься, какою Петр апостол крестился после отречения от Христа, той водою, что течет из живого источника, сердца человеческого. Слезами крестил себя Герасим, в умилении стоя перед Спасовым образом. То был последний его переход из веры в веру. Петровым крещеньем кончилось пятнадцатилетнее хождение Чубалова в странстве, ради обретения истинной правой веры Христовой, ради отыскания «малого стада» избра́нных, но сокровенных людей божиих.

---

[1] Секта самокрещенцев возникла еще в прошлом столетии. В нынешнем — саратовский купец Бондарев дал ей организацию, написав так называемые «Бондаревские ответы». По имени его и секта называется Бондаревскою.

[2] Отрасль так называемой «Глухой нетовщины».

[3] Дождь.

Все из книг узнал и все воочию видел Герасим, обо всем горячий искатель истины сто раз передумал, а правой спасительной веры так-таки и не нашел. Везде заблужденье, всюду антихрист... И запала ему на́ душу тяжелая дума: «Нет, видно, больше истинной веры, все, видно, растлено прелестью врага божия. Покинул свой мир господь вседержитель, предал его во власть сатаны...» И в душевном отчаянье, в злобе и ненависти покинул он странство...

И к людям и к себе самому та злоба была. Отчего ж вдруг напала она на Герасима?.. Не задавался он этим вопросом да никогда бы ответа на него не придумал. Жил доселе одним умом, сердце у него молчало, никогда не бывало у Герасима никаких привязанностей. Он искал истины ради удовлетворения пытливости ума, но любви и добра, исходящих от сердца, не искал, даже никогда и не думал о них. Это был сухой аскет, все человеческое было ему чуждо, никогда любовь не озаряла его загрубевшего сердца, оттого злоба и свила в нем гнездо свое.

Воротился на родину. Не пешеходом с котомкой за плечами он домой воротился — три подводы с добром в Сосновку привел. Всем было то видимо, а про то, что Герасим был опоясан чѐресом [1] и что на гайтане вместе с тельником [2] висел у него на шее туго набитый бумажник, того никто не видел. Много ли зашито серебра и золота в чѐресе, много ль ценных бумаг положено в бумажнике, про то знал да ведал один лишь Герасим. И после никто никогда о том не узнал.

Воротясь в Сосновку, тщетный искатель истины попрежнему стал называться Герасимом Силиным Чубаловым, а до того, меняя имена при каждом новом перекрещиванье, бывал он и Никифором, и Прокопием, и Савельем, и Никитою, Иринархом и Мефодием. Оттого прежние друзья единоверные, теперь возненавидевшие его за отступничество, называли его «десятиверным» да «семиименным». До Сосновки об этом слухов не дошло.

---

[1] Кожаный кошель, сшитый в виде кишки, с пряжками и застежками. В него кладут деньги и им опоясываются. В старину *чересл* (от этого слова «чресла») значило окружность тела над тазом.

[2] *Гайтан* — шнурок, на котором носят *тельник*, то есть крест.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Когда Герасим разошелся с последователями «Петрова крещения» и решился прекратить напрасные искания правой веры, захотелось ему возвратиться в покинутый мир. Легко было подумать «возвратиться», а каково сделать?.. Куда идти, где поселиться, к какому обществу приписаться пятнадцать лет пропадавшему без вести? Звался он где Прокофьем, где Савельем, проживал либо с чужими, либо с фальшивыми паспортами, проживал и вовсе без них, а иногда и с паспортом «из града бога вышнего, из сионской полиции» [1]. Куда явишься с такими письменными видами?.. А ему хотелось покинуть скитальческую жизнь со всеми ее опасностями и лишеньями, жить в тишине и покое, занимаясь каким-нибудь делом. Денег успел он накопить довольно, да опричь было

---

[1] Паспорты странников или бегунов сопелковского согласия имеют преимущественно такую форму: «Объявитель сего раб Иисуса Христа *имя рек*, уволен из Иерусалима, града божия, в разные города и селения ради души прокормления, грешному же телу ради всякого озлобления. Промышлять ему праведными трудами и работами, еже работати с прилежанием, а пить и есть с воздержанием, против всех не прекословить, но токмо бога славословить; убивающих тело не бояться, но бога бояться и терпением укрепляться, ходить правым путем по Христе, дабы не задержали беси раба божия нигде. Утверди мя, господи, во святых твоих заповедях стояти и от Востока — тебе, Христе, к Западу, сиречь ко антихристу, не отступати. Господь просвещение мое и спаситель мой — кого ся убою, господь защититель живота моего — кого ся устращу? Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое. Покой мне — бог, прибежище — Христос, покровитель и просветитель — дух святый. А как я сего не буду соблюдать, то после много буду плакать и рыдать. А кто страннего мя прияти в дом свой будет бояться, тот не хощет с господином моим знаться, а царь мой и господин сам Исус Христос, сын божий. А кто мя ради веры погонит, тот яве себя с антихристом во ад готовит. Дан сей пачпорт из града бога вышнего, из Сионской полиции, из Голгофского квартала. Приложено к сему пачпорту множество невидимых святых отец рук, еже бы боятися страшных и вечных мук. Дан сей пачпорт от нижеписанного числа на один век, а по истечении срока явиться мне в место нарочито — на страшный Христов суд. Прописаны мои приметы и лета в радость будущего века. Явлен пачпорт в части святых и в книгу животну под номером будущего века записан». Это паспорт пошехонских бегунов (Ярославской губернии). Есть и другие варианты. С такими паспортами странники или бегуны приходят в дома незнакомых им лично «странноприимцев», иначе «жиловых христиан» и принимаются ими как самые близкие родные.

у него другое богатство очень ценное: до тысячи книг старопечатных и старописьменных, собранных во время странствий от Поморья до Кавказа и от беспоповских селений в Пруссии до отдаленных мест Сибири. Думалось Чубалову в купцы где-нибудь приписаться и заняться торговлей старинными книгами, иконами и другой старинной утварью церковной и обиходной, сделаться «странщиком». Знавал он немало таких, и ему всегда по душе приходились их занятия. Поиски за старинными вещами, необходимые для старинщика, были для него делом не столь трудным, как другому. Он знал, что где искать. Не поедет он, как иной неумелый, на авось да наобум, деньги и время даром терять. Погоня за стариной по глухим захолустьям своего рода странство, а к нему Герасим Чубалов очень приобык, и оно ему, непоседе, очень нравилось. Таков уж сроду был: на одном месте не сиделось, переходить бы все с места на место, жить бы в незнакомых дотоль городах и селеньях, встречаться с новыми людьми, заводить новые знакомства и, как только где прискучит, на новые места к новым людям идти.

* * *

Было время, когда наши предки, мощной рукой Петра Великого выдвинутые из московского застоя в жизнь западную, быстро ее усвоили, не разбирая дурного от хорошего, пригодного русскому человеку от непригодного. Напудренное и щеголявшее в расшитых золотом французских кафтанах поколение ничем не походило на бородатых отцов и дедов. С детским увлеченьем опрометью кинулось оно в омут новой жизни и стало презрительно глядеть на все прежнее, на все старинное, дедовское. С легкомыслием дикаря, меняющего золотые слитки на стеклянные бусы, напудренные щеголихи опрастывали дедовские кладовые, где в продолжение не одного столетия накоплялось много всякой всячины. И все продавали за бесценок, отдавали почти за̀даром, обзавестись бы только поскорей на вырученные деньги игрушками новой роскоши. Старинные брати́ны, яндовы́, стопы́ и кубки, жалованные прежними царями ковши́ и чары с пелю́стками, чу́мы, росольники, передачи и крош-

ни, сулей и фляги, жбаны и четвертины[1] безжалостно продавались в лом на переплав. На придачу иногда шли туда же и ризы и оклады с родительских икон... Всего бывало. Хвастались даже тем. Иной как выгодным делом хвалился, что купил породистого жеребца да борзого кобеля на деньги, вырученные от продажи старого, никуда, по его мнению, не годного хлама: расшитых жемчугами и золотыми дробницами бабушкиных убрусов, шамшу́р из волоченого золота, кик и ряс с яхонтами, с лалами, с бирюзой и изумрудами[2]. Другой, бывало, нарадоваться не может, променяв дедовскую богомольную золотую греческого дела кацею[3] на парижскую та-

---

[1] *Брати́на* — горшок с поддоном и крышкой. *Яндова́* — род горшка, кверху с развалом, ко дну узкий, с носком, как у чайника. *Стопа́* — большой стакан с крышкой и с рукоятью на поддоне. *Кубки* бывали разнообразной формы: «на братинное дело» (то есть в форме братины), на стаканное дело, на тыквенное (в форме тыквы) и пр. *Ча́ра*, или *чарка* — круглый глубокий сосуд. Чары делались всегда на поддонах с небольшими рукоятками, но еще чаще с *пелюстками* — плоскими в виде расплюснутого листа рукоятями, прикрепленными к верхнему краю чары. *Чум*, или *чуми́ч*—ковш с длинной рукоятью; посуда поваренная. *Росольник*— блюдечко на ножке с поддоном, на него клали разные сласти и плоды. *Передача* — большая чаша с рукоятками и крышкой вроде нынешней миски. *Кро́шня* — корзина в виде чаши с крышкой на поддоне; крошни были разнообразных форм. *Суле́й* — сосуд в виде большой бутылки с пробкой из того же металла, которая завинчивалась; вместо рукояток у сулеи бывали цепи, прикрепленные по бокам. *Фляга* — то же, что сулея, только без горлышка. *Жбан*— род кружки, кверху несколько поуже, с крышкой, рукояткой и носком, как у чайника. *Четвертина* — сосуд со втулкой и тиском (завинчивавшаяся крышка, к верху которой приделывалось кольцо). Четвертины бывали четвероугольные, шестиугольные и осьмигранные. Все эти вещи делывались обыкновенно из серебра и золотились. У менее достаточных людей вся эта посуда была по форме такая же, но сделана из олова.

[2] *Убрус* — головной убор замужних женщин, из шелковой ткани, большей частью — тафты; концы убруса (застенки), висевшие по сторонам головы, вышивались золотом и бывали унизаны жемчугами и маленькими дробницами (золотые дощечки). *Шамшу́ра*, или *волосник* — головная сетка, вязанная или плетенная из волоченого (пряденого) золота и серебра; напереди волосника надо лбом носили прикрепленное к нему *очелье* с *подзором* (каймою), богато расшитое золотом и унизанное жемчугом и дорогими каменьями. *Ки́ка* — самый нарядный головной убор, вроде нынешнего мужского картуза без козырька. *Ряса* — длинная прядь из жемчуга вперемежку с драгоценными камнями и золотыми *пронизками* (бусы). По три, по четыре рясы висело по бокам кики.

[3] *Кацея* — ручная кадильница.

бакерку. Третий тем, бывало, кичится, тем бахвàлится[1], что дорогой дамасский булат, дедом его во время чигиринской войны в бою с турками дóбытый, удалось ему променять на модную французскую шпажонку. Кой-что из этих легкомысленно расточаемых остатков старины попадало в руки старообрядцев и спасалось таким образом для будущей науки, для будущего искусства от гибели, беспощадно им уготованной легкоумием обезьянствовавших баричей... Когда иное время настало, когда и у нас стали родною стариной дорожить, явились так называемые «старинщики», большей частью, если не все поголовно, старообрядцы. С редкою настойчивостью, доходившею до упорства, они разыскивали по захолустьям старинные книги, образа, церковную и хоромную[2] утварь. Этим и обогатились наши книгохранилища и собрания редкостей. Одним из таких спасателей неоцененных памятников старины был Герасим Силыч Чубалов.

* * *

Летом, в петровки, в воскресный день у колодца, что вырыт был сýпротив дома чубаловского, сидел подгорюнясь середний сын Силы Петровича — Абрам. Видит он: едут по деревне три нагруженные кладью воза и становятся возле его дома. «Проезжие торговцы конèй хотят попоить»,— думает Абрам, но видит, что один из них, человек еще не старый, по виду и одеже зажиточный, сняв шапку, тихою поступью подходит к Абрамову дому и перед медным крестом, что прибит на середке воротной прúтолоки[3], справляет уставнóй семипоклонный начàл. Диву дался Абрам, встал с места, подходит. А тот человек его спрашивает:

— Дома ль Сила Петрович?

— Помер давно,— отвечал Абрам.

Поник проезжий головой, снова спрашивает Абрама:

---

[1] *Бахвàлиться* — хвастаться, похваляться.

[2] *Хоромная* утварь, иначе обиходная,— всякие домашние вещи, за исключением икон и всего, до веры относящегося.

[3] *Воротная притолока* — верхний брус, или перекладина, что лежит на вереях. У старообрядцев, а также и у живущих среди их православных сохранился старинный благочестивый обычай прибивать к притолоке медный крест.

— А хозяюшка Силы Петровича? Федосья Мироновна?

— Тоже давно померла.

Вздохнул и еще ниже поник головою проезжий.

— А Иван Силыч? — спросил он.

— Ивана Силыча по жеребью в солдаты отдали. На чужой стороне жизнь покончил. А жена Иванова и детки его тоже все примерли. Один я остался в живых.

— Абрамушка! Брата́н!..[1] — воскликнул Герасим, и братья горячо обнялись.

«Не чаял я тебя видеть таким,— думает воротившийся в отчий дом странник.— Был ты здоров, кровь с молоком, молодец, ясный со́кол. Осмину хлеба, бывало, ровно лутошку на плеча себе вскидывал—богатырь был как есть... И был ты веселый забавник, всех, бывало, смешишь, потешаешь. На осенних ли посидках, на святочных ли игри́щах только, бывало, появишься ты — у всех и смехи, и потехи, и забавы... Девушки все до единой на тебя заглядывались, гадали об тебе, ворожили, каждая только то на мыслях и держала, как бы с тобой повенчаться.. А теперь — облысел, сморщился, ровно гриб стал, бледен как мертвец!.. Босой, в ветхой рубахе!..»

— Что за беда случилась с тобою, братан? — спросил после долгого молчания Герасим.

Тот только голову низко-пренизко склонил да плечами пожал. Глядит Герасим на дом родительский: набок скривился, крыша сгнила, заместо стекол в окнах грязные тряпицы, расписанные когда-то красками ставни оторваны, на улице перед воротами травка-муравка растет, значит, ворота́ не растворяются. «Нет, видно, ни конѐй доброезжих, ни коров холмогорских, ни бычков, что родитель, бывало, откармливал»,— подумал Герасим. И в самом деле, не было у Абрама ни скотины, ни животины, какова есть курица — и той давным-давно на дворе у него не бывало.

На говор братьев вышла из калитки молодая еще женщина, босая, в истасканном донельзя сарафанишке, испита́я вся, бледная, сморщенная. Только ясные, добрые голубые глаза говорили, что недавно еще было то

---

[1] *Брата́н* — старший брат.

время, когда пригожеством она красилась. То была бра́таниха[1] Герасиму, хозяйка Абрамова — Пелагея Филиппьевна. За нею высыпал целый рой ребятишек мал мала меньше. Все оборваны, все отрепаны, бледные, тощие, изнуренные... Это племянники да племянницы Герасима Силыча. Окружив со всех сторон мать и держась ручонками за ее подол, они, разинув рты ровно галчата, пугливо исподлобья глядели на незнакомого им человека.

Взглянув на полунагих и, видимо, голодных детей, Герасим Силыч ощутил в себе новое, до тех пор незнакомое еще ему чувство. Решаясь заехать в родную деревню, к отцу-матери на побывку, так думал Герасим в своей гордыне: «Отец теперь разжился, а все же нет у него таких капиталов, какие мне нажить довелось в эти пятнадцать годов... Стукну, брякну казной да и молвлю родителю: «ну вот, мол, батюшка, ни пахать, ни боронить, ни сеять, ни молотить я не умею и прясть на прядильне веревки тоже не горазд... Учил ты меня, родной, уму-разуму, бивал чем ни попало, а сам приговаривал: вот тебе, неразумный сын, ежели не образумишься, будешь даром небо коптить, будешь таскаться под оконьем!.. Ну, родитель-батюшка, скажи, не утай — много ль ты в эти пятнадцать годов нажил казны золотой?.. Давай-ка меряться да считаться!» И выкажу отцу свои капиталы... И поникнет он головою и передо мною, перед пропадшим сыном, смирится... «Вот тебе грамотей, а не пахарь,— скажу я родителю.— За что бивал меня, за что бранивал?..» Смирится старый, а я из деревни вон — прощай, мол, батюшка, лихом не поминай... И ни копейки не дам ему...»

Не то на деле вышло: черствое сердце сурового отреченника от людей и от мира дрогнуло при виде братней нищеты и болезненно заныло жалостью. В напыщенной духовною гордыней душе промелькнуло: «Не напрасно ли я пятнадцать годов провел в странстве? Не лучше ли бы провести эти годы на пользу ближних, не бегая мира, не проклиная сует его?..» И жалким сумасбродством вдруг показалась ему созерцательная жизнь отшельника... С детства ни разу не плакивал Герасим, теперь слезы просочились из глаз.

---

[1] *Бра́таниха* — жена братана.

И с того часа он ровно переродился, стало у него на душе легко и радостно. Тут впервые понял он, что значат слова любимого ученика Христова: «Бог любы есть» [1]. «Вот она где истина-то,— подумал Герасим,— вот она где правая-то вера, а в странстве да в отреченье от людей и от мира навряд ли есть спасенье... Вздор один, ложь. А кто отец лжи?.. Дьявол. Он это все выдумал ради обольщенья людей... А они сдуру-то верят ему, врагу божию!..»

Братнина нищета и голод детей сломили в Чубалове самообольщенье духовной гордостью. Проклял он это исчадие ада, из ненавистника людей, из отреченника от мира преобразился в существо разумное — стал человеком... Много вышло из того доброго для других, а всего больше для самого Герасима Силыча.

Еще не успел возвратившийся странник войти под кровлю отчего дома, как вся Сосновка сбежала поглазеть на чудо дивное, на человека, что пятнадцать годов в мертвых вменяем был и вдруг ровно с того света вернулся. Праздник был, все до́ма... Скоро пропасть народу набралось у колодца и у избы чубаловской. Дивились на Герасима, еще больше дивились на его воза̀ с корoба̀ми и ящиками, в каких купцы товары развозят. «Вон он куда вылез? Глянь-ка, каким стал богатеем!» Зависть и досада звучали в праздных словах праздного народа... Те, что были постарее, признали в приезжем пятнадцать лет перед тем сбежавшего бог весть куда грамотея и теперь как старые знакомцы тотчас вступили с ним в разговор. Глядя на его тонкого сукна черный кафтан и на пуховую шляпу, а пуще всего посматривая на воза, мелким бесом они рассыпались перед Чубаловым, называя бывшего Гараньку то Герасимом Силычем, то «почтенным», то даже «вашим степенством». Воза̀ свели с ума и матерей, у которых дочери заневестились. Умильно они поглядывали на Герасима и закидывали ему ласковые словечки, напоминая на былое прошлое время, а сами держа на уме: «Коли не женат, так вот бы женишок моей девчурке»; но приезжий вовсе не глядел женихом, и никто не знал, холост он или женатый... А молодки, стоя особняком возле колодца, завистливо косились на жену Абрамову и такими словами между собой перекидывались: «Вот те Чубалиха, вот те и нищенка! До-

[1] Первое послание Иоанна, IV, 16.

селева была Палашка — рвана рубашка, теперь стала Пелагеей Филиппьевной! Пустые щи, и то не каждый день, отопком[1] хлебала, а теперь, глядика-сь, в какие богачихи попала! Вот дурам-то счастье! Правда молвится, что дура спит, а счастье у ней в головах сидит!..»

И молодые парни и те, у кого в бороде уже заиндевело, ровно великой радостью спешили Герасима порадовать — известили его, что теперь в Сосновке у них свой кабак завелся, и звали туда его с приездом поздравить. Герасим отказался, но на четвертуху[2] денег дал. Тут весь мир собрался и решительно объявил, что четвертухи оченно мало, надо целое ведро для такой радости поставить, потому что в пятнадцать лет Герасимовой отлучки ревизских душ у них в Сосновке много понабавилось. На полведра дал Чубалов. Мир остался недоволен. «Мы за тебя, Герасим Силыч, сколько годов подати-то платили? Из ревизии ты еще ведь не выписан»,— сказал деревенский староста, плут мужик, стоило только взглянуть на него. «С твоего братана взять нечего,— говорили другие,— ему и за свою-то душу нечем платить... И то на нем столько недоимки накопилось, что страсть! Твоя душа, да родителя твоего, да братана Ивана, что в солдаты пошел,— все ваши души на мир разложены. Поэтому самому, ваше степенство, тебе и следует целое ведро миру поставить, чтобы выпили мы на радостях про твое здоровье. Больно ведь уж мы рады тебе, что ты воротился... Так-то, почтенный!»

Дал Герасим на ведро. Мир и тем не удовольствовался. Немного погодя, когда Герасим уж в родительском доме сидел, шасть к нему староста. Вошел, богу как следует помолился, всем поклонился, «здравствуйте» сказал, а потом и зачал доказывать, что ведерка на мир очень недостаточно, и потому Герасиму Силычу беспременно надо пожертвовать на другое. Не до старосты было тогда Герасиму, не до мирской попойки; ни слова не молвя, дал денег на другое ведро и попросил старосту мир-народ угостить. Староста дачей денег остался доволен, а потом начал из кожи лезть, упрашивая обоих Чубаловых, ровно бог знает о какой милости, чтоб и они шли на лужок у кабака с миром вместе винца испить.

---

[1] Стоптанный, изношенный лапоть.
[2] Четверть ведра.

Оба брата отказались, и староста, уходя из избы, изо всей мочи хлопнул дверью, чтобы хоть этим сердце сорвать. Надивиться он не мог, отчего это не пошли на лужок Чубаловы. «Ну пущай,— говорил он шедшему рядом с ним десятнику,— пущай Абрамка не пьет, а не пьет оттого, что пить доселе было не на что, а этот скаред, сквалыга, этот распроклятый отчего не пьет?» То же говорил староста и на лужайке мир-народу, разливая по стаканам новое ведерко, и мудрый мир-народ единогласно порешил, что оба Чубаловы, и тот и другой, дураки. Потом мир-народ занялся делом общественным. Составился вокруг порожнего ведерка сход, и на том сходе решено было завтра же ехать старосте в волость, объявить там о добровольной явке из бегов пропадавшего без вести крестьянина Герасима Чубалова, внести его в списки и затем взыскать с него переплаченные обществом за него и за семейство его подати и повинности, а по взыскании тех денег, пропить их, не откладывая, в первое же после того взыска воскресенье. Постановив такой всем по душе пришедшийся приговор, мир-народ еще выпил на радостях. Играли на гармониках, орали песни вплоть до рассвета, драк было достаточно; поутру больше половины баб вышло к деревенскому колодцу с подбитыми глазами, а мужья все до единого лежали похмельные. Так радостно встретила Герасима Силыча родимая сторонушка.

Когда Герасим вошел в родительский дом и, помолившись семейным иконам, оглянул с детства знакомую избу, его сердце еще больше упало. Нищета, бедность крайняя... Нигде, что называется, ни крохи, ни зерна, везде голым-голо́, везде хоть шаром покати: скотины — таракан да жужелица, посуды — крест да пуговица, одежи — мешок да рядно. Двор раскрыт без повети стоит; у ворот ни запора, ни подворотни, да и зачем? — голый что святой: ни разбоя, ни воров не боится. В первую пору странства, когда Герасим в среде старообрядцев еще не прославился, сам он иногда голодовал, холодовал и всякую другую нужду терпел, но такой нищеты, как у брата в дому, и во сне он не видывал. Вспомнил про надельные полосы, при выкормке бычков родителем до того удобренные, что давали они урожая вдвое и втрое супротив соседних наделов, и спросил у брата̀на, каково идет у него полевое хозяйство. Молчит Аб-

рам, глаза в землю потупя... Со слезами отвечает невестка, что вот уж-де больше пяти годов, как нет у них никакого хозяйства, и у нее нет никаких бабьих работ — ни в поле жнитва, ни в огороде полотья. «Вот каким пахарем стал»,— подумал Герасим. И в самом деле избной пол стал у Абрама, как в людях молвится, под озимым, печь под яровым, полати под паром, а полавочье под покосом. Таково было хозяйство, что даже мыши перевелись с голодухи в амбаре.

Молчанье брата, грустный, жалобный голос невестки, скучившиеся в углу у коника полунагие ребятишки вконец растопили сердце Герасима.

Пуще всего жаль было Герасиму малых детей, а их было вдосталь и не для такой скудости, в какой жил его брат: семеро на ногах, восьмой в зыбке, а большему всего только десятый годок.

— А что, невестушка, чем станешь гостя потчевать? — спросил, садясь на лавку, он Пелагею.

Та, закрыв лицо передником, тихо, безмолвно заплакала. Молчит и Абрам, сумрачно смотрит на брата, ровно черная туча.

— Болезный ты мой, родной, притоманный! — с трудом могла, наконец, промолвить хозяйка.— Было щец маленько, да за обедом поели все. С великой бы радостью, тебя, мой душевный, попотчевала, да нетути теперь у нас ничего.

А хозяин голову перед братом повесил и потупил глаза. Слеза прошибла их.

— На нет и суда нет, невестушка,— сказал Герасим и тоже печально склонил свою голову.

— Нет, вот что, родненький,— вспомнив, молвила Пелагея.— Сбегаю я к Матрене Прокофьевне,— обратилась она к мужу,— к нашей старостихе,— пояснила деверю,— покучусь у ней молочка хоть криночку, да яичек, да маслица, яишенку-глазунью гостю дорогому состряпаю. Может, не откажет: изо всех баб она до меня всех милостивей.

И, накинув на плечи истрепанный, дырявый шушун [1], спешно пошла из избы.

---

[1] *Шушуном,* смотря по местности, называется разная верхняя женская одежда. За Окой на юг от Москвы, в губерниях: Рязанской, Тамбовской, Тульской и др., где сарафанов не носят, шушу-

— Постой, невестушка, постой, родная,— остановил Пелагею Герасим.— Так не годится. У вас на деревне, слышь, кабак завелся, чать при нем есть и закусочная? — обратился он к брату.

— Как не быть, есть,— тихо ответил Абрам.

— На-ка тебе,—молвил Герасим, подавая Абраму рублевку.— Сходи да купи харчей, какие найдутся. Пивца бутылочку прихвати, пивцо-то я маленько употребляю, и ты со мной стаканчик выпьешь. На всю бумажку бери, сдачи приносить не моги ни единой копейки. Пряников ребяткам купи, орехов, подсолнухов.

— Что это, брательник?[1] Зачем? — молвил Абрам.— Они у нас непривычны, не надо.

— А ты, Абрамушка, делай не по-сво́ему, а по-мо́ему,— улыбаясь, добродушно ответил Герасим.— Подька, а ты, подь поскорее.

Постоял маленько Абрам, вздохнул и, взявши с колка[2] шапку, пошел из избы, почесывая в затылке.

— Ну, невестушка,— сказал по уходе брата Герасим,— ты бы теперь мне маленько местечка где-нибудь опростала. Одну-то телегу надо скорей опростать.

— Да вон тащи, родной, хоть в заднюю избу,— молвила Пелагея,— а не то в клеть — пустым-пустехоньки. А ежели больно к спеху, так покамест в сенях положь; сени у нас больше, просторные, всю свою поклажу уложишь.

— Ладно,— ответил Герасим.— В сенях, так в сенях.

И, выйдя из избы, сказал возчикам — сняли бы с одного воза кладь, а в опростанную телегу заложили лошадь. Пока они перетаскивали коро̀ба и ящики, Герасим подсел к столу и, вынув из кармана бумагу, стал

ном зовут холщовую женскую рубашку, длиною немного пониже колен, с алым шитьем и кумачными красными про́шивками; он надевается к паневе сверх рубахи. На севере (губернии: Новгородская, Вологодская, Вятская) шушуном называется крашенинный старушечий сарафан, а в Олонецкой и по иным местам — сарафан из красного кумача с воротом и висячими назади рука̀вами. В Волжском верховье (Тверская, Ярославская, Костромская) шушуном зовется кофта с рукавами и отложным воротником, оторочённая кругом ленточкой — *шугой*. На Горах, начиная с Нижегородской губернии, шушун — верхняя крашенинная короткая сорочка-расстегай вроде блузы, надеваемая поверх сарафана.

[1] *Брательник* — меньшой, младший брат.

[2] Деревянный гвоздь или тычок, вбитый в заднюю стену избы у входа, для вешанья шапок.

что-то писать карандашом, порой останавливаясь, будто что припоминая. Кончив писанье, вышел он на двор и, подозвав одного из приехавших с ним, сказал:

— Ну, Семенушка, сослужи ты мне, братец, теперь не в службу, а в дружбу. Хоть ты и устал и давно бы пора отдохнуть тебе, да уж, пожалуйста, похлопочи, сделай для меня такую милость.

Семен Ермолаич был у Чубалова за приказчика. Человек пожилой, степенный, тоже грамотей и немалый знаток в старинных книгах, особенно же в иконах. Рад был он сослужить службу хозяину.

— Здешни места знаешь? — спросил у него Чубалов.

— Как мне не знать здешних местов? — молвил Семен Ермолаич.— Сам недальний отселе.

— Так вот что,— сказал Чубалов.— В город дорогу найдешь?

— Как не найти? Ехали сюда, в виду у нас был.

— Моих денег есть ли сколько-нибудь при тебе? — спросил Чубалов.

— Есть довольно...

— Сделай же все по этой записке. Только сделай милость, управляйся скорее, засветло бы тебе назад поспеть. Успеешь, думаю, тут всего четыре версты, да и тех, пожалуй, не будет,— молвил Чубалов.

— Как не поспеть засветло,— сказал Ермолаич.— Далеко ли тут? Для братана, что ли? — примолвил он, бегло взглянув на записку.

— Да,— молвил Герасим.— Не чаял я, Семенушка.

— Жалости даже подобно,— сказал Семен Ермолаич.— Покалякал я кой с кем из здешних про твоего братана. Мужик, сказывают, по всему хороший, смирный, работящий, вина капли в рот не берет. Да как пошли, слышь, на него беды за бедами, так его, сердечного, вконец и доконало. Опять же больно уж много ребяток-то он наплодил, что, слышь, ни год, то под матицу зыбку подвязывай [1]. Поглядеть на богатых — дети у них не стоят, родился́, глядь ан и гробик надо ладить, а у Абрама Силыча все до единого вживе остались... Шутка ли, восемь человек мал мал меньше... Работник-от он один, а ртов целый десяток. Как тут не пойти под о́конья?..

---

[1] *Матица* — брус поперек избы, на ней кладется потолочный тес. *Зыбка* — колыбель, люлька, в крестьянских домах обыкновенно подвешиваемая к потолочной матице. Есть в каждой избе и другая матица — балка, на которую пол настилается.

— Нешто побираются? — мрачно насупясь, спросил у Ермолаича Герасим.

— Сам-от нет, сам, слышь, и день и ночь за работой, и хозяйка не ходит, от дому-то ей отлучаться нельзя. Опять же Христа ради сбирать ей и зазо́рно — брата́ она из хорошего дома, свои капиталы в девках имела, сродники, слышь, обобрали ее дочистà... А большеньки ребятки, говорили бабенки, каждый, слышь, день ходят побираться.

Пуще прежнего нахмурился Герасим Силыч, смотрит ровно осенняя ночь.

— Поезжай поскорее, Ермолаич,— вдруг заторопил он приказчика.— Зàсветло надобно быть здесь тебе непременно. Пожалуйста, поторапливайся!

— Как зàсветло не воротиться, воротимся,— молвил разговорившийся Ермолаич, оправляя супо́нь на лошади.— Эки собаки, прости господи! И супонь-то кой-как затянули, и гужи-то к оглоблям не пристегнули. Все бы кой-как да как-нибудь, а дорогой конь распряжется. Глядишь остановка, меледа...[1] Да, Герасим Силыч, правда в людях молвится: «Без детей горе, а с детьми вдвое...» Только уж паче меры плодлив братан-от у тебя... Конечно, ежели поможет ему господь всех на ноги поставить — работников будет у него вдоволь, пять сынов, все пого́дки... Тогда бог даст справится.

— А ты поезжай, поезжай, Семенушка,— торопил его Герасим.

Ермолаич сел, наконец, в телегу, а все-таки свое продолжал:

— Да, плодлив, беда какой плодливый... Шутка сказать, восьмеро ребятишек!.. И у богатого при такой семьище голова кру́гом пойдет. Поди-ка вспой, вскорми каждого да выучи!.. Ой, беда, беда!

Наконец-то двинулся в путь. Выйдя из ворот, Герасим, посмотрев вслед Ермолаичу, в избу вошел.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Облокотясь на стол и припав рукою к щеке, тихими слезами плакала Пелагея Филиппьевна, когда, исправивши свои дела, воротился в избу Герасим. Трое боль-

[1] Мешкотное дело, задержка.

шеньких мальчиков молча стояли у печки, в грустном молчанье глядя на грустную мать. Четвертый забился в углу коника за наваленный там всякого рода подранный и поломанный хлам. Младший сынок с двумя крошечными сестренками возился под лавкой. Приукутанный в грязные отрепья, грудной ребенок спал в лубочной вонючей зыбке, подвешенной к оцепу [1].

— Что, невестушка, пригорюнилась? О чем слезы ронишь, родная? — ласково, участливо спросил Герасим, садясь возле нее на лавку.

— Как мне не плакать, как не убиваться?..— захлебываясь слезами, чуть могла промолвить Пелагея Филиппьевна.— Не видишь разве, желанный, каково житье наше горе-горькое?.. А живали ведь и мы хорошо... В достатке живали, у людей были в любви и почете. И все-то прошло, прокатилось, ровно во сне привольное-то житье я видела... Ох, родной, родной!.. Тебя и в живых мы не чаяли, и вот господь дал — приехал, воротился. Радоваться бы твоему приезду нам да веселиться, а у нас куска хлеба нет покормить тебя... Тошно, родимый, тошнехонько!..

И бросив на стол белые, исхудалые, пó локоть обнаженные руки, прижала к ним скорбное лицо и горько зарыдала. У Герасима сердце повернулось...

— Полно, родная, перестань убиваться,— любовно молвил он ей, положив руку на ее плечо.— Бог не без милости, не унывай, а на него уповай. Снова пошлет он тебе и хорошую жизнь и спокойную. Молись, невестушка, молись милосердному господу — ведь мы к нему с земной печалью, а он, свет, к нам с небесной милостью. Для того и не моги отчаиваться, не смей роптать. То знай, что на каждого человека бог по силе его крест налагает.

— Не ропщу я, родной, николи бога ропотом я не гневила,— сказала Пелагея тихо, поднявши голову и взглянув на деверя чистым, ясным, правдой и смиреньем горевшим взором.

— И хорошее дело, невестушка. За это господь тебя не покинет, воззрит на печаль твою. Надейся, Пелагеюшка, надейся... На бога положишься, не облóжишься. Утри-ка слезы-то да покажь мне деток-то. Я ведь хоро-

---

[1] *Оцеп*, иначе *очеп*, *журав*, *журавец* — перевес, слега или жердь, прикрепленная к матице.

шенько-то еще и не знаю своих племянников. Показывай, невестушка, начинай со старшенького.

Отерла слезы Пелагея. Теперь она была уже уверена, что деверь не покинет их в бедности, даст вздохнуть, выведет из нищеты и горя.

— Подь сюда, Иванушка, подойди поближе к дяденьке,— сказала она старшему мальчику.

Тихо, но не робкой поступью подошел беловолосый, бледный, истощенный Иванушка с ясными, умными глазками. Подойдя к дяде, он покраснел до ушей.

— Это наш большенький,— молвила Пелагея,— Иванушкой звать.

— Много ль ему? — спросил Герасим, гладя по голове племянника.

— Десятый годок на Ивана Богослова перед летним Николой пошел,— ответила Пелагея Филиппьевна.

— Умненький мальчик,— молвил Герасим, поглядев в глаза Иванушке.

— Ничего, паренек смышленый,— скорбно улыбнулась мать, глядя на своего первенца.

— Грамоте учишься? — спросил у него дядя и тотчас же одумался, что напрасно и спрашивал о том. «Какая ему грамота, коли ходит побираться?»

Еще больше мальчик зарделся. Тоскливым, печальным взором, но смело, открыто взглянул он дяде прямо в глаза и чуть слышно вымолвил:

— Нет.

— Какая ему грамота, родимый!..— дрожащими от приступа слез губами прошептала мать.— Куда уж нам о грамоте думать, хоть бы только поскорее пособниками отцу стали... А Иванушка паренек у нас смышленый, понятливый... Теперь помаленьку и прядильному делу стал навыкать.

— Дело хорошее, Иванушка,— думчиво молвил Герасим, гладя племянника по белым, как лен, волосенкам.— Доброе дело отцу подмогать.

И замолчал, вперив очи в умненькое личико мальчика.

Вспали тут на разум бывшему страннику такие мысли, что прежде бы он почел их бесовским искушеньем, диавольским наважденьем... «Дожил я слишком до тридцати годов, а кому послужил хоть на малую пользу?.. Все веру искал, в словопрениях путался... Веру искал, и мыкался, мыкался по всему свету вольному, а вот се-

годня ее дома нашел... А в пятнадцать годов шатанья, скитанья, черноризничанья успел от добрых людей отстать... Не́што люди те были, нешто сам-от я был человеком?.. Гробы повапленные!.. Вот тогда в Сызрани, два года тому назад, соборная беседа у нас была... Я сидел в первых... и долгое шло рассужденье, в каком разуме надо понимать словеса Христовы: «Милости хощу, а не жертвы...» Никто тех словес не мог смыслом обнять; судили, рядили и врозь и вкось. Меня, как старшего по званию догматов церковных, спросили... насказал я собеседникам и невесть чего: и про жертву-то ветхозаконную говорил, и про милости-то царя небесного к верным праведным, а сам ровнехонько не понимал ничего, что им говорю и к чему речь клоню... Однако же много довольны остались, громко похваляли меня за остроту разума, за глубокое ведение святого писания... Не доступны были тогда моему разуменью простые и святые словеса евангельские, а теперь, только что поглядел я на этих мальцов да поболел о них душою, ровно меня осиял свет господень и дадеся мне от всевышнего сила разумения... Познаю разум слов твоих, Спасе... Милости, милости хощешь ты, господи, а не черной рясы, не отреченья от людей, не проклятия миру, тобой созданному!»

— А хотелось бы тебе грамоте-то поучиться? — мягким, полным любви голосом спросил после долгого молчанья Герасим Силыч у племянника.

— Как же не хотеться? — потупив в землю глаза, чуть слышно ответил Иванушка.— Я бы, пожалуй, и самоучкой стал учиться, без мастерицы [1], только бы кто показал... Да ведь азбуки нет.

— Завтра же будет она у тебя,— молвил Герасим.— И станешь ты учиться не самоучкой, не у мастерицы, я сам учить тебя стану... Хочешь ли?

— Хочу, дяденька, больно хочу,— радостно вскрикнул маленький Иванушка, и голубые глазенки его так и запрыгали...

— Ну, вот и ладно, вот и хорошо,— с добрым чувством промолвил Герасим, перебирая пальцами Иванушкины кудри.— Станем, племянничек, станем учиться... Только смотри у меня, с уговором — учись, а отцовского дела покинуть не смей. Старайся прясть хорошенько. Учись этому, Иванушка, навыкай. Грамота дело хоро-

[1] *Мастерица* — деревенская учительница грамоте.

шее, больно хорошее, однако ж если у грамотея мирского дела никакого не будет, работы то есть никакой он не будет знать, ни к какому промыслу сызмальства не обыкнет, будет ему грамота на пагубу. Станешь ли при грамоте прясть хорошенько? Станешь ли при грамоте отцу пособлять?

— Стану, дяденька, стану,— порывисто ответил Иванушка, веселыми глазами гля́дя на дядю и прижимаясь к нему.

— Ежели б годиков семь нашим грехам господь потерпел да сохранил бы в добром здоровье Абрама Силыча, мы бы, родимый, во всем как следует справились,— тихо промолвила Пелагея.— Иванушке пошел бы тогда семнадцатый годок, а другие сынки все погодки. Саввушке, меньшенькому, и тому бы тогда было двенадцать лет, и он бы уж прял... И тягло бы по-прежнему тогда на себя мы приняли, и земельку бы стали опять пахать, скотинушку завели бы... А теперь ведь у нас ни пашенки, ни скотинушки, какова птица курица, и та у нас по́ двору давненько не браживала...

— Знаю, родная, все знаю,— со вздохом ответил Герасим.— Только ты смотри у меня, невестушка, не моги унывать... В отчаянье не вдавайся, духом бодрись, на света Христа уповай... Христос от нас грешных одной ведь только милости требует и только за нее милости свои посылает... Все пошлет он, милосердный, тебе, невестушка, и пашню, и дом справный, и скотинушку, и полные закрома...

— У меня только и есть надежды, что на его милость. Тем только и живу,— слезным, умиленным взором смотря на иконы, ответила Пелагея.— Не надеялись бы мы с Абрамом на милость божию, давно бы сгибли да пропали...

— Показывай других деток, невестушка,— молвил немного погодя Герасим.

— Вот другой сынок наш — Гаврилушка,— сказала она, подводя к деверю остроглазого крепыша мальчугана.— За неделю до благовещенья девятый годок пошел.

— Ну что же ты, Гаврилушка, прядешь, что ли? — приласкавши племянника, спросил у него Герасим.

— Тятька не дает,— бойко ответил мальчик, гля́дя дяде прямо в глаза.

— Куда еще ему, родной? — улыбаясь и мягким, полным любви взором лаская мальчика, сказала Пелагея Филиппьевна.— Разве с будущего лета станет отец обучать его помаленьку.

— Давай, мамка, пеньки,— сейчас напряду,— вскричал Гаврилушка.

— Как тебе не пеньки?.. Ишь какой умелый,— улыбнувшись сквозь слезы, проговорила Пелагея Филиппьевна и, приложив ладонь к сыновнему лбу, заботно спросила: — Прошла ли головушка-то у тебя, болезный ты мой?

— Прошла,— весело ответил Гаврилушка.

— Ну, слава богу,— молвила мать, погладив сына по головке и прижав его к себе.— Давеча с утра, сама не знаю с чего, головушка у него разболелась, стала такая горячая, а глазыньки так и помутнели у сердечного... Перепужалась я совсем. Много ль надо такому маленькому? — продолжала Пелагея Филиппьевна, обращаясь к деверю.

И по взглядам и по голосу ее Герасим смекнул, что Гаврилушка материн сынок, любимчик, бàловник, каким сам он был когда-то у покойницы Федосьи Мироновны.

— А тебе чего хочется, Гаврилушка? Вырастешь большой, чем хочешь быть? — спросил у него дядя.

— Марком Данилычем,— с важностью ответил Гаврилушка.

— Каким Марком Данилычем? — спросил Герасим.

— Купец у нас есть в городу, Смолокуров Марко Данилыч,— усмехнулась на затейный ответ своего любимчика Пелагея.— На него по нашей деревне все прядут. Богатеющий. Вишь куда захотел! — гладя по головке сына, обратилась она к нему.— Губа-то у тебя, видно, не дура.

— Смолокуров? Помню что-то я про Смолокурова,— молвил Герасим.— Никак батюшка покойник работал на него?

— Надо быть так,— ответила Пелагея.

— Работàй хорошенько, Гаврилушка, да смотри не балуй, по времени будешь таким же богачом, как и Марко Данилыч,— промолвил Герасим и спросил Пелагею про третьего сына.

— Вот и он,— молвила Пелагея Филиппьевна.—Харламушка, подь к дяденьке.

— Тебе который год? — спросил Герасим у подошедшего к нему и глядевшего исподлобья пузатенького мальчугана, поднимая ему головку и взявши его за подбородок.

— Восьмой,— отвечал Харламушка.

— Что поделываешь?

— Хожу побираться,— бойко ответил он.

Промолчал Герасим, а Пелагея отвернулась, будто в окно поглядеть. Тоже ни слова.

— А четвертый где? — спросил у нее Герасим после недолгого молчанья.

Подошла Пелагея к у́глу коника, куда забился четвертый сынок, взяла его за ручонку и насильно подвела к дяде. Дикий мальчуган упирался, насколько хватало у него силенки.

— Этот у нас не ручной, как есть совсем дикой,— молвила Пелагея.— Всего боится, думаю, не испортил ли его кто.

— Как тебя зовут? — спросил четвертого племянника Герасим, взявши его за плечо.

Всем телом вздрогнул мальчик от прикосновенья. Робко смотрел он на дядю, а сам ни словечка.

— Скажи: Максимушкой, мол, зовут меня, дяденька,— учила его мать, но Максимушка упорно молчал.

— Который годок? — спросил Герасим.

Сколько мать Максимушке ни подсказывала, сколько его ни подталкивала, он стоял перед дядей ровно немой. Наконец, разинул рот и заревел в источный голос.

— Что ты, Максимушка? Что ты, голубчик? Об чем расплакался,— ласково уговаривал его Герасим, но ребенок с каждым словом его ревел сильней и сильнее.

— Страшливый он у нас, опасливый такой, всех боится, ничего не́ видя то́тчас и ревку задаст,— говорила Пелагея Филиппьевна.— А когда один, не на глазах у больших, первый прокурат [1]. Отпусти его, родной, не то он до́ ночи проревет. Подь, Максимушка, ступай на свое место.

Не успела сказать, а Максимушка стрелой с лука

---

[1] *Прокурат* — проказник, шутник, забавник, от слова *прокудить* — шалить, проказничать. На севере и на востоке, а также на украйне Великой России и в Белоруссии «прокудить» — значит делать вред, то же, что бедокурить и прокуратить, а также обманывать, притворяться.

прянул в тот уголок, откуда мать его вытащила. Но не сразу унялись его всхлипыванья.

— А меньшенькой-то где же у тебя, невестушка? — спросил Герасим.

— Саввушка, где ты, родной? — крикнула мать, оглядываясь.

— Здесь! — раздался из-под лавки детский голосок.

— Зачем забился туда?

— С Устькой да с Дунькой в коски игьяем, под стъяпной лавкой[1],— картавил маленький мальчик.

— Ну вы, котятки мои,— ласково молвила мать,— вылезайте скорее к дяденьке... Дяденька пряничков даст.

Пятилетний мальчик проворно вылез из-под лавки, за ним выползли две крошечные его сестренки.

— Пьяников, пьяников!..— радостно смеясь и весело глядя на Герасима, подобрав руки в рукава рубашонки и прыгая на одной ножке, весело вскрикивал Саввушка.

Девочки, глядя на братишку, тоже прыгали, хохотали и лепегали о пряниках, хоть вкусу в них никогда и не знавали. Старшие дети, услыхав о пряниках, тоже стали друг на дружку веселенько поглядывать и посмеиваться. Даже дикий Максимушка перестал реветь и поднял из-под грязных тряпок белокурую свою головку... Пряники! да это такое счастье нищим, голодным детям, какого они и во сне не видывали.

— Это вот Устя, а это Дуняша,— положив руку на белокурую головку старшей девочки и взявши за плечо младшую, сказала Пелагея Филиппьевна.

Сколько ни заговаривал дядя с братанишнами[2], они

---

[1] Великорусская изба на севере, на востоке и по Волге имеет везде одинаковое почти расположение: направо от входа в углу — печь (редко ставится она налево, такая изба зовется «непряхой», потому что на долгой лавке, что против печи от красного угла до коника, прясть не с руки,— правая рука к стене приходится и не на свету). Угол налево от входа и прилавок от двери до угла зовется *коник*, тут место для спанья хозяина, а под лавкой кладутся упряжь и разные пожитки. Передний угол направо — *красный, святой*, там образа, перед ними стол. Лавка от коника до красного угла зовется *долгой*. Передний угол налево от входа — бабий кут или *стряпной;* он часто отделяется от избы дощатой перегородкой. Лавка от святого угла до стряпного называется *большою*, а иногда *красною*. Прилавок от бабьего кута к печке — *стряпная лавка*, рядом с нею до самой печи — *стряпной ставец*, вроде шкапчика и стола вместе; на нем кушанье приготовляется.

[2] *Братанишна* — дочь старшего брата, братана.

только весело улыбались, но ни та, ни другая словечка не проронила. Крепко держа друг дружку за рубашки, жались они к матери, посматривали на дядю и посмеивались старому ли смеху, что под лавкой был, обещанным ли пряникам, господь их ведает.

— А в зыбке Федосеюшка,— молвила Пелагея деверю, показав на спавшего ангельским сном младенца.— В духов день ее принесла, восьма неделька теперь девчурке пошла.

— Да, семейка! — грустно покачав головой, молвил Герасим.— Трудновато мелюзгу вспоить, вскормить да на̀ ноги поставить. Дивиться еще надо братану и тебе, невестушка, как могли вы такую бедноту с такой кучей детей перенесть.

— Господь! — вздохнула она, набожно взглянув на святые иконы.

* * *

Под это самое слово Абрам с покупками воротился. Следом за ним пришла и закусочница, бабенка малого роста, разбитная, шустрая солдатка — теткой Ариной ее звали. Была бабенка на все руки: свадьба ли где — молодым постелю готовить да баню топить, покойник ли — обмывать, обряжать, ссора ли у кого случится, сватовство, раздел имений, сдача в рекруты, родины, крестины, именины — тетка Арина тут как тут. Без нее ровно бы никакого дела и сделать нельзя. А как все эти дела случались не каждый день, так она, как только кабак в Сосновке завели, к нему присоседилась, стала закусочницей и принялась торговать нехитрыми снедями да пряниками, орехами и другими деревенскими сластями. Торговля не бог знает какие барыши ей давала, но то было тетке Арине дороже всего, что она каждый день от возвращавшихся с работ из города сосновских мужиков, а больше того от проезжих, узнавала вестей по три короба и тотчас делилась ими с бабами, прибавляя к слухам немало и своих небылиц и каждую быль красным словцом разукрашивая. Возврат пятнадцать годов пропадавшего без вести Герасима такой находкой был этой вестовщице, какая еще сроду ей не доставалась. Прослышав, что мужики хотят опивать чубаловский приезд, она с жадным нетерпеньем ждала, когда соберется мир-народ на заветной лужайке и Герасим Чубалов станет рассказы-

вать про свои похожденья. Опешила она, узнавши, что мужики пьют на счет приезжего, но самого его залучить к себе никак не могут. Как же раздобыться новостями, как узнать их?.. От самого ли Герасима, от брата ль его, или от невестки?.. Идти самой Арине к Пелагее нельзя — больно уж часто обижала она и ее самое и ребятишек. В самый тот день поутру́ до крови нарвала она уши материну любимчику Гаврилушке, когда он у нее Христа ради кусочек хлебца попросил. И вдруг Абрам перед нею... Ровно рассыпанному мешку золота обрадовалась Арина Исаишна его приходу. Не знает, где посадить, не знает, как улестить, а перед тем близко к лавчонке своей его не подпускала, неравно, дескать, стянет что-нибудь с голодухи. Отрезала по его спросу добрый кусок соленой рыбы; дала пучок зеленого луку, хлеба каравай, два десятка печеных яиц, два пирога с молитвой [1]. Только всего и оставалось у ней, все остальное мужики разобрали, чтобы было чем чубаловское винцо закусывать. Отпустила и пряников, и каленых орехов, и подсолнухов, нашелся и десяток маковников, а больше ничего не нашлось. Не дожидаясь Абрамова спроса, Арина нацедила большой жбан холодного квасу, говоря, что после рыбы братцу беспременно надо будет кваску испить. Хотел было Абрам заплатить за квас, но тетка Арина, сколь ни жадна была, удивленными глазами поглядела, поглядела и такое слово промолвила: «Никак ты, Силыч, в разуме рехнулся с радости-то? Нешто за квас деньги берут? Окстись, милый человек!» У тетки Арины тот расчет был: все покупки да жбан Абраму за̀раз захватить несподручно, и она, ровно бы добрая, вызвалась сама донести ему до его избы кое-что. «А там Герасима уви-

[1] В Великой России слово *пирог* употребляется не везде в смысле хлебного печенья из пшеничной муки с какой-нибудь начинкой. На север от Москвы пирогом зовут ситный хлеб из лучшей ржаной муки, чисто смолотой и просеянной (той, которую пеклевали,— отсюда пеклеванный хлеб). Еще дальше на север — в Вологодской, Вятской и Пермской губерниях — пирогом зовется хлеб из ячной или полбенной муки. На юг от Москвы (в Тульской, Рязанской, Тамбовской и отчасти Владимирской губерниях) пирогом зовут пшеничный хлеб безо всякой начинки. В Костромской и Нижегородской пирогом зовется печенье с начинкой, зовут пирогом и хлеб без начинки, но больше такой хлеб в виде пирога зовется *пирогом с молитвой*. Ниже по Волге, в Нижегородской, Казанской и дальше, пирогом зовут уж одно только печенье с начинкой, а хлеб без начинки зовется папушником и калачом.

жу,— думала она,— и все от самого от него разузнаю, а вечером у старостина двора бабам да молодкам расскажу про все его похожденья». Надивиться не мог Абрам такой нежданной услужливости вздорной, задорной тетки Арины. Повстречавши дорóгой деревенских девчонок, что из лесу шли с грибами да с ягодами, тетка Арина посоветовала Абраму купить у ее дочурки за трешницу лукошко ягод. «Безотменно купи,— трещала она,— да скажи брательнику-то, ягодки, мол, из самого того леску, куда он, подростком будучи, спасаться ходил,— верь мне, по вкусу придутся». Взял Абрам лукошко со смешанной ягодой: больше всего было малины, но была и темно-синяя черника, и алая костяника, и сизый гонобобель, и красная и черная смородина, даже горькой калины попало в лукошко достаточно. Подходя к дому, Абрам поблагодарил тетку Арину за квас и беспокойство, сказал было, что парнишка ее ношу в избу к нему внесет, но Арина и слушать того не захотела. «Дай, батька, на брательника-то поглядеть,— сказала она,— я ведь его целых пятнадцать годов не видела... Чать, не убудет его у тебя, коли минуточку-другую погляжу на него да маленько с ним покалякаю». Не посмел Абрам прекословить закусочнице...

Войдя в избу и поставив жбан на стряпнóй поставец, тетка Арина сотворила перед иконами семипоклонный нача̀л. Клала крест по-писанному, поклоны вела по-наученному, потом приезжему гостю низехонько поклонилась и с ласковой ужимкой примолвила:

— Доброго здоровья вашей чести, Герасим Силыч, господин честной! С приездом вас!..

И еще раз поклонилась. Встал с лавки Герасим и молча отдал Арине поклон.

К хозяйке тетка Арина подошла, поликовалась с ней трижды, крест-на̀крест, со щеки на щеку, и тотча̀с затараторила:

— Здоровенько ли поживаешь, Филиппьевна? Ну вот, матка, за твою простоту да за твою доброту воззрил господь на тебя радостным оком своим. Какого дорогого гостя, сударыня моя, дождалась!.. Вот уж, как молвится, не светило, не горело, да вдруг припекло. Родной-эт твой, притоманный-эт твой, и вживе-то его не чаял никто, и память-то об нем извелась совсем, а он, сердечный, гляко-сь, да вон поди, ровно из гроба восстал, ровно из

мертвых воскрес, ровно с неба свалился, ровно из яичка вылупился... Ах ты, матушка, матушка, сударыня ты моя, Пелагея Филиппьевна!.. Какую радость-то тебе бог послал, какую радость-то!.. Теперь, матка, все печали да болести в землю, могута в тело, душа заживо к богу... Жить тебе, сударыня, да богатеть, добра наживать, а лиха избывать... Дай тебе царица небесная жить сто годов, нажить сто коров, меренков стаю, овец полон хлев, свиней подмостье, кошек шесток... Даст бог, большачок-от[1] твой, сударыня, опять тягло примет, опять возьмется за сошку, за кривую ножку. Подай вам господи прибыли хлебной в поле ужи́ном, на гумне умолотом, в сусеке спором, в квашне всходом... Из колоска бы тебе, Филиппьевна, осмина, из единого зернышка каравай.

И смолкла на минуту дух перевести.

— Садись, Арина Исаишна, гостья будешь,— обычный привет сказала ей Пелагея Филиппьевна.

О том помышляла хозяйка, чтобы как-нибудь поскорей спровадить незваную гостью, но нельзя же было не попросить ее садиться. Так не водится. Опять же и того опасалась Пелагея Филиппьевна, что, не пригласи она присесть первую по всему околотку вестовщицу, так она таких сплетен про нее назвонит, что хуже нельзя и придумать.

— Напрасно, мать моя, беспокоишь себя. Не устала я, сударыня, сидела все,— отвечала тетка Арина и повела приветы свои с причитаньями.

Не надивуется Пелагея Филиппьевна сладким речам первой по деревне зубоскальницы, злой пересмешницы, самой вздорной и задорной бабенки. С той поры как разорились Чубаловы, ни от одной из своих и окольных баб таких насмешек и брани она не слыхивала, таких обид и нападок не испытывала, как от разудалой солдатки Арины Исаишны. А сколько ребятишки терпели от ее ехидства.

Наговорив с три короба добрых пожеланий, тетка Арина ловко повернулась осерѐдь избы и, бойким взглядом окинув Герасима Силыча, спросила его нараспев умильным голосом со слащавой улыбкой:

— А вы меня не признаѐте, Герасим Силыч? Не узнали меня?

---

[1] *Большак* — глава семьи, а также глава какой-либо беспоповщинской секты либо толка спасова согласия.

— Не могу признать,— сухо ответил Герасим.

— Как же это так, сударь мой? —молвила тетка Арина, ближе и ближе к нему подступая.— Да вы вглядитесь-ка в меня хорошенько... Как бы, кажись, меня не узнать, хоть и много с тех пор воды утекло, как вы нашу деревню покинули? Неужго не узнали?

— Нет,— с досады хмуря лоб, отрывисто ответил Герасим.— Не могу вас признать.

— А ведь у вас сызмальства память острая такая была, сударь мой Герасим Силыч,— покачивая головой, укорила его тетка Арина.— Да ведь мы от родителей-то от ваших всего через двор жили... Исаину избу нешто забыли? Я ведь из ихней семьи — Арина. Вместе, бывало, с вами в салазках катались, вместе на качелях качались, вместе по ягоды, по грибы, по орехи хаживали... При вашей бытности и замуж-то я выходила за Миронова сына. Помните чать Мирона-то. Вскрай деревни у всполья изба была с зелеными еще ставнями, расшивка на воротàх стояла? [1]

— Что-то не помнится,— нехотя ответил Герасим.

— Коротка же у вас стала память! Коротѐнька!..— продолжала тетка Арина обиженным голосом.— Ну а сами-то вы, сударь, в каких странах побывали?

— В разных местах, всего не припомнишь.

— Коротенька память, коротенька!..— продолжала свое неотвязная тетка Арина.— Где же вы в последнее-то время, сударь мой, проживали, чем торговали?

— По разным местам проживал,— сквозь зубы промолвил Герасим и, отворотясь от надоедницы, высунул голову в окошко и стал по сторонам смотреть.

— Видно, где день, где ночь, куда пришел, тотчàс и прочь... Дело! — насмешливо молвила Арина Исаишна.

Герасим больше не отвечал. Молчал и Абрам с Пелагеей. Дети, не видавшие дома такой лакомой еды, какую принес отец, с жадностью пожирали ее глазами, и как ни были голодны, но при чужом человеке не смели до нее дотронуться. Стала было тетка Арина расспрашивать Абрама, где был-побывал его брательник, чем торг

---

[1] В среднем Поволжье, особенно в тех местах, где занимаются судостроением, часто можно встретить на воротах небольшую оснащенную и раскрашенную расшиву или другое судно. В последнее время стали появляться и модели пароходов.

ведет, где торгует, но Абрам и сам еще не знал ничего и ничего не мог ей ответить. А уж как хотелось закусочнице хоть что-нибудь разузнать и сейчас же по деревне разблаговестить. Увидела она, наконец, что, видно, хоть вечер и всю ночь в избе у Абрама сиди, ничего не добьешься, жеманно сузила рот и вполголоса хозяйке промолвила:

— Опростала бы ты мне, Филиппьевна, посудинку-то. Пора уж, матка, домой мне идти. Мужики, поди, на лужайке гуляют, может им что-нибудь и потребуется. Перецеди-ка квасок-от, моя милая, опростай жбан-от... Это я тебе, сударыня, кваску-то от своего усердия, а не то чтобы за деньги... Да и ягодки-то пересыпала бы, сударыня, найдется, чай, во что пересыпать-то, я возьму; это ведь моя Анютка ради вашего гостя ягодок набрала.

Низко поклонилась и поблагодарила тетку Арину Пелагея. Ягоды высыпала на лавку в стряпном углу, а квас не во что было ей перелить, опричь пустого горшка из-под щей. С злорадством глядела тетка Арина на ее смущенье, и злоба ее разбирала при мысли, что пришел конец убожеству Чубаловых. А когда домой шла, такие мысли в уме раскидывала. «Чем лукавый не шутит? Заживет теперь Палашка — рвана рубашка, что твоя барыня. Шутка сказать, три во́за товаров, да воза̀-то все грузные, один опростали, и то чуть не все сени коробами завалили... А деньжищ-то что́, чать, у него лоботряса!.. Видимо-невидимо, казна бессчетная. А он, побродяга, и говорить-то со мной не хотел... Слова от проклятика не добилась. «Забыл да не помню» — только и речей от него. Может, по ночам на большой дороге да в лесу торговал, мерил не аршином, а топором да кистенем... Где пятнадцать-то годов, в самом деле, шатался, по каким местам, по каким городам? Еще угодишь, может быть, к дяде в каменный дом... [1] Не увернешься, разбойник, не увернешься, душегубец... А Палашка-то, Палашка-то, поди-ка, как нос-от вверх задерет... Фу ты, ну ты, вот расфуфырится-то!.. Ведьма ты этакая, эфиопка треклятая! Первым же бы сладким куском тебе подавиться, свету бы божьего тебе не взвидеть, ни дна бы тебе, ни

---

[1] В острог. *Дядя* — палач.

покрышки, ни дыху[1], ни передышки!.. Приступу к ней не будет, поклонов ото всех потребует... Только уж ты на меня, сударыня, не надейся, моих поклонов вовеки тебе не видать, во всю твою жизнь не дождаться. И не жди их, анафемская душа твоя! И не жди, поганая!..»

И уж чего-то, чего не наплела тетка Арина про Чубаловых, придя на лужайку, где пьянствовал на даровщину сосновский мир-народ.

* * *

Только что вышла тетка Арина, Абрам положил перед братом на стол сколько-то медных денег и молвил ему:

— Сдача.

— Что же ты, братан, не послушал меня? Сказано было тебе, на все покупай. Зачем же ты этак? — попрекнул брата Герасим.

— Брать-то больше нечего,— ответил Абрам.— Что видишь, только-то и было у Арины в закусочной.

— Так пряников бы побольше купил,— молвил Герасим.

— Зачем, родимый? — вступилась Пелагея.— И того с них станет, ведь они у нас к этому непривычны. И то должны за счастье почесть.

— Так возьми же ты эти деньги к себе, невестушка, да утре похлопочи, чтобы ребятишкам было молоко,— молвил Герасим, подвигая к Пелагее кучку медных.

— Моёко, моёко! — закартавил и радостно запрыгал веселенький Саввушка. Глазенки у него так и разгорелись, все детишки развеселились, улыбнулся даже угрюмый Максимушка.

— Право, напрасно, родной,— легонько отодвигая от себя деньги, говорила Пелагея.— Они ведь у нас непривычны.

— Так пусть привыкают,— перебил Герасим.— Как же это можно малым детям без молока?.. Особенно этой крошке,— прибавил, указывая на зыбку.— Нет, невестушка, возьми, не обижай меня. Да не упрямься же. Эк, какая непослушная!

Взяла деньги Пелагея, медленно отошла к бабьему

[1] Дыхание.

куту и, выдвинув из-под лавки укладку[1], положила туда деньги. На глазах опять слезы у ней показались, а Абрам стоял перед братом, ровно не в себе — вымолвить слова не может.

— Садитесь, родные, закусим покамест,— весело сказал Герасим.— А ты, невестушка, хозяйничай. Иванушка, Гаврилушка, тащите переметку[2], голубчики, ставьте к столу ее. Вот так. Ну, теперь богу молитесь.

И все положили по семи поклонов перед иконами.

— Усаживайтесь, детушки, усаживайтесь. Вот так. Ну, теперь потчуй нас, хозяюшка, да и сама кушай.

Пелагея накрошила коренной с маленьким душком рыбы и хлеба в щанную[3] чашку, зеленого луку туда нарезала, квасу налила. Хоть рыба была голая соль, а квас такой, что, хлебни, так глаза в лоб уйдут, но тюря[4] голодной семье показалась до того вкусною, что чашка за чашкой быстро опрастывались. Ели так, что только за ушами трещало.

— А вам бы, ребятки, не больно на тюрю-то наваливаться; питье одолеет. Бог пошлет, получше вам будет еда,— сказал Герасим.— Хозяюшка, давай-ка сюда яйца...

После яиц и пирога с молитвой поели, большие пивца испили, малых дядя ягодами оделил.

Встали из-за стола, богу помолились, и Абрам, громко зарыдав, младшему брату в ноги поклонился.

— На доброте на твоей поклоняюсь тебе, братец родной,— через силу он выговаривал.— Поклон тебе до земли, как богу, царю али родителю!.. За то тебе земной поклон, что не погнушался ты моим убожеством, не обошел пустого моего домишка, накормил, напоил и потешил моих детушек.

И Пелагея со слезами в ноги повалилась деверю.

Ребятишки, глядя на отца с матерью, подумали, что всем так следует дядю благодарить, тоже в ноги упали перед ним.

— Полноте, полноте,— говорил смущенный Герасим,

---

[1] *Укладка*, иначе *коробья*,— маленький сундучок.

[2] *Переметка*, или *переметная скамья*,— скамейка, приставляемая к столу во время обеда или ужина.

[3] *Щанная чашка* — из которой щи хлебают.

[4] Хлебная или сухарная окрошка на квасу.

подымая с полу невестку и брата.— Как вам не стыдно? Перестаньте ж господа ради!.. Нешто разобидеть меня хотите?.. И вы, мелюзга, туда же... Идите ко мне, божьи птенчики, идите к дяде, ангельски душеньки... Держите крепче подолы, гостинцами вас оделю.

И стал в подолы детских рубашонок класть пряники, орехи, подсолнухи. Дети ног под собой не слышали.

— Федосьюшке ни орехов, ни подсолнухов не дам,— шутливо молвил Герасим.— Не заслужила еще такой милости, зубов не вырастила, а вот на-ка тебе жемочков, невестушка, сделай ей сосочку, пущай и она дядиных гостинцев отведает. Сама-то что не берешь? Кушай, голубка, полакомись.

Пелагея только кланялась, речей больше не стало у ней.

— Рыбку-то я тебе, родной, к ужину схороню,— сказала она потом, ставя тюрю в стряпно́й поставѐц.

— Не примай лишней заботы,— молвил Герасим.

— Родной ты мой, нет ведь у меня ничем-ничегохонько... Это я было тебе поужинать.

— Сказано, не хлопочи. Обожди маленько; скоро мой Ермолаич приедет из города.

Замолчала Пелагея, не понимая, про какого Ермолаича говорит деверь. Дети с гостинцами в подолах вперегонышки побежали на улицу, хвалиться перед деревенскими ребятишками орехами да пряниками. Герасим, оставшись с глазу на̀ глаз с братом и невесткой, стал расспрашивать, отчего они дошли до такой бедности.

Вот что узнал он.

Скоро после Герасимова ухода старшего женатого брата в солдаты забрали. По ревизским сказкам и по волостным спискам семейство Силы Чубалова значилось в четверниках: отец из годов еще не вышел, а было у него два взрослых сына да третий подросток, шестнадцати лет. Когда сказан был набор и с семьи чубаловской рекрут потребовался, отцом-матерью решено было — и сам Абрам, тогда еще холостой, охотно на то соглашался — идти ему в солдаты за женатого брата, но во время приема нашли у него какой-то недостаток. Надо было женатому идти в службу. Сдали его, и году не прошло с той поры, как новобранцев в полки угнали, пали вести в Сосновку, что помер рядовой Иван Чубалов в какой-то больнице. Двоих ребятишек, что остались пос-

ле него, одного за другим снесли на погост, а невестка-солдатка в свекровом дому жить не пожелала, ушла куда-то далеко, и про нее не стало ни слуху ни духу... Тут оженили Абрама. Женился он на круглой сироте, а брал он ее из-за Волги, из казенной деревеньки, что стоит в «Чищи́» [1], неподалеку от лесов керженских и чернораменских.

Одна-одинешенька Пелагея Филиппьевна осталась после родителей. Только что восемь годков ей свершилось, как оба они в коротком времени померли: отец, в весеннюю распутицу переезжая Волгу, в полынье утонул, а мать после того недель через восемь померла в одночасье... Оставалось восьмилетней Палаше после родителя-тысячника завидное для крестьянского быта именье: большой новый дом, и в нем полная чаша; кроме того, товару целковых тысячи на полторы, тысяча без малого в долгах, да тысячи две в наличности. Отец-от «теплым товаром» промышлял, при заведенье работников держал, а сам по базарам да у Макарья сапогами да валенками торговал. И по закону и по заведенному обычаю мир-народ должен был принять сироту на свое попеченье и приставить к наследству надежного опекуна. В той волости исстари велся обычай опекунов к сиротам назначать из посторонних, потому что сродники чересчур уж смело правят именьем малолетних, свои, дескать, люди, после сочтемся. Но тут подвернулся двоюродный дядя сиротки, что жил у ее отца в работниках; он укланял и упоил мир, чтобы ему сдали опеку: я-де все дела покойника знаю и товар сбуду и долги соберу, все облажу как следует. Сделавшись опекуном, взял он племянницу к себе в дом, а ее дом и что было в доме продал, товар тоже распродал и долги собрал, всего целковых тысяч шесть было им выручено. Торговать опекун на эти деньги стал и всем говорил, что желает умножить именье сродницы до ее совершенных годов. А торговал он так, что когда Палаша заневестилась, оставалось у нее именья: голик рощи да кусок земли, гребень да веник, да три алтына денег. Однако, опричь опекуна, про то никто не знал, все считали сиротку богатой невестой. Стали к ней свах засылать, но опекун их от дома отваживал. Тут судьба свела Палашу с Абрамом... Че-

[1] Узкая безлесная полоса вдоль левого берега Волги.

стью опекун не выдал ее; они сыграли свадьбу уходом. Стала молодая требовать родительского именья, а опекун будто не его дело... Жалобу принесла — пошли суд да дело. Много раз сходился мир по этому делу, сначала решили учесть опекуна, а сиротское именье отдать наследнице сполна, но каждый раз сходка кончалась тем, что ответчика опивали. Тяжба шире да дальше, дело дошло до окружного, до палаты, но как у опекуна ничего не оказалось, то праведные решили: на нет и суда нет. Не досталось Пелагее Филиппьевне ни гроша̀, да и дядя остался без барыша̀ — что у него было, все по воде сплыло. Суды да палаты недешево стоят,— семья опекуна пошла по миру, а сам по кабакам.

Скоро после женитьбы Абрама помер Сила Петрович, а следом за ним отнесли на погост и Федосью Мироновну. Остался Абрам в доме полным хозяином. Сначала все у него шло, как было отцом заведено, и года полтора жил он в полном достатке, а потом и пошел по бедам ходить. Скотина зачумела и вся до последнего бычка повалилась, потом были сряду два хлебных недорода, потом лихие люди клеть подломали и все добро повытаскали, потом овин сгорел, потом Абрам больше года без вины в остроге по ошибке, а скорей по злому произволу прокурора, высидел. Врозь разлезлось и совсем хизнуло хозяйство, самый справный по деревне дом упал, а у Пелагеи Филиппьевны что ни год, то ребенок. Скоро до того дошел Абрам, что и пахать перестал. Сдав землю миру, на одной канатной пряже остался. А прядильный промысел не спор, за ним двумя руками десять ртов не накормишь. И стала чубаловская семья с корочки на корочку перебиваться, с крохи на̀ кроху переколачиваться.

Выслушав про беды и несчастия брата, Герасим долго молчал, сидя неподвижно на лавке. То представлялась ему горько плачущая, обиженная, кругом до ниточки обобранная сиротка, что вступила к свекру в дом тысячницей, а на поверку вышла бесприданницей; то виделся ему убитый напастями брат... Вот он из сил выбивается, стараясь удержать в заведенном порядке родительское домоводство, но беды за бедами на него падают, и он в изнеможенье от непосильной борьбы опускается все ниже и ниже. Вот он в арестантском халате на тюремных нарах, с болью в сердце, с отчаянием в душе,

а рядом с ним буйный разгул товарищей по заключенью, дикий хохот, громкие песни, бесстыдная похвальба преступностью, ругательства, драки... А в деревне у Пелагеи Филиппьевны недостатки, бедность, нищета и — голодные дети. Так одно за другим представлялось Герасиму, и недавний странник, с гордостью про себя говоривший «града настоящего не имею, но грядущего взыскую», вполне почувствовал себя семьянином, сознавая, что он с братом одно, одного отца и матери рожденья, и что должно им «друг друга тяготы носити». Тут же положил он крепкий завет в обновленном своем сердце: жить с братом и с его семьей за едино, что есть — вместе, чего нет — пополам. Но ни брату, ни невестке пока того не поведал. «Не хвальнà,— думал он,— похвала до дела».

* * *

Высокó еще солнышко в небе стояло, когда с грузным возом воротился Семен Ермолаич. Одно за другим вместе с Абрамом в избу вносил он... Пелагея Филиппьевна только руками всплескивала. Вносили и раскладывали по лавкам и одежду, и обувь, и посуду, и припасы: мешки с мукой, крупой, солодом, пшеном, картофелем, свеклой, морковью, мясо, соленую рыбу, капусту, квасу бочонок, молока три кунгана, яиц два лукошка. Опричь того, привез Семен Ермолаич на уху свежей рыбы и даже самовар с полным чайным прибором. Глазам не верили Абрам с Пелагеей, а дети так и прыгали от радости.

— Разводи огонь, невестушка, вари ушицу к ужину, давненько не едал я рыбы из родной Оки,— говорил Герасим.— Да обнови самовар-от свой, сахарцу наколи, чайку завари да попотчуй нас.

В сумерки старые бабы, девки, молодки, малы ребяты, все, опричь мужиков да парней, что попойку вели на лужайке, густой толпой собрались у колодца. Прибежали даже туда из трех окольных деревень, что стоят с Сосновкой с поля нà поле. И никто не мог вдоволь надивиться на чудеса небывалые. В убогой избе Абрамовой не лучина дымит, а свечи горят, и промеж тех свечей самовар на столе ровно жар горит, и вокруг стола большие сидят и малые, из хороших одинаких у всех

чашек чай распивают с мягким папушником. А в печке на шестке на железном тагане новая медная кастрюля стоит. «Уху́, видно, хлебать собираются,— толкуют меж собой бабы на улице.— Пелагея-то на стряпном поставце рыбу чистила, да все-то стерлядей... Вот те и Палашка — рвана рубашка!»

После ужина пошел Герасим в заднюю избу, там постель ему невестка постлала. Заперся он изнутри, зажег перед иконой свечу и стал на молитву. Молился недолго. Но чудное дело: бывало, ночи напролет на молитве он стаивал, до одуренья земных поклонов сот по двенадцати отвешивал, все, бывало, двадцать кафизм псалтыря за̀раз прочитывал, железные вериги, ради умерщвления плоти, одно время носил, не едал по неделям; но никогда еще молитва так благотворно на̀ его душу не действовала, как теперь после свиданья с братом и голодной семьей его. Такую отраду, такое высокое духовное наслаждение почувствовал он, каких до тех пор и представить себе не мог... То была действенная сила любви, матери всякого добра и блага. Еще впервые осияла она зачерствелое сердце отреченника от мира, осияла сердце, полное гордыней ума, нетерпимое ко всему живому, человеческому. «Бог есть любы»,— благоговейно и много раз повторял в ту ночь Герасим Силыч.

СОДЕРЖАНИЕ

НА ГОРАХ

Книга первая

П. И. МЕЛЬНИКОВ
(Андрей ПЕЧЕРСКИЙ)

Собрание сочинений
в восьми томах

Том V

Оформление художника
Б. В. Столярова.

Технический редактор
А. И. Шагарина.

Сдано в набор 11/XII 1975 г.
Подписано к печати 7/VI 1976 г.
Бумага типогр. № 1. Формат 84×108¹/₃₂.
Объем 25,62 усл. печ. л. 27,67 уч.-изд. л.
Тираж 375 000 экз. Изд. № 1544. Заказ № 1524.
Цена 90 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, Москва, А-47, ГСП, ул. «Правды», 24.

Индекс 70683